

Вадим Леонидович Цымбурский

ПОЭТИКА ГЕОПОЛИТИКИ:

статьи 2001-2009 гг.

том II



ВАДИМ ЛЕОНИДОВИЧ ЦЫМБУРСКИЙ

**ПОЭТИКА**  
**ГЕОПОЛИТИКИ:**  
**статьи 2001-2009 гг.**

**II**



Филолог-классик, политолог. Родился в 1957 году во Львове, в 1976 г. поступил на филологический факультет МГУ. Выпускник классического отделения (1981). В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию по филологии. Работал в Институте США и Канады АН СССР, затем в Институте Востоковедения РАН. С 1995 г. — старший научный сотрудник Института философии РАН.

Широкую известность В.Л.Цымбурскому принесла концепция «Остров Россия», которая привлекла внимание политологической общественности к его глубокому уму и оригинальному **видению** геополитической проблематики. Одновременно с этим в филологическом сообществе получили заслуженное признание его работы по гомероведению, этимологии, этрускологии.

## **СВЕРХДЛИННЫЕ ВОЕННЫЕ ЦИКЛЫ Нового и Новейшего времени**

Проблема сверхдлинных военных циклов видится мне достойной обсуждения на страницах геополитического раздела «Бизнеса и политики». Выявляемые 150-летние милитаристские циклы изначально представляли специфику европейского ареала, отмеченного с конца Средних веков постоянным состязанием растущих мобилизационных возможностей существующих там обществ с прогрессом технологий уничтожения. Каждый такой цикл, знаменуясь пересмотром смысла войны и военной победы, в то же время нес преобразование европейской геополитической системы, открывал в ее истории новый сюжет с небывалым прежде раскладом сил и конфликтных потенций. Так было в конце 1490-х и 1640-х, 1790-х и 1940-х... При всей исключительности роли США в нашем веке, эта страна до сих пор выступает как «остров» Европы, следуя ее долгосрочному милитаристскому ритму. Прервет ли его новое столетие — увидят наши потомки. Но неизвестно, должны ли мы им завидовать.

### **УНИЧТОЖЕНИЕ И МОБИЛИЗАЦИЯ: ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА**

Исследования циклических колебаний в природе и в разных областях человеческой практики продиктованы стремлением людей увеличить предсказуемость исторической динамики. В основе этих исследований лежит постулат конъюнктурной неоднородности земного времени, — причем лучше всего преуспели с эвристическим применением этого постулата экономисты, давно научившиеся разлагать изучаемые ими процессы на конъюнктурные периодические колебания различной длительности, накладывающиеся друг на друга.

В военной сфере историкам известны три типа колебаний. С одной, военно-технической стороны мы видим обсуждавшееся многими авторами (одним из первых — Ф. Энгельсом) и меняющееся во времени соотношение между средствами наступления и обороны, в частности — в форме соревнования «огня» и «маневра»; от этих колебаний во многом зависит, примет ли война стратегический характер борьбы «на сокрушение» или «на измор» противника. С другой же стороны, речь

идет о периодически повторяющихся внешних предпосылках всплесков агрессивности, в том числе и войн. В этом плане известны конъюнктуры двух родов. Во-первых, это изученная Н. Кондратьевым и его последователями (см., например: [1]) экономическая, мирохозяйственная конъюнктура, стимулирующая скопления войн на так называемых «повышательных волнах циклов Кондратьева» — волнах, разделенных в среднем 25 годами и длящихся примерно столько же. Во-вторых, в расчет должна приниматься и выявленная 70 лет назад А. Чижевским нервно-психологическая конъюнктура, связанная с повышением и понижением возбудимости людей под воздействием 11-летних периодов активности Солнца. По выкладкам Чижевского, приливы агрессивности сближаются с солнечными максимумами, но успешные завоевания скорее приходятся на солнечные минимумы, если достаточно дисциплинированная армия действует против теряющего возбудимость и склонного к компромиссам противника.

Я хотел бы обсудить в этой статье еще один тип конъюнктур, менее бросающихся в глаза, потому что переломные точки в их истории разделены очень большими временными промежутками: люди либо всецело живут тенденциями длящейся эпохи, не предвидя им конца, — либо же, присутствуя при смене эпох, бывают не в состоянии вообразить, что тенденция, на их глазах, казалось бы, безвозвратно ушедшая в прошлое, может почему-то вновь возвратиться при их правнуках. Ибо, как я уже сказал вначале, в этих переломных точках преобразуются фундаментальные представления людей о смысле военной победы и о характере тех целей, которые могут достигаться военными средствами.

Различие двух эталонов победы открыл в 1820-х гг. К.Клаузевиц. Он показал, что целью войны может быть либо политическое «уничтожение» врага, «лишение его способности сопротивляться, вынуждающее его подписать любой мир», либо некие локальные завоевания и преимущества, принуждение противника к заранее востребованным уступкам [2, с. 23 и далее]. Клаузевиц впечатляюще продемонстрировал, как с переходом от одного эталона победы к другому изменяется тип войны в целом, причем новациями оказываются охвачены все уровни развертывания борьбы. Но он пошел и дальше, высказав тезис о том, что в истории сменяются эпохи господства того или иного типа военных установок — на слом противника или на получение уступок с его стороны. Свидетель войн Французской революции и Наполеона, сам Клаузевиц полагал, что после XVIII в. войны за частные уступки,

войны, кончающиеся договорами-сделками, должны уйти в прошлое. Выстроив теорию «абсолютной» войны на слом противника, он обосновал такое видение войны и победы, которое осталось в силе до середины XX в.

Но в 1950-1960-х мы наблюдаем в военной сфере первые признаки перелома тенденций, сравнимого с тем, при котором присутствовал Клаузевиц. В эти десятилетия военная и политическая элита США, государства-лидера западной цивилизации, первым произведшего и применившего атомное оружие, оказывается перед необходимостью осмыслить ситуацию ядерного тупика — ситуацию, которая в случае войны на слом сравнимого по мощи противника должна была бы обернуться для сверхдержавы, будьте «побежденной» или «победившей», результатом глубоко неприемлемым. Тогда за несколько лет в трудах Г. Киссинджера, М. Тейлора, Р. Осгуда, Г. Кана, Б. Броди, У. Кофманна и других авторов был разработан идеальный тип «ограниченной войны» ядерных сверхдержав, причем за основу оказалось принято требование ограничить цели войны, свести ее к борьбе за четко определенные политические уступки со стороны противника, и из этой предпосылки были выведены неизбежные следствия для всех уровней стратегии национальной обороны. Кое-какие из выкладок этих авторов остались сугубо интеллектуальными конструктами, но в целом обозначилось новое осмысление войны и победы, исходя из которого только и можно понять военную политику и стратегию Запада в последующие годы — с тех пор, как администрация Дж. Кеннеди приняла на вооружение доктрину «гибкого реагирования». По тому, как авторы, намекающие новый идеальный тип войны, то и дело ссылаются через головы стратегов школы Клаузевица на опыт войн XVIII в. (ср.: [3, с. 82-85, 102-110; 4, с. 126]), мы вправе заключить: 150-летняя эпоха завершила свой цикл.

Вглядевшись в его начало и в его конец, мы и там, и здесь обнаруживаем материальную подоплеку происходящих перемен. И эта открывающаяся подоплека позволяет нам предположить некоторое общее правило. В обоих случаях кардинально, прямо-таки на глазах меняется принципиальное соотношение между двумя разновидностями военных возможностей держав. Это — (а) возможности мобилизации державой, вступающей в войну, материальных и особенно человеческих ресурсов для достижения своих целей и (б) возможности уничтожения мобилизационного потенциала противника, которыми располагает держава. В переломных точках одна из этих разновидностей

военных возможностей выдвигается на первый план, возобладав над другой, которая до тех пор господствовала.

А общее правило таково. Когда мощь средств уничтожения начинает восприниматься как превалирующая над мобилизационными возможностями, политики и стратеги в первую очередь стремятся избежать того, как бы «победитель» не оказался в одинаково бедственном положении с «побежденным». На цели войны накладываются ограничения. Угрозы жизненным приоритетам сильного противника оказываются под запретом, об его уничтожении не может вестись речь.

А если так, то война с высоким потенциалом уничтожения, но с обоюдно ограниченными ресурсами и целями естественно вписывается в комплекс иных форм и средств взаимодействия сторон, — становится, по оценке Клаузевица, «усиленной формой ведения переговоров». Связывая политика в постановке целей, такая война полностью ему подчинена и в их преследовании: она не стремится вырваться из-под политического контроля и навязать сторонам какую-то свою самодовлеющую, «абсолютную» логику.

Напротив, ощущение преобладания мобилизационных возможностей над возможностями уничтожения способствует выдвижению все более крупномасштабных целей, оправдывает наступление на жизненные приоритеты противника, сравнимого с нами по мощи. Когда исчерпание ресурсов не воспринимается как непосредственная угроза, потеря не жалко, «нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим». В таких условиях расцветает «грандиозная» стратегия, несовместимая с полноценным политико-дипломатическим контактом антагонистов по ходу борьбы, с пониманием почетного мира как удачной сделки. Она растрывает честолюбие политика, суля ему «за далью даль» — результаты баснословные, до мирового владычества... и тем «покупает» его, отстраняя от контроля за войной, заставляя ждать победы или краха.

### **Три военных цикла новых времен**

Таково общее правило, принципиальная схема. А теперь проследим, как она проявляется на практике в истории ныне лидирующей цивилизации, по-видимому, единственной, которая развернула гонку мобилизации и уничтожения<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Большинство данных взяты из работ [5] и [6].



Во второй половине XVII и большей части XVIII вв. абсолютистские режимы Европы, трактуя, согласно Клаузевицу, любую войну между собой «как деловое предприятие... на деньги, взятые из своих сундуков», делают ставку на ограниченные профессиональные армии, насчитывающие в среднем 1-2% от численности населения государства, постоянные и не рассчитанные на быстрое разрастание в случае войны. В то же время огневая мощь этих контингентов, способных давать, как солдаты Фридриха II, до 4-6 залпов в минуту, такова, что за несколько часов солидная европейская армия, выставленная к битве, могла потерять до 40% своего состава (потери того же Фридриха II при Кунерсдорфе и Цорндорфе). Причем после особенно крупных сражений армии иногда приходилось укомплектовывать заново.

С конца XVIII в. картина начинает меняться — и радикально. Впервые, промышленный переворот этого и начала следующего века, обеспечив постоянный экономический рост, позволил государствам европейской системы высвобождать все более ресурсов, в том числе человеческих, на нужды войны. А во-вторых, социальные и политические перемены приводят на протяжении XIX в. к утверждению по всей Европе режимов с достаточно массовой базой, чтобы превратить войны из «предприятий правительства» в «дело наций», обращающих свои силы на достижение победы. Уже в 1792 г. революционная Франция ставит под ружье 770 тыс. человек вместо дореволюционных 173 тыс., а позднее только в 1813—1814 гг. наполеоновский набор составил 1 250 тыс. человек, т. е. около 5 % населения. «Народные войны» в России и Испании против Наполеона и блестящие действия прусского ополчения — ландштурма — в 1813 г. показали политикам всю перспективность идеи «вооруженного народа». Во второй половине века эта идея повсеместно возобладала в европейском военном строительстве, воплощаясь во введении всеобщей воинской повинности и в вытеснении ограниченных профессиональных армий армиями кадровыми, многократно увеличивающимися в преддверии и начале войны. Перед первой мировой войной казалось вполне нормальным, если Франция мобилизует до 14, а Германия — до 8 % населения. Вышло же так, что страны Антанты двинули на поле боя от 10 до 17 % граждан, а Германия и Австро-Венгрия — 17-19% (см.: [7; 8, с. 12]). Во вторую мировую Германия мобилизовала около 25 % населения, поставив тем самым своего рода рекорд. Прирост армий в эти 150 лет непрерывно обгоняет даже в мирное время рост населения. А в результате, несмотря на столь же постоянное совершенствование техни-

ки уничтожения (правда, сильно амортизированное изменениями в тактике: рассыпным строем, зарыванием в окопы — и прогрессом медицины), мобилизационный потенциал увеличивается быстрее: потери личного состава за день боя с 30% в XVIII в. падают к началу XX в. до 1-2% [5], и в мировых войнах постоянно с лихвой перекрываются притоком новобранцев.

Третий цикл — с конца 1940-х — отличается наступающей вновь, с созданием ядерного оружия, массовой уверенностью в перевесе возможностей уничтожения над потенциалом мобилизации, но потенциалом уже не абсолютистских режимов Европы, распоряжавшихся ограниченной долей национального достоинства, а крупнейших наций мира как таковых.

Присмотримся теперь к тому, какой идеальный тип войны соответствовал каждому из этих циклов и как изменения эталона победы преломляются во всех аспектах военной деятельности: от тактики до определения политических целей борьбы.

Для первого цикла, примерно с конца 1640-х по конец 1790-х, типично отождествление победы с «почетным миром», удовлетворением тех конкретных притязаний, из-за которых началась война. Стратегия стремится наиболее надежными путями склонить противника к уступкам, убедив его в том, что складывающееся положение для него определенно неблагоприятно. Как уже отмечалось, сражения, когда случаются, порой бывают весьма кровопролитны — от 10 до 30-40% погибших за несколько часов боя, а потому интенсивность борьбы обычно очень низка: по подсчетам статистиков, между 0,23 и 1,4 боевых столкновений за месяц, включая и мелкие схватки<sup>2</sup>. Крупнейшие военные авторитеты эпохи (маршалы Р. Монтекуколи, А. Тюренн, Мориц Саксонский, король Фридрих II и др.), да и военные уставы, единодушны в недоверии к битвам как к непредсказуемым по исходу кризисным пикам войны, таким разрывам в «нормальном» стратегическом процессе и рекомендуют к ним прибегать лишь в особых, специально обсуждаемых случаях. Внимание стратегов сосредотачивается на искусстве маневра, позволяющем получать пространственные преимущества над противником, особенно создавать угрозы его коммуникациям и этим вынуждать его к отходу. В популярных военных трактатах того времени, например, в трудах английского генерала Г. Ллойда, участника Семилетней войны, бой трактуется как затратное и несо-

---

<sup>2</sup> Данные по интенсивности борьбы в европейских войнах взяты из книги [9, с. 528-530].

вершенное средство выявить сравнительные достоинства армий и их позиций, которое хорошо бы заменить точным математическим расчетом.

В стремлении добиться совершенного управления армией пытаются избегать любого самоснабжения, обеспечить ей потребительскую автономию, всецело ее довольствуя из армейских магазинов. А потому приходят к типу военных действий, минимально затрагивающих штатское население. Понятно, что при этом теоретики войны часто выражают неприязнь к «чрезмерно крупным» армиям: их управляемость кажется сомнительной, слишком зависящей от привходящих факторов. На этом увлечении управляемостью и последовательностью стратегического процесса, на неприязни к битвам — «бифуркативным», по современному, разрывам в этом процессе — утверждается практика войны как «несколько усиленной дипломатии». А в основе основ, конечно же, ощущаемая ограниченность возможностей мобилизации перед возможностями уничтожения: солдат-профессионал дорог и уязвим.

Во втором цикле — картина противоположная по всем показателям. Начиная с Наполеона, господствует образ победы как отнятия у противника способности сопротивляться. Основой войны и главным ее воплощением объявляется бой — и стратеги от Клаузевица до Ф. Фоша и Э. Людендорфа стремятся представить стратегический успех как сумму успехов боевых, тактических. В военных словарях победа все чаще определяется как «поражение, нанесенное противнику на поле боя». Любые преимущества в позициях, маневрировании и т. д. осмысляются как «векселя», по которым рано или поздно должна будет произвестись «уплата кровью» (Клаузевиц). Интенсивность борьбы в войнах XIX в. выражается цифрой от 2 до 11 битв в месяц, а применительно к войнам мировым, по замечанию военного статистика Б. Урланиса, вообще становится «трудно говорить о каком-либо интервале между битвами... Вся война представляет собой как бы непрерывную цепь битв». В отношении численности армий господствует принцип «чем больше, тем лучше», популярны уже упоминавшиеся идеи «вооруженного народа», «армии граждан», «народной войны». Ни о какой снабженческой автономии армий в годы войн говорить не приходится: нации трудятся «во имя победы», а значит закономерно возрождается вышедшая было в XVIII в. из обычая практика контрценностных действий против мирного населения, призванных подорвать экономический базис противника.

Почти все войны второго цикла идеологически аранжированы и, так сказать, несут на себе отсвет Армагеддона: битвы Наполеона I с Европой Старого порядка, походы Наполеона III за «право наций», Крымская война либеральных наций против России — «европейского жандарма», борьба России с Турцией за освобождение южных славян, национально-воссоединительные войны Пруссии и Сардинии, утверждавшие «железом и кровью» германскую и итальянскую государственность. Вообще, к концу каждого цикла его политические тенденции раскрываются с предельной тушиковой отчетливостью. Если в 1770-х Фридрих II объявляет о несомненном для него конце европейских войн, — ибо стратегическое равновесие якобы отнимает всякую надежду оправдать победы затраты на войну, — и все предреволюционное 25-летие с 1764 по 1789 гг., казалось, подтверждало этот прогноз, то в первой половине XX в. установка на «абсолютную победу» толкает к головокружительной эскалации политических и идеологических мотивов войны, вплоть до планов Третьего Рейха или образов мировой классовой битвы в трудах советских военачальников 1920-х (М. Тухачевского, И. Вацетиса и др.). Ставкой в войнах второго цикла легко оказывается само существование борющихся режимов. Скомпрометированные в глазах народов неумелым ведением войны, режимы нередко бывают сметаемы революциями, а то и устраняемы победителями в залог их гегемонии. Таковы следствия торжества мобилизации над уничтожением.

Как уже говорилось, третий цикл наступил лишь в конце 40-х гг. XX в. Период взаимного ядерного сдерживания сверхдержав следует расценивать как переходный «этап осознания» новой эпохи: аналогичную роль играло 50-летие между Тридцатилетней войной и войной за испанское наследство в первом цикле, а во втором — 55-летие между наполеоновскими войнами и франко-прусской. Вслед за внедрением в западное военно-политическое мышление тезиса о возможности офансивной войны великих держав поднимается в цене техника эффективного ведения «малых войн», раскручивания «конфликтов средней и низкой интенсивности», не грозящих выживанию вовлеченных в них крупных государств. С другой стороны, уже успешная для США корейская, а затем и проигранная вьетнамская война стали войнами с молчаливо признаваемой неприкосновенностью основных приоритетов Большого Противника, как бы последний ни определялся. В наши дни образцом такой войны явилась операция в Персидском заливе, «пропитанная» политическим коммуникативным взаимодействием воевав-

ших и закончившаяся выполнением силами Запада наперед обозначенной задачи восстановления предвоенного status quo — вытеснением Ирака из Кувейта, без принуждения режима Хусейна к капитуляции или попыток победителей сменить правительство в Ираке.

Было бы вульгаризацией говорить о буквальном повторении истории, но несомненно проявление в военной политике, стратегии и военном строительстве третьего цикла черт, сближающих его с первым. Склонность некоторых авторов, пишущих о тенденциях новой эпохи, оглядываться на XVIII в. не случайна. Сейчас, по словам отечественного эксперта, у оружия «сводится до минимума или вообще утрачивается возможность выполнения традиционной (для второго цикла. — В. Ц.) главной функции — достижения крупных политических целей прямыми военными методами... И вместе с тем увеличивается количество и растет значение «непрямых», «косвенных» функций, которые располагаются в более широком, чем прежде, спектре» [10, с. 226]. В этой связи тот же эксперт указывает на возрастающую функциональность военного присутствия — полусимволического контроля над пространством — по сравнению с боевым использованием силы. Стратегия все более эмансипируется от тактики и из «продолжения политики иными средствами», имеющими собственную логику применения, становится просто частью политики, как в первом цикле, — «усиленной формой ведения переговоров».

Самым ярким случаем «стратегии без тактики» за последние 50 лет стала холодная война, словно реализовавшая своей гонкой вооружений, насаждением зарубежных баз и компьютерным моделированием ядерных бомбардировок мечты военных теоретиков первого цикла о математической калькуляции сил и позиций, чтобы без боя определять победителей и побежденных. Во время операций США в Ливане 80-х и НАТО в Боснии 90-х вполне обнаружилось усвоенная Западом в «холодной войне» неприязнь к любым «бифуркативным» положениям, когда могла бы стать неизбежной тактическая «оплата» стратегических «векселей». Вместе с тем растет значимость символически беспроигрышных акций вроде Гренадской, Фолклендской или назидательной бомбардировки Ливии в 1986 г., обретающих вместе с бесконечными маневрами, этими игровыми имитациями войны, миссию изображать непрерывность стратегического процесса — перекачки военной силы в политическую эффективность. Наконец, знакомой по первому циклу «сладкой парочкой» предстают возрожденная идея профессиональной постоянной армии, реализуемая США, главным оплотом «обороны

Запада», и естественно эту идею дополняющий пафос «сверхточных» контрсилowych ударов, якобы минимально затрагивающих штатское население. Все эти параллели опираются на сходство третьего цикла с первым в балансе милитаристских возможностей, вновь категорически склонившемся к превалированию уничтожения над мобилизацией<sup>3</sup>.

## **А ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ?**

Тут встает вопрос, когда-то возникавший и по отношению к циклам Кондратьева: надо ли в нашем случае говорить именно о чередующихся циклах или просто о смене эпох? Конечно, «циклическая» гипотеза, основанная на рассмотрении трех периодов, из которых последний не завершен, а дата начала первого небесспорна, — выглядит сомнительной (кстати, сам Кондратьев, выдвигая свою концепцию, находился в том же положении). Но уже сейчас эта гипотеза позволяет сделать экстраполирующее «предсказание назад» — и, подтверждаясь, это предсказание дает нам для Европы еще два военных «сверхдлинных протоцикла» (почему я так их называю — поясню несколько ниже).

Хотя постоянные профессиональные армии появляются в Европе уже в XVI в., но как норма они утверждаются в масштабе европейской системы лишь в первые десятилетия после Тридцатилетней войны. Окончивший эту войну Вестфальский мир 1648 г. был отказом австро-испанских Габсбургов от их великой военно-политической цели — создания панъевропейской католической империи, как и отказом их противников — французов и шведов — от стремления «дожать» надломившуюся сверхдержаву. Исчерпав и религиозные войны, и далеко идущие милитаристские проекты, этот мир, согласно моей концепции, стал признанием превосходства уже наличной к тому времени у европейских держав истребительной мощи над их же мобилизационным потенциалом. Тем самым конец 1640-х можно принять с полным правом за начало сверхдлинного военного цикла, продлившегося до 1790-х. На 150 лет в Европе утверждается система стратегического и политического равновесия, возмущаемая лишь войнами за ограниченные приобретения и уступки. Затем с 1790-х приходит на 150 лет эпоха военного созидания и крушения империй, строительства в битвах национальных государств, тут же пытающихся развиваться в новые империи.

---

<sup>3</sup> О сложностях адаптации советской и российской военной доктрины к критериям третьего цикла см.: [11].

Но что же мы имеем в Европе до Вестфальского мира? Как известно, огнестрельное оружие появляется здесь в 1340-х, в начале Столетней войны Англии и Франции. С его введением кладется начало совершенствованию техники уничтожения в европейском мире, но, как мы видели, на его утверждение в качестве фактора, определяющего конфликтные возможности здешних держав, уходит около 300 лет. Между тем, великие войны Габсбургов за панъевропейскую монархию начинаются в первой половине XVI в. Карлом V в ответ на попытки французских королей династии Валуа, завоевав Италию, объединить север и юг Европы. Отсюда возникает предположение о том, что «раннеогнестрельное» 300-летие должно бы включать по крайней мере два сверхдлинных периода, различающихся балансом конфликтных возможностей, ибо в начале XVI в., на стыке этих периодов, резко изменился масштаб военных целей. И впрямь, военные историки разделяют 300 лет между началом Столетней войны и концом Тридцатилетней на две большие эпохи (ср.: [12, с. 423, 544]).

В первую из этих эпох, с середины XIV в. по конец XV в., еще жив доогнестрельный феодальный стандарт военного строительства, когда войско видится соединением основного отряда рыцарей со вспомогательным контингентом лучников-пехотинцев, а главной боевой единицей считается экипированный рыцарь, в лице которого недифференцированы основной ресурс войны и главное средство уничтожения. На деле упор на подобную, исключительно дорогостоящую боевую единицу в условиях экономического спада XIV-XV вв. вел к перевесу уничтожения над мобилизацией. Сражения надолго истощают противников (интенсивность Столетней войны — менее 0,2 столкновений в год), поэтому война обычно сводится к осадам городов и грабительским набегам. Как часто в Средневековье, возникают разрывы тактических и стратегических результатов: победитель в бою может быть настолько утомлен, что воздерживается от дальнейшего преследования своих целей, и побежденный сводит результат к стратегической ничьей.

Отсюда и иные свойства войн этой эпохи. Вся Столетняя война проникнута дипломатией и сделками. Хотя заявленной ее целью было занятие английскими королями французского престола, что должно было бы ущемить их противника в жизненных приоритетах, на деле реальные попытки осуществить эту сверхзадачу предпринимались в 1415-1430 гг., во время полного развала Франции из-за ее собственных внутренних смут. Боролись англичане в основном за локальную цель — овладение приморской областью Гиенью, а победа французов была

обставлена компромиссом — уступкой англичанам важного порта Кале. Идея безоговорочной капитуляции противника сторонам была чужда: когда в 1356 г. король Франции попал к англичанам в плен, от него потребовали не отречения от престола, а всего лишь изрядного выкупа. В это же время отрядам наемных рыцарей-кондотьеров в Италии их наниматели инкриминируют то, что эти профессионалы якобы устраивают бескровные «битвы», где определяют победителей и проигравших, сопоставляя численность контингентов и их расположение.

Это время двумя признаками отличается от классического феодализма: все возрастающей значимостью пехоты, во многих сражениях одолевающей рыцарей, и совершенствованием артиллерии, показавшей грозную силу в гуситских войнах 1420-1434 гг. Ни пехота, ни огнестрельное оружие пока что не принимаются за решающие факторы, но они развиваются, чтобы лишь позднее с предельной четкостью воплотить сосязание мобилизационных возможностей с потенциалом уничтожения. И однако ограниченностью мобилизационного потенциала и вытекающей отсюда военной политикой и стратегией позднее Средневековье определенно напоминает вторую половину XVII-XVIII вв., первый сверхдлинный военный цикл Нового времени.

В конце XV — начале XVI вв. комплектование армий переживает переворот: как бы символизируя начало европейской модернизации, основу вооруженных сил континентальных европейских государств вместо рыцарей начинают составлять массы пехотинцев-наемников, часто набираемых в расчете на будущую добычу. Этот «прорыв пехоты», вместе с преобразованием рыцарства в регулярную кавалерию, явился подлинным торжеством возможностей мобилизации, обнаружившимся в начинающихся с 1490-х гг. Итальянских войнах Франции и Священной Римской империи. Правда, нестойкость этих самоснабжающихся армий заставляет полководцев не слишком злоупотреблять сражениями, все более действуя измором с широким разорением оккупированных территорий. Но постоянная пополняемость наемнических контингентов позволяет сверхдержавам высоко поднимать планку милитаристских целей, пока тупиковым выражением особенностей этого цикла не становится Тридцатилетняя война, где со стороны только Священной Римской империи было сражено до 20 % участников (процент невероятно большой по сравнению с войнами последующих двух с половиной веков) [9, с. 515], а потери мирного населения составили до 15 млн.



Если XV в. знал лишь одну войну по идеологическим мотивам — 15-летнюю гуситскую на окраине романо-германской Европы, то XVI и первая половина XVII вв. заполнены жесточайшими религиозными войнами, переплетающимися с борьбой Франции и Священной Римской империи, тогдашних сверхдержав. Я говорю о фазах 1340-1490-х и 1490-1640-х как о своеобразных «протоциклах», имея в виду переходный характер стратегии и военного строительства этих столетий, образующих переход между Средними веками и Новым временем. Но однако, ясно, что в той же мере, в какой первый протоцикл, приходящийся на «осень Средневековья», по своим характеристикам сходен с циклом 1648-1792 гг., — точно так же и второй протоцикл, охватывающий время Реформации и католической Контрреформации, своим военно-политическим замахом сопоставим с циклом 1792-1945 гг., предвосхищая его идеологизированные битвы и попытки перекаривать силой мировую карту.

Таким образом, со времени, когда в Европе начинают дифференцироваться и противопоставляться мобилизуемые ресурсы войны и средства их уничтожения, мы выделяем четыре полных и одну только начавшуюся сверхдлинных фазы, за сменой которых — колебание баланса возможностей то к перевесу мобилизации над уничтожением, то наоборот. Из этих четырех полных фаз три обладают отчетливой амплитудой — около 150 лет. Условно можно принять такую же длину и для первого протоцикла, если датировать его неотчетливо различимое начало первым применением огнестрельного оружия и победами стрелков-пехотинцев над рыцарями в Столетнюю войну. Так получаем примерные даты: 1340-1490-е, 1494-1648, 1648-1792, 1792-1945, конец 1940-х-?..

### **КАК ОБНОВЛЯЛАСЬ ЕВРОПА: XIV-XX вв.**

Бросается в глаза то обстоятельство, что смена циклов, преобразующая смысл войны и победы, совпадает, как уже говорилось, со сменой эпох европейской международной политики. В 1340-1490 гг. мы видим Европу, состоящую из трех слабо сообщающихся, замкнутых на себе «конфликтных провинций»: франко-английской, центрально-европейской и итальянской. С конца 1490-х по 1648 г. нам предстает единая и вместе с тем антагонистически поляризующаяся Европа борющихся за гегемонию континентальных сверхдержав. С 1648 по 1792 гг. получаем систему политического и военного баланса — сперва франко-

австрийского, потом — со все возрастающим весом Пруссии, помалу крепнувшей стараниями своих королей. Отличительной чертой этой системы оказывается притяжение к ней в неперменном качестве заинтересованных «арбитров» — Англии, а далее также и России, контингента которых постоянно включаются в европейскую игру, вращающуюся вокруг чьих-нибудь локальных попыток нарушить континентальное равновесие и противодействия остальных членов системы этим попыткам.

Цикл 1792-1945 гг. окаймлен панъевропейскими империями Наполеона и Третьего Рейха, основная же его протяженность ложится на годы венской и версальской систем. Это время заката Австрии и ее выпадения из большого европейского расклада, время «последнего максимума» Франции с наступающим ее надломом и возвышения новой Германии как основного фокуса европейской континентальной мощи. Но вместе с тем это — эпоха прямого включения в расклад Европы с одной стороны — России, а с другой стороны — «держав-островов», Англии и позднее США. Прежние периферийные «арбитры» становятся неперменными элементами системы. При этом «острова» образуют постоянный противовес как «наползанию» России на континентальную Европу, так и угрозе континентально-европейского моноцентризма, будь то французского — в начале XIX в. или германского — в первой половине XX в. В это время впервые в европейской военной политике начинает обретать реальную структурообразующую функцию столь излюбленное геополитиками нашего века противопоставление «Континент—Океан».

Наконец, сверхдлинный цикл, открывающийся в конце 1940-х, охватывает годы как Ялтинско-Потсдамской системы, так и нынешней «системы конца века». Это время военно-политической маргинализации Англии и Франции, неопределенного положения Германии и склонности континентальных европейцев в целом извлекать максимальные выгоды из нахождения под покровительством великого атлантического «острова», между тем как Россия оказывается крупнейшим государством околеевропейской восточной периферии, то наращивая нажим на «атлантизировавшуюся» Европу, то от нее откатываясь.

Соотношение между сверхдлинными военными циклами и долгосрочными паттернами (образцами) европейской международной политики XVI-XX вв. вполне прозрачно. Каждый цикл своим приходом диктует новые правила военной и политической игры. Государства,

которые считаются к этому времени главными силами Европы, претендуют на ведущие роли в этой игре. Этими претензиями задается исходная конфигурация ролей в начале цикла. На протяжении цикла эта конфигурация эволюционирует: происходит отсев, выбраковка элементов системы, перенапрягшихся и не осиливших роли — или, как это произошло в XVI — первой половине XVII вв. с Англией после Столетней войны, а во второй половине XX в. — с Германией, — временное отстранение, «депонирование». В то же время выявляются дополнительные «запросы» системы, к ней де-факто притягиваются новые элементы, которые и получают в ней место на следующем переходе между циклами.

### **Хозяйство и война: вековые ритмы**

Выявленные 150-летние циклы принципиально отличны не только протяженностью, но и самим своим характером от тех, с которыми оперируют последователи Кондратьева и Чижевского. Ведь я говорю вовсе не о конъюнктурах, благоприятствующих реальным всплескам агрессивности, но о вещах совсем иных: об изменениях смысла, придаваемого войне и победе и определяющего — каждый раз примерно на 150 лет — ту макроисторическую рамку (тенденцию, тренд), в пределах которой агрессивность может то возрастать, то идти на спад. Я настаиваю на том, что циклы, отмеченные перевесом уничтожения над мобилизацией, скорее гасят и сглаживают приливы агрессивности, а циклы, характеризующиеся обратным балансом возможностей, способны, особенно к своему концу, усиливать эти приливы, доводя их до масштабов Тридцатилетней войны или мировых войн XX в.

Но если 150-летние циклы-тенденции несоизмеримы ни с кондратьевскими, ни с какими-либо более краткими экономическими периодами, значит ли это, что для данных циклов, с их отчетливой материальной подоплекой, мы в сфере хозяйственной динамики не находим никаких коррелятов?

Как известно, ряд историков и экономистов доказывает существование так называемых «вековых тенденций», или «трендов конъюнктуры», на фоне которых протекают все конъюнктурные колебания, в том числе и кондратьевские. По замечанию Ф. Броделя, далеко не все эксперты склонны принимать эти тенденции с их, казалось бы, микроскопическим влиянием на повседневные процессы: вековая тенденция «от года к году... едва ощутима; но одно столетие сменяет другое и она

оказывается важным действующим лицом». Интересные результаты дает сопоставление сверхдлинных тенденций в экономике и в военной области. Согласно классическим выкладкам Г. Эмбера и Ф. Броделя [13, р. 17-19, 179-213; 14, с.72-73], для вековых тенденций Европы с позднего Средневековья предполагаются следующие даты (за начало первой понижательной тенденции Бродель условно берет 1350 г.; согласно Эмберу, по разным областям Европы оно может приходиться в диапазоне от 1310-х до 1370-х): понижательная тенденция — 1350-1507 (1510); повышательная — 1507 (1510)-1650; понижательная — 1650-1733 (1743); повышательная — 1733 (1743)-1817; понижательная — 1817-1896; повышательная — 1896-1974; понижательная — 1974 (?)-?..

Сравнив графики этих тенденций конъюнктуры и сверхдлинных военных циклов, видим следующее. Первые два хозяйственных тренда очень хорошо совмещаются с двумя ранними военными протоциклами. Можно отметить, что лишь с 1510-х Итальянские войны, ранее имевшие характер борьбы недолговечных, постоянно перегруппировывавшихся коалиций, приобретают характер соперничества сверхдержав, и новый военный протоцикл вполне обнаруживает свои особенности. Зато потом картина меняется: вековые тенденции в Новое и Новейшее время резко сокращаются, охватывая в среднем не по 150, а по 70-80 лет. Между тем, сверхдлинные военные циклы сохраняют свою 150-летнюю амплитуду, пока не обнаруживая признаков сокращения. А в результате между сменами вековых тенденций и сверхдлинных военных циклов появляются разрывы — и отсюда проистекают интереснейшие политические следствия.

Так, с 1740-х вековая тенденция, по Эмберу и Броделю, начинает действовать повышательно, опережая начало эпохи «грандиозных войн» на полвека. В «золотые» десятилетия, предшествующие 1789 г., зреют, никем в этом качестве не осознаваемые, социальные и хозяйственные предпосылки для нового эталона победы. На своем излете 80-летняя повышательная тенденция перекрывается с новой милитаристской волной — и в секторе их пересечения мы видим страшный военный выплеск 1792-1815 гг. Затем идут парадоксальные для европейской экономики 70 лет, когда постоянный рост производства соединяется с понижательной вековой тенденцией конъюнктуры (для нас, свидетелей стагфляции последней четверти XX в., это какая-то «стагфляция навыворот»). В эту пору политики и стратеги, уже вполне освоив идеал «грандиозной войны», либо вовсе не воюют, либо, как в 1850-1860-х, воюют, хоть и с немалыми идеологическими претензиями,

но, по сути, локально и компромиссно. Исключение — франко-прусская война 1870-1871 гг. на пределе единственной за эти 80 лет кондратьевской повышательной волны. С 1896 г. новая вековая тенденция конъюнктуры налагается на последнюю треть сверхдлинного военного цикла с перевесом мобилизации — и на этом 50-летнем отрезке вздымаются две мировые войны. В конце 40-х крутой скачок в средствах уничтожения впервые значительно опережает изменение конъюнктурного тренда. Запад под «ядерным зонтиком» переживает, как и во второй половине XVIII в., ряд десятилетий «процветания и мира», пока в 1970-х полоса больших экономических неурядиц раннего постиндустриализма не приходит в гармонию с консерватизмом и стабилизаторством современной нам военно-политической эпохи.

Если взять исторический интервал с 1510 г. по настоящее время, то из 485 лет для 330 военная и хозяйственная сверхдлинные тенденции совпадают: и там, и здесь мы одинаково видим либо «разогрев», либо «охлаждение». В течение 50 лет (XVIII в.) вековая тенденция опережает и подготавливает начало сверхдлинного военного цикла, на протяжении еще 80 лет (XIX в.) как бы запущенный предыдущей вековой тенденцией милитаристский импульс «охлаждается», «сглаживается» переменившимся конъюнктурным трендом. Наконец, в XX в. ядерный пат примерно на 25 лет предвосхищает наступление в экономике «трудных времен», изобилующих алармистскими причитаниями насчет выхода крупнейших держав на уровень расточения природных ресурсов, сопоставимый с потенциалом планеты. Итак, если для переходных 300 лет между Средними веками и Новым временем сверхдлинные военные циклы по сути совмещены с вековыми тенденциями, то в последующие века эти два ритма пребывают в определенной корреляции, и милитаристские долгосрочные тренды обнаруживают относительно (только относительно!) автономный рисунок. Я мог бы объяснить это явление тем, что развертывание каждого такого тренда воплощается в серии поколений политиков и военных лидеров, усваивающих некий идеальный тип войны, развивающих его и доводящих до тупика. Но это — всего лишь гипотеза, требующая и проверки, и проработки.

## **НЕМНОГО О БУДУЩЕМ**

Тут я подхожу к последнему, пожалуй, самому интригующему, но и самому для меня неясному пункту моей темы. Должна ли речь идти

лишь о циклах, присущих «огнестрельной эре» Запада, череда которых обрывается с созданием оружия массового уничтожения? Нам трудно вообразить обстоятельства, при которых могло бы произойти стратегическое обесценивание ядерной мощи и народы Евро-Атлантики опять оказались бы участниками «абсолютных войн» за пересмотр мироустройства. Но невозможность изнутри сверхдлинного военного цикла представить, что ему должен когда-то настать конец, — не свидетельство уникальности нашего положения, а скорее общее правило, прослеживаемое в истории. Фридрих II заявил о равновесии, обесмыслившем войны в Европе, за 15 лет до первой из войн Французской революции, а Людендорф выпустил свою «Тотальную войну» примерно за столько же лет до наступления ядерного тупика. Смена циклов всегда неожиданна, «аки тать в нощи», предпосылки же распознаются задним числом.

Если допустить, что в XX-XXI вв. сверхдлинные военные циклы сохранят 150-летнюю амплитуду, а протяженность вековых тенденций пребудет в среднем такой, как в последние 350 лет, то график этих ритмов для будущего столетия оказался бы близок к тому, какой мы знаем для XVIII в. А именно, — к середине XXI в. произошел бы перелом вековой тенденции, и с ним кое-кто из наших нынешних современников под старость успел бы пережить возрождение «религии роста и професса» в духовном климате немыслимости Большой Войны, когда локальные кровопролития лишь давали бы миру уроки своей сомнительной эффективности. Но при этом неосознаваемо для себя общества европейского круга приближались бы к точке, где затяжной военно-политический пат прервался бы, скажем, через два полных кондратьевских цикла кружащей голову ставкой на «полную победу» над политическими, цивилизационными или идеологическими противниками, — на победу как капитуляцию этих противников, с лишением их способности сопротивляться.

Такая модель — скорее предупреждение, чем сколько-нибудь надежный прогноз, ибо она всего лишь экстраполирует на ближайший век эмпирически фиксируемые процессы ряда столетий, оставляя внутренний механизм этих процессов непроясненным. За счет чего могло бы вновь возникнуть впечатление перевеса мобилизации над оружием? Способна ли постиндустриальная революция, высвобождая из производства и привычных социальных связей гигантский контингент, поставить его в положение тех деклассированных субъектов, чей распад европейского феодализма в XVI в. толкал полчищами в

наемники к Карлу V? Войны, подобные Второй мировой, немислимы при наличии ядерного оружия. Но можем ли мы это сказать о войнах типа Итальянских XVI в. или Тридцатилетней — с обменом тактическими ядерными ударами раз в несколько лет, с выставлением на поле боя лишь части наличных вооруженных сил и в то же время со стремлением достичь «грандиозных целей» стратегией истребительного измора?..

Как бы то ни было, но сегодня для Евро-Атлантики и России реальность третьего сверхдлинного военного цикла «дана в ощущениях», тогда как возможность «четвертого цикла» пребывает мифом, вопросом веры. Нам неизвестно то воздействие, которое может быть оказано на этот европоцентристский ритм «восстаниями масс» — в самом широком смысле — индо-тихоокеанского ареала и Латинской Америки, а также перипетиями в других провинциях мира, построенного Западом. Не исключено, что к 2100 г. слова о «четвертом цикле» будут звучать для наших потомков более достоверно и определено; но возможно и то, что эти потомки будут вправе осознавать себя живущими уже по совершенно новому милитаристскому календарю.

Но мы — люди третьего цикла, цикла доминирования уничтожения над мобилизацией. И «запросов» этого цикла хватит на жизнь современных политиков и военных. Это время не пассионариев и созидателей империй, но людей, умеющих играть по маленькой; скопидомов, а не расточителей; не Наполеонов, а самое большее — тех, кто умеет десятилетиями по пядям накапливать силу и вес «прусских королей». Произойдет ли через 100 лет смена циклов или где-то оборвется их череда, главное для России — накопление козырей (экономических, интеллектуальных и прочих) к будущему великому обновлению геополитической системы Северного полушария. Сейчас уникальное время для русских, когда они имеют возможность не жертвовать собой ради славы правнуков, но одновременно работать на себя и на них.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Goldstein J. *Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age*. New Haven, 1988.
2. Клаузевиц К. *О войне*. Т. 1. М., 1937.
3. Осгуд Р. *Ограниченная война*. М., 1960.
4. Кауфманн В. *Ограниченная война // Военная политика и национальная безопасность*. М., 1957.

5. Свечин А. *История военного искусства*. 4.2-3. М., 1922-1923.
6. Дельбрюк Г. *История военного искусства в рамках политической истории*. Т. 3-4. М., 1938.
7. Шлиффен А. *Современная война* // Шлиффен А. *Канны*. М., 1938. С. 360.
8. *Мировая война в цифрах*. М., 1934.
9. Урланис Б. *История военных потерь*. СПб., 1994.
10. Проэктор Д. *Мировые войны и судьбы человечества*. М., 1986.
11. Цымбурский В. *Военная доктрина СССР и России: осмысления понятий «угрозы» и «победы» во второй половине XX в.* М., 1994.
12. Разин Е. *История военного искусства*. Т. 2. М., 1957.
13. Imbert G. *Des mouvements de longue durce Kondratiff*. Aix-en-Provence, 1959.
14. Бродель Ф. *Материальная цивилизация, экономика и капитализм*. Т.3: *Время мира*. М., 1992.

*Бизнес и политика 1996. № 5, сокращенный вариант работы,  
полностью напечатанной в «Полис» №3, 1996 г.*



## **РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ АНДРЕЯ ЗОРИНА «КОРМЯ ДВУГЛАВОГО ОРЛА»**

Книга Зорина — находка для историка, политолога, философа, имеющего дело с идеологической топикой нашей имперской внешней политики — по сути, топикой великого российского «похищения Европы». Во введении автор, возросший на идеях тартусско-московской структурно-семиотической школы, декларирует корректировку ее принципов в пользу взглядов К. Гирца. Гирц трактует идеологию как духовную конструкцию времен расшатывания религиозных и социальных традиций, нацеленную на то, чтобы «придать смысл непостижимым вне ее социальным ситуациям, выстроить их так, чтобы внутри них было возможно целесообразное действие». На стыке идей Гирца и позднего Лотмана обосновывается стремление Зорина семиотически исследовать идеологию в ее взаимовлиянии с литературой как «идеальной лабораторией производства смыслов». Ибо, по словам автора, «идеология... обладает способностью конвертироваться в столь многие и столь разнообразные проявления социального бытия, потому что она располагает золотым стандартом, сохраненным в поэтическом языке... соловьи с успехом кормят баснями орлов, дву- и одноглавых, львов, драконов и других геральдических чудовищ... И если практическая политика проверяет поэзию на осуществимость, то поэзия политику — на емкость и выразительность соответствующих метафор» (с. 28).

Исходя из этих посылок, Зорин обсуждает идеологемы, введенные в духовный и политический обиход и задействованные в выработке внешней стратегии с конца 1760-х по 1830-е гг. Таковы мотивы 1) России как восприемницы (через Византию) античного наследия, призванной «воскресить Грецию»; 2) России, стоящей поперек пути деструктивному всемирному заговору, в свою очередь, стремящемуся ее изничтожить; 3) Империи, иницилирующей спасение и преобразование Европы, «христианского мира»; 4) России — национального организма, консолидируемого и мобилизуемого через распознавание и принесение в жертву работающих на внешнего врага «извергов» — отщепенцев; наконец, 5) России — устроительницы славянского единения. Ро-

ждение, конфигурации и неожиданные конфликты этих топосов отслеживаются по четырем эпохальным фазам. Это — пора политического сотворчества Екатерины II и Г. А. Потемкина; далее 1806-1812 гг. — борьба с наполеоновской угрозой, осложненная двусмысленной тильзитско-эрфуртской паузой; контрастирующие по своему духу с предыдущей национал-патриотической фазой «универсалистские» годы «освобождения Европы» и основания Александром I «Священного Союза» (1813-1816); и, в заключение, 1830-е — время становления и популяризации «уваровской триады» как новой формулы идейного самобоснования Империи.

## I

Ряд эпизодов в книге Зорина я нахожу безоговорочно удачными. Прежде всего это главы о «греческом проекте» и переплетшемся с ним проекте крымском, — проектах, проникнутых мотивами замыкания и сворачивания времен («Назад в Византию!» и далее «воскрешение античности»), конца затяжной и «засушливой» мусульманской интермедии на ближневосточно-средиземноморской прародине европейской цивилизации, перерастание колониционного подъема Новороссии в зрелище эсхатологического пира племен, на коем «вавилонский грех... преодолен, и все народы соединяются, замыкая под российской эгидой исторический круг всемирной цивилизации» (с. 107). После этой книги в памяти читателя навсегда останется оценка потемкинской эпохи как отложившейся в последующей истории «глубинными, но именно потому мало отрефлектированными представлениями о том, что владение Крымом (как метонимическим репрезентантом античной прародины — В. Ц.) составляет венец исторической миссии России, ее цивилизационное назначение» (с. 121).

Впечатляюще воссоздается руссоистская аура яростной франкофобии и «славянофилии» авторов шишковского кружка, с их почти что «якобинским» мобилизационным пафосом и поисками раскалывающих нацию изгоев — при этом с полусознательной автоцензурой, добывающейся того, «чтобы ... в идеализированном обществе «сынов отечества» не проступали зловещие черты «*enfants de la Patrie*»» (с. 178) птенцов того же руссоистского гнезда. Хороша демонстрация того, как разработка в литературе 1806-1808 гг. фигуры пробивающегося к власти изменника загодя готовила будущее общественное восприятие роли М. М. Сперанского и его принесение в жертву нуждам новой пат-

риотической мобилизации. Очень заняты, хотя отдают немалой игривостью ума, соображения о самочинной казни Ф. В. Ростопчиным в 1812 г. (при французском приближении) наполеоновского поклонника Верещагина как о символической замене сорававшегося грандиозного действия публичной расправы над Сперанским.

На фоне «якобинства» и руссоизма лотующих в изоляционизме и «славянофилии» патриотов универсалистский замысел Александра I предстает под пером Зорина овеянным европейским мистицизмом. В этом свете по-новому выглядит Священный Союз трех монархов, представляющих крупнейшие христианские конфессии. Отсылая к давно изжитой западными политиками средневековой (и выглядевшей эпигонски даже в Контрреформацию) идее объединенной Pax Christiana, он оказывается одним из многих личных «священных союзов», какие Александр заключал с разнообразными предполагаемыми единомышленниками, стремясь подготовить выход на свет и торжество растворенного в мире и рассеянного по разным странам «невидимого собора», изображаемого в любимых императором сочинениях К. Эккартгаузена. Но с таким же правом, с каким Зорин педалирует европеизм Александровской эсхатологии, я предпочел бы сделать упор на конфликте между сознанием современных Александру I западных политиков и проектом Pax Christiana, вносимым в Европу модерна, Европу территориальных государств властителем наползающей на нее восточной Империи. Среди политиков-практиков XIX в. Александр предстает последним могущественным средневековым монархом, живым вызовом, который Меттерних заклинал, заключив его в рамки кондоминиума великих держав — некое подобие будущего Совета Безопасности<sup>4</sup>.

Идея завершения времен, замыкания истории в «греческом» и «крымском» проектах, замысле Священного Союза как политического строительства, выводящего по ту сторону модерна и Real Politik в окращенные средневековым колоритом последние времена, — моменты, бесценные для постижения хронополитического пафоса, постоянно

---

<sup>4</sup> По замечательным словам Г. Киссинджера в его диссертации: «Царь задумывал Священный Союз как программу и предвосхищение новой эры, преодолевшей ничтожество истории. Меттерних использовал Союз, чтобы провозгласить конец революционного периода и возвращение в историю. Среди иных неудач жизни царя, — то, что договор, который он расценивал как инструмент преобразования мира, превратился в средство охраны европейского равновесия» (Kissinger H. A. *A World Restored*. Gloucester (Mass.), 1973, p. 189).

звучащего в российской геополитике «похищения Европы». Не представляет ли он поистине душу этой геополитики, которая на различных исторических поворотах пытается исполнить функции то архаической, то футуристической «машины времени», преобразуя пространства в попытках перестроить его ход, то ускоряя, то замедляя, пробуя то послать вспять, то остановить, предварительно свернув в кольцо? При этом исключительно широко актуализируется прослеживаемое в истории отечественной политической мысли со времен Московской Руси<sup>5</sup>, но на деле неизмеримо древнейшее в своей мифологичности представление об особой силе, заключенной в тех или иных территориях и городах и переносимой на их завоевателя или освоителя, — в том числе накопленной во времени силе-памяти таких центров, как Царьград, становящейся магической энергией искусного владельца. Что, собственно, и видим в «греко-крымском» комплексе с его топикой «превращения русских в греков» через власть над местами, насыщенными «греческой» цивилизационной памятью, при исчерпании промежуточных, ретардационных веков, замкнувших историческую петлю.

У нас еще не было исследования, которое хотя бы подступалось к проблеме отношений между идейным и культурно-стилевым «похищением Европы» в эпоху Петербургской империи и попытками использования *геополитики как «машины времени»* — между великой цивилизационной псевдоморфозой и становлением практик геохронополитического проектирования. Книги Зорина — первый шаг и насколько же результативным и привлекательным оказался этот первый шаг!

## II

Намного более проблемны для меня другие моменты книги. Случай самый тяжелый — это попытка обнаружить в оде В.П. Петрова «*На заключение с Оттоманскою Портою мира*» (1775 г.) тему всемирного — и в том числе «масонского» — заговора против России. Зорин явно смешивает два плана, фигурирующие в оде, — рисуемый автором «портрет» европейского мира и возникающий из некоторых строк образ некоей силы, присутствующей в этом мире и пытающейся удержать Россию вне его, подорвать ее влияние в Европе («*Их должно сжати в общий рост, Падут без дружния заступы...*»). А смешение происходит

---

<sup>5</sup> Плеханова М. Б. *Сюжеты и символы Московского царства*. М., 1995, с. 171-175.

от игнорирования того, как реально выглядел европейский баланс в третьей четверти XVIII века — игнорирования, сквозящего хотя бы в рассуждениях автора о том, что «Англия и Франция стремились избежать положения одного из элементов баланса, борясь за роль арбитра и сохранения статус-кво» (с. 74).

Для Англии, тянувшейся прежде всего к морскому и колониальному господству, такая оценка европейского курса в общем верна. Но она абсолютно ошибочна применительно к Франции Людовика XV, которая, утратив некоторые из заморских колоний, неостановимо набирала вес на континенте, вплоть до того, что со времени Семилетней войны обратила собственный исторический противовес — габсбургскую Австрию — в компонент своей сферы влияния. Находясь на полпути между мечтами Людовика XIV и державой Наполеона I, Франция боролась не за «роль арбитра», а за абсолютное преобладание в сдвигающемся к многополярности европейском раскладе, за «высшую роль» (цитируемые самим Зориным слова кардинала Берни). Потому она и стремилась исключить присутствие в Европе России даже не как самостоятельного противополоса, а, скорее, как возможного оплота своих европейских неприятелей, то есть для 1770 — Пруссии и Англии (см. у Петрова о француззе «Почто сей воин безотраден? Другой возникнул в свет герой...»).

В это время ни пруссаки, ни англичане, только что впрямую подержавшие Морейскую экспедицию А. Г. Орлова, ни даже Австрия Иосифа II с ее очень слабыми европейскими позициями, склоняющаяся к поиску компенсации на турецких Балканах, — не виделись и не могли видеться врагами России. Зорин жестко передергивает, когда пишет о «сдерживании России» как об «основной сфере приложения доктрины баланса сил в европейской, и особенно французской, политике тех лет» (с. 75). Французской — да, европейской — отнюдь, а ведь именно на смешении этих понятий построена концепция Зорина насчет возможности усмотреть у Петрова идею всемирного заговора против Норда.

А за этим смешением идут другие, относящиеся уже к собственно профессиональной сфере Зорина. Приглядимся внимательнее к обсуждаемому им материалу. В оде Петрова налицо картина антироссийской интриги, разыгрываемой гегемоном западного мира, предпосылается более общая панорама тогдашней европейской политики с ее морально сомнительной идеей баланса сил и не прекращающимися попытками сместить этот баланс, в том числе втиснуть в формы «вест-

фальской» разделенной Европы «римскую» идею паневропейского господства («*На Рим возводят очеса / И в малых заключенны сферах Творят велики чудеса*»). При этом царей и иных деятелей Европы, каковые «*строго испытуют к превозможенью всякий путь*» Петров уподобляет «*огней искусством Прометеем, пременой лиц и дум Протеям*». Он пишет о них как о «*сердец и счастья ловцах*», которые в его глазах «*неутомимы, прозорливы как куплю деющи пловцы*». Я склонен думать, что здесь речь идет просто о метафорах для честолюбивых политиков Запада. Особенно это наглядно видно применительно к «*куплю деющим пловцам*», которые вводятся союзом «как», выступая просто фигурой сравнения. Но мне нечего возразить, если Зорин здесь усматривает также и более общую «характеристику для европейской цивилизации». Но трудно принять совершаемое им дальше интеллектуальное сальто-мортале, когда всю эту фоновую цивилизационную панораму для обличаемых французских умыслов против российского *Норда* он объявляет — ни много, ни мало — буквальным перечнем участников антирусского комплота.

Все эти европейские ученые «Прометей» и хитроумные «Протеи», а заодно и «куплю деющи пловцы» якобы представляют у Петрова некий «тайный круг, давно и упорно интригующий против России» (с. 92). Откуда Зорин это взял, особенно применительно к чисто метафорическим петровским «пловцам»? Что это за аргументация: если западные политики, включая недругов России — французов, «неторопливы, прозорливы как куплю деющи пловцы», значит, Петров должен был относить морских торговцев к всемирным заговорщикам. Еще шикарнее следующий ход, когда, перечислив «Прометеев» и «Протеев», «пловцов» и «счастливых ловцов», автор восклицает: «Если свести эти характеристики воедино, то заветное слово «масоны» само просится на язык» (с. 92). Мне остается лишь развести руками и заметить, что на язык оно все-таки напросилось исключительно Зорину, а не Петрову. И ссылки на антимасонские выпады в более поздних комедиях Екатерины II, никак не отменяют очевидной вещи: для оды Петрова идея мирового заговора против России, да еще заговора масонского, остается сугубо вчитанной *конструкцией* Зорина, недотягивая до уровня *реконструкции*.

Итак, глава вторая «*Образ врага*» организуется следующими смысловыми операциями. Сперва французское противостояние России приравнивается к общеевропейской политике XVIII в. и на этой основе образ врага у Петрова несуразно расширяется, грозя охватить чуть

ли не всех европейских политиков, принимавших идею баланса сил. Но далее этот образ распространяется еще шире, чуть ли не на всю современную Петрову западную цивилизацию, причем в качестве заговорщиков начинают действовать фигуры, у Петрова чисто метафорические — те же злополучные «пловцы». И, наконец, невесть откуда из воздуха выныривают «заветные» масоны. Перед нами какой-то когнитивный оползень, увлекающий за собой даже фактографические частности: так шведский мистик Э. Сведенборг по причине своей знаменитой принадлежности к шотландским масонам оказывается на с. 93 «шотландским мистиком». Остается поблагодарить автора за то, что в книге только одна такая глава, как бы инфицированная логикой изобличаемой Зориным параноидальной идеологемы — видимо, в наказание за приписывание этой идеологемы неповинному в ней поэту.

На самом деле более похоже на то, что Петров в этой оде открывает не заговор, о котором пишет Зорин, а важнейшую тенденцию, проходящую через всю геополитическую историю петербургской и «второмосковской» (большевистской) России. Эта тенденция состоит в том, что ни одна сила, которая видит себя хозяйкой европейского континента и чувствует себя в состоянии утвердить на нем собственный порядок своими средствами — будь то Франция Людовика XV, Наполеона I или даже Наполеона III, Германия Вильгельма II или Гитлера, — не может быть надежным партнером или союзницей России, ибо рано или поздно стремление обеспечить гомеостатичность этого порядка заставляет ее делать ставку на оттеснение русских из Европы, на поиск точек их уязвимости. И в этом смысле ода Петрова (открытие которого как глубокого политического поэта — несомненная заслуга Зорина) должна занять место в истории отечественной геополитической мысли. Идея же мирового заговора против России — вести ли ее от давних российских представлений о Святой Земле, со всех сторон окруженной врагами (с. 94), или связывать с антиякобинской истерией конца XVIII в., или, наконец, соединять эти стимулы в одну констелляцию — в любом случае это та «идеологической лирики лента», которая проходила мимо петровской оды 1775 г.

### III

Сложнее и интереснее другой случай. Зорин по праву обнаруживает в оде Петрова *«На присоединение польских областей к России»* (1793 г.), воспевающей превращение Днепра во внутреннюю реку России, отго-

лосок польских планов Потемкина, колебавшегося между возможностями русско-польского союза и аннексией украинского Правобережья<sup>6</sup> — решениями, одинаково подверстываемыми под лозунг «славянского братства». Но когда мы далее читаем, что при Николае I «славянский вопрос еще оставался на повестке дня (надо полагать, поставленный при Потемкине — В. Ц.), хотя и перешел на время из сферы реальной политики в область умозрительных прожектов» (с. 339) — здесь не обойтись без полувозражения. Дело в том, что старая, еще доимперская идея сплочения славянских народов по сторонам днепровской оси, также с предполагаемым широким резонансом на Балканах, очень не прямо соотносится с тем, что стало пониматься под «славянским вопросом» в XIX в.

Парадокс российской стратегии XVIII в. состоит в том, что при нарастающем союзническом влиянии Империи в Европе, основным полем ее политики пребывало, как и в веке XVIII, балтийско-черноморское пространство, меридионально протянувшееся вдоль древнего пути из варяг в греки. Именно сообразно с логикой физической и политической географии Балто-Черноморья, у крупнейших потемкинских проектов обнаруживаются в XVII веке явные предвосхищения, если не прототипы. То, что Зорин зовет ориентированной на Польшу «западной системой» Потемкина, имеет прообраз в созданном А. Л. Ординым-Нащокиным плане вечного мира и союза Москвы и Варшавы, каковой не только обеспечивал бы покровительство России православным в Польше, но и усилил бы ее позиции на Балтике и на Балканах, где христианские подданные Порты естественно обратили бы взгляд к славянскому союзу<sup>7</sup>. Вставленный в этом, балтийско-черноморском ракурсе, славянский вопрос, как отмечает и Зорин (с. 152-154) оказался изжит между вторым и третьим разделами Польши, и для 1830-х гг. можно было говорить, самое большее, о его рецидиве в виде внутривосточной задачи интеграции Королевства Польского в Империю.

Кстати, точно так же прототип «греко-крымского» комплекса с идеями передвижения центра Империи на юг, и даже бинарного союза северной и южной православных держав, возглавляемых братьями-царями из династии Романовых, обнаруживаем еще в посланиях

---

<sup>6</sup> См. также: Елисеева О. И. *Геополитические планы Потемкина*. М., 2000, гл. 6-8.

<sup>7</sup> Соловьев С. М. *Сочинения*. Кн. VI: История России с древнейших времен. Т. 11-12. М., 1991, с. 157.



Ю. Крижанича Алексею Михайловичу. У Крижанича налицо и мотив античного царского наследия (упоминание о столице «Митридата, славного короля, царствовавшего над двадцатью двумя народами и знавшего все языки»), и рассуждения, «насколько Перекопская земля лучше и богаче России и в какой мере она годится сделаться столицей», и, наконец, мысль о том, что в случае раздела наследства Алексея Михайловича между его сыновьями или более поздними потомками «один брат мог бы туда переселиться»<sup>8</sup>. Особенности разработки сходной геостратегической схемы — выращивания у России в циркум-понтийском ареале «южного близнеца» в видах перемещения навстречу ему или прямо на его земли российского центра — при Екатерине II определились открытой в контексте европейской псевдоморфозы возможностью использовать такую схему по праву собственности и смыслового проводника между православно-византийским и европейско-классицистским идейными полями (в актуализации последнего поля императрице, по тонким наблюдениям Зорина, существенно способствовал Вольтер). Заискрившая в такой позиции пророчествами в духе того, как «рекой вскипающей до дна к своим верховьям хлынут времена», схема отлилась в «греческий проект», ставший первым развернутым воплощением «константинопольской» темы в имперской геополитике.

И, тем не менее, в своей преемственности относительно стратегии XVII в. и «греко-крымский», и «славянский» замыслы Екатерины и Потемкина были, повторяю, всецело ограничены Балто-Черноморским меридиональным полем с его балканским продолжением. В частности, «славянский» вопрос в это время не мог встать перед идеологами Империи так, как он начинает ставиться во второй четверти XIX в. — вопросом о значении для будущего Европы и России славянских народов, обретающихся между Империей и крупными силовыми центрами романо-германского Запада. В этом последнем смысле «славянский вопрос» — включая, как часть его, и вопрос польский, вовсе не «оставался» к началу царствования Николая I на повестке дня. Он впервые зазвучал именно в это царствование (если, конечно, не считать более ранней деятельности Общества объединенных славян, представлявшего немногочисленную и, по сути, маргинальную фракцию с польскими

---

<sup>8</sup> Цит. по: Брикнер А.Г. *Юрий Крижанич о Восточном Вопросе* // Древняя и Новая Россия, 1876, т. 3, с. 390.

корнями в среде декабристов). Можно сказать, что это был другой славянский вопрос, чем при Ордине-Нащокине и Потемкине.

#### IV

Здесь самое время поговорить об очень интересной и спорной главе, посвященной «уваровской триаде» в ее соотношении с внешним курсом Империи. Я склонен полагать, что в оценке этого соотношения автор допустил серьезный просчет и что этот просчет был неизбежен в силу того, что в международной стратегии Николая I Зорин усмотрел лишь «умеренный изоляционизм», нацеленность «скорее на противодействие распространению в России чуждых влияний, чем на агрессивное отстаивание собственных принципов за пределами империи» (с. 339-340). Соответственно, уваровская триада оказывается именно «умеренно-изоляционистской» программой, решающей задачу «заимствовать цивилизационные достижения Запада в отрыве от породившей их системы общественных ценностей», «превращая мобилизационные лозунги «шишковского национализма» в программу рутинной бюрократической и педагогической работы» (с. 367-368). И здесь первый вопрос — верно ли Зорин трактует внешнюю политику, от которой отталкивается в своем анализе новой имперской идеологии?

Какие задачи неизбежно должна была решать внешняя политика Николая I? Да те, с которыми не справилась политика его предшественника. Зорин верно пишет о критике, которой подвергли Священный Союз Александра I и националисты а la Шишков и «молодые вольнодумцы», одинаково усматривавшие в Александровской политике по ту сторону Real Politik «прямой отказ от защиты национальных интересов и достижений России» (с. 295), на обеспечение коих она имела право после похода 1813-14 гг. Чтобы понять дух этого протеста, стоит вспомнить образ идеальной России в «Русской Правде» Пестеля и в примыкающих записках («Царство греческое», «О государственном правлении») — России, сместившей столицу на Волгу, на пересечение торговых путей из Европы и Азии, оградившейся от Запада буфером сателлитных Польского и Греческого царств, осваивающей киргизские и монгольские степи до Бухары и китайской стены, строящей флоты на Тихом океане и на обращении во внутреннюю реку Амуре для обретения «первенствующего влияния на всю восточную и южную Азию». Программа Пестеля была едва ли не первый «евразийский» проектом обособленного от Европы «особого мира России», вы-

держанном строго в стиле Real Politik, в жестком отталкивании от раздражавшей непродуктивности александровского «христианского паневропеизма».

Само правительство Александра I уже к 1818 г. вполне осознало, что заложенная в фундаменте архитектуры Священного Союза установка на «умиротворение» Европы как на основную задачу Империи облегчала сложившемуся англо-австрийскому консорциуму нейтрализацию завоеванного в 1813-14 гг. российского влияния, когда Меттерних и Каслри обустроивали своего рода полосу сдерживания России от Балтики до Каспия<sup>9</sup>. Противодействуя сложившемуся распределению сил в системе Союза, Александр I хлопотал о возрождении Франции — начиная с ее реабилитации и включения в 1818 г. в состав Союза как одной из великих держав и кончая заявлениями 1820-х о возможности русско-французского кондоминиума в Европе, такого легитимистского Тильзита с перетягиванием одеяла в пользу Петербурга<sup>10</sup>. Контрреволюционные походы на усмирение местных революций (война с «синагогами Сатаны», по словам Александра I) выливались в создание членами Союза сепаратных зон влияния: в ответ на австрийское вторжение в Италию, поставившее этот полуостров под габсбургский протекторат, Александр I буквально вынудил французов силой подавить испанскую революцию и укрепить бурбонское пространство на европейском западе. Pax Christiana быстро вырождалась в старую систему баланса сил, и немудрено, что разорвавший еще в 1821 г. дипломатические отношения с Турцией, Александр I провел последний год жизни, готовя собственное вступление в Грецию — на третий революционный полуостров Южной Европы.

Другое дело, что идеология екатерининского «греческого проекта» совершенно не соответствовала ни эсхатологии Александра Павловича, как это верно замечает Зорин, ни той миссии в организации европейского мира, каковую этот император пытался за столбить за собой и Россией, опираясь не только на память о ранее сыгранной им роли «царя царей», но и на вклинившийся в Среднюю Европу новообретенный польский плацдарм Империи. Греция обреталась на дальней окраине основного направления интересов и усилий этого императора. И

<sup>9</sup> Специально см.: *Внешняя политика России XIX и начала XX века*. Серия II. Т. II М., 1976, документы № 127 (доклад министерства иностранных дел Александру I от 24 июня /6 июля 1818 г.), и № 180 (записка статс-секретаря И. А. Каподистрия от 18/31 декабря 1818 г.).

<sup>10</sup> Дебидур А. *Дипломатическая история Европы*. Т. I. М., 1995, с. 178.

если конъюнктура и личные склонности помешали Александру представить утверждаемую им паневропейскую миссию в категориях, импонирующих имперскому патриотизму новой силовой политики, то альтернативы в духе Пестеля явно или исподволь ориентировали Россию на отдаление от европейских дел — по сути, на откат с позиций, завоеванных при «освобождении Европы».

Сверхзадача внешней стратегии Николая I состояла в том, чтобы сформулировать большой русский проект для Европы в категориях реальной политики, политики силы — и первоначальный успех императора в решении этой сверхзадачи обернулся геополитическим «европейским максимумом», самым эффективным «натиском на запад», когда-либо достигнутым за всю историю Империи.

Зорин чересчур прямолинейно и однобоко связывает константинопольскую тему императорской геополитики и геостратегии на «греческий проект» и ангажированность империи в греческих делах — и потому малая заинтересованность Николая I после Адрианопольского мира в судьбах Греции трактуется как изоляционистский «отказ от стремления России от доминирования на православном Востоке и к объединению единоверных народов под своей эгидой» (с. 339). На самом деле «греко-крымский комплекс» был способом репрезентировать константинопольскую тему в очень специфических условиях русского XVIII в. — в ситуации встречи классицизма с православием при ограничении геополитики России балтийско-черноморским меридиональным поясом, упирающимся на юге в Царьград, Балканы и Архипелаг. Прямая вовлеченность Империи после 1813 г. непосредственно в организацию коренной Европы романо-германских держав создавала для российских лидеров совершенно новое, более перспективное геополитическое поле, взывала к новым способам представления даже и константинопольской темы — способам, вырабатываемым именно при Николае I (Замечу, что вообще с тех пор российская политика очень много занималась Константинополем, но крайне редко — и в основном устами представителей Церкви и связанных с нею мыслителей вроде К.Н. Леонтьева — проявляла хоть какой-то интерес к грекам).

Закрыв для себя греческий вопрос в Адрианополе и сбыв это направление с рук как малоперспективное, с точки зрения европейских задач Империи, Николай I мастерски использовал Июльскую революцию 1830 г. и последующую поддержку Парижем арабского восстания против султана, чтобы Мюнхенским трактатом и Ункиар-Искелесийским договором (оба в 1833 г.) поставить Австрию, Прус-

сию и Турцию под свое прямое военное покровительство. Традиционные центры Средней Европы и Ближнего Востока стратегически привязывались к Петербургу. Православные народы Балкан подводились под российскую эгиду вместе с султаном, обязавшимся в случае европейской войны закрыть Босфор и Дарданеллы для любых военных кораблей, кроме российских, — что превращало Черное море в русскую бухту. Позднее, в 1847 г. Д.А. Милютин в очерке военной географии Германии наглядно обрисует — как и к какой войне Империя реально готовилась на протяжении 1830-х и 1840-х — к очередной большой войне против Франции, где театр военных действий простирался бы через германские земли<sup>11</sup>. При этом закрытие проливов должно было страховать Россию от морского удара с юга.

Крупнейшая ошибка Николая I, совершенная в 1840 г., — отказ от единоличного попечительства над проливами в пользу их международно провозглашенной, то есть, прежде всего, гарантированной Англией нейтрализации — была обусловлена как антифранцузской позицией Лондона в ближневосточной политике, так и намерением императора подготовить англичан — бывших союзников по освобождению греков — к более широкой постановке вопроса о наследии стамбульского «больного человека Европы». Да, в результате этой ошибки — и нескольких других — Крымская война оказалась полной противоположностью той войны, к которой готовились: германские земли стали не фронтом российского наступления, а щитом между Россией и враждебным ей западным блоком; на юге же договорной щит оказался убран и Империя была вынуждена истекать кровью под ударами со стороны проливов. Но как угодно, а политика, приведшая к этому результату, с ее просчетами и даже элементами блефа, не была «осторожной политикой», «идеологически дезавуирующей... интервенционистскую часть наследия Священного Союза» (с. 339-340).

Прилив русофобии в Европе 1830-х и 1848-х, когда прогнозы о грядущем поглощении западной цивилизации русскими звучали со страниц массы авторов, в том числе и столь различных, как А. де Кюстин, Я. Фальмерайер и молодой Ф. Энгельс; облетевший европейские столицы анекдот о «миллионе зрителей в серых шинелях», каковых будто бы Николай I посулил Луи-Филиппу к парижской постановке пьесы об убийстве Павла I; и тут же появление на Западе коллаборационистов, вроде А. Гуровского, пропагандирующих призвание петер-

---

<sup>11</sup> Милютин Д. А. *Первые опыты военной статистики*. Кн. 1. СПб., 1847.

бургской «универсальной империи», — неужели все это имело место по недоразумению или из-за глупости европейцев, которые не поняли характера «острожной политики», направленной «на ограждение России от чуждых влияний», а не на «агрессивное отстаивание собственных принципов» за рубежом? Вспомним восхищение Николая I «Россией и Германией» Ф.И. Тютчева как точным выражением мыслей самого императора. Услышим ли мы голос «умеренного изоляционизма» — в этом обещании от имени Петербурга защищать Германию против романской «расовой» революционности при условии ее государственной разделенности и доверчивой опоры на простершуюся до Константинополя российскую «другую Европу»?

Нет уж, если мы впрямь ставим вопрос о корреляции между внешней политикой и идеологическим официозом николаевского царствования, — то «уваровскую триаду» мы должны будем верить политикой демонстративной опеки над среднеевропейскими (германскими) столицами, шантажируемыми революционной угрозой. Тогда иначе увидится смысл и прагматика «триады» с ее виртуозно прослеженными Зориным германскими (шлегелевскими) истоками; с ее претензией на «идеологическую систему, которая сохранила бы за Россией возможность и принадлежать европейской цивилизации... и одновременно отгородиться от этой цивилизации непроходимым барьером» (с. 367); с демонстративной симпатией ее автора к германской «всеобъемлющей учености» при неприятии французских претензий — представлять Европу; с *religion nationale* в уваровских черновиках там, где в переводе стоит «православие»; наконец, с «народностью» определяемой через «самодержавие» и «национальную религию». По сути, речь идет о схеме такого цивилизационного самоопределения Империи, которое могло бы отвечать ее союзу с народами и режимами Европы, сохранившими в достаточной неповрежденности сходные принципы — традиционную (национальную) религию и традиционную власть.

Похоже, в годы, предшествовавшие Мюнхенгрецким соглашениям, в интеллектуальной и политической атмосфере России, прямо-таки витал, с высочайшего поощрения, спрос на идеологические формулы с подобными внешнеполитическими выходами. Напомню, любопытнейший документ этого времени — письмо Чаадаева Бенкендорфу, сочиненное от имени И.В. Киреевского в те же месяцы 1832 г., когда помощник министра народного просвещения Уваров вырабатывал свою формулу, готовясь занять министерский пост. В этом письме, написанном по поводу закрытия журнала «Европеец», адресант, исповеду-

ясь могущественному адресату в своих истинных воззрениях, и, в частности, признаваясь в неприятии крепостного права, тем не менее, настойчиво стремится доказать свою лояльность правительству — и для того выдвигает три тезиса: 1) несоответствие теорий, господствующих в Европе, «требованиям великой нации, создавшей себя самостоятельно, нации, которая не может довольствоваться ролью спутника в системе социального мира»; 2) невозможность применить в России социальные формы, отражающие европейский опыт, чуждый русским, которые в своей цивилизации «значительно отстали от Европы»; а потому 3) желательность усваивать «образование, позаимствованное не из внешних сторон той цивилизации, которую мы находим в настоящее время в Европе, а скорее от той, которая ей предшествовала и которая произвела на свет все, что есть истинно хорошего в теперешней цивилизации»<sup>12</sup>.

Итак, лояльность к политическому курсу начала 1830-х годов демонстрируется тем, что Империя ставится в связь не со скептически оцениваемыми наиболее передовыми фазами развития Европы, а с европейскими культурными основами, более ранней и более законной цивилизационной стадией Запада. Таковую стадию и должна мощно олицетворять в современном мире «великая нация, создавшая себя самостоятельно» и полагающая недостойной себя роль «спутницы» наличной Европы. Письмо Чаадаева-Киреевского Бенкендорфу обнаруживает в своей аргументации явное концептуальное сходство с текстами Уварова, обосновывающими его «триаду». В обоих случаях Россия мыслится силой, «отставшей» от Европы в ее катастрофической, рискованной динамике и потому в самом европейском мире представляющей его подлинные фундаментальные начала. Отсюда уже понятен тот переход к поддержке Империей в европейском пространстве исторически «законных» центров и рас, который, к удовольствию Николая I, и провозгласит в «России и Германии» Тютчев.

Известно, что доктрина Уварова своим мотивом «народности», образом Европы как мира разнообразных, по-своему развивающихся народов, сопротивляющихся французскому стремлению к лидерству и цивилизационной нивелировке, особенно своей апелляцией к специфике «гражданского образования славянских народов» внесла вклад в генезис идеи славянской цивилизационной особенности. Жаль, что Зорин

---

<sup>12</sup> Чаадаев П. Я. *Записка графу Бенкендорфу* // Чаадаев П. Я. *Сочинения* М., 1989, с. 226-227.

не считал нужным откликнуться на непосредственно соприкасающуюся с его темой известную статью Б. Гройса о том, как подхваченный из Германии пафос национального своеобразия («народности»), столкнувшись в сознании русских в те же 1830-е годы с гегелевской идеей «конца истории», достижения Западом пределов своей духовной эволюции, породил мысль о России и славянстве как великом Ином Европы, способном снять ее позитивный и негативный опыт в новом синтезе<sup>13</sup>. В то время как идеология «уваровской триады» в собственном виде с подчеркнутым упором на самодержавие и *religion nationale*, представляла собой гуманитарное обеспечение «мюнхенгрецкой геополитики», превращавшей легитимистскую Германию в передний фронт Империи, переразвитие момента особой «народности» вело к картине столкновения разных цивилизационных начал в европейско-русском пространстве<sup>14</sup>.

И если в разработках Уварова, по наблюдению Зорина, со словом «цивилизация» увязывалась идея претендующего на универсальность, однако зачастую «неприменимого для России социального опыта» (с. 350), то параллельно в 1830-х начинает звучать мысль о встрече на земле Европы двух цивилизаций — «дряхлой и издыхающей» исконно европейской и «новой, юной и мощной цивилизации, цивилизации собственно русской, которая обновит ветхую Европу»<sup>15</sup>. Обновит уже не обороной «законных начал» западной истории, но решительным прорывом за ее исчерпавшийся исторический круг. Естественно, что при этом наряду с «мюнхенгрецкой геополитикой» обороны Средней Европы оформляется — блистательно представляемая, например М. П. Погодиным, — геополитическая «оппозиция его величества», предлагающая радикальную реконструкцию той же Средней Европы и Ближнего Востока с опорой на мобилизуемое Империей славянство (оппозиция, по крайней мере, одним из идейных корней, уходившая в уваровскую «народность»). Славянский вопрос впервые ставится в это время как вопрос о пересоздании Европы на новых началах, с новым

---

<sup>13</sup> Гройс Б. *Поиск русской национальной идентичности* // Вопросы философии, 1992, № 1.

<sup>14</sup> При том, что в годы Священного Союза и позднее, до Крымской войны, это пространство нормально воспринималось как единое в смысле не только политическом, но и собственно географическом. Ср.: Надеждин Н. И. Опыт исторической географии русского мира // Библиотека для чтения, 1837, т. XXII, отдел III — где «русский мир», ограничиваясь Уралом на востоке, оказывается на западе открыт в сторону Европы.

<sup>15</sup> Надеждин Н. И. *Два ответа Надеждина Чаадаеву* // Чаадаев П. Я. *Сочинения*, с. 543.



для Империи геокультурным различием «своих» и «чужих», — ставится так, что константинопольская тема оказывается частью этого вопроса, а не изжитого греческого.

В конце концов, рекомпозицию «уваровской триады», объявляющую самодержавие, то есть традиционную имперскую Власть и православие (но уже именно православие, а не *religion nationale*) цивилизационными началами Европы, — явит в революционном конце 1830-х радикальный в своем ультраархаизме геохронополитический проект Тютчева. Согласно автору «России и Запада», в западном мире этим исконные начала выродились и извратились, уцелев в России, каковая в мире выступает ни чем иным, как прямым продолжением православно-самодержавной Империи Константина Равноапостольного, ограбленной и порушенной римскими папами и германскими королями. После того, как возникшая из сговора этих грабителей западная цивилизация через череду революций зашла в моральный и социальный тупик, России выпала миссия, поглотив Германию и Италию, воссоздать в Европе и Средиземноморье Константинову империю во всей ее полноте — с центрами в Риме и Константинополе, свернув всю историю Запада как не бывшую. А вместе с этой историей положить конец сиденью в Царьграде турок — исполнивших свою миссию охранителей священного имперского города от самозванных западных поползновений. Проект Тютчева предстает не только результатом мистифицирующего переосмысления идеологии «триады», но взрывной смесью почти всех выделенных Зориным идеологом — и «греческого комплекса» («Назад в Византию!», «град Константина — Константину»...), и идеи универсального спасения мира через достижимый геополитическими средствами скачок по ту сторону европейской и российской истории, и мирового заговора (пап и королей) в основе западного цивилизационного движения, и сплочения славянства вокруг России (ради перехода к завершающей времена перекройке Европы).

Вопреки Зорину эпоха Николая I виделась массе современников не как «послевоенная ситуация», проникнутая духом «мирного эволюционного развития» (с. 367), а как межвоенное время. Пушкинских строк 1836 г. про то, как *«Новый царь, суровый и могучий / На рубеже Европы бодро стало / И над землей сошлись новы тучи...»*, со счета тоже не скинешь (об этих стихах как о «предвоенных» писали Д.Д. Благой и В.В. Кожин — и независимо от отношения к этим литературоведам вопрос в том, можно ли данные строки истолковать иначе). Идеология «уваровской триады» не просто обязывала русских защищать и под-

держивать как залог своего самосохранения те священные принципы, коим угрожает безоглядное развитие Запада, — она узаконивала перевод этой установки в план реальной политики, трактовавшей европейские «законные» центры и «законные» силы как зажатые между революцией и охранительницей-Россией. А уж такое мировидение не могло в крайних своих модуляциях не ставить Россию и Революцию в двусмысленные отношения сотрудничества-противоборства — так что в начале Крымской войны Тютчев объявит Красного демона европейской революции союзником и спасителем России в ее схватке с режимами Запада, Погодин будет призывать монарха использовать «фрачных» врагов России против «врагов мундирных», а Герцену Николай I привидится бессознательным орудием — эдаким «ледоколом» — мирового переворота, возмездием буржуазному царству «сплоченной посредственности».

Восприятие «уваровской триады» из дали 1870-х, когда Пыпин навесил ей ярлык «официальной народности», — имеет слабое отношение к той политике, на которую она работала в годы николаевского максимума «натиска на Запад», и тем более к идейному полю, окружавшему ее в то время, — полю, далекому от «послевоенной» стабилизационной благодати, но точно проникнутому электрическими сполохами и гулом *«геополитики как машины времени»*.

Закончу почти тем же, чем начал — советом всем, работающим с идеологией нашей Империи, читать книгу Зорина от первой страницы до последней, — книгу, блещущими явными удачами и исключительно продуктивную даже в самых спорных ее частях.

2001 г.

## АПОКАЛИПСИС НА СЕГОДНЯ

### О ЦАРСТВЕ ЗВЕРЯ И СТАРОМ ДОБРОМ УНИВЕРСАЛЬНОМ ВАВИЛОНЕ

Надеюсь, читатель не запамятовал, как сентябрьские взрывы над Америкой отозвались в российской печати бумом заголовков вроде «Репетиция конца света!», «Тень Апокалипсиса», «Дыхание Апокалипсиса», «Апокалипсис в эфире». И унисонными подтекстовками — типа раздумий актера Михаила Козакова о том, сколь «страшную бездну» обнаружил для него, Козакова, за таким привычным словом «апокалипсис» подрыв нью-йоркского всемирного торжища. Каюсь, это поветрие мне внушило мысль раскрыть «Апокалипсис» Иоанна Богослова и в обеих моих профессиональных ипостасях — политолога и филолога-герменевтика — поговорить на традиционные апокалиптические темы. О Вавилонской Блуднице, О Царстве Зверя. И, конечно, об Армагеддоне — как же без него?

Для Иоанна Богослова и многих поколений его читателей слово «апокалипсис» не означало ни «страшной бездны», ни «катастрофы». В греческом языке ранних христиан оно значило «откровение». Но такой специальный смысл утвердился на фоне смысла обычного «обнажение, раскрытие, обнаружение». Один английский теолог в XIX в. очень хорошо перевел название «Апокалипсиса» — «The Things Revealed» («разоблаченные вещи») <sup>16</sup>. Книга Иоанна лишь в ограниченной мере — Книга Конца. Собственно концу мира она посвящает немного глав (это главы 20-22). Она, прежде всего, — Книга Раскрытия тех смыслов, которые должны проступить из мировой истории за время существования христианства на земле.

Мы знаем, что смысл любого рассказа определяется итогом, — все равно, мыслится ли итог как точечное состояние или как воспроизводящая сама себя монотонная протяженность: «стал жить-поживать и добра наживать». Особенность повествования Иоанна — в том, что смыслы его истории полагаются с гипотетической финальной точки зрения, вынесенной за пределы истории — под новое небо, на новую

---

<sup>16</sup> Имеется в виду книга: Roberts R. *Thirteen Lectures on the Apocalypse*. 7-th ed. Christadelphia, 1965.

землю, в Небесный Иерусалим, где снято время и отменен вопрос «Что дальше?». Выходит, с такой точки зрения, которой история мира, пока длится, никогда не достигнет, сколько бы она ни близилась к этой точке, все более оплотняя, уточняя, конкретизируя в глазах все новых читателей «Апокалипсиса» предуказанные смыслы. Но тем самым устанавливаются совершенно особые отношения между предсказанием и его историческим исполнением.

Сила многих великих пророчеств — в их стремлении стать самосбывающимися, в успешном «накаркивании» истории пророком. Проявляется эта сила двойко. Одних она заставляет накладывать пророчество на текучку событий как некое их либретто, озаряя переживания жизни идеей вершащегося *исполнения*. Других она прямо провоцирует поступить *во исполнение*, хотя при этом историческая фактура может порою придавать исполнению характер пародии. Пророчество играет как спектакль и реализуется по-настоящему успешно, когда встречаются два импульса — исполнить и признать исполненным.

Вот сильный пример. В древнем Риме исстари бытовала легенда, как Ромул при основании города увидел счастливый знак — 12 орлов. Но в III в. н.э., когда Вечному городу выпало встречать миллениум среди смут и разгула солдатских императоров, между римлян пополз оккультный слух, будто 12 орлов предопределили 12 веков городу, 13-го же века ему не пережить. И укоренилось это поверье и дожило до тех пор, пока в 476 г., на тринадцатом римском веке? варварский вождь Одоакр, желая воцариться в Италии, не стал себя ни возводить в императоры, ни делать регентом при каком-нибудь цезаре-дебиле. А взял и провозгласил конец Западной Римской империи, преобразуемой в Итальянское королевство. И римляне, вздохнув, признали: предсказанное состоялось, по счастью бескровно, и город «пал», — продолжая стоять как стоял. Пророчество задало форму истории, состыковав умысел Одоакра с депрессивным настроением современных ему римлян. А через века нашло и новую поддержку в стремлении историков утвердить границу эпохи солидной датой. Подобным образом сбывалось и впредь будет сбываться немало предсказаний.

С «Апокалипсисом» Иоанна все обстоит и похоже — и не так. В самом деле, его первая глава призывает благословение на «читающего и слушающих слова пророчества и соблюдающих написанное в нем», то есть на всех, кто примет «Апокалипсис» за подлежащий исполнению всемирный сценарий. Но, скажем, последнее и вечное царство «народа святых» на земле, предсказанное ветхозаветным пророком

Даниилом, могло мыслиться как теоретически осуществимое — и давать повод к соответствующим практическим попыткам. А вот «Апокалипсис» в силу вынесенности его «конца-венца» за предел истории был застрахован, пока она продолжалась бы, от иллюзий состоявшегося «самоосуществления». Те, благословенные Иоанном, кто готовы были исполнять написанное и видеть его исполненным, должны были убеждаться от века к веку не просто в неудачах тех или иных опытов исполнения, а в постоянном обогащении и приросте идеи того, что исполнению подлежало. Чем больше веков проходило, тем отчетливее и внятнее проступали из исторического материала соответствия к написанному Иоанном.

При большом авторитете некоторых древних комментариев к этой книге — каковы, к примеру, комментарий св. Андрея Кесарийского на востоке или св. Амвросия Медиоланского на западе, — ни один из них не был принят как догмат ни восточным, ни западным христианством. Все они остались в ранге богословских экспертных мнений (*теологумен*), прочерчивающих допустимые возможности исторического прочтения книги Иоанна. Сама же история как помышляемое целое получила статус полного комментария к «Апокалипсису». Книге Раскрытия предстояло быть понятой до конца только через историю. Но и история в ее стержневом содержании должна была постигаться через эту книгу. «Апокалипсис» и история оказались друг на друга замкнуты в герменевтическом круге.

Такое положение могло бы вести к простому релятивизму, в духе пошловатой мысли, что «каждый век имеет свой «Апокалипсис». Если бы не одно противоречащее обстоятельство. А именно — та самая наблюдаемая во времени, по мере прирастания объема исторического опыта, материализация, детализация и опрозрачивание некоторых ранее расплывчатых и гадательных смыслов книги, все увереннее «заземляющихся» в истории. Похоже, что книга, заблокированная для исторического самоосуществления, в противовес тому обнаруживала своего рода «запрограммированность» на все большее информационное самораскрытие во времени. И чем подробнее ее смыслы распознаются в прирастающей массе исторических перипетий, тем более совершающееся самораскрытие книги дает стимул — предвидеть где-то впереди исчерпание герменевтического круга книги и истории через его исполнение и приближение к максимуму, через выход истории к «заисторической» точке финального смыслополагания «Апокалипсиса».

Пример самораскрытия могут дать главы 17-18, посвященные теме «суда над Вавилоном». Веками воображение множества не только теологов и литераторов, но историков и политических мыслителей захватывал образ «блудницы, сидящей на водах многих», олицетворяя собою «великий город, царствующий над земными царями». Город, который опирается на демоническую силу «багряного зверя», — и тем не менее приговорен погибнуть в восстании «десяти рогов зверя», десяти царей, кои «возненавидят блудницу, и обнажат, и плоть ее съедят», и «примут власть со зверем, как цари, на один час», поскольку «Бог положил им на сердце — исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божьи» (17,12-18).

В обычном эмоциональном восприятии читателей «Апокалипсиса» яркость этого суммарного образа мерзейшей мощи, как правило, поглощает те конкретные детали, которые открыл в нем «дивящийся» тайнозритель. Отсюда несчетные памфлетно-риторические манипуляции мотивом «Вавилонской Блудницы» в истории. Средневековые порою видели тут обличение языческого Рима, — по этому пути пошли многие библеисты модерна, — а чаще вообще портрет мирового зла. Протестанты XVI-XVII вв. полагали здесь предвидение зол папского Рима. Лев Тихомиров то вслед за протестантской теологией усматривал в этом образе мотив «падшей церкви», то, допуская здесь аллюзию насчет грехопадения какого-то великого христианского царства, несколько истерически отождествлял мировую «Любодеицу» с революционной Россией 1905-1907 гг. Многим литераторам XIX-XX вв. в этом образе виделось обличение растленного уклада мегаполисов, а Сергей Булгаков рассуждал по поводу этих глав о «Страшном Суде Божиим над тоталитарной государственностью, буржуазией и капитализмом»<sup>17</sup>.

Ряд авторов, писавших с XVI по начало XX вв. и признававших в «Блуднице» католическую церковь, исходили из невозможности как-то иначе помыслить «город, царствующий над земными царями». И это было естественно для людей, живших в ту пору, когда утверждался и торжествовал принцип суверенитета самодовлеющих национальных государств (пусть иногда величавших себя империями), когда о настоящих империях с их идеей всемирной власти стали забывать и на свете практически отсутствовали, кроме Ватикана, реальные надна-

---

<sup>17</sup> Булгаков С. *Апокалипсис Иоанна*. М., 1991. С. 155.

циональные центры мощи. Казалось бы, как это возможно, чтобы какая-то сила властвовала над суверенными правительствами? Но для нас, людей надвигающегося политического постмодерна, здесь нет особого вопроса и древний титул «цари царей» для нас все прозрачнее.

Настоящая уязвимость известных мне трактовок состоит в невозможности объяснить, почему держава, материальная или духовная, поддерживаемая «багряным зверем», тем не менее должна быть безжалостно порушена «восстанием десяти рогов», чтобы могло утвердиться Царство Зверя в его союзе со лжепророком. Обычная тенденция комментаторов — недооценивать этот казус или попросту закрывать на него глаза. Средневековые и раннепротестантские экзегеты спокойно писали, что Вавилон Иоанна — «дьяволово государство» (*civitas diabolica*). И даже прямо «царство антихриста». Сергей Булгаков уклончиво рассуждал о том, как «Вавилон и царство зверя духовно сливаются почти до отождествления, хотя все же и различаются»<sup>18</sup>. При таких и подобных воззрениях игнорируется сюжетно-текстуальная данность Иоаннова «Откровения», где переход от цветения Вавилона к царству Зверя опосредуется гигантской революцией, мировым насильственным переворотом, вызывающим скорбь и ужас у толпы «царей», лояльных к власти Вавилона — по Иоанну, «прелюбодействовавших» с нею — и у массы «купцов», под нею процветавших (18, 9-19). Все это непонятно, если расценивать Вавилон «Апокалипсиса» как Рим обожествляемых цезарей, где будто бы должен сесть на «престол зверя» предположительно воскресший Нерон, — ведь самого Рима-то при этом не должно остаться! И совсем уж диковато получается, если в Вавилоне усматривать всякое моральное «царство дьявола»: как может антихрист прийти к мировой власти через истребление дотла сатанинских угодий?<sup>19</sup> При корректной интерпретации надо исходить из того, что Иоанну явилась в дали времен картина, страшно загадочная в своей диалектике: его Вавилон — и предварение Царства Зверя, и в каком-то смысле большая помеха его осуществлению.

---

<sup>18</sup> Там же. С.145.

<sup>19</sup> Очень забавна мысль толковавшего «Апокалипсис» в XII в. св. Мартина, будто под «купцами» Вавилона, означающего «скопище зол», надо разуметь не кого иного, как дьяволов (*s. Martini Legionensis. Explicatio libri Apocalypsis. // Patrologiae Cursiis Completus. Series Latina. Ed. J.-P. Migne. Vol. 209. P.,1855. P.394*). Силен же антихрист, сооружающий свое царство на дьяволовых слезах!

Что же такое Вавилон Иоанна? Вчитаемся в перечень тех обвинений, которые перед провидцем небо предъявляет осуждаемой «Любодейце».

– 8, 2-3: «Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодествовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее»;

– 18, 23 «Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы»;

– 18, 24: «И в нем (Вавилоне – В.Ц.) найдена кровь пророков и святых и кровь всех убитых на земле».

Если задуматься над этим вердиктом, то не поразят ли более всего слова о «крови всех убитых на земле»? Как бы ни был Иоанну ненавистен Рим, запятанный кровью христиан – «пророков и святых», непостижимо, чтобы провидец без вопросов выслушал приговор неба, возлагающий на эту империю вину за жертвы какой-нибудь германской или эфиопской резни, за убитых в Парфии или в Индии. Не вызвано ли изумление богослова перед видом Блудницы тем, что ему предстало явление, неведомое его временам, – сила, не только заполонившая весь известный мир соблазнами своей осуждаемой культуры и покорившая его экономически, возведя своих «купцов» в сан вселенских властителей, – но и прямо принявшая на себя ответственность за мировой порядок? И потому оказывающаяся повинной во всей крови, продолжающей литься на земле (говоря сегодняшним языком – в том, что при новом мировом порядке продолжали друг друга избивать сотнями тысяч руандийские тутси и хуту).

Примечательным образом, цивилизационная историософия XX в. в лице Арнольда Тойнби предлагает нам модель, которая могла бы быть небезуспешно использована для осмысления диалектики обреченного универсального Вавилона и воздвигающегося Царства Зверя. Как известно, у Тойнби позднейшую ступень истории цивилизаций, не совладавших со своим «вызовом» и подменяющих «ответ» на него духом экспансии, представляет фаза мировых империй. Такие империи стремятся охватить все доступное им пространство, чтобы взять его – а вместе с ним и историю – под контроль. Но охваченные культурным и социально-психологическим разбродом, они не в силах предложить «своему» миру убедительные для него интегративные, мобилизующие и снимающие внутреннее напряжение ценности. Внутри этих империй позднего часа – в их контрэлитах и «пролетарских» низах, на их «внешне-пролетарских» перифериях – как протест против духовного



бессилия имперских вершушек закладываются новые мировые религии. Вынашивая, иногда вопреки своей воле, такую религию, империя-«куколка» завещает ее будущим временам как залог последующего цивилизационного становления. Но началу утверждения дочерней цивилизации должна, по Тойнби, предшествовать интермедия так называемого «героического века», когда империю сокрушает натиск контингентов ее «внешнего пролетариата», разрывающего ее пространства при равнодушии, а иногда и сочувствии «пролетариата внутреннего», пуская ее на лоскуты эфемерных варварских царств.

Я не знаю, в какой мере Тойнби, стремившийся осмыслить евроамериканскую ситуацию XX в. с широким обращением к позднеантичным параллелям, мог напрямую вдохновляться при разработке этой метаисторической схематики сюжетом «Апокалипсиса». Одно скажу — этот сюжет выглядит мрачной пародией на тойнбианскую модель межцивилизационного перехода. На месте региональных квази-мировых империй мы видим поистине универсальный Вавилон, охвативший чарами своей культуры и мощью своей экономики все племена, правящий властями земли и отмечающий своей печатью идущую деградацию ойкумены. В функции «героического века» обнаруживаем раздражающее «вавилонский» миропорядок «восстание десяти рогов». А зреющему внутри империи позднего часа (или на ее границах) теновому духовному комплексу, вокруг которого среди разгула разрушительной «героики» станет откристаллизовываться новая цивилизация, — как раз и отвечает в книге Иоанна закладываемое в основаниях универсального Вавилона Царство Зверя. Оно начнет реализовываться как самостоятельная мироорганизующая сила, коль скоро довершат свое дело победные «десять рогов».

Надо воздать должное интуиции тех протестантов, которые усматривали в сюжете «Апокалипсиса» сходство с историей восхождения на руинах языческой империи римского папства как носителя великого проекта «христианского мира», проекта духовной империи, трансформирующейся в особый социально-политический уклад. Можно бы сказать, что, по Иоанну, в предпоследние сроки истории на мировой сцене должно разыгаться действие, выглядящее для нас страшным негативом начала европейского Средневековья. Из пепла универсального Вавилона, обуздывая анархию «десяти рогов» и подчиняя себе их волю, как папы укрощали германских вождей, поднимается новый замысел вторичной мировой сборки с оригинальной магиико-религиозной

окраской, внушая Иоанну страх и омерзенье, — как «година искушения, которая придет на всю Вселенную»<sup>20</sup>.

В связи с такой реконструкцией по-новому встает проблема так называемого *катэхонта* — загадочного сдерживающего начала, которое по традиции, заложенной апостолом Павлом (2 Фесс.2, 3-7), до поры до времени отсрочивает приход «человека греха, сына погибели» — устроителя и владыки Царства Зверя. Со времен Иоанна Златоуста христианский восток отождествляет *катахонта* с благой силой православной монархии, связывающей мировое зло. Идея *благодатного катэхонта* стала общим местом, шиболетом в кругах русских монархистов XX в. Однако вопрос в том, мог ли фактор, задерживающий наступление царства Зверя, а значит, и приход Христа, рисоваться силой однозначно положительной в обстановке языческой Римской империи I в. И не могла ли эта обстановка делать ранних христиан восприимчивыми к существенно иному ракурсу мировых судеб?

Думается, нельзя быть уверенными в том, что апостол Павел — современник Калигулы, Клавдия и молодого Нерона — при всей гордости своим римским гражданством придавал идее катэхонта такой же ценностный характер, который спустя три века был очевиден для подданного христианской империи Иоанна Златоуста. Во всяком случае, нельзя не видеть в «Апокалипсисе» Иоанна универсальный Вавилон на семи холмах (17,9), т.е. каким-то образом продолжающий римскую традицию (а она-то в новоевропейском мире жива повсеместно от Вашингтонского Капитолия до Москвы на семи холмах и Санкт-Петербурга как «Града Святого Петра», Нового Рима) — этот Иоаннов Вавилон со своею растленной культурой и «купцами — вельможами земли» оказывается последней большой задержкой перед Царством Зверя.

В предъявляемом универсальному Вавилону обвинении на деле имеется еще один пункт: вина его состоит, помимо прочего, в пафосе исторической несокрушимости, в убежденности, что якобы история над ним не властна и не может нести его владычеству серьезных угроз. Согласно 18, 7-8, Мировая Блудница «говорит в сердце своем: «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горестей». За то в один день придут на

---

<sup>20</sup> Отождествление «десяти рогов» с германскими варварскими королевствами практиковалось еще в Средние века (S.Martini. Explicatio Apocalypsis... P.387) и с новой силой заиграло в антипапистских протестантских «апокалиптиках» начала Нового времени, например, у Исаака Ньютона (Дмитриев М.С. *Неизвестный Ньютон*. Спб., 1995.С.613).

нее казни, смерть, и плач, и голод...». Универсальный Вавилон разделяет со многими квази-мировыми державами прошлого претензию на историческое «последнее слово». Мня себя непреходящим, он пытается закончить историю, замкнуть ее на самом себе — и потому-то, помимо прочих его вин, ему предстоит быть сметенным «десятью рогами», каковые расчищают место Царству Зверя под парадоксальное ликование «неба, и святых апостолов, и пророков» (18,20). Речь, собственно, должна идти о феномене *неблагого катэхонта*, пытающегося подморозить историю, положив ей конец в ее собственных рамках. И о его, *неблагого катэхонта*, бессилии перед поистине апокалиптическим вопросом: «А что дальше?» — и ответом, который несут вздымающиеся «десять рогов».

А в самом деле, не приглядеться ли: что стоит за большинством идеологических нападок на «эсхатологическое сознание»? Иногда просто дурная апологетика сегодняшнего дня, в том числе снабженная мистифицирующим идейным гарниром вроде «императива выживания»; очень часто необоснованное продление тенденций этого дня в необозримую даль; то и дело, как у Карла Поппера, вера в то, что история не имеет и не может иметь другие смыслы, кроме тех, которые мы ей сами захотим придать. Но практически всегда мы при этом имеем дело с желанием навязать истории такой смыслополагающий конец в духе монотонной длительности, «стали жить-поживать, да добра наживать», чтобы он из нее, истории, не выпадал и не выпирал, а обрелся внутри нее — то ли как самораскрытие мирового духа в правовом государстве, то ли в форме «открытого общества», то ли расово чистом «тысячелетним рейхом», то ли большевистским «единым человечьим общежитьем без России, без Латвии», а то вовсе уже распивочным на вынос либерал-гегельянством Фрэнсиса Фукуямы, конечно же, со всемирной цивилизацией и всемирным правительством. Замечательный культуролог Петр Бицилли когда-то на средневековом материале пронзительно точно показал духовную противоположность хилиазма, зацикленного на итоговом тысячелетнем царстве, и настоящей эсхатологии. Ведь люди настоящего эсхатологического мышления — вовсе не те, кто ждет конца света в будущее лето. Последние — это просто нервные люди, которых можно и нужно пожалеть, поскольку сам их невроз по-человечески понятен и достоин снисхождения. Люди подлинно эсхатологического мышления — те, для кого аксиомой, придающей смысл мировому процессу, является устремленность этого процесса к точке, недостижимой для него, лежащей по ту сторону вре-

мен, устремленность, законно сметающая «техники и державы», в том числе любую всемирную цивилизацию и любое всемирное правительство<sup>21</sup>.

Из-под нападков на проявления «эсхатологичности» в сферах мысли и политики то и дело высовывается хилиазм с его надеждою на такой Вавилон, чтобы никакие «десять рогов» не забодали, на такое «тысячелетнее царство», чтобы Гога с Магогом против него не нашлось. И это положение вовсе не теряет своей силы для новоевропейского мира, где с XVIII в. во множестве версий господствует секуляристский хилиазм Царства Человеческого, а к нашему времени, по результатам конкурентного отбора среди всех версий, господствующим выступает тип постхристианского либерал-хилиазма.

Хилиасты вообще редко обнаруживают интеллектуальную ответственность, а либерал-хилиасты по части безоглядности — рекордсмены. Те же наши сограждане, что горланили в 1990-м над скрипучим кораблем СССР о непреложном законе для всех империй — распадаться, ныне уверяют, что другой неотменимый закон ведет к планетарному диктату «цивилизованных наций», к универсальной «расколотой цивилизации», организованной как ресурсораспределительная империя. Никто из вестников этой идеи не готов признать по доброй воле, что над подобной всемирной цивилизацией ангельским мечом нависнут судные вопросы: «Как долго еще?» и «Что после?». А если подступиться с такими вопросами — оглушит двоякий вопль. По одну руку

---

<sup>21</sup> Бицилли П.М. *Элементы средневековой культуры*. СПб., 1995. Сердечно благодарю Бориса Межуева, обратившего мое внимание на исследования Бицилли по этому вопросу. Я понимаю, что людям с хилиастской аксиоматикой мысли трудно вообразить исход истории, вынесенный за ее пределы и при этом развертыванием смыслополагания притягивающий ее движение к себе, туда, где нерелевантен вопрос «что дальше?». Но аксиоматика вообще не обязана быть наглядной. Мне, например, еще более невообразимой представляется хилиастская идея существования во времени и в истории какого бы то ни было «тысячелетнего царства», на которое во времени же нельзя было бы найти управы. По размышлении, открывается глубокий параллелизм двух сюжетных линий в 18-20 главах «Апокалипсиса»: от мировладычества универсального Вавилона через революцию «десяти рогов» к попытке основать Царство Зверя — и, с другой стороны, от Тысячелетнего Царства святых через мятеж и победное наступление на это царство мощи Гога и Магога к сошествию «заисторического» Небесного Иерусалима. Этот параллелизм обнаруживает разительную истину: Тысячелетнее Царство, по Даниилу, «не имеющее конца» — оказывается, будет так же невечно, как и Вавилон. Святой Иоанн, обожаемый за образ этого царства, как и Даниил, христианскими хилиастами, на деле выступает великим оппонентом Даниила и союзником всех тех, для кого немислим гомеостатический конец истории-внутри-истории.

будут кричать про «синэргетику», про «маленький и хрупкий мир», про «взаимозависимость на разделенной, но единой планете», про «выживание вместе» и вообще «Не надо раскачивать лодку!». А по другую руку прозвучит — «главное, чтобы нам-то на дожитие хватило», «в дальней перспективе все мертвецы». Среди двух огней, между *императивом выживания и императивом доживания*, вырывается ответ как бы невпопад: что взрывы над Нью-Йорком — это *телята бодались с дубом, отращая «десять рогов»*. Уж извините, какие ваши послышки — такой вам и аргумент.

В прогностическом армреслинге между эсхатологией и либерал-хилиазмом последний оказывается априорно недееспособен, ибо для него в принципе не существует будущего, кроме простейших экстраполяций. В принципе, хилиастские предсказания рассчитаны на самоисполнение, эсхатологические же программируются на самораскрытие. Для ситуации, в которой мы живем, — при начале стройки мировой универсальной державности — либерал-хилиастская апологетика не способна предложить ни среднесрочного, ни эпохального прогноза. В то же время эсхатологическое видение «Апокалипсиса» предлагает нам на завтра очень сильную эвристику, утверждающую, что подобное образование, в конечном счете, должно разделить судьбу былых квази-мировых империй меньшего размера по тем же причинам и с аналогичными последствиями, только помноженными на небывалые размеры универсального Вавилона<sup>22</sup>. Кстати говоря, подобные предвидения

---

<sup>22</sup> В протестантской и православной экзегетике «Апокалипсиса» популярна мысль, что, якобы, эпитет «Любодейца» применительно к Вавилону Иоанна должен указывать на церковное или, реже, государственное сообщество, отпавшее от христианства. Помимо работ Тихомирова см. на эту тему соответствующие разделы в книге «Апокалипсис» Святого Иоанна Богослова. Сборник святоотеческих богословских истолкований, составитель М.Барсов, Свято-Троицкая лавра, 2000 г. Было бы заманчиво, обобщив эти взгляды, предположить в этом образе предвидение мирового лидерства постхристианской цивилизации. Это открывало бы далее интересные возможности для сравнения трактовок Иоанном судеб универсального Вавилона и Лаодикийской церкви. Эти два образа принадлежат к разным смысловым блокам «Апокалипсиса», но — каждый в своем контексте — одинаково помещаются в канун Царства Зверя, «години искушений, которая придет на всю вселенную», и в обоих случаях «красуются» незрячей и глупой, обреченной уверенностью в своем навечно историческом торжестве. Похоже, универсальный Вавилон как вид государственности и социальности изоморфен — в другом коде — Лаодикии как состоянию Церкви. Впрочем, нельзя забывать, что Иоанн писал с оглядкой на стилистику Ветхого Завета, где памфлетные эпитеты «развратницы», «прелюбодейки» были применимы и к собственному языческому державам — скажем, у пророка Наума /3,4-6/ к Ассирии. Загадочный пассаж о семи головах «багряного зверя», на которые опирается великий Вави-

не чужды секулярной русской философии и русской литературе последнего десятилетия — я напомнил бы финальные страницы в «Глобальном человеке» Александра Зиновьева и, особенно, роман Юрия Козлова «Ночная охота». Но Иоанн с Патмоса нам говорит вещи гораздо более интересные — он смотрит в ту же сторону, но дальше. Где до наших самых-самых прозорливцев донесется разве лишь грохот будущей смуты да пыль рушимых городов — что заведомо не ново, — там у Иоанна проступают нехорошие контуры *новой цивилизационной попытки*: как вторичной, но более «одухотворенной» мировой сборки под восставшей из клоаки смут новой сакральной вертикалью. Сборки, которую Иоанн зовет «Царством Зверя». Такой сборки, что иных заставила бы глуповато пожалеть о старом добром универсальном Вавилоне с его «каким-то спокойным, животным падением из-за низших благ земных»<sup>23</sup>.

Мы прочтем у Тойнби, как христианство прорастало сквозь имперский Рим, как сквозь оползень ханьского Китая пробивались зеленые побеги махаяны. Можно бы добавить, как зороастризм и иудаизм Второзакония с их учениями о мессии были выработаны «внешним пролетариатом» Ассирио-Вавилонии. Что же нам, дивящимся свидетелям стройки планетарного империума, не призадуматься (раз Тойнби этого не сделал), какая мобилизующая вера может вырваться на его перифериях, в его трупобах, в галлюцинациях контрэлиты, в вестничестве желтых газет и желтых сайтов («в кабаках, переулках, извивах»), чтобы духовным негативом-постбытием встать над его развалинами?

## **P.S.**

После сентябрьских взрывов мне довелось прочесть в газетах несколько интересных заявлений иерархов и больших функционеров Русской Православной Церкви с главным мотивом — осуждением того, как любой народ пытается навязать другому свою веру, и хвалой мирному сосуществованию многих систем ценностей: религиозных,

---

лон, как о семи царях, из коих шесть уже были ко времени Иоанна, и о будущем звере — союзнике лжепророка как о «восьмом из числа семи» (17,9-П), мог бы выражать опору универсального Вавилона на практики дохристианской государственности — и попытку Царства Зверя провозгласить себя реинкарнацией одной из нехристианских великих держав. Опору для такого толкования дает мимоходом св. Андрей Кесарийский, указывая на практику метонимического обозначения царств фигурами их известных царей (*Толкование на Апокалипсис святого Андрея Кесарийского*. М., 2000. С.143).

<sup>23</sup> Тихомиров. Апокалипсическое учение, С.385.

мировоззренческих и культурных. Это выглядело трогательно и серьезно, хотя людям с неуместным чувством юмора могло бы привести на память козьма-прутковский совет «Коль ты татаринoм рожден, так будь татарин». Но как сугубо секулярный политолог я со всей почтительностью предположил бы, что голос Церкви мог бы обрести более определенную политическую силу, напоми она народу, что в сокровищнице ее Писания и Предания хранятся ответы на два вопроса:

1) Как в перспективе христианского «Апокалипсиса» видится воздвигающаяся мировая постхристианская мощь и как ее имя?

2) Как внутри данной традиции предстают силы, стремящиеся разбить эту мировую мощь, и какого миропорядка можно бы ждать на успешном исходе их революции?

Впрочем, менее всего я решился бы настаивать на том, что Церковь нуждается в какой-либо политической силе.

### **АРМАГЕДДОН. ГОРЫ МАКЕДОНСКИЕ**

Если изложенное в предыдущей части на что-либо бросает свет, то в этом свете захватывающий интерес для более подробного изучения выделенной эвристики могла бы представлять глава 16 «Апокалипсиса», предшествующая рассказу о гибели универсального Вавилона. Она обрисовывает цепь свершений, которые должны будут в истории подводить к этому коллапсу. И интересна она, в частности, тем, что в ней появляется, тревожа воображение как христиан, так и постхристиан, очень знакомое слово — «Армагеддон». С чем оно связано для нас? Я лишаю слова те «простые души», которые помнят лишь: Армагеддон — нечто «апокалиптическое», а значит «катастрофическое». И которые ляпают в газетах по случаю где-нибудь пролитой нефти: «экологический Армагеддон».

Если говорить об образах «Армагеддона» у людей «начитанных», то таких базисных образов — два, и они сильно разнятся, хотя восходят к одному и тому же эпизоду из 16 главы «Апокалипсиса». Я хочу обсудить эти образы. Я покажу, что из того же контекста с большим правом выводится третий образ — потенциально сильнейшее основание православной политики или, если угодно, политического православия, — будь такая политика и такое православие сколько-нибудь мыслимы в новом веке.

Всякий, соприкасавшийся хоть с западным киноискусством, хоть с брошюрами иеговистов, хоть с фэнтези экс-россиянина Ника Перумо-

ва, знает идею Армагеддона как большой потасовки добра со злом, победной для добра. Хотя, скажем, для иеговистов так называется война, которую начнет «сын Бога Иеговы, назначенный Царь» против «системы Сатаны», а президент США Теодор Рузвельт называл «своим Армагеддоном» любое судьбоносное для себя политическое игрище<sup>24</sup> — и там и тут единый базисный образ, который я обозначу как «Армагеддон-1».

С другой стороны, и в массовых представлениях, и в некоторых комментариях к Апокалипсису мы находим «Армагеддон-2» — образ дикой и по сути абсурдной бойни народов: из примеров самых известных напомним новеллу Рея Брэдбери «Уснувший в Армагеддоне» или проповеди Билли Грэма середины 1980-х, где под этим названием предстал грядущий ядерный коллапс, который могло бы остановить лишь прямое вмешательство Иисуса<sup>25</sup>.

Контекст Апокалипсиса, проросший обоими этими образами, входит в главу, рисующую излияние на Землю «семи чаш гнева Божия» и предваряющую рассказ о суде над универсальным Вавилоном. Из первых строк этой главы видно, что излияния оных чаш начнутся, когда люди станут принимать начертания зверя и чтить его образ. Христиане, верящие, что с нами ничего подобного не происходит, могут спокойно трактовать главу 16 как относящуюся к неопределенно далекому будущему. При этом все возможные попадания пророка в нашу современность должны считаться далекими резонансами предвосхищаемых свершений, подобно тому как во множестве исторических фигур в разные времена усматривался ответ персоны антихриста — строителя Царства Зверя.

Итак, о семи чашах. Пролитие первых пяти из них выражается в картинах порчи мировой среды, частично взятых из рассказа Пятикнижия о казнях египетских — язвы, замутненные воды, мгла над миром, — но дополненных мотивом нарастающего зноя (ст. 8-9). Затем идет часть, которая важна для нас: *«12. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат; и высохла в ней вода, чтобы готов был путь*

---

<sup>24</sup> The Interpreter's Bible. V.12.Nashville,1992. P. 486.

<sup>25</sup> Грэм Б. *Четыре всадника* //Откровение Иоанна Богослова, б.м., 1986. С.185-188; там же, с.185 — о глобальной войне как итоге «бесовского правления и порожденных им напряжений». Можно добавить, что идея «безблагодатного Армагеддона», несущего только гибель, а не победу добра, старше эпохи мировых войн и ядерной опасности. В частности она развернуто присутствует в известной книге Roberts R. *Thirteen Lectures on the Apocalypse*, вышедшей первым изданием в 1880 г.



царям от восхода солнечного. 13. И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам; 14. это — бесовские духи, наводящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной (дословно — «всей ойкумены», — В.Ц.), чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. — 15. Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. — 16. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон (в греческих списках обычно — «Хармагедон» с одним «д», в некоторых также «Магедон» — В.Ц.). — 17. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух; и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось! 18. И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор как люди на земле. Такое землетрясение! Такое великое! 19. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий вспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его. 20. И всякий остров убежал, и гор не стало. 21. И град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града...» Замечу, что греческое слово *сейсмос* из ст. 18 может значить не только «землетрясение», но также «волнение» или «буря» — именно его использует Евангелие от Матфея, 8,34, говоря о буре, застигшей Христа с апостолами на Генисаретском озере.

Как видим, все это — вместе с началом принятия «начертаний Зверя» — происходит *еще* не в Царстве Зверя, но, скорее всего, при расцвете универсального Вавилона. Непосредственно эпизод с Армагеддоном начинается с неких наитий от дьявола, зверя и лжепророка, толкающих правителей ойкумены на военные действия в срок, названный «оный великий день Бога Вседержителя». Далее, когда пророк предвидит, что место войны по-еврейски будет зваться Армагеддон или Армагедон, с одним «д», неведомый субъект, возбуждающий ее, фигурирует в единственном числе. Под ним можно разуместь либо дьявола, либо даже карающий промысел Бога, чей голос вдруг грозно вторгается с предупреждением в картину, рисуемую Иоанном. Во всяком случае, пресловутые зверь и лжепророк тут — скорее виды инспираций, возбуждающих хозяев мира, но не самостоятельные персоны,

Сочетание в этом темном эпизоде мотивов «сбора на битву» и «великого дня Бога» как раз и породило идею, которую я назвал «Армагеддон-1». Многие оказались склонны здесь видеть дублет к иным местам Апокалипсиса — то ли к гл. 19, 11-20, где воля Христа сокрушает

силы зверя и лжепророка, воцарившихся после падения универсального Вавилона, то ли к гл. 20, 7-10, где огонь с неба жжет народы Гога и Магога, наступающие на тысячелетнее царство святых. Именно по этим аналогиям, и больше ни по чему, сцену в Армагеддоне поняли как битву, где мировое зло погибнет под ударами добра.

Так св. Андрей Кесарийский, рассуждая о том, как *«совершаемое демонами лжезнамение возбудит уверовавших в него на брань против великого и пресветлого дня Бога Судии живых и мертвых»*, добавлял, мол, *«в оный день богоборцы, будучи совершенно побеждены, бесполезно вослачут, оплакивая прежние заблуждения»*<sup>26</sup>. А на западе, начиная со св. Амвросия (IV в.) через писавших в раннее Средневековье Примасия (VI в.) и Беду Достопочтенного (VIII в.) к авторам акматического для феодальной Европы XII в. св. Бруно и св. Мартину, также аббатам Ричарду и Руперту, — еще определеннее проходит осмысление Армагеддона как места поражения неправедных в день отождествляемый со днем восстания из мертвых<sup>27</sup>.

Странным образом этих толкователей не насторожило хотя бы то, что в видении о семи чашах эпизод Армагеддона, пребывая под знаком шестой чаши, явно предшествует суду над Вавилоном, подпадающему под седьмую чашу. Поэтому не может быть, чтобы на взгляд пророка события в Армагеддоне отождествлялись с разрушением Царства Зверя, каковое должно восторжествовать на земле через гибель универсального Вавилона в «восстании десяти рогов». Тем более нельзя приравнивать сцену в Армагеддоне к истреблению народов, теснящих тысячелетнее царство праведных, — иначе оказалось бы, что чаши Божьего гнева, насылающие язвы, мглу и зной, изливались бы в эпоху «царствования святых», когда Сатана предполагается обузданным в его бездне (20, 1-6). Пророчество Иоанна сохраняет внутреннюю связность, повторяю, лишь в том случае, если синхронизировать эпизод Армагеддона либо с восхождением, либо с господством универсального Вавилона, пышущего лживыми претензиями на «конец истории», на историческую неуязвимость.

---

<sup>26</sup> *Толкование на Апокалипсис св. Андрея Кесарийского*. М., 2000, с. 134.

<sup>27</sup> См эти комментарии в издании *Patrologise Cursus Completus. Series Latina*. Ed. J.-P. Migne. В частности, комментарий Амвросия — Vol. 17 P. 906-908; Примасия — Vol. 68. P. 896; Беды — Vol. 95. P. 179-182; св. Бруно — Vol. 165. P. 694-695; аббата Руперта — vol. 169. P. 1123-1130; аббата Ричарда — vol. 196. P. 829-830; св. Мартина — vol. 209. P. 382-384.

Кроме того, будь Армагеддон местом победы над силами зла, кто бы представлял в этой битве добро? Где упоминание о победителях? На западе св. Амвросий с его последователями пытались противопоставить нечестивым воителям в Армагеддоне «царей от восхода солнечного», полагая в них воинство Христово<sup>28</sup>. Напротив, в Византии св. Андрей понимал под «уготовлением пути» этим царям — раскрепощенные карающим ангелом азиатского натиска на запад, *«проход языческим царям для истребления друг друга и прочих людей»*. В дальнейшем сам Запад нашел такое понимание намного более достоверным. Например, в XVI в. остроумный протестант Давид Хитрей, обсуждая движение с востока, назначенное смести католический Вавилон и явно имея в виду Оттоманскую Порту, связал мотив «осушения Вавилона» с античными рассказами об отводе русла этой реки осаждавшим древний Вавилон персидским воинством Кира. «Евфрат иссох» — звучит для Хитрея символом открытости нового Вавилона восточной агрессии<sup>29</sup>. В XX в. на изломе модерна Поль Клодель уверенно усмотрит в этих строках Иоанна предвещание будущего заповенения западнохристианского мира восточными учениями — включая буддизм, ислам и наследующий еврейскому хилиазму большевистский коммунизм<sup>30</sup>.

Следует признать, что в открытую «Апокалипсис» никак не связывает с Армагеддоном победы воинов Бога, хотя голос Божий грозен над затевающими в этом месте войну мироправителями. Понятным образом отсюда мог развиваться мотив, обозначенный как «Армагеддон-2». Он явствен даже у св. Андрея, который рядом с домыслом о «совершенной победе» над «богоборцами» тут же пишет: *«Армагеддон означает рассечение или убийство. В этом, полагаем, месте собранные и предводимые дьяволом народы будут избиты, ибо он утешается кровью человеческою»*<sup>31</sup>. Так что же знаменует Армагеддон: торжество Бога или утеху дьявола? Психологически понятно, что в иных комментариях появляются странные гибриды этих двух идей, фантазии в том роде, что, дескать, народы-то встанут на борьбу для своих политических целей, но поднимающий их дьявол будет иметь в виду использовать их

---

<sup>28</sup> От этой установки отходит в своем парадоксальном осмыслении шотландец аббат Ричард, для которого Евфрат — райская река, несущая воду крещения, а «цари, уходящие от восхода солнечного» — бесы, коим с иссяканием этой благой воды открывается путь в души ложных христиан.

<sup>29</sup> Explicatio Apocalypsis perspicua et brevis, tradita a Davide Chytraeo. Vitebergae, 1564. P.308.

<sup>30</sup> Claudel P. *Introduction a l'Apocalypse*. P., 1946. P.57 sq.

<sup>31</sup> Толкование на Апокалипсис, там же.

против Христа и т.п.<sup>32</sup>. Александр Мень в своей книге «Читая Апокалипсис» от мыслей о некоей вражде двух сверхдержав, моделируемой по аналогии с противостоянием Рима и Парфии, вдруг произвольно перепрыгивает к Армагеддону как все той же «последней битве в истории», окончательной «схватке добра со злом» — что звучит забавно уже потому, что никак не может считаться «последней» битва, за которой мир еще ждут ужасы «восстания десяти рогов»...<sup>33</sup>

Похоже, корректнее всего оценил место сцены Армагеддона в сюжете «Апокалипсиса» Сергей Булгаков, написав, что предрекаемая брань «в *оний великий день Бога Вседержителя*» — «еще не есть день *Страшного Суда Божия*», но одно из потрясений и мировых катастроф»<sup>34</sup>, причем, по-видимому, занимающее особое место в цепи событий, ведущих к краху универсального Вавилона и к попытке обосновать на новой религиозности Царство Зверя. То есть к кульминации всей политической линии «Апокалипсиса».

Это место должно как-то определяться стыковкой событий в Армагеддоне с обозначившимся путем на запад «царям от восхода солнечного». На правах восстания семи чаш эти два свершения должны располагаться между явственной порчей мировой среды, включая нарастание зноя, и бедствиями в воздухе, которые бы специфически знаменовались «молниями, громами и голосами». На самом деле любое намерение объявить пророчество об Армагеддоне исполненным может уважаться лишь в том случае, если оно опирается на распознавание в истории некоего подобия этой событийной цепи. Но этого мало: эпизод в Армагеддоне характеризуется не только этим внешним окружением, но и собственной внутренней структурой. Ее составляют два повествовательных мотива — «некая совместная военная акция правительств мира» и «Божье осуждение этой акции как навеянной демоническими силами», — а кроме того, вводимые привязки этих мотивов во времени к «оному великому дню Бога Вседержителя» и в пространстве к «месту, называемому по-еврейски Армагед/д/он (или просто Магед/д/он)». Понятно, что именно собрание мирового сообщества для войны и две обозначенные привязки должны быть распознаны, чтобы можно было объявить это пророчество сбывшимся. Но также очевид-

---

<sup>32</sup> Толкование новозаветных посланий и Книги Откровения. Wheaton (Illinois), Slavic Gospel Association, 1992. С. 570 сл.

<sup>33</sup> Мень А. *Читая Апокалипсис*. М., 2000, С.162-163.

<sup>34</sup> Булгаков С. *Апокалипсис Иоанна (Опыт догматического истолкования)* М., 1991, С.141 сл.

но, что сделать такой шаг был бы в состоянии только субъект, на взгляд которого были бы достоверны и привязки, и привносимый дополнительный мотив Божьего осуждения. И напротив, в осуществление предсказания не будет склонен поверить тот, для кого привязки будут сомнительны, а мотив осуждения — неприемлем.

Анализируя эти привязки, займемся сперва словами об «оном великом дне Бога». Мы уже видели причины, делающие невозможным обычное для многих былых книжников приравнение этого дня к дню Христова Пришествия и Страшного Суда. Есть ли другое решение? Можно было бы обратить внимание на то, что выражение «великий день», по-гречески *мегале геме́ра*, используемое в Евангелиях как обозначение праздничного дня (ср. Иоан. 19,31 — «та суббота была великий день»), затем специализируется в языке христианской церкви в наименование дней Пасхи. Такое словопотребление широко известно из текстов Григория Богослова, постоянно твердящего о Пасхе как о «величайшем из дней» (Слово 45-е), «дне великом», «дне светозарном и великом» («*Песня Христу после безмолвия в Пасху*»)<sup>35</sup>. Однако наблюдается оно уже в канонах Антиохийского собора 341 г., каковые в специальной литературе расцениваются как «*составляющие лишь более подробное развитие правил апостольских*»<sup>36</sup>. От греческой церкви такое выражение переняли славяне: болгары, у которых Пасха так и зовется Великден, сербы, прилагающие название Великидани ко всей пасхальной неделе. То же в древнерусском языке, ибо в 18 в. Афанасий Никитин на чужбине сетовал: «.. *праздников христианских, ни Велика дня ни Рождества Христова не ведаю*». Если это поистине древний оборот, восходящий к первым христианским векам, — а полагать так, видимо, есть основания, — то не проступает ли в пророчестве о войне, возбуждаемой демонами в «онный великий день Бога» (по св. Андрею, в «*брани против великого и пресветлого дня Бога Судии*»), именно мотив чьего-то сознательного покушения на Пасху как праздник, отсылающий к стержневому событию христианской истории?

Теперь обратимся собственно к названию Армагеддона. Для него ранние средневековые экзегеты предлагали множество псевдоеврейских разъяснений. Но уже св. Бруно здесь распознал передачу хорошо известного по Ветхому завету топонима «Мегиддо», в греческих отра-

<sup>35</sup> Григорий Богослов, *Собрание творений*. М., 2000.- Т.1.С.804; Т.2. С. 117 сл

<sup>36</sup> См.: Lampe W.H. *A Greek Patristic Lexicon*. Oxford 1991.Р.606; *Полный православный богословский энциклопедический словарь*. Т 1. М., 1991. С. 183.

жениях «Магеддо», «Магеддон»<sup>37</sup>. Позднейшая библеистика приняла такое сближение. При этом, расценивая палестинский Мегиддо по преимуществу как место побед Израиля над языческими царями, она произвольно подтянула эту этимологию под свою излюбленную идею Армагеддона — поля «последней битвы», «великой победы над злом».

Правда, начальный элемент *Ар-*, отражая еврейское *хар-* «гора», у части эрудитов вызвал смущение: Ветхий завет, зная в Палестине город Мегиддо, а также Мегиддонские воды (Судей, 5,19) и Мегиддонскую равнину (2 Паралипоменон 35,22), вовсе не ведает «Мегиддонской горы». Остается лишь строить догадки, не было ли название города перенесено на некую ближнюю гору<sup>38</sup>. Не говоря уже о том, что гора в Палестине — странный выбор поля сражения, поэтому очень курьезны главы из романа Льва Тихомирова «В последние дни», где антихрист иступленно загоняет все свое воинство на гору Армагеддон, расценив ее как место назначенной ему Христом дуэли.

Но даже отвлекшись от странности «горной» частицы и доверясь тому, что провидец почему-то отсылал читателей к истории палестинского Мегидо, — впрямь ли такая отсылка должна была внушать победные эмоции христианам, сведущим в Ветхом завете? Такова ли смысловая и эмоциональная аура этого местного названия? Да, известно, что на заре еврейской истории при обживании Палестины беглецами из Египта здесь ими была одержана победа над ханаанеянами, о чем сохранились строки в известной песни пророчицы Деборы из Книги Судей, 5,19: «*Пришли цари сразились, тогда сразились цари ханаанские у вод Мегиддонских, но не получили нимало серебра*». Но ведь намного известней была долина Мегиддонская в ином смысле — как много раз помянутое в Ветхом Завете место страшной катастрофы Иудеи. Катастрофы, разыгравшейся, когда в столкновении с войском египетского фараона погиб праведный царь Иосия, как бы попав в жернова не нужной ему, чужой для него войны между Ассирией и Египтом (4 Царств 23, 29; 2 Паралипоменон 35, 22; 2 Ездры, 29-31). После этого поражения Иудея с Ие-русалимом подпали под власть Египта, и наследник Иосии был угнан в египетский плен. А вскоре Иудею как доминион Египта разорил царь Вавилона и Ассирии Навуходоносор — и теперь уже всей массой евреи пережили гнет вавилонского плена.

<sup>37</sup> См. толкование св. Бруно в *Patrologiae Cursus Completus. Series Latini. Vol. 165.P.695.*

<sup>38</sup> *Theological Dictionary of the New Testament.* By G. Kittel. Vol.6 *Grand Rapids* (Michigan), 1985. P. 468; Boring M.E. *Revelation.* Louisville, 1989. P.175-178; *The Interpreter's Dictionary of the Bible.* Vol.1. *Kashville*, 1991 P.226.

Плачь об убитом Иосии надолго запомнился составителям Ветхого Завета, и пророк Захария (12,10) сравнивал с этим плачем будущую скорбь раскаявшихся евреев по убитому ими Мессии.

Потому название Армагеддона в части Апокалипсиса, заводящей речь об уготованном «пути царям от восхода солнечного» и об уделе Вавилона — пить чашу Божьего гнева, могло приводить на память не так даже языческих царей, кои «сразились, но не получили нимало се-ребра», как Иосию с его воинами, зажатых между вздыбившимися мировыми силами и павших «не на своей» войне. В соединении с мотивом Пасхи — «Великого Дня Бога Вседержителя», праздника, также и у христиан постоянно напоминающего об истории исхода евреев из египетского рабства, напоминание о Мегиддо, месте сокрушения Иудеи фараоновым воинством, о начале второго египетского господства, переходящего в плен вавилонский, могла бы звучать особенно мрачно — вызовом Пасхе, празднику Исхода, «бранью против великого и пресветлого дня Бога Судии» (св. Андрей), грозящей перечеркнуть Исход. Но вместе и подготовкой вступающей непосредственно следом темы суда над Вавилоном.

Нет, смысловое поле, окружавшее странную форму «Ар-Магеддон», не несло обетования победы, — но утверждало осужденность «царей всей ойкумены» в том смысле, как о том писал в XX в. русский эмигрантский толкователь Апокалипсиса П.Иванов: «*Все цари вселенной (правительства), как бы побуждаемые нечистым духом, обнаружат себя во всей срамоте своего духовного ничтожества и тем сами себя убьют*»<sup>39</sup>. Или, как медитировал в XVI в., изошренно играя на еврейских созвучиях, Давид Хитрей: «*Армагеддон — значит: проклятые и обреченные воители, отверженные воители, обреченные нести анафему и сгинуть до конца. Слово, образованное от харем, что означает «неискупимо проклятый, осужденный на гибельное истребление дотла, нечистый настолько, что не подобает его касаться и не должно о нем молиться».* А гад обозначает препоясанного для битвы, и гедуд — войско»<sup>40</sup>.

И, наконец, внутри «Апокалипсиса» эпизод с Армагеддоном обнаруживает одну впечатляющую текстовую переключку, которая может быть использована при вменении ему историко-политического смысла. Бросается в глаза исключительное сходства между предупреждением

<sup>39</sup> Иванов П. *Тайна святых. Введение в Апокалипсис*. Париж, umca-Press, T.I.1949. С.215.

<sup>40</sup> Explicatio Apocalypsis... P.309.

Бога «царям ойкумены» в данном эпизоде — «*Се, гряду как тать; блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоту его*»<sup>41</sup>, — с увещанием к осуждаемой Лаодикийской церкви (3,18): «*Советую тебе купить у меня... белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть*». Если этот выпи-рающий параллелизм двух пассажей откровения акцентирован про-видцем сознательно, — то следовало бы думать, что осуждение военно-го мероприятия в Армагеддоне как-то стоит в связи с обличением лаодикийского ни-горячего-ни-холодного, убежденного в своем «непрехо-дящем» богатстве и не способного видеть своей ущербности постхри-стианства.

Таковы смысловые параметры, которые позволяют, опираясь на текст Апокалипсиса, впечатляюще постулировать третий образ Армагеддона, отличный и от «Армагеддона-1» — «боевого торжества над злом» и от «Армагеддона-2» — «истребительной бойни народов». Более того, описанные параметры могли бы, при наличии на то политиче-ской готовности, подтолкнуть к провозглашению пророчества о вой-не «царей ойкумены» в Армагеддоне — осуществившимся у нас на гла-зах.

В герменевтике «Апокалипсиса» не нова мысль о том, что напоми-нанием о Мегиддо Иоанн мог «в таинственном смысле» выражать про-зрение в судьбы некоего пространства, где в особо значимый момент правители земли развяжут агрессию<sup>42</sup>. Все же сказанное выше, думает-ся, могло бы неожиданно актуа-лизировать казалось бы мелкий факт — появление в некоторых очень ранних переводах Апокалипсиса на-звания Армагеддона в написании через *к*, а не через *г*. Так, в коптских рукописях стоит *Армакедон* или *Эрмакедон*, в древнеармянских *Арма-*

<sup>41</sup> Среди многочисленных предупреждений и призывов к покаянию, которыми полон «Апокалипсис», это — похоже, последнее. Впечатление таково, что голос, говорящий «Свершилось!» с излиянием на воздух седьмой чаши, констатирует наступающую необратимость событийного механизма, готовящего суд и расправу над универсаль-ным Вавилоном, в более дальней перспективе новой религиозно-политической орга-низации мира в Царстве Зверя. Я не знаю, обращал ли кто-нибудь из комментаторов внимание на то, что эпизод в Армагеддоне — по существу, последний случай, где «цари ойкумены» имеют возможность правильным выбором приостановить сюжет-ную машину Суда, но они оказываются не в состоянии сделать этот выбор. Подоб-ная функция эпизода решительно противоречит его пониманию в духе «Армагеддо-на-1» и, по правде, плохо согласуется с версией «Армагеддона-2».

<sup>42</sup> *Апокалипсис Святого Иоанна Богослова. Сборник святоотеческих богословских истол-кований*. Составитель М.Барсов. Свято-Троицкая лавра, 2000, С.212 сл.



*кетон* или *Гармакетон*<sup>43</sup>. Эти архаичные случаи настораживают своим созвучием с названием области на севере Балкан — *Македония*, по-еврейски Македон или Мокедон. Во времена Иоанна так звалась обширная римская провинция с многочисленными иудейскими и раннехристианскими общинами<sup>44</sup>. В основу же ее было положено одноименное эллинистическое царство, каковое в IV в. до н.э. включало, если обратиться к современной карте, значительную часть нынешней Северной Греции и земли Республики Македония, упираясь в сегодняшний автономный край Косово (тогда область Дардания) как в пылхающее военными конфликтами приграничье, объект карательных экспедиций македонских царей.

Разительное сходство звучания /X/ар-Магед/д/он «Гора-Магед/д/он», особенно в коптских и армянских версиях вроде *Ар-Македон* с названием покрытой горами Македонии, собственно, значившим «Высокая земля», «Высокогорный край»<sup>45</sup>, могло бы — особенно при учете мегиддонских мотивов «гибели царей» и «сокрушения народа Божьего в жерновах языческих империй» — вести к прямому наложению пророчества об Армагеддоне на многовековую историю земель былой великой Македонии, особенно же ее северо-западной оконечности. Этот край слишком хорошо известен крушением на Косовом поле в 1389 г. балканского христианства под напором ислама в битве, унесшей жизнь султана Мурада и князя Лазаря Сербского. Реже вспоминают «второе Косово» 1448 г., разгром Мурадом II венгерского войска Яноша Хуньяди, развязавший султану руки для окончательного наступления на Константинополь. Если названные события сделали этот край символом борьбы и последующего почти 500-летнего османского пленения православия на Балканах, то конец XX — начало XXI в. знаменовало «третье Косово», уничтожение суверенитета ожившей в новейшее время Сербии силами воздвигающейся планетарно-универсалистской державности. Формально «мировоецивилизованное» под началом своего американского лидера выдвинулось на защиту косовских албанцев — мусульманского авангарда в Европе при живой поддержке исламских правительств и движений, включая, по некоторым сведениям, отряды Усамы бин Ладена. Таким

<sup>43</sup> *The Interpreter's Dictionary of the Bible*. Vol.1... P. 226.; Horner G. *The Coptic Version of the New Testament*. Vol. VII. Osnabruck, 1969. P. 441.

<sup>44</sup> *Еврейская энциклопедия*. Т.10.М., 1991. С.537.

<sup>45</sup> Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. *Гомер и история Восточного Средиземноморья*. М., 1996, С. 261.

образом, «третье Косово», получившее продолжение в 2000-2001 г. в поддержке консолидированным Западом албанского наступления на Республику Македония, оказалось акцией по деструкции пережитков православной государственности на Адриатике совместными действиями тех самых мировых сил, которым через считанные годы, даже месяцы предстояло схлестнуться в исторически беспрецедентной схватке, начавшейся в нью-йоркском небе и продлившейся на Среднем Востоке,

Напомню один момент, который у многих как-то быстро вытерся из памяти. В отличие от войны в Персидском заливе, «третье Косово» по замыслам его проектировщиков обнаружило отчетливую *геокультурную* окрашенность<sup>46</sup>. Хотя Запад шантажировал Милошевича ультиматумами в течение почти всего 1998-го г., — но бомбардировки начались в 1999-м и не в январе, не в феврале и не в мае, а строго в конце марта (точнее 25-го) в непосредственном приближении Великих дней православной Пасхи (2-го апреля, предпасхальная неделя с 5-го). По газетам того года прошли снимки американских снарядов, летевших в сербов, неся надпись «Счастливой Пасхи!». Несомненно, мы в прошлом найдем массу случаев войн, перекрывавшейся с большими религиозными праздниками. Но все дело в том, что здесь это не было ни случайностью, ни проявлением милитарного равнодушия к культурно-религиозным «побочностям», ни инерцией военно-оперативного процесса, как вышло с бомбардировками талибских районов в рамазан 2001 г.: поход «нового мирового порядка» в подыгрывание исламскому анклаву, взрывававшему сербское государство с его македонского юга, был заведомо спланирован таким образом, чтобы не только для сербов, но и особенно в глазах подpiraемых албанцев представлять ободряющим жестом — поруганием православного празднования Пасхи, *«бранью против великого и пресветлого дня Бога Судии»*.

По следам югославских дел 1999-го г. один из самых ярких русских политологов Михаил Ильин писал о разрушении как такового института национального суверенитета — признаваемого государствами друг за другом «монопольного права на использование принуждающего насилия в пределах своих территорий» — института, бывшего

---

<sup>46</sup> Я всегда использую термин геокультура, запущенный Эмануэлем Валлерстайном, в строго определенном смысле политического проектирования и политического оперирования, основанного на мобилизации тех или иных культурных признаков, позволяющих субъекту по-разному выделять в мире «свое» и «чужое», «своих» — на данный момент — и «чужих».

многовековой основой международного права и инструментом, позволяющим государству легитимно обуздывать возникающие в его пределах импульсы группового насилия. В «третьем Косово» Ильин видел символ туч, собирающихся над всем миропорядком модерна — и однако же, как хороший западник, выражал надежду, что фундамент этого миропорядка еще не сокрушен необратимо и что «международному сообществу... удастся найти силы для его восстановления»<sup>47</sup>. Процессы последних лет перечеркнули подобную надежду, доказывая большую реалистичность оценок другого нашего эксперта — Александра Неклессы. Последний пишет о воздвижении на постхристианских и расстрепанных посттрадиционных пространствах планеты «четвертого Рима», который, основываясь на мифологии «порядка из хаоса» и самоценности геэкономических игр с ресурсными потоками, явственно выпадает из державной вереницы христианских «Римов», возвращаясь к образу языческого империализма<sup>48</sup>. Не со всеми выкладками Неклессы я согласен, но в очерченной ее части онтология этого автора для меня неоспорима. И «третье Косово» для меня исторически важнее осенней драмы нынешнего года просто потому, что эта драма могла развернуться только в «мире после Косово»<sup>49</sup>.

Мы живем при начале формирования «четвертого Рима», он же универсальный Вавилон, и мы не ведаем, сколько времени уйдет на его имперский цикл. При нас формирование открытого пространства циркуляции товаров и услуг отозвалось встречным стремлением обобщить в планетарном размахе, перешагивая все суверенные границы прежних веков, пространство применения приватного террористического насилия. Это, в своем роде, «тень Вавилона». Закономерным

---

<sup>47</sup> Ильин М.В. *Война в Югославии: от жертвоприношения Сербии к самоубийству Запада?* // Полис, 1999, №2. С.110-113.

<sup>48</sup> Неклесса А. И. *Эпилог истории* // Глобальное сообщество: новая система координат (подходы к проблеме). С-Пб., 2000, С.239.

<sup>49</sup> К осмыслению наличного мира именно в таком его качестве см. прекрасный реферативный сборник: *Мир после Косово*. М.: ИНИОН, 2001. Должен сказать, что я полагаю крайней глупостью — связывать какую-либо серьезную мировую альтернативу с «Европой без США». В системе нового мирового порядка консолидированной Европе принадлежит такая же роль, какую исполняла муссолиниевская Италия в системе Третьего Рейха: шакалья роль крупнейшего сателлита с условно выкроенной ему «особой сферой интересов». Пан-Европа как мировой центр была бы возможна лишь после «облома» США — чем черт не шутит? Но в этом случае «мировой порядок» успевшей американизироваться Европы будет не альтернативой американскому, а его переизданием — сомнительно, чтобы очень дополненным и едва ли сильно улучшенным.

ответом мирового Центра станет обращение планеты в единое правовое поле, где «четвертый Рим» закрепит за собою право как осуществлять при необходимости в любой точке акты принуждающего имперского насилия, так и выдавать ярлыки на насилие импонирующим ему вассальным субъектам. Итак, с самого начала «четвертого Рима» обозначается работа противодействующих ему факторов и агентов деструкции, которых ему не избыть, пока они не завершат этой работы в увенчивающем ее «восстании десяти рогов». Мы живем в становящемся политическом мире, который рано или поздно будет уничтожен.

Сейчас российские элиты (этот наш бомонд, иначе говоря — люди кормушки) ошалело гонят — успеть в последний вагон отходящего поезда «мировой цивилизации», хамовато отмахиваясь от любых предупреждений насчет того, что поезд движется по заминированной ветке. При таком состоянии элитных мозгов в них просто не может зафиксироваться разительное событийное сцепление грани столетий:

– определившийся натиск на коронные земли мирового Центра «с восхода солнечного»;

– идиотический ответ на этот натиск, выданный «царями ойкумены», когда они в порядке большого улещивания ислама развернули в когдатюшних македонских и дарданских горах «брань против великого дня Бога Вседержителя»;

– наконец, полученное «царями ойкумены» первое воздаяние с «чашей гнева в воздухе» и грянувшими «молниями, громами и голосами»<sup>50</sup>.

В России нет политиков, которые могли бы опереть на эту событийную цепочку свой стратегический диагноз наличного времени мира. Сколь бы ни расшаркивались наши лидеры перед православием — сейчас оно для них как геокультурный индикатор совершенно нерелевантно. Трактую геокультуру как форму политического и особенно геополитического проектирования, основанную на неких формах культурного различия «своего» от «чужого», я говорю вовсе не о том, чтобы повсюду на свете православных принимать за «своих». Понятно,

---

<sup>50</sup> Я думаю, что к Иоаннову мотиву «града, величиною с талант, падающего с неба на людей» может восходить как современный «астероидный психоз» на Западе, так и пророчество бен Ладена о «близящемся камнепаде гнева на головы американцев», какими бы промежуточными мусульманскими изводами оно ни было опосредовано. (Мегapolis-экспресс, 26.11.2001.) Если, конечно, это пророчество вообще не фальшивка, в конечном счете отправляющаяся от того же смыслопорождающего Иоаннова прообраза.

какие из этого могут получиться дурости: достаточно взглянуть на русофобство православной Грузии при Гамсахурдиа и Шеварднадзе. Я говорю о православной сюжетике как о концептуальной лозе в руке политика-лозоходца, — совокупности эвристик, которые позволяют выделить в совершающемся обращенные именно к нему, политику России, аспекты и моменты. Особенно если в обозримое время откроется возможность отнести к исполнившемуся последующую часть той же событийной цепочки с «великим потрясением», «падением языческих городов», «разделением великого города на трое». Я не исключаю, что следующая политическая генерация России могла бы выделить внутри себя весомую группу, готовую на уровне внутреннего пользования довериться ритму «Апокалипсиса» как Книги Раскрытия, а не как Книги Конца. Я допускаю, что осмысление Армагеддона гор Македонских как Армагеддона Иоаннова может геокультурно востребоваться, когда обстоятельства сделали бы предпочтительным отцепить российский вагон от идущего к точке взрыва поезда «мировой цивилизации».

При этом восприятие в России третьего образа Армагеддона может состояться в двух ключах. Либо Армагеддон — уникальное свершение в намечающемся цикле универсального Вавилона: тогда происшедшее в 1999-м должно преподноситься как прямое исполнение пророчества, вместе со смысловым зарядом, упакованным в «мегиддонских» аллюзиях. Либо, как и применительно к «предтечам антихриста», говорить следует об армагеддонской событийной парадигме, предвосхищающей и предрекающей свершения, которыми должны будут отметиться заключительные сроки универсального Вавилона. В этом случае «третье Косово» для нас бесценно тем, что последовательно конкретизирует будущий, «тот самый», Армагеддон как неравную войну, где побежденные остаются, по вере и делам их, просто людьми, со всем множеством человеческих шансов этого и того света — ни больше, ни меньше, — а иллюзорно-победоносные отродья лаодикийского постхристианства утверждают в качестве *«проклятых и обреченных воителей, осужденных на гибельное истребление дотла, ... нечистых настолько, что не подобает их касаться и не должно о них молиться»*.

Как бы ни было, а в любом из двух мыслимых ключей этот образ Армагеддона должен был бы опереться на матричный «мегиддонский» прототип народа Божьего, окруженного чужой для него войной вздыбившихся друг на друга темных сверхмасс — старого Египта и нового Вавилона.

Впрочем, может, и хорошо, что при имеющемся отношении между православием и властью в России — ни у кого из наших славных радикалов не достало ни наглости, ни образования здесь и сейчас засадить этот образ.

Еще раз перечитывая слова о том, как *«каждый остров убежал, и гор не стало»*, почему-то вдруг захотел взглянуть в греческий подлинник — и подивился подбору глаголов, позволяющему понять это место еще и так: *«И всякий остров спасся, а гор не нашлось»*. Не найти прибежища на бывших мировых политических вершинах, но бывает спасение на островах — в дни, когда над инженерами «конца истории» раздаются неоспоримые слова «Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время!».

### PS.

Статья была уже окончена, когда в одном из осенних номеров *«Мегаполис-экспресса»* я прочел слова журналиста Николая Троицкого: *«Противно все время торчат между молотом и наковальней, между джихадом и крестовым походом (ух, и крестоносцы! — В.Ц.), между бандой вооруженных до зубов дикарей и бандой цивилизованных отморозков, готовых камня на камне не оставить в борьбе за новый мировой порядок»*. Психологически это очень точно и почти то самое, о чем я пишу. Само по себе это «противно», так естественно вырывающееся при взгляде на постхристианско-посттрадиционалистскую (в терминах Неклессы) кровавую муторошь может быть даже и неплохим стимулом к прорезанию подобия нового сознания у части русских, — заболтавшихся между дурным «алканием» хоть какой новой «великой идеи» и ощерившимся нежеланием помирать ни за какую великую идею *«в этом мире, кишашем богами»*. Главное, что помирать придется все равно, и дело вовсе не в том, как бы жизнь положить за веру, а возможна ли вера, которая сделает твою жизнь — *твоей жизнью*, а твою смерть *твоей смертью* среди мира, охваченного чужой войной.

*«Интеллектуальная Россия», «Русский журнал», 2001 г.*

## **«ГОРОДСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» И БУДУЩЕЕ ИДЕОЛОГИЙ В РОССИИ**

Общество, которое мы образуем, наследует 70-летней большевистской России — и понятно, что специфика этого 70-летия продолжает влиять на наш нынешний «веер возможностей». Весь вопрос в том, какие из множества характеристик большевистского периода выдвинуть вперед и принять за первостепенно значимые при оценке исторической развилки дня наставшего.

Я говорю о Цивилизационном смысле большевизма, не имея в виду ни «всемирную цивилизацию» Евро-Атлантики, ни то, какими методами и с каким успехом большевистские правители по-своему реагировали на ее ритмы. В перипетиях российской истории, сквозь все реакции на внешние вызовы, до конца XX в. проступает автономный Цивилизационный ход со своей стадильностью. Модернизаторство большевиков, как и модернизаторство петербургских императоров, выступает экзогенной, привнесенной динамикой, наложившейся на этот автономный ход, который имел бы шансы состояться — в иной аранжировке — даже вымри Европа в XIV в. от чумы и прекрати вовсе ее народы влиять на судьбы других обществ. В рамках этого хода смысл большевизма определяется существенно иначе, чем в логиках модернизационной, мирсистемной и иных глобалистских парадигм, — а «веер возможностей» для России на ближайшие десятилетия оказывается развернут настолько по-другому, что вряд ли позволительно пренебрегать и таким разворотом.

### **I**

Я начну с одной дискуссии прошлого десятилетия — она нас хорошо введет в суть проблемы. В середине 1990-х на русском языке вышли две книжки немецкого идеолога-консерватора Г. Рормозера [Рормозер 1996; Рормозер, Френкин 1996]. В них автор, помимо прочего, отстаивал сближение немцев с русскими не только на экономической основе, но и на почве сродства идейного. Как он это делает?

По Рормозеру, социализм XIX–XX вв. как сила мировой истории был вызван к жизни отсутствием у первенца Просвещения — класси-

ческого либерализма с его ставкой на игру частных интересов и воля — той собственной «социальной, исторической, национальной или религиозной субстанции», откуда либеральное общество «могло бы черпать свои жизненные силы» как целое. Выходит, либерализм утилизирует долиберальные и нелиберальные «субстанции» общества — и в то же время разъедает их кислотами рационализма и эмансипаторства. Но протест социалистов против либерального разгула, а затем и большевистский опыт в России долго служили Западу двойным охранительным стоп-сигналом, отпугивая европейцев и американцев как от социал-дарвинистских, так и от солидаристских крайностей. Создав себе в лице социализма противовес в пределах все той же просвещенческо-эмансипаторской установки, да и сам обогатившись социалистическими чертами, либерализм до поры нейтрализовал свои наиболее опасные задатки.

Времена поменялись. С закатом советского «реального социализма» и захирением левых партий на Западе, в обстановке экономических неурядиц и экологического паникерства, перед наблюдаемой мобилизацией многих незападных народов под религиозно-ценностными знаменами (привет С. Хантингтону!) Европа должна обуздать либеральное распыление своих обществ по-новому. Пора увидеть за неудачей большевизма крах ключевой идеи Нового времени, воодушевлявшей и либералов, и социалистов — идеи высвобождения человека из-под власти сил природы и общества. Надежной жизненной почвой европейцам, немцам особенно, может теперь послужить лишь открытый консерватизм с упором на сохранение и преемственность, на иерархию и авторитет, на государственничество и культурную гомогенность, на глубокое взаимопонимание между религией и политикой. Только на такой почве, пишет наш баденец, можно предотвратить большие эксцессы массового разочарования как в «либерализме без берегов», так и в «социализме равных потребностей». В противном случае это разочарование способно вылиться даже и в новую фашизацию Запада.

Такое заключение побуждает Рормозера переоценить многие стороны советской системы. Он хвалит то, как она поддерживала расшатанный в либеральном мире принцип иерархии; замечает, что, мол, буржуазная семья сохранилась у русских лучше, чем на Западе; одобряет риторические обращения российских политиков к религиозным и иным традиционалистским смыслам; особенно радуется готовности русского собеседника прилагать понятие «миссии» не только к России, но и к Германии.



На обсуждении книжек Рормозера сперва в Институте философии РАН (в присутствии автора), а потом в «Вопросах философии» я утверждал следующее. Немалая часть наших интеллектуалов была вполне готова к подобным сюжетам: тогда же, в 1995—1996гг., внушительно прозвучали «Колокола истории» А. И. Фурсова, где этот «правый» ученик «левого» Валлерстайна рисовал падение коммунизма именно как конец либеральной мечты и возвещал начало консервативного века<sup>51</sup>. Но русских не могут не настораживать натяжки, возникающие, если применять схемы Рормозера к истории социальных идей в России. Ведь сам он охотно признает, что у нас нет и не было сильной либеральной — в западном смысле — традиции. Отсюда должно прямо следовать, что большевистский социализм не мог быть реакцией на перегибы либерализма — и новый консерватизм вряд ли завоюет умы и сердца русских, обещая обуздать либеральную опасность. Похоже, весь расклад идеологического поля у нас оказывается не таким, как в истории западного человечества. Как выразился некий либерал: «Что-то все не то растет на наших суглинках».

Возможно, стоило бы вспомнить авторитетного для немецких консерваторов О. Шпенглера, который в «Пруссачестве и социализме» настаивает на содержательном и прагматическом разрыве между западным социализмом и собственно большевизмом как явлением русской истории. О разрыве, обусловленном не только общецивилизационными, но и стадийными различиями между западными обществами и обществом России к началу XX в. [Шпенглер б. г.: 151—156]. Методологически эти соображения очень полезны, (хотя, на мой взгляд, собственно стадийное состояние российской цивилизации Шпенглер и в «Закате Европы» и в «Пруссачестве» изображал совершенно ошибочно, слишком доверяясь нашим славянофилам XIX в.). Ведь нетрудно убедиться, что банальные уподобления большевизма тоталитарным западным режимам прошлого столетия и в особенности сближения его с немецким национал-социализмом как якобы однотипных реакций на перегрузки модернизации начисто игнорируют резко различную стадийную значимость этих тираний в истории соответствующих обществ. А именно то, какое состояние общества было у каждой тирании на «входе» и какое — на «выходе».

---

<sup>51</sup> Впервые труд Фурсова был как раз в эти годы напечатан в журнале «Рубежи» и затем вышел отдельным изданием в ИНИОНе.

Й. Фест в последней главе своей биографии Гитлера доказывает, что национал-социализм, сокрушив в Германии остатки сословных различий, стал, по сути, немецким путем к современному — массовому — западному обществу [Фест 1993: 399 и сл., 404 и сл.]. Но как бы ни запоздало становление такого общества в Германии и как бы еще раньше ни задержалась немецкая индустриализация в XIX в. по сравнению с английской или французской, можно ли спорить с тем, что ко времени мировых войн Германию уже несколько веков объединяла с «передовыми» странами Западной Европы гораздо более важная стадильная доминанта: главенство городского общества и городской — «бюргерской», «буржуазной» — культуры в национальной жизни? Массовизация таких обществ, ускоренная или поздняя, также и в национал-социалистической версии, лишь стирала рудименты сословности в мире, где бюргерство — «третье сословие» — уже фактически стало синонимом для нации.

Россия же до второй трети XIX в. представляла собой аграрно-сословное общество с признаками, находящими параллели скорее в средневековом прошлом западных народов. Здесь города — часто еще с чертами преобладавшей по начало XVIII в. военно-крепостной планировки — выступали преимущественно центрами управления в стране дворян и крепостного крестьянства [см.: Семенов-Тянь-Шанский 1910: 38–43]. Здесь большинство населения жило традиционной крестьянской культурой, верхи же — либо культурой двора, либо культурой усадеб. Здесь капитализм вырос из совокупности крестьянских ремесел и промыслов, а в торговле важнейшее место принадлежало торговым селам и многочисленным ярмаркам разного размаха и периодичности. Когда Рормозер говорит о «сохранении буржуазной семьи» в Советском Союзе [Рормозер, Френкин 1996: 203], на это надо сказать, что такая семья — точнее некий ее аналог — появляется у русских в последние полтора века, а в общенациональном масштабе возобладала при большевизме [см.: Вишневский 1998: 134–149]. Я нахожу совершенно верной мысль Н.А. Бердяева, что большевизм впервые в нашей истории создал прочные основания для «обуржуазивания» — или «бюргеризации» — России. Кстати, не менее прозорливым является и его прогноз о рискованности такого социального результата «не для коммунизма только, но и для русской идеи в мире» [Бердяев 1990: 138].

Все в той же дискуссии вокруг книг Рормозера я позволил себе заявить: будущее идеологий в России во многом предудказано тем об-

стоятельством, что большевизм здесь был не коррелятом либерализма, но основным политическим, идеологическим и культурным выражением того стадийного миттельшпиля нашей цивилизации, который лучше не назовешь, чем «городской революцией». Во избежание очень тяжелых недоразумений попробую объяснить, что я вкладываю в это выражение.

## II

Для меня «городская революция» — вовсе не синоним урбанизации, скопления человеческих масс в городах и умножения числа самих городов. Тем более я не увязываю этого понятия с индустриализацией, как многие экономисты, историки и демографы, для которых, видать, история мира началась не раньше, чем 300—400 лет назад. По отношению к России я ставлю предварительным условием Цивилизационного исследования теоретическое различие проблем городской революции от проблем догоняющего развития. В этом плане мне не договориться, скажем, с А. Г. Вишневским, который в богатом мыслями и фактами труде «Серп и рубль» расписывает становление нашего городского общества как аспект вынужденной русской гонки, задрав штаны, за передовыми народами, преуспевшими в автономизации личности, раскрутке либеральной экономики и так далее.

Вишневский прямо пишет: «Русское общество знало, конечно, внутренние напряжения, конфликты, они вынуждали его изменяться, развиваться своим собственным небыстрым темпом, и живи Россия в полной изоляции, она, возможно, перешла бы к крупным переменам, созревшим на ее собственной почве. Но изоляции не было...» [Вишневский 1998: 14]. Для этого ученого социальные новшества, титулуемые им «городской революцией» в России XX в., стопроцентно экзогенны, навязаны русским необходимостью адаптироваться к внешней мировой среде. Взгляд этого убежденного западника на деле оказывается курьезно близок к рассуждениям Шпенглера о русских городах как искусственных образованиях, внедренных в Россию, — «крестьянскую стихию бесконечной равнины» «из подражания, с их искусственно созданной массой и массовой идеологией» [Шпенглер б. г.: 152, 156].

На мой взгляд, городская революция — кстати, охватывающая значительно больший временной период, чем только годы большевистского правления, — и может, и должна рассматриваться как эндогенное

цивилизационное движение-миттельшпиль с типологическими параллелями в истории многих крупных геокультурных сообществ Евразии из числа т. н. цивилизаций. Ибо на протяжении XVI—XX вв. Россия выступала одной из цивилизаций, охватив своим геополитическим строительством относительно обособленный ареал (комплекс ландшафтов) земного пространства и осевив это строительство, а с ним свой культурный и социально-жизненный стиль собственной сакральной вертикалью. То есть идеологией, соотносящей это строительство и этот стиль, как и само существование русского народа, с особым видением предельного смысла мировой истории, предназначенности рода человеческого, — так что Земной Град цивилизации проецируется сакральной вертикалью в план мировых «начал и концов».

Практически все известные цивилизации возникали как общности аграрно-сословные. И почти все они в какой-то срок переживали стадию городской революции, когда горожане с отдаляющимся от аграрного цикла бытовым укладом и мирочувствованием, с особой экономикой и личностными эталонами трансформируют культурно-идеологическую, а иногда и политическую жизнь народа или группы народов, составляющих этническое ядро цивилизации. В этой жизни как ключевая фигура духовно утверждается человек, избирающий, по замечательному определению культуролога и лингвиста В.Н. Топорова, «тот парадоксальный, как бы против самого себя направленный способ бытия, когда он не пашет и не пасет (и не живет по преимуществу данью пашущих и пасущих. — В. Ц.), но, оторвавшись от природы,... может создавать богатства и новые условия своей жизни из ничего, даром... т. е. из самого себя, по своей воле (своеволие как нарушение космического закона), по своим желаниям и потребностям (отсюда мотив эгоистичности городов) с помощью ремесла, обмена, торговли — впервые без санкции природы и космических сил» [Топоров 1980: 4]. Самым наглядным примером того, как цивилизационная городская революция выливается в революцию политическую, может служить социальная борьба в Греции VII—VI вв. до н. э., приведшая во множестве городов-полисов торговый и ремесленный демос к торжеству над земельной знатью и культурно маргинализовавшая древнегреческую деревню «хору» — как таковую. Или союз английских и французских королей с городами на заре европейского Нового времени, преодолевший феодализм и утвердивший форму национальной государственно-

сти с конвергенцией «обуржуазивающегося» дворянства и культурно возобладавшего «третьего сословия»<sup>52</sup>.

Но, повторяю, не менее важно то, что городские революции в развиваемом здесь смысле обычно выливаются в революции религиозно-идеологические, а часто к таковым и сводятся по преимуществу. Решительное возрастание социального веса горожан, их верхушки оформляется обновлением сакральной вертикали над геополитическим «домом» цивилизации: не находя в «вере отцов» — в религии пашущих, пасущих и собирающих с них дань — признания и оправдания своему строю жизни и социальной психики, горожанин по-своему заново осуществляет религиозное «удвоение мира». Он поддерживает новые учения, в импонирующей ему форме проводящие идею теодицеи и личного спасения.

В целях экономии места могу лишь процитировать то, что написал полтора года назад: «В истории обществ... не освятивших своей культуры и геополитики вавилонской башней эксклюзивной сакральной вертикали... волны урбанизации и реаргаризации могут сменять друг друга не один раз, не порождая религиозно-идеологических и социокультурных метаморфоз революционного характера. Но в истории каждой из известных цивилизаций лишь однажды имела место (если вообще имела) городская революция, переопределившая своей духовной реформацией облик общества» [Цымбурский 2000а: 180]. Там же я отмечал, что из великих городских революций, известных истории цивилизаций, три приходятся на пресловутое осевое время» К.Ясперса. Точнее, сама идея «осевого времени» — историсофская конструкция, навеянная сбеганием во времени нескольких городских революций в разных концах Евро-Азии. Таковы — становление моизма, конфуцианства и даосизма в Китае VI—IV вв. до н. э. как идеологий большого стиля, борющихся за души и умы в обстановке распада цивилизации на «сражающиеся царства» и роста многочисленных торгово-ремесленных городов. Такова «дионисийская реформация» в Греции VII—VI вв. до н. э. и становление натурфилософских систем с уклоном в космологическую мистику теодицейного (богооправдательно-

---

<sup>52</sup> Оценке этой эпохи как поры городской революции не противоречит быстро определившееся наступление национальных государств на существовавшие со Средних веков вольности и иммунитеты городов, слывшие наследием феодального мира. Городская революция как час цивилизационной метаморфозы — это скорее час горожан, а не городов.

го) свойства (элейская школа, Гераклит) и разработку новых «путей спасения» (Пифагор): все это — в окружении политической городской революции и в увязке — хотя зачастую и в споре с нею. Тогда же в Индии кризис брахманизма и появление «шраманских» учений, оспаривающих «веру отцов» — ведийскую религию — и сословный (варнов-ый) строй, пока, наконец, широко поддержанная в городах проповедь Будды не обновляет на тысячу лет сакральную вертикаль индийской цивилизации.

Но в том же ряду оказывается и великая «доосевая» реформация в Египте Среднего царства (XXIII-XVIII вв. до н. э.), где начальная большая смута и последующая новая централизация кардинально повышают роль городов со сплоченным в цеха ремесленным людом и многочисленными «сильными малыми людьми», становящимися опорой возрождающих страну фиванских фараонов. (См. Великолепное изображение социальных перемен в Среднем царстве [Перепелкин 2000: 186-191].) В эту пору складывается учение о богооправдании, элита вырабатывает идею стоящего за множеством богов Сокрытого Бога Жизни, а в народе Осирис из суммарного образа мертвых фараонов-хранителей державы превращается в обожествленную фигуру всякого достигшего спасения праведника. Тут же оказываются и «послеосевые» реформации — победное шествие ислама по Среднему Востоку и Средиземноморью VII в. н. э., вылившееся в господство цветущих городов Халифата над эксплуатируемой деревней в противоположность реаграризирующейся православной Византии, этой крестьянской Империи VII–IX вв.; и, наконец, европейская Реформация, проложившая путь западному капитализму и всему комплексу идей и технологий Нового времени<sup>53</sup> [Цымбурский 2000а: 180].

Подлинная гениальность Шпенглера проявилась в том, как, беря цивилизации («высокие культуры») в наиболее укрупненном масштабе их динамики («судьба»), в социоэкологическом дрейфе от уклада деревенских поселений и окруженных ими замков-»бургов» к быту

---

<sup>53</sup> Должен сказать, что антитеза аграризированной Византии македонских императоров и Халифата с его «массовым городским ремеслом» и «стихий свободных цен» в городах меня впечатлила еще в юности при чтении учебника Г.Л. Курбатова «История Византии» [Курбатов 1984: 106 и сл.]. Потому тезис Шпенглера о Византии и Халифате как двух выражениях единой — «арабской» — высокой культуры я бы переформулировал как порожденное городской революцией ислама противостояние «ре-формационного» и «контрреформационного» ареалов в пространстве ближневосточной цивилизации последней трети I тыс. н. э. Но о роли контрреформаций в сюжете городской революции см. ниже.

имперских мегаполисов, «городов мира», — он почувствовал и выставил на свет хронополитический параллелизм («синхронию») городских революций в разных высоких культурах в качестве однотипных стадий внутри этого большого хода. Меня лишь удивляло и удивляет, что, открыв «эпоху Пифагора, Мухаммеда и Кромвеля» как одну из универсалий в динамической морфологии цивилизаций, Шпенглер проглядел совершенно аналогичную по типу «революцию раннего лета», разворачивавшуюся в России со второй трети XIX в. и при его жизни достигшей фазы Реформации, смены сакральной вертикали — в большевизме. Если бы он различил этот смысл большевизма, он, может быть, назвал бы эту эру «фазою Мухаммеда и Пифагора, Кромвеля и Ленина».

### III

О процессах российской истории, подготовивших большевизм и в нем обретших свое продолжение-инобытие, ведомо достаточно, чтобы признать: полтора века России, примерно с 1830-1840-х гг., являют единую, пусть и дифференцированную внутри себя, эпоху, смысл которой — переход от стадии аграрно-сословной к городской, в перспективе, видимо, — корпоративно-городской. Суммируем общеизвестные черты этого времени, в которое укладываются уже пять поколений русских.

За этот срок, наряду с интенсивной демографической урбанизацией, принципиально преобразуется культурный ландшафт страны. Недавно это великолепно выразил В.Л. Каганский применительно к Европейской России: «Век назад культурный ландшафт почти весь вырастал из своей природной основы, его формировала природная зональность и сеть речных долин... Нынче он нанизан на каркас линейно-узловой решетки крупных магистралей и городов... Неясно, стала ли Россия городской, но пригородной стала.... В культурном ландшафте нынешней Европейской России все зависит от одного-единственного фактора — расстояния от центра. Близость к городу обуславливает успех сельского хозяйства, густоту сельских поселений, их размер, просто «бойкость» человеческой жизни... Теперь не города вырастают из сельской местности, наоборот, они сами формируют и наращивают ее вокруг себя: вдали же от городов — не патриархальная глубинка, а зона разрухи»<sup>54</sup> [Каганский 2002: 404]. Это время «ополз-

---

<sup>54</sup> В таких словах ученый излагает содержание сборника «Город и деревня в Европейской России. Сто лет перемен» (М., 2001). Странно, что, тут же заявив уже от себя

ня» традиционных дворянских и крестьянских ценностей. Дворянская семья сметается, большая крестьянская разлагается, налицо становление и возобладание типа «бюргерской», городской семьи.

За эти полтора века создается множество парадигмальных, классических на века вперед культурных шедевров — и все приходящей до истерики в образованных кругах цивилизационной самокритике и приступах «резиньяции» («бедная страна... несложившаяся цивилизация... между Западом и Востоком... как сладостно Отчизну ненавидеть...»). Пора, по словам Ю. С. Пивоварова, «раскола страшного и глубокого», когда «расхождения во мнениях по тому или иному социальному, политическому, экономическому вопросу обрели экзистенциальный окрас, все стало прочитываться через призму «друг или враг», «быть или не быть», «кто виноват» и «кого казнить» [Пивоваров 1995:78].

Всякая болтовня на тему «исконной расколотости» российской цивилизации, как бы эта исконность ни преподносилась — с прихода варягов, с патриарха Никона, с Петра I или с кого-нибудь еще, — не что иное, как опрокидывание в историю того самоощущения, которое в эти полтора века овладело образованными людьми и из их среды распространялось в слои полуобразованные, четверть-образованные и так далее. Общество, известное нам по «Капитанской дочке» и «Евгению Онегину», ретроспективно по «Воине и миру» и «Детским годам Багрова-внука», цивилизационно расколотым никак не назовешь. Найдём ли приметы такого раскола в «Путешествии из Петербурга в Москву» с его социальными стенаниями? Глубокая сословная разница языка, культуры, обихода — прекрасно знакома многим цивилизациям на их первоначальной ступени, хотя бы средневековой Европе, — и обретает сильнейший противовес в традиционности обязанностей и прав сосло-

---

«теперь город формирует вокруг себя сельскую местность», автор заверяет на соседней с. 405, что якобы оппозиция «город / деревня» применительно к сегодняшней России — «мифологема, только затрудняющая понимание». Тем самым он невольно подводит себя под «парадокс лжеца», пользуясь терминологией, которую сам объявляет мифической. Боюсь, что за этим казусом стоит попросту стандарт европейского города, каковому «не отвечает» множество городских поселений в России. См. в том же духе статью В. Л. Глазычева «Слободизация страны Гардарики» [Глазычев 1995], где объявляется, что в России «городское начало отсутствовало прежде и отсутствует напрочь теперь», а также — якобы городов вовсе не было «в древнем Египте, средневековой Индии или Китае». Где же, спрошу, если не в городах, да к тому же в городах с весьма комфортным качеством жизни, протекает, к примеру, действие любимых мною «Рассказов Ляо Чжяя о чудесах» или «Тысячи и одной ночи»?



вий, в их дхарме — великом оплоте вертикальной интеграции. О религиозных разделениях, с появлением новых церквей и сект, иногда вытесняемых в особые функциональные ниши, а то и подавляемых до истребления, говорить и вовсе нечего: все это известно высоким культурам разных эпох. Трудно назвать такой век в истории Европы или, скажем, Среднего Востока, который не видел бы подобных новообразований. Россия тут типологически ничем особым не отмечена. Есть это и у нее, вот и все.

Не о «расколотости» ее надо говорить, а об идее «расколотости» в последние полтора века как о форме переживания русскими «разломного» стадийного перехода между канувшим за это время образом нашей цивилизации — и другим, находящимся в трудном, негарантированном становлении. Единственный настоящий раскол России — хронополитический, все остальные расколы — либо производны от него, либо просто надуманы. И даже осложнения, связанные с привнесенной модернизаторской динамикой, в эту эпоху столь мучительны оттого, что накладываются на драматизм автономного хода. Но об этом еще поговорим.

Полтора века городской революции подняли «учительную» русскую литературу. Еще в фазе добольшевистской они выдвинули крупнейших ересиархов — «учителей жизни» Л.Н. Толстого и Н.Ф. Федорова, возвещавших «истинное христианство». Они породили русскую теологию, чьим цветом стало учение о Софии. Начало XX в. клокочет замыслами «оправдания» и вместе реформирования православия, наряду с поисками «нового сознания», в том числе и в формах политизированного богостроительства.

Если обратиться к сфере политической, думаю, прав был Р. Пайпс, отмечая с 1880-х гг. условность существования самодержавия, все более становящегося псевдонимом для чисто силового, военно-полицейского государства [Пайпс 1993:401]. «Эпоха тираний», которой и сегодня не видно конца, сперва прорисовывается выдвижением монархами на первые роли в государстве диктаторов в формальном статусе силовых министров с чрезвычайными законотворческими и исполнительными лицензиями (наиболее известны М.Т. Лорис-Меликов и П. А. Столыпин). Отсюда путь через генеральские диктатуры и «комиссародержавие» Гражданской войны к принципату Сталина, «наследника русских царей», и к постсталинским олигархиям второй половины XX — начала XXI вв. — при постоянных ломках государст-

венных форм, «подгоняемых» под правителей и не успевающих обрести хоть подобия традиционной легитимности.

Все беснование этой эры (повторю: далекой от завершения) было бы очень неумно объяснять каким-то небывалым помрачением именно «русской души» или старой цивилизационной червоточиной России. Если бы такая червоточина имела место, о том не правомерно судить по событиям разломного времени. Слишком уж схожими беснованиями отмечены многие известные за 5000 лет городские революции, общая формула которых — делегитимизация аграрно-сословного «космоса» и нескорая выработка иной легитимности в условиях «помутнения сердец» и разнуздания силовой социальной механики. Так бесновалась Европа с XV по XVII в., откладывая с года на год конец света, в религиозных войнах и кострах ведьм, в «фаустинианской» демономании, под скороспелыми тираниями Борджиа, Медичи и Тюдоров. Так бесновалась Греция VII-VI вв. до н. э. в битвах демоса с аристократами-аграриями (те клянутся между собой принести демосу столько зла, сколько смогут, а он — то истопчет детей знати быками в стойлах, то начисто выбьет скотину на пастбищах, чтобы подорвать у противника экономическую базу...), рождая псевдodemократические «старшие тирании» и перевода неистовства социальной революции в очистительные экстазы реформации дионисийства. По-видимому, сходно бесновался даже Египет в интермедии между Древним и Средним царствами — в темные века, от которых дошел жуткий образ затяжной гражданской войны, «перевернувшей страну как гончарный круг», с разоренными пирамидами и отмененными законами, с превращением «ничтожных людей» во «владык богатств», с городами, говорящими: «Устраним сильных из среды нашей!» На «выходе» этих веков видим реформацию Осириса и новую легитимность Фиванского царства с окрепшими городскими корпорациями и процветанием «сильных малых людей».

Надо отметить все мифы о русской цивилизации, продиктованные впечатлением от ее эксцессов в последнее полустолетие. Такие эксцессы типичны почти для всякой городской революции, пока она прокладывает себе политическое и идеологическое русло. Когда очевидцы таких эпох не твердили о «распавшейся связи времен», о «вывихнутом времени»? Не с нами первыми происходит эта линька цивилизации, — дело лишь в том, как она протекает у нас.

#### IV

«Восстание масс» в России начала XX в., принесшее большевикам победу, во многом имело характер — как поняли наиболее зоркие современники, от П. В. Струве до евразийцев, — протеста против социальных и культурных форм, связанных с расцветом императорской России. Потому-то можно определенно соотнести это «восстание масс» с той фазой в морфологии высоких культур, которая определяется в таблицах Шпенглера как «народный протест в религиозных рамках против великих форм ранней эпохи» и увязывается с «ростками гражданско-городского движения». С этой оценкой согласуется все, что написано как приличными учеными, так и ангажированными шелкоперами насчет «религиозной» или «псевдорелигиозной» (даже «сатанинской») природы большевизма, — В. Аксючиц удачно назвал его «городской ересью». Типологическая особенность российского Цивилизационного хода на этой его стадии состояла в том, что «ранние великие формы», ставшие объектом протеста, были выработаны той «европеистской» фазой нашей истории, которую и Шпенглер, и многие отечественные мыслители третировали как социокультурную псевдоморфозу России. Протест девятым валом грянул по элите, утверждавшей эту блистательную псевдоморфозу всем стилем жизни, мышления и творчества, но и сам этот протест обрел многие свои идеи внутри той же псевдоморфозы и до конца необъясним вне ее идеологического и стилевого опыта.

Именно в этой своей типологической особенности наш Цивилизационный ход перекликается с ходом западноевропейским. Ведь в Европе реформационное движение «раннего лета» было в большой мере протестом против «языческой» псевдоморфозы Ренессанса — однако же подготовленным уроками ренессансного гуманизма. Гомология большевизма и Реформации неоднократно всплывала в дискуссиях XX в. Очень показателен труд Т. Люка «Идеология и советский индустриализм» [Luke 1985], с тезисом о большевизме не просто как о «светской религии» — но, конкретно, как о русском аналоге протестантизма, сформировавшем трудовую этику советской индустриализации благодаря своему упору на мирскую аскезу, на посюсторонний подвиг преобразования и просветления Града Земного, поданный как критерий и обетование метаисторического «спасения» человека и народа. К сожалению, Люк при всей тонкости и точности его наблюдений, работает в модернизационной парадигме, чем весьма облегчает жизнь своему рус-

скому критику В.Арсланову, противопоставляющему протестантизм как выражение «действительных» и, главное, прогрессивных потребностей Западной Европы» — «азиатско-деспотической» отягченности советского «марксизма, превращенного в религию» [Арсланов 1994: 47]. Такая критика утрачивает и силу, и даже смысл, если разбирать эту гомологию вне схоластики «прогрессивных потребностей», совершенно чуждой первым поколениям западных протестантов, а в большевизме выступающей как наследие переосмысленной и наделенной новым содержанием марксистской схематики.

Ведь в России марксизм исполнил роль, для которой он вовсе не предназначался своими отцами-европейцами. Применив к российскому обществу доктрину, ставившую в фокус социальных проблем совсем не главное для него напряжение между городской буржуазией и пролетариатом, маргинализуя положение крестьянства как обреченного быть предводимым одним из этих Больших Протагонистов, большевистская фракция русской социал-демократии сотворила из марксизма идеологию городской революции в России. Победа большевиков над главными их соперниками-эсерами была победой большевистской постановки аграрного вопроса как вопроса, подчиненного перспективе городской революции, торжеству города в лице его политически активного плебса над деревней. Эсеры проиграли как партия реформационной волны, пытавшаяся уничтожить сословный порядок, не разрушая «крестьянской цивилизации» — исторической части этого порядка. Не случайно мыслители эсеровского толка еще в 1920-х верили в возможность вооруженного реванша новой деревни над большевизированным городом (вспомним образ социалистической «крестьянской цивилизации» в чаяновском «Путешествии брата Алексея в страну крестьянской утопии»).

Цивилизационный смысл большевизма в том, что он узаконил и ускорил развернувшуюся на российских землях городскую революцию, радикально и притом убедительно для масс обновив сакральную вертикаль над нашим геополитическим домом. Потому-то он оказывается в ряду реформаций, служивших в разных обществах духовным воплощением данной цивилизационной стадии, — и лишь с оглядкой на эту широкую типологию можно и нужно разбирать различия и сходства двух реформаций, разразившихся во II тысячелетии н. э. с интервалом в 400 лет в ареале Северной Евро-Азии.

Люк был прав, акцентируя мотив «мирской аскезы» как особенно сближающий эти два идеологических переворота. Нельзя не видеть,

что вся классическая советская литература являет собой ряд более или менее талантливых инсценировок Последнего Суда с разделением судимых на спасенных и отверженных, исходя из проступающего метаисторического смысла их внутримирных деяний. Во многом именно художественная словесность преподнесла народу большевизм как путь, увенчивающийся претворением человека, исполнившего сверхдолжную «мирскую аскезу», в существо «живее всех живых» — и в таком качестве остающегося навеки в преображенном мире.

Большевизм учил — облакая свое учение в политэкономические и социально-идеологические формулы — о том, как идет на ущерб нынешний век с его начальствами и властями («общий кризис капитализма»); о призванности русских, воспринявших данную проповедь, и всех, кто присоединится к их подвигу, раскрыть «преимущества социализма» и перестоять, пережить деградирующий несправедный эон — чтобы за гранью его Россия развернулась в новый мировой век, где будет оправдан и возвеличен труженический и воинский подвиг «тех, кто дожили до чего-то, и тех, кто ни до чего не дожил».

Компонентом большевистской веры выступала марксова тема «пролетария» как безвинного страдальца, отторгнутого от своей «родовой сущности» и впавшего в «частичное существование», чтобы воссоединиться с этой сущностью в восстании-воскресении, открывающем «царство свободы». Однако эта тема оказывалась подчинена видению Советской России, переживающей «век сей» и собирающей вокруг себя землю по его крушению. С 1930-х мировая революция могла быть снята как практическая задача, но она неколебимо оставалась сакральной вертикалью нового великодержавия с его разрастающимся городским обществом, как-то даже наивно выставляющим на свет свою пугавшую Бердяева «протобуржуазность» (вспомнить «Рассказ литейщика Ивана Козырева» или плакат второй половины тех же 1930-х, поры Большого Тррора — «Всем попробовать пора бы / Как вкусны и нежны крабы») <sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup> Стоит тут вспомнить об исключительной популярности федоровства в 1920-х — и процитировать удивительный диалог из романа-дистопии Ю.В. Козлова «Ночная охота» [Козлов 1996: 187], где лирический голос, сталкивающий топику раннего и позднего («застойного») большевизма, оттеняется макабрскими комментариями из мира «демократии и рынка»: «Был такой ученый-философ Федоров, один из профилей на нашем знамени — его. Суть его учения в том, что рано или поздно все мертвые воскреснут...» — «То-то живые обрадуются! — подумал Антон. — Особенно, когда воскресшие мертвые захотят жрать!» — «Все воскресшие и живые коммунисты соберутся на последний съезд КПСС. Интересно, какой он будет по счету?» — «И

Не все параллели между двумя реформациями так броски, как в случае с «мирской аскезой», но и среди менее наглядных некоторые поразительны. Вглядимся в этос сталинизма предвоенных лет. Стремясь выделить в данном этосе доминантное ядро, быстро сознаешь, что таковым ни в коей мере нельзя считать культ вождя — явление, знакомое многим социальным движениям с разными этическими ориентировками. Нацизм, с его культом фюрера, видел «ночь длинных ножей», но он не породил ничего подобного Московским процессам 1936—1938 гг. Думается, предвоенный сталинизм гораздо отчетливее характеризует подспудное тревожное допущение той возможности, что единственная признаваемая за истинную инстанция спасения и оправдания человека возьмет да и не одарит его ни оправданием, ни спасением при всей субъективной искренности и объективной жертвенности его служения. Ты можешь положить жизнь за Революцию — но не поняв, не ухватив ее путей, быть на суде ее приговорен и проклят как ее враг. При этом сталинистский этос требует, чтобы, постоянно испытывая себя в безупречности своего служения, ты самый час проклятости своей готов был превратить в вящую славу Инстанции Спасения. Весь этот комплекс в сочетании с идеей «ордена меченосцев», новой аристократии спасенных, в том числе таинственно вбирающей в себя и неких «беспартийных большевиков», настолько сходствует с кальвинистской догматикой и этикой, что позволяет, с толикой иронии, обозвать сталинизм «кальвинизмом большевистской Реформации».

## V

Вот теперь можно поместить модернизацию с догоняющим развитием на ее настоящее место в нашей истории.

Вникая в эту историю, не отделаться от мысли, что у нас универсальный ход, знакомый многим цивилизациям, — так называемый шпенглеровский ход — оказался дополнительно осложнен экзогенными модернизаторскими надобностями, навязанными историей нашим правителям и обществу. Высокая драма городской революции переплелась с идущей из XVIII в. трагикомедией русского европеизма и окрасилась надсадной, хотя временами, особенно в технической облас-

---

больше съездов не будет?» — «Зачем? Воскрешение мертвых — последний и завершающий акт восстановления справедливости. Только в зал делегатов меня не пустят... — Может, это только показалось Антону, но в глазах Елены блеснули слезы. — Ничего, — воскликнула она, — посижу в зале для гостей!»

ти, и впрямь захватывавшей патетикой «развития вдогонку». Иногда даже «вдогонку на опережение» — с попытками выбежать заранее в ту точку, куда по тем или иным прикидкам нацелился прогресс цивилизации-лидера. На протяжении всей петербургской и «второмосковской» (большевистской) эпох это навязчивое двоеритмие порождает нетривиальные эффекты, включая эффекты маскировки одного хода под другой.

Не перечить соотечественников и иностранцев, изображавших два больших поворота нашей истории, петровский и большевистский, как вынужденные реакции на грозное западное давление. Эти люди как будто стараются не замечать, насколько совершавшееся с Россией в обоих этих случаях не укладывается ни в какой «естественный» ответ на ее внешние обстоятельства. Эти «ответы» несоразмерны «вызовам» — несоразмерны потому, что «ответами» как таковыми камуфлируется и рационализируется собственное движение общества. Подробно обсуждать «революцию Петра» здесь невозможно, но немного о ней сказать необходимо<sup>56</sup>. В конце XVII века, окопавшись в глубине Евразии и простершись от Балто-Черноморья до Тихого океана, Третий Рим не испытывал сколько-нибудь серьезного давления со стороны великих держав Европы, увязших во всеобщих войнах против Франции Людовика XIV. Швеция? Но с ней русские еще в 1660-х воевали вполне на равных, хотя тогда еще надо было держать и польский, и крымско-татарский фронты. К воцарению же Петра I слабеющая Польша была (как младший партнер против турок) подмята Россией, вполне отыгравшейся за былое вмешательство поляков в русскую смуту. Наибольшую опасность представляла для москвитов Турция, замахивавшаяся на украинское Правобережье к югу от Киева. Но разве это серьезные поводы к массивированной вестернизации — от смены костюма до смены летоисчисления?

Ни одна цивилизация Азии не «объевропеивалась» при таких обстоятельствах. Когда фантом европейского вызова расточается, убеждаемся: да, крепостническая промышленность XVIII в., отчасти созданная Петром по ходу войны, но больше развившаяся уже после него, вследствие вовлечения Империи в европейский силовой расклад, проходит под титулом «модернизации», «развития догоняющего», а порою

---

<sup>56</sup> Взгляд на петровские реформы как на «реакционную» кампанию по вычленению и обособлению «благородного шляхетства», заявлен с большой писательской силой в «Народной монархии» И. Л. Солоневича и позже принят крупнейшим знатоком конца XVII в. А. П. Богдановым [Богданов 1995].

и «обгоняющего». Социокультурный же процесс от Петра I до екатерининской «Жалованной грамоты дворянству» с превращением дворянства из служилого вооруженного слоя в культурно и ценностно обособившееся благородное сословие — модернизации не касается никаким боком. Зато он разительно напоминает события т. н. «феодальной революции» в Западной Европе XI—XII вв. — такую же трансформацию служилых воинов (у нас — слуг государевых, в Европе — слуг феодальных владетелей) в рыцарство с особой культурой и этикетом, помалу растворяющее в себе старую аристократическую верхушку при одновременном упрощении ранее пестрой структуры деревенских низов, подверстываемых под одну гребенку «холопства» (европейские *servi*) [см. о «феодальной революции» европейского Высокого Средневековья: Дюби 2000: 138—154; Флори 1999: 21 и сл.; Ле Гоф 1992: 91—94]. Гомология точная, с поправкой на то, что в Европе этот процесс совпал с разложением сильной монаршей власти, а у нас — с императорским абсолютизмом, обусловившим вытеснение большей части «благородного сословия» в не воюющий и не служащий *leisure class*. «Европеизация» нашего дворянства — мистифицированная превращенная форма автономной эволюции, находящей стадияльную параллель в Европе не XVIII века, но Высокого Средневековья.

Перейдем теперь к большевикам. В XX в. ответы Западу в духе Петра I для Азии вовсе не диво. Все большие реакции азиатских обществ этого века на евроатлантическое миродержавие размещаются между двумя полюсами. С одной стороны — «полюс Ататюрка» — подгонка имиджа, фенотипа незападных народов под стандарты цивилизации-лидера, приспособление к ее порядку. С другой же стороны — «полюс Хомейни», бунт против западоцентризма с опорой на домодерные исконные ценности, иногда — извлекаемые из столетий. Но у большевиков над промельками той и другой установки главенствует третья. Основания и формы «высокой культуры» переоцениваются в свете идеала, зародившегося в Европе, но отклоненного мировым цивилизованным, а большевиками переосмысленного и возведенного в новую сакральную вертикаль — и требующего для своего земного осуществления как преображенной России, так и перемененного Запада, «новой земли и нового неба».

Я настаиваю на том, что этого явления не объяснить без культурологической и политологической «двойной бухгалтерии», опирающейся на посылку о двоеритмии России. Тогда «ответы-больше-чем-ответы» должны располагаться на временных интервалах, где внешние толчки



совмещаются с кризисными пиками и разломами имманентного Цивилизационного хода.

В XX в., когда эпопея догоняющего развития наложилась на реформационную фазу городской революции, эффекты от такого совмещения поистине грозны. В 1930-х стремление большевиков в предощущении второго тура мировой войны сравняться с возможными противниками в индустрии и военной мощи оправдывало и разнуздывало их религиозную вражду к деревне — «царству тьмы». Такое совмещение импульсов порождало политику, которая в стране рискованного земледелия привела к подрыву аграрного сектора экономики — следствию, кажется, беспрецедентному в истории городских революций, позднее откликнувшееся и ликвидациями бесперспективных деревень, и вынужденной «шефской» помощью города-победителя побежденному селу, и шестисоточной частичной реаграризацией страны. Во второй же половине века открытая послесталинскими руководствами гонка за Западом одновременно в вооружениях и в уровне жизни населения, дискредитировав большевистский социализм как модернизационную стратегию, обрушила начавшую было отвердевать государственную форму. Перестройка, роспуск Империи и реформы 1990-х стали опаснейшим «ответом-больше-чем-ответ» и поставили под угрозу будущее нашей городской революции. Ее результаты оказались оспорены реформами, нацеленными на формирование слоя, приближающегося к «нормальному» элитному качеству жизни «продвинутых» обществ<sup>57</sup>. Если результатом последних 70 лет петербургского периода стало появление политически действенного и весомого городского сообщества, набухающего, по определению Г. П. Федотова, претенциозной «новой демократией», то большевистская, «второмосковская» фаза отмечена вызреванием городских форм социальности. Они прокладывали себе дорогу через мастерски исследованные А. А. Зиновьевым в «Коммунизме как реальности» городские трудовые коллективы разного ранга и охвата; через тяжбу сталинских ведомств за ресурсы и позиции, постепенно переходящую в игры «административного рынка», через эволюцию советской профсоюзной системы, ориентированной на большевистскую государственную форму; через академ-

---

<sup>57</sup> Напомню важные размышления С. Г. Кара-Мурзы о большевистской модернизаторской ставке на развитие мегаполисов в ущерб «укреплению сел и малых городов» как о причине «голода на образы» — явления лет застоя и о компенсирующем этот «голод» импорте символов, немало подготовившем дискредитацию советской системы [Кара-Мурза 2001: 352-360].

городки и кварталы специалистов; через столь часто осуждавшиеся советские корпоративные структуры с их дифференцированным полем профессиональных и ведомственных льгот. При обсуждении этих процессов нам открывается вся глубина отличия российского варианта городской революции от европейского. В Европе уже ее Средневековье, вобравшее в себя осколки античной городской культуры, на своей высокой стадии (XII—XIII вв.) являет «цветущую сложность» переплетшихся сословных и корпоративных норм и прав, в том числе закреплённых за городами и группами горожан. Одним из свершений городской революции была надкорпоративная социальная и идеологическая консолидация «третьего сословия». Дальнейшая линия развития там ведет к классовым расколам XIX — начала XX в., от них к массовому обществу, разделенному по уровням дохода и текучим группам интересов, с порослью уже постсословного неокорпоративизма и, наконец, к отмечаемым в наши дни зачаткам новой сословности, проявляющимся в образе жизни постиндустриальных элит. В России городская революция поставила на место общества аграрно-сословного со слабыми моментами корпоративности (если не говорить о чиновничестве), массовое общество «новой демократии», «зощенковское общество» — материал, из которого за большевистские годы начинает сгущаться, оплотняться корпоративно-городской строй. Если принимать двоеритмие России, проявляющееся в разных видах по нарастающей с начала Петербургской Империи, придется сказать: последние 15 лет впервые характеризует прямой и крутой конфликт между ритмом имманентного хода и модернизационным — вызово-ответным, экзогенным — темпом. Плохо, что с последним, по существу, не справляются сменявшиеся за это время в Кремле правительства, но еще хуже, что, кроме него, они вроде и не способны ничего воспринимать.

## VI

Мы возвращаемся к началу, к дискуссии с г-ном Рормозером. Что нам дает очерченное понимание смысла и судьбы большевизма для обсуждения будущего идеологий в России?

История цивилизаций показывает: как правило, городская революция порождает две идеологические волны-парадигмы. Одна из них — я зову ее Реформацией — выражает духовные, иногда политические притязания нового горожанина откровенно и радикально. Конечно, эта волна переливается разными оттенками, и состав ее меняется во вре-

мени; если говорить о Реформации Запада, достаточно сравнить эсхатологию Мюнстерской коммуны и веру Кальвина, проповедь Лютера и пафос Кромвеля.

Вторая же волна, возникающая отчасти спонтанно, отчасти стараниями идеологов и политиков, несет с собою как бы реактуализацию идеалов и ценностей аграрно-сословной фазы, но перетолкованных и приспособленных к ментальности и условиям существования современников городской революции. В таком случае речь о цивилизационной контрреформации — термин, употребляемый мною, как и понятие реформации, на правах широкой типологической категории. Применительно к античному миру можно говорить о противостоянии реформационных Афин и контрреформационной Спарты, о контрреформационных мотивах философии Платона, вызвавших в XX в. такую злобу у глашатая «открытого общества» К. Поппера. В Китае столкновение этих двух волн воплотилось в полемике моистов и конфуцианцев, причем здесь верх исторически взяла конфуцианская Контрреформация. Для Индии «Бхагаватгита» может рассматриваться как программный контрреформационный текст, ответ брахманизма на вызов городской революции, — утверждение и прославление дхармы сословий в противовес буддистскому пренебрежению к сословности. Столкновение реформационной и контрреформационной волн может вести к возобладанию одной из них или к геополитическому расколу цивилизации или, наконец, завершиться их относительным примирением, взаимопроникновением в едином Цивилизационном стиле.

Эти общие соображения дают нам ключ к пониманию успехов либерализма в евроатлантическом мире. Он распространялся в своеобразных условиях Цивилизационного пата второй половины XVII — XVIII вв., когда возвысившаяся «третье сословие» городская революция стала необратимым фактом, но вместе с тем равновесие сил Реформации и Контрреформации, закрепленное Вестфальским миром 1648 г., заставляло правителей, помнящих о кошмарах Тридцатилетней войны, выносить высшие ценностные вопросы за скобки практической политики — сперва международной. Либерализм так бы и остался компромиссной «идеологией разрядки», если бы, во-первых, в XVIII в. он не трансформировался в светский культ разума и эмансипации, роста и прогресса (во многом усилиями масонского движения, секуляризовавшего высокую мистику первоначального розенкрейцерского проекта, притязавшего на «третью Реформацию»); а во-вторых, если бы он не нашел себе подкрепления в технологических революциях и хозяй-

ственном буме XVIII—XX вв. И уж конечно либерализму очень помогло то, что он — тут прав Рормозер — обрел в социализме не только страхующий противовес, но и свою превращенную форму, дополнительный запас прочности.

Что же касается России, то здесь западнический либерализм конца XIX — начала XX в. (в том числе либерализм религиозный, как в случае с проповедью супругов Мережковских) остался в числе тех предреформационных идейных заявок, которые дестабилизировали старый порядок и в конце концов облегчили мессианский прорыв большевизма к Цивилизационному лидерству. А кое в чем даже подготовили этот прорыв.

В конце XX в. либерализм на какое-то время был возведен заповидами послебольшевистской России в статус если не официальной догмы, то ши-болета, по коему друг друга распознавали люди новой элиты. Но итоги деятельности этих политиков оказались для либерализма мало благоприятны. Наши либералы сделали все возможное, чтобы узаконить феномен, который я называю «антинациональным гражданским обществом России». То есть сообщество эмансипированных собственников с их политической, менеджерской, юридической, культурной и т.д. услугой, живущих в двуединой реальности — «мира без российских границ» и стихии частных интересов, при демагогичности любых национальных интересов и призрачности их предполагаемого субъекта. В России либерализм увязывается большинством «вчерашнего среднего класса» не с разумом, эмансипацией, ростом и прогрессом, не с идеей Царства Человеческого, а с разрухой, узакониваемой унижительными предложениями «сперва стать нормальной страной», «больше работать, чтобы лучше жить — не в четыре, а всего лишь в три раза хуже, чем при Советах», с запугиванием тем, что «придут коммунисты, будет еще хуже»; с «правами человека» преподносимыми как права подонка; с болтовней о том, что «хорошо растет по пожарищу»; с приглашением к «новым лишним» — «вырабатывать культуру бедности»; с лозунгом «выживания». Либерализм пришел в Россию как идеология процветания на разрухе, грозящая структурам повседневности, — и этим предопределено его будущее здесь.

Он имеет у нас перспективы, если Россия как коллективная величина утратит всякую субъектность и антинациональное гражданское общество, поглотив, растворив в себе российскую власть, окажется приводным ремнем между политикой мирового цивилизованного и российскими ресурсами как объектом и подспорьем этой политики.

Если же развитие окажется иным, — например, утвердись даже власть в правомочиях главного компрадора — либерализм не сможет у нас выжить в собственном облике, но лишь мимикрировав под русскую Контрреформацию.

Утверждению антинационального гражданского общества как образца «нормальной жизни» в высшей степени способствовала подача российскими либералами цивилизации-лидера в виде оплота «либерализма без границ». Нарастание на Западе консервативной волны могло бы загнать наших действительно убежденных либеральных западников в моральную изоляцию. Но будет ли при этом Россия открыта для широкого внедрения консерватизма европейского, «рормозеровского» толка? Я в этом очень сомневаюсь.

Принцип «сохранения» (*conservatio*) как таковой едва ли может иметь здесь тот же смысл, что для современного Запада с его цивилизационной историей. Когда европейские консервативные теоретики ищут страховки от пугающих их перегибов Новейшего времени в ценностях «прекрасного Старого Порядка», таким Старым Порядком для них выступает в основном общество XVII—XVIII вв., выкованное городской революцией в Европе. Тот же Рормозер, неоднозначно оценивая Просвещение, полностью принимает Реформацию и с курьезным пиететом пишет об отношениях между политикой и религией, якобы существовавших в Европе до 1789 г., — на самом деле сводившихся в XVIII в., и то в лучшем случае, к пристойному религиозному безразличию политиков. В Россия же мы должны говорить не о сохранении ценностей ставшего городского общества, но об их дрящемся становлении, ныне подвергнутом большим испытаниям, если не прерванном. Ценности веры? Извините, какой веры? Преданность государству? С какой стати? Национальная сплоченность! Покупай русское, помоги России! Да чем же вам так мила физия г-на Брынцалова? Уважение к иерархии! Да как бы ни симпатизировать В. В. Путину, можно ли забыть, что по происхождению своей власти он — назначенный преемник узурпатора, разгромившего существовавшее государство? Верность России? Что вы понимаете под Россией? Мне было трудно возражать, когда человек неглупый и злой сказал на днях: «От Ивангорода до Владивостока, не говоря о Яффе, Лазурном берегу, Кипре и Брайтон-бич — не счесть России. И слишком многие из них — отвратительны».

Я думаю, диалог с европейскими консерваторами побуждает нас самое большее задуматься над тем, как это идеальное для них прошлое

Европы способно типологически соотноситься с возможным будущим России — возможным, если имманентный ход, продолжившись, переислит и подчинит себе привнесенную динамику «развития вдогонку». Тем самым этот ход вернул бы нас к положению между русской Реформацией и русской же Контрреформацией. Иначе говоря, между большевизмом, пусть рафинированным и воссозданным по-новому (другой Реформации со своей сакральной вертикалью у нас больше не будет), и идеологией, которая представляла бы последовательную антитезу не просто большевизму, но всей эпохе нашей городской революции. Однако антитезу, принадлежащую самой этой эпохе и никакой иной, — преподносящую идеалы «Святой Руси» или «Белой Империи» сознанию нынешних русских и прежде всего горожан.

## VII

Я не верю в то, что XXI в. принесет России новую версию большевизма, на которой сплотилась бы деятельная и честолюбивая контрэлита. Большевизм утверждал, что начала и власти капиталистического века идут к упадку, вступая во вражду с собственными производительными силами, которые, бунтуя, ищут новых, способных раскрепостить их, хозяев. И что Россия, с ее «преимуществами социализма», переживет надломленный век, ибо уже начинается век новый. Большевистское правительство могло произносить нынешнему миру сколько угодно условных «да», веря в жернова времени; но произнеся этому миру безусловное «да», отказавшись от веры в его конечность и в бессмертие России по ту сторону «века сего», — большевизм был обречен, обесценив и уронив свою сакральную вертикаль. Сколь бы ни сходствовала участь новых бедных России, ее «вчерашнего среднего класса», с судьбой марксова пролетария в его «частичном существовании», наше протобюргерство, надыхавшееся либеральной пропагандой о наставших временах как «нормальной жизни», видит в этих временах «век падения и плена» — ему же несть конца — и не ощущает за собой никакой героически-освободительной призванности. Пережив гибель большевистской твердыни, как поверить в возможность торжества над этим веком? Какие цели мог бы прочертить сегодня большевизм перед своими неопитами? Восстановление социалистической сверхдержавы? Но если кому и войдет в голову такая идея, то, во-первых, она обречена ворочаться под тяжеленным камнем — памятью 91-го года. А во-вторых, подобная сверхдержава как проект бессмысленна вне своей

осеняющей сакральной вертикали — учения о мировых судьбах. Где оно? Эпигоны большевизма не смеют исповедовать его веру, гундя о «социальной справедливости», о «многополярности», о «гуманной жизни советских народов», о «самобытности», о «чудесах российского технологического гения». Для такой пошлятины никакого большевизма не нужно. Наша Реформация задохнулась, не выдержав двоеритмия, — и надломленная незавершенностью городской революции Россия закрутилась по волнам экзогенной динамики, грозящим и впрямь довершить ее распад на десятки России. Я не устану повторять: причины этого раскола в хронополитике городской революции. Россия держалась так называемым единством судьбы, иными словами — непрерывностью Цивилизационного сюжета. На 15 лет этот сюжет приостановился — и миру предстали ничем не удерживаемые воедино ломти, которые растаскивает, отмывает один от другого возобладавший чужеродный ритм.

В прошлое президентство один либерал сострил, что оппозиции, митингующей под портретами Сталина, надо бы, по ее истинным устремлениям, выходить с портретами Брежнева. Тогда я ответил, что не помешали бы два портрета вместе, символизирующих и былую реальность уверенно разраставшегося в годы «застоя» городского общества России, и нужду в санкционирующей его сакральной вертикали, олицетворяемой образом «наследника царей». Но здесь важнее другое. Сегодня большевистская символика и фразеология, давая выход вражде к сгустившемуся «веку пленения», «веку без России», «веку — мировой барсучьей норе», лишь усиливает чувство его необратимости, неизживаемости зона. Большевизм в славе своей был силен величавой онтологией: «смертность века сего — бессмертие России». Ныне за митинговым моральным «нет» против воли кричащих сквозит онтологическое «да» нынешнему веку (самоотрицание веры). Мало кто из коммунистов сегодня выбивается из онтологии Фрэнсиса Фукуямы.

Но обращу внимание и на другой момент. Изю всей нашей добольшевистской истории лишь в Московской Руси XV—XVII вв. мы обнаруживаем не только цивилизационную оригинальность представлений о судьбе мира и пути «оправдания» человека и народа, но и последовательно воплотивший эти представления культурно-бытовой и художественный стиль. Не случайно это время неоднократно делалось для русских XIX—XX вв. предметом фундаменталистских поэтизаций: славянофильской, евразийской, солоневичевской и иных, превозносящих уклад Московского царства как высшее достижение аграрно-

сословной России в противовес петербургской эпохе. Большевицкий период при всей его склонности с 1930-х имитировать имперскую классику предстал в нашей истории второй эрой, чей жизненный стиль был подчинен такту сакральной вертикали. Очень похоже, что в будущем, даже не очень и дальнем, идейные и стилевые обращения к большевицкому времени утвердятся как вторая признанная разновидность русского фундаментализма<sup>58</sup>.

В принципе, сосуществование в политическом менталитете цивилизации двух фундаменталистских идеалов, двух видений сакральной вертикали — вещь не слишком необычная. На Западе протестантский фундаментализм атлантистского толка соседствует с готическим фундаментализмом континентально-европейских консервативных революционеров, от Ж. де Местра до Ю. Эволя, обращенным к доренессансному зрелому Средневековью<sup>59</sup>. Нечто подобное возможно и для России, где между двумя московскими эпохами, способными послужить историческими основаниями двух фундаменталистских матриц, простерлась формально блистательная фаза петербургского Ренессанса XVIII-XX вв., по исчерпанию своих жизненных сил способная служить лишь подспорьем к имитаторству — стилевому, но также и социально-политическому. В любом случае большевизм как полюс притяжения или отталкивания останется для русских необходимой, с точки зрения Цивилизационного самоощущения, эрой. Разумеется, я говорю здесь о тех, у кого есть самоощущение и кто осознает его как ценность.

---

<sup>58</sup> Семь лет назад я писал о невозможности фундаментализма в России, где он, будто бы обречен смешно «проваливаться или в византизм, или в культ Перуна» [см.: Цымбурский 2000б: 17]. Я ошибался, если понимать под фундаментализмом стремление поверять жизнь народа как эталонами эпохами максимальной выраженности его сакральной вертикали.

<sup>59</sup> В свое время Н.Я. Данилевский замечательно классифицировал европейских «ретроградов» по тому, на какую из эпох «европейского цветения» они ориентированы. XIII в. — цвет феодализма — вызывает обожание у «небольшой партии ультрамонтанов и романтиков» (для меня это — фундаменталисты Европы). Далее, век XVII — цвет сословного общества, вышедшего из городской революции. По Данилевскому, это «настоящий идеал европейского консерватизма, к которому хотели бы повернуть все его поклонники» (и Г. Рормозер в их рядах!). Удивительная прозорливость Данилевского явилась в том, что, характеризуя XIX в. с его демократизмом и промышленностью как третий цвет Запада, он усмотрел в прославляющих этот век либералах новорожденную генерацию «неоконсерваторов» — точно предвидел Хайеков и Рейганов [Данилевский 1991: 236 и сл.]. Протестантский фундаментализм не попадает в эту типологию, а жаль. Восходя по своему духу к героике Реформации, он парадоксально сходится с фундаментализмом готическим на остром чувстве — пусть по-иному трактуемой — сакральной вертикали.



## VIII

Что касается шансов российской Контрреформации, они очень неоднозначны. Именно неоднозначны, а не то чтобы малы. Еще в начальной, добольшевистской фазе городской революции контрреформационная мысль обозначилась в трудах К. Н. Леонтьева и Л. А. Тихомирова в виде набросков социально-политического строя, опирающегося на новые сословия-корпорации, осененные православно-монархической вертикалью. Нельзя также недооценивать цивилизационную значимость контрреформационных форм идейного противостояния большевизму, отмеченных именами И. А. Ильина и И. Л. Солоневича, евразийцев пражской группы и П. А. Флоренского (с его «Предполагаемым государственным устройством в будущем», врученном следователю НКВД в 1933 г. как документ несуществовавшей партии возрождения России).

Русское православие, да и некоторые монархистские течения с 1917 г. по наши дни обнаружили изощренную способность к выработке мифов и формул, трактующих как большевистски-реформационную, так и послебольшевистскую «паузную» реальность в духе гегелевской *Aufhebung*, сохранения-в-снятии. Отвергая эту реальность как недолжную, подобные мифы и формулы вместе с тем утверждают особый статус недолжной данности как временно оправданной в рамках воздвигаемого над нею и вступающего с ней в сложные смысловые отношения контрреформационного сюжета (вот задача, с которой эпигоны большевизма не могут сладить применительно к нынешнему расколу). Таков ключевой для послереволюционного православия миф о Державной иконе Божьей Матери, явившейся в день отречения Николая II от престола — в знак того, что по низложению земной монархии Небесная Царица непосредственно берет под свою защиту согрешивший народ и его землю<sup>60</sup>. В том же стиле один из умнейших современных монархистов В. И. Карпец предложил конституционно трактовать Россию в ее настоящем и обозримом будущем как государство, управляемое временными распорядительными властями при пустующем троне. Существует целый ряд подобных схем, которые, будучи преподнесены через современные массмедиа, были бы способны мощно ориентировать сознание немалой части русских в контрреформационном духе. В тех же целях мог бы быть разыгран мотив идущей в мире

---

<sup>60</sup> Особое богатство мифа Державной Иконы, как не сложно увидеть, — в его способности быть использованным против практической реставрации монархии.

консервативной волны, призванный промывать мозги западникам и ввести нашу Контрреформацию в контекст авторитетных для них устремлений их «первого мира».

Наибольшее внимание я хотел бы уделить тем социально-политическим преломлениям, которыми могли бы сопровождаться различные версии контрреформационного движения. В 1990-х некоторыми идеологами победившей «демократии» печатно высказывались мысли о возможности или даже желательности установления в России конституционной монархии. На этот счет не замедлили появиться комментарии, отмечающие, что социальная подоплека такого шага должна была бы состоять в утверждении, сперва *de facto*, а в перспективе и *de jure*, наиболее преуспевших групп новых русских в правах господствующего сословия. При этом гедонизм, безответственность и ценностная обособленность антинационального гражданского общества России могли бы быть в основном освобождены от дискредитированных либеральных мотивировок. Как приметы новой сословности эти черты могли бы быть соотнесены с историческим образом Петербургской Империи XVIII — первой половины XIX в., когда последовательное проведение принципов иерархии и авторитета власти сочеталось со столь же неукоснительной культурной разделенностью общества. Множащиеся монументы Петру I, пение Талькова про «век золотой Екатерины», киносерIALы об интригах XVIII века, даже юбилей Санкт-Петербурга работают на новое дворянство. Практическое учреждение монархии ему было бы золотым яичком, но отнюдь не необходимым условием для проведения Контрреформации по «петербургскому» варианту: можно и без монарха, но рисованный фон Империи за таким вариантом маячил бы неотменимо. Под глобальные же тенденции такое развитие можно было бы вырядить медитациями в стиле постмарксиста из русско-французского банка В. Л. Иноземцева — на счет того, как прорыв в царство свободы преодолевших отчуждение труда и на том заколачивающих миллионные баксы творческих личностей должен сочетаться с пребыванием кишачей нетворческой массы «экономических людей» в царстве необходимости, на правах obsługi новых детей Солнца.

Однако при невозможности насадить в современных мегаполисах некогда державшую Империю сословную дхарму — ход по «петербургскому варианту» должен натолкнуться на сопротивление втаптываемого в грязь протобюргерства торжествовавшей последние 15 лет элитной фронде, перехватившей большевистское несословное государство

и постаравшейся его переработать в орудие сословного властвования и корыстования. Причем этот протест получил бы поддержку части политиков и «патриотических предпринимателей» из мелкой олигархии, чувствующих себя ущемленными дележом пирога (оставляющим их в царстве необходимости) — не говоря о том, что, как водится, в ряды контрэлиты потянулись бы на что-либо обиженные, искательно-авантюристичные или одолеваемые совестными комплексами выходцы из верхов «нового дворянства». Пережившая уже свои гугенотские войны, Россия двинется навстречу своему 1793 г., который разразится при признаках дестабилизации евроатлантического глобального Вавилона, хранящего наших дворянящихся фуфырей.

Важно понять — протест вовсе не обязательно отольется в формы обновленного большевизма. Он мог бы обрести и сугубо контрреформационное выражение. В том числе за счет усилий идеологов и пропагандистов, которые поставят (если говорить терминами европейских консерваторов) впереди принципов государства, авторитета и иерархии принцип мировоззренческой и ценностной гомогенности общества, морального консенсуса верхов и низов. То есть потребуют от всякой российской власти превращения в орудие косвенного диктата низов — на самом деле диктата контрэлиты, выступающей от имени низов, — над отщепенческими социальными верхами.

Когда-то Г. Федотов, обсуждая альтернативные большевизму сценарии, которыми Россия располагала к концу XIX в., особо выделил среди них два представлявших как бы два мыслимых в ту пору облика народной Контрреформации. Один из них Федотов усматривал в возможности для династии опереться на «черносотенное» крестьянство, соединяющее религиозный монархизм с волей к земельному переделу, — и при поддержке Церкви принести с высоты Трона в жертву этой силе космополитическое дворянство вместе с частью интеллигенции. Второй же путь виделся Федотову в опоре на тогдашние торгово-промышленные слои как на силу «православную, национальную, но враждебную бюрократии и отколовшемуся от народа дворянству», «силу почвенную и прогрессивную», «защищающую свободу слова и печати, единение царя и земли в формах Земского собора». Симптоматично, что этот вариант Федотов называл «делом Александра II в идейном обрамлении Алексея Михайловича», царя, символизирующего допетербургские времена [Федотов 1991: 164 и сл.].

Видно, что мыслитель связывал оба этих контрреформационных, одушевленных старой сакральной вертикалью варианта с сословиями, продолжающими традицию Московской Руси XVI—XVIII в.

Большевистская реформация либо смела, либо перелопатила эти сословия. Но я допускаю, что в XXI в. наше ущемленное протобюргерство и «патриотическое предпринимательство» способны выступить опорой как «темной», так и «светлой» версий народной Контрреформации — будь то жестокий передел собственности в сочетании с новой сакрализацией власти или перенастройка режима на домашние Цивилизационные задачи, понимаемые в манере «либерального славянофильства», как очень условно и не очень удачно определял свой второй вариант Федотов.

Это — задачи продолжения и перенастройки процесса городской революции: развитие различных типов городов, поднимающее национальную городскую культуру в ущерб и ограничение космополитической культуре мегаполисов и чудовищной «романо-готике» новорусских поселков; оформление городского политического класса, превращение его — говоря языком марксистов — из «класса в себе» в «класс для себя»; поддержка корпораций как форм жизни, укореняемых в национальной среде, врачиваемых в нее (примечательное явление — практика договоров между газовиками и субъектами Федерации, «несущими» газопроводы, о своеобразной пошлине в виде инвестиций в региональное развитие), геоэкономическая ставка на укрепление внутреннего рынка как совокупности рынков местных и региональных с использованием технологий связывания соседств и экспансией более прогрессивных рынков на смежные территории; усвоение того, что приставка «гео» в слове «геоэкономика» указывает не на планетарность, а на географию, и чем дальше, тем более должна указывать на географию российскую; восстановление деревень через прочные локальные рынки, через стабильный товарообмен деревень со «своими» городами в каждой местности и регионе. В разрабатываемой мной с начала 1990-х геополитике «острова России» я хотел бы видеть часть программы народной Контрреформации.

Я убежден, что эта программа будет ущербна без ее элитного и даже эзотерического увенчания. И таковым могло бы стать оформление плеяды ученых и идеологов, стремящихся проработать и частично актуализировать опыт доимперской «первомосковской» Руси. Какие смыслы возвеличивали дух «службы царицы» под «третьеримской» вертикалью, возносящейся над шатровыми храмами и сиянием русско-

го барокко? Доимперские века — почти что мертвые века для масс «образованщины» — недавний пример тому изображение Москвы XVII в. в акунинском «Алтын-толобасе». Мы не можем рассчитывать на появление деятелей ранга Флоренского или хотя бы Сергея Булгакова в качестве Лойол народной контрреформации. И однако же за последние 7 лет читающая Россия получила в руки книги, обнаруживающие исключительное интеллектуальное и эмоциональное обаяние идей-смыслообразов, выработанных «первомосковским» миром [Богданов 1995; Плеханова 1995; Сеницкая 1998; см. также переиздание выдающейся работы, вышедшей в эмиграции: Зеньковский 1995]. Кого нынче пленит великодержавный Третий Рим имперских трепачей? А тот, настоящий, филофеевский — островная последняя пядь над топным миром неверия, в которую сошлись все погибшие христианские царства, «та последняя пядь, что уж если оставить, то назад отступать ногу некуда ставить» — глядишь, кое-кого и затронет.

Глупым и не желающим понимать — мол, как же это мы среди XXI в. станем жить в XVII? — я все же поясню, что вовсе не зову поиграть с «машиной времени». В XVII век так же не вернуться, как и в XIX и даже в XX. Речь идет о стиле символов и образов, способном противостоять «петербургскому стилю» как семиотическому подспорью нарождающегося социального проекта. Проекта, ведущего нас, словами Ницше, «навстречу буре, где не будет для нас ничего нового — ни опыта, ни боли». А лишь не усвоенный старый опыт и с ним старая боль.

Если автономный ход нашей цивилизации не подавлен — на ближайший век он сведется к выбору между путями нашей Контрреформации<sup>61</sup>. Не меньше большевиков в их героические годы я вижу мир клонящимся к революции, которая перевернет его, как круг горшечника. Мир заслужил революцию. Но я надеюсь, что когда — в десятилетиях или в веках — она придет, большинство русских прочтет ее смысл и ее веление уже не через большевистские сюжеты.

---

<sup>61</sup> Здесь я перекликаюсь с Фурсовым, предсказывающим борьбу между двумя типами русского Старого порядка, московским и петербургским [см.: Фурсов 1996]. Но, вразрез с Фурсовым, я не включаю в этот расклад ни большевизма, ни либерализма в собственном смысле. И надо помнить: то, что может быть названо Старым порядком для России, стадально несоизмеримо со значением этих слов для Европы.

## ЛИТЕРАТУРА

- Арсланов В. 1994. *Ответы русской культуры на вызов времени (30-е годы)* // Via regia. № 1–2.
- Бердяев Н. А. 1990. *Истоки и смысл русского коммунизма*. М.
- Богданов А. П. 1995. *От летописания к исследованию. Русские историки последней четверти XVII века*. М.
- Вишневский А. Г. 1998. *Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР*. М.
- Глазычев В.Л. 1995. *Слободизация страны Гардарики*// Иное: Хрестоматия нового российского самосознания. Т. 1. М.
- Город и деревня в Европейской России. Сто лет перемен*. 2001. М.
- Данилевский Н.Я. 1991. *Россия и Европа*. М.
- Дюби Ж. 2000. *Трехчастная модель или представления средневекового общества о себе самом*. М.
- Зеньковский С. В. 1995. *Русское старообрядчество: духовные движения семнадцатого века*. М.
- Каганский В. Л. 2002. *Европейская Россия: географические итоги века* // Отечественные записки. № 3.
- Кара-Мурза С. Г. 2001. *Манипуляция сознанием*. М.
- Козлов Ю. В. 1996. *Ночная охота*. М.
- Курбатов Г.Л. 1984. *История Византии*. М.
- Ле Гоф Ж. 1992. *Цивилизация средневекового Запада*. М.
- Пайпс Р. 1993. *Россия при старом режиме*. М.
- Перепелкин Ю. Л. 2000. *История древнего Египта*. СПб.
- Пивоваров Ю.С. 1995. *Гений блага русской политики*// Рубежи. №6.
- Плюханова М. Б. 1995. *Сюжеты и символы Московского царства*. М.
- Рормозер Г. 1996. *Кризис либерализма*. М.
- Рормозер Г., Френкин А. А. 1996. *Новый консерватизм: вызов для России*. М.
- Семенов-Тянь-Шанский В. П. 1910. *Город и деревня в европейской России*. СПб.
- Синицкая Н. В. 1998. *Третий Рим: истоки и эволюции русской средневековой концепции*. М.

Топоров В. Н. 1980. *Vilnius, Wilno, Вильна: город и миф* // Балто-славянские этно-языковые контакты. М.

Федотов Г. П. 1991. *Революция идет!* // Федотов Г. П. *Судьба и грехи России*. Т.1 СПб.

Фест Й. 1993. *Гитлер: Биография*. Т. 3. Смоленск.

Флори Ж. 1999. *Идеология меча*. СПб.

Фурсов А. И. 1996. *Колокола истории* // Рубежи. № 7.

Цымбурский В.Л. 2000а. *Сколько цивилизаций?*// Рго е1 Согпта. Т. 5. № 3.

Цымбурский В.Л. 2000б. *Земля за Великим Лимитрофом: Цивилизация и ее геополитика*. М.

Шпенглер О. [б. г. ] *Прусская идея и социализм*. Берлин: Ефрон.

Luke T. W. 1985. *Ideology and Soviet Industrialization*. L.

«Интеллектуальная Россия», июль 2002 г.

## ДОЖДАЛИСЬ? ПЕРВАЯ МОНОГРАФИЯ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ГЕОПОЛИТИКИ

Рецензия на книгу: Алексеева И.В., Зеленев Е.И., Якунин В.И. *Геополитика в России: Между Востоком и Западом*. СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2001. — 304 с

Первая в России монография по отечественной геополитике, вышедшая в Санкт-Петербурге, достойна троякого комментария. Как профессиональный опыт, независимо от своей удачи или неудачи, важный для всех, кто работает в той же сфере и, может быть, захочет его повторить. Как скопище ляпов, о которых придется предупреждать читателя. И, наконец, как документ времени. При этом рецензия выходит намного больше, чем того требует простая оценка книги. Надеюсь, меня отчасти оправдает серьезность вопросов, которые приходится поднимать попутно с вынесением этой оценки.

### I

Раскрывая книгу под заглавием «*Геополитика в России*», мы вправе к ней сразу же поставить несколько вопросов. Во-первых, как авторы вообще понимают «геополитику»? Во-вторых, что они подразумевают под российской «геополитикой» для времен, когда сам этот термин не был у русских в ходу? А в-третьих, как они думают организовать материал, подаваемый под таким титулом?

Монографию открывают слова: «Геополитика — это отрасль знания, использующая пространственный подход при анализе политических процессов» (с.3). Далее узнаем, что это «комплексная научная дисциплина» (с.4), и что предпосылкой появления в России геополитических идей было развитие тут с XVIII в. политической и экономической географии (с. 34). У К.Э. Сорокина, правда, не оговорив этого, авторы берут разделение геополитики на «фундаментальную» — «научную дисциплину, изучающую развитие мировой политики», — и «прикладную», которая дает государствам и их союзам практические рекомендации. От себя же они хотели бы добавить третий раздел, «который рассматривает геополитическую теорию в ретроспективе, в контексте



государственных идеологических доктрин прошлого» (с.6). Тут задумываешься: если эта «комплексная научная дисциплина» должна осмысляться «в контексте государственных идеологических доктрин», с чем мы все-таки имеем дело — с отраслью научного познания или с частью идеологического процесса, шире — процесса политического? Но эта проблема даже не встанет в книге, что вызывает, как увидим, немалые последствия.

Главы труда выстроены так, что история геополитики как бы подчиняется порядку интеллектуального созревания. Сперва перечисляются мыслители-«предвестники» нашей геополитики. Потом описывается появление отдельных «геополитических идей» в разных умственных областях. Наконец, дело доходит и до «геополитических теорий». В этот ряд вклинивается глава, призванная показать, как переход к «теориям» готовился практикой государственных мужей, впитавших геополитические принципы и идеи.

Что же дает нам такая схематика? В «предвестники» записываются А.Н. Радищев (за одно-два изречения в стиле географического детерминизма), декабристы (за то, что при написании своих конституций спорили на федералистско-унитаристские темы), славянофилы с западниками и академик К.Э. Бэр, писавший о развитии цивилизаций вследствие хорошего сочетания «земли» и «воды». «Идеи» геополитического свойства обнаруживаются в географических и статистических штудиях К.К. Арсеньева, в военной географии Д.А. Милютина, позднее — А.Е. Снесарева, в публицистике Ф.И.Тютчева и Ф.М. Достоевского, проходящей почему-то как «этнополитика». Наконец, в размышлениях С.М. Соловьева и В.О. Ключевского над географическими основаниями русской истории.

Очень занятен параграф «*Геополитические идеи в русской философии*» (с. 100–106). Он начинается сообщением, что «катализатором развития геополитических идей в русской философии было влияние... учения Ч. Дарвина». Тут же авторы оговаривают, что дарвинисты Сеченов, Павлов и Бехтерев «оказали лишь косвенное влияние на развитие геополитических идей в России» (с.101). — Да как же его разглядеть-то, хотя бы и косвенное? Показали б нам. — Затем быстро пересказываются главные воззрения Н.Н. Страхова, Н.Ф. Федорова и особенно В.С. Соловьева, из наследия которого выбирается мечта о том, чтобы «Россия... хотя бы и без Царьграда...стала...царством правды и милости». На том сочинители и кончают параграф, — на самом деле, *не указав в нашей философии ни на одну геополитическую идею* (что

же, спросим, «катализировал» Дарвин?). Нам остается лишь оценить глубину уверений в том, будто бы «геополитика восприняла из философии принцип целостности материальных и духовных основ мироздания» (с.105).

Уже упомянутая глава «*Геополитический фактор в государственной деятельности России во второй половине XIX века*» «радует» нас длинным списком министров иностранных дел от А.А. Чарторыйского до В.Н. Ламсдорфа (с.154), обычными добрыми словами об А.М. Горчакова и С.Ю. Витте, наконец, упоминанием о трениях между «европейцами», заправляющими в МИДе, и «восточниками» из Азиатского департамента. Полезную информацию можно найти в параграфе о кавказских делах генерала Р.А. Фадеева и в главке о российском транспортном развитии в XIX веке, написанной В.И. Якуниным (с. 147–164). Что же касается этюда, посвященного русским приверженцам доктрины «морской силы», он сводится к разбору двух проходных статей из «Морского сборника», на которые авторов книги, по их признанию, натолкнули упоминания в «Геополитике» К.С. Гаджиева. Прискорбно, что совершенно без внимания оставлена наиболее оригинальная русская дореволюционная работа на эту тему — «Морская идея в Русской земле» Е.Н. Квашнина-Самарина<sup>62</sup>.

Наконец, к зрелым геополитическим «теориям» Империи причисляются: почему-то объединенные в одну «теорию» сочинения Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева, книжка Л.И. Мечникова о речных, морских и океанических цивилизациях, классификация типов «могущественного территориального владения» по В.П. Семенову-Тянь-Шанскому и разные соображения Д.И. Менделеева, особенно насчет важности для русских Ледовитого океана и желательности сдвига демографического центра страны поближе к ее территориальному центру в Сибири. Завершается все рассказом о том, как Октябрьская революция расколола нашу геополитику на эмигрантские теории, отлученные от практики, и лишенную собственной теории большевистскую геостратегию, причем и первая, и вторая были обречены на духовное засыхание, а СССР — на идейную разоруженность перед геополитически исхищенными США.

Все эти сведения, полагают авторы, должны нас убедить в существовании «российского геополитического направления, которое факти-

---

<sup>62</sup> См. ее перепечатку в сборнике: *Россия морей*. М., 1997

чески появилось раньше многих зарубежных и тогда развивалось автономно» (с.5).

Я тоже уверен, что в России такая традиция существовала. Но боюсь, что выводить эту традицию из клочковатой подборки разнородных примеров «пространственного подхода при анализе политики» — значит лишь дискредитировать утверждение о значительности и оригинальности этого явления.

Для меня от работы начинает тянуть научной неудачей с первых же страниц. Когда обнаруживается, что авторы совершенно не озабочены разграничить сколько-нибудь внятно геополитику с иными географическими и политологическими практиками. Разве политическая и историческая география, возникнув раньше геополитики, не применяли к политическим объектам и процессам «пространственного подхода»? И с какой стати развитие мировой политики должна изучать выдуманная без году неделя «фундаментальная геополитика», а не уважаемая дисциплина «международные отношения»? А если «пространственный подход» еще не есть критерий геополитики, то что позволяет подгрести под одну вывеску Тютчева с Милютиным, Мечникова с Леонтьевым, Достоевского с Ключевским? Почему мы это все должны принимать за геополитику?

Один лишь раз И.В. Алексеева с соавторами попробовали основательнее прочертить свой предмет, — когда им случилось противопоставить геополитику старым школам географического детерминизма. Оказывается, «геополитические идеи нередко опирались на аргументацию географического детерминизма, однако решали собственную задачу: не «постфактумное» обоснование имеющегося, а прагматический поиск средств достижения искомой политической цели, причем не только политическими методами, но и с привлечением естественнонаучных знаний (с. 74–75). Если не цепляться за стилистику вроде «поиск средств достижения искомой цели», мы находим тут важное утверждение: *специфика геополитики определяется ее направленностью на политическое целеполагание и целедостижение. Геополитика не просто «изучает» политику — она тянется содействовать политике, и более того — проектировать ее. Она есть форма политического участия.*

Но если принять такое понимание, то придется считать неправомерным, когда к геополитике относят политгеографические, историко-географические и т.п. штудии, не отмеченные политическим целепола-

ганием, волей к нему. А, значит, труды, зачисляемые в геополитику, должны выдерживать тестирование на политическую проектность!

Авторы как-то не осознают, какие проблемы могут возникать в связи с некоторыми их собственными формулировками — например, с той, что-де «значительное место среди российских геополитических теорий занимает политико-географическая концепция В.П. Семенова-Тян-Шанского (с.197). Ведь любая политико-географическая концепция есть по природе своей ни что иное, как «постфактумное объяснение имеющегося». Если мы решаем, что под пером Семенова-Тян-Шанского политгеография делалась геополитикой, — значит, должны сосредоточиться на тех убеждениях и приемах, которые позволяли географу транспонировать научное объяснение в политико-проектное «умоначертание». Однако, повторяю, авторы как бы и не видят проблемы в том, что они говорят, — по меркам их дискурса проблемы тут и впрямь нет. Но не определив геополитики в ее политическом качестве, ученые себя осудили на смысловую «недотянутость» замысла, на непрочерченность своей темы. А не сумев убедительно выделить в истории «геополитическое», они не смогли и сколько-нибудь естественно его организовать.

В самом деле, вовсе неочевидно, что явления, причисленные к геополитическим «идеям», будь то доктрина Тютчева или воззрения Снегарева, по каким-либо ясным критериям представляли в области геополитики низшие менее развернутые интеллектуальные конструкты, нежели те, что отнесены к «теориям» — скажем, раздумья Леонтьева или калькуляции Менделеева. К тому же, «идеи» и «теории» свободно раскиданы по одному и тому же временному интервалу, с середины XIX в. по 1910-е гг., внутри которого первые не обязательно предшествуют вторым. В конце концов, на исходе книги все это время объявляется одним этапом «накопления идей и оформления теорий» (с. 258). Но зато, чтобы сохранить хоть какую-то видимость периодизации, — та пора, что прежде объявлялась временем «предвестников» и как бы смешалась в предысторию предмета, вдруг теперь заново переименовывается в этап «появления первых геополитических идей» и «теоретизации геополитических мотиваций» (с. 257). Хотя вовсе не объяснено, какие мотивации «теоретизировались» Радищевым с Бэром, а также декабристами, западниками и славянофилами. Плохо все это смотрится, бестолково. Вроде как сначала возвести геополитическое в нашей философии к Дарвину, а потом не отыскать в ней ничего геополитического.

Тезис же о подготовке геополитических теорий практикой имперских политиков, сам по себе небезынтересный, зависит по особой причине: эта практика как таковая предстает в книге страшно монотонной, проникнутой из века в век одними и теми же неизменными «геополитическими мотивациями». Мы на западе веками поддерживаем «баланс сил и интересов», зато на юге грыземся с турками да с персами, да все ищем пути к «теплым морям» (с. 65). Петр I кого-то посылал в Индию. Екатерина II, «следуя примеру Петра, организует поход в Индию». Павел I матери не любил, но «унаследовал от нее программу внешней политики» и погнал казаков в Индию, «не обладая должным политическим кругозором» и не убоившись поссориться с англичанами. «Наследником «восточной политики» Павла I, стал его сын Николай I», хотя в Индию он не ходил. «Попытки России найти выход к Персидскому заливу не были забыты и во второй половине XIX в.» И т. д., и т. п. (с. 63–71). Для Запада знаем в точности — какой политический «заказ» и каких десятилетий, если не годов, порождал геополитические предложения Маккиндера и Хаусхофера, Спайкмена и Видаль де ля Блаша. Но русская политика у петербургских экспертов выглядит каким-то бодлеровским «чудовищем с лицом Всегда-Одно-И-То-Же». А значит, движение геополитической мысли не получается увязать с динамикой эпохальных задач Империи. Соотношение конкретных геополитических «умоначертаний», появившихся в данный, а не в иной момент, с политическим «заказом» выпадает за рамки обсуждения. Политика крутится вокруг одних и тех же «мотиваций», а геополитическая мысль, не вдохновляемая живой конъюнктурой целеполагания, сама собою — с позволения сказать — развивается: от «первых» и «ранних» идей к «накоплению», «концептуализации» и т. д. Никакого сотрудничества этих мыслителей с имперскими руководителями мы не видим. Скажем, Витте уважал Менделеева — ну и что с того, если нам не разу не покажут, как в географических помыслах у обоих проступала общая «довлеющая дневи» политическая забота.

Сполохами на этом фоне вдруг промелькивают упоминания — то о Крымской войне, после которой почему-то «станет очевидным евразийский характер русского геополитического бытия» (с. 29), то о Берлинском конгрессе 1878 г., чьи решения «заставили Россию скорректировать векторы своего геополитического развития» (с. 228). Промелькнули и исчезли, не определяя ни сюжетики политических биографий (а ведь тот же Витте как геостратег, с его пониманием желанного и невозможного, был определенно сформирован «послеберлин-

ским» миропорядком!), ни генезиса геополитических «идей» и «теорий». Не видя эпохальных «заказов» за вневременными географическими мотивациями, мы не получим никакой истории геополитической мысли, а разве что размазну «пространственного подхода при анализе политических процессов».

## II

Признаю, что я пристрастен в предыдущей критике, отправляясь от иного понимания «геополитики», чем то, которое заявлено в начале рецензируемой книги и, на мой взгляд, сделало для невозможной настоящую удачу, даже будь эта работа свободна от иных недостатков. Как уже сказано, я вижу в геополитике тип политического проектирования, стремящийся мобилизовать народы и элиты при помощи географических образов (моделей) с заложенным в них зарядом политических ориентаций и установок. У геополитики в таком понимании три главные цели. А именно: 1) *внушить элитам и народам отождествление с неким «географическим организмом», изображенным моделью;* 2) *заразить их сознание некой «жизненной проблемой» этого «организма», которую несет в себе модель;* 3) *увлечь их волю тем решением этой проблемы, которое модель подсказывает своей образной структурой.* Для меня геополитика — это форма внесения в мир политической воли, а не научная дисциплина, живущая процедурами верификации, самопровержений и методологических самоограничений. Известное наукообразие языка западной классической геополитики конца XIX и XX вв. было навеяно интеллектуальным поветрием модерна, отождествляющим респектабельность политической позиции с ее научностью. В России Данилевский в конце 1860-х был вполне захвачен этим поветрием, — но еще Тютчев двадцатью годами ранее не считается с ним, свободно опирая свой геополитический замысел «другой Европы — России будущего» на вполне средневековую топику хищения, переносов, сокрытия и тайного пестования якобы священной Власти. Геополитика может быть или не быть «научна» по своему антуражу; настоящей же наукой является только история геополитики, раскрывающая ее приемы, ее технику, ее возможности — в том числе семиотические.

При таком подходе напрашивается мысль, что реальные основания российской геополитики были заложены не в XVIII–XIX, а в XVI в. И дело не в том, что у Ивана IV были некие «геополитические мотива-

ции» (с. 43). А в том, что установив контроль России над Волгой и тем отрезав причерноморские степи от Центральной Азии, а затем истребив Ливонский Орден — продолжение Священной Римской империи на Балтике, Иван IV, не сознавая того, поработал на сотворение Балтийско-Черноморской международной системы (БЧС) XVI–XVIII вв. Той системы, где четыре сцепленных силовых центра — Россия, Польша, Швеция и Турция с Крымом — в их борьбе и перегруппировках союзов представляли — каждый особую географическую точку зрения на перспективы организации Балто-Черноморья. К этому можно и нужно добавить, что тогда же, в XVI в., к меридиональному балтийско-черноморскому полю России присоединилось второе ее поле — широтное, сибирское, причем два эти пространства скрепил волжско-прикавказский шов. Так оформились материальные предпосылки развития нашей геополитической мысли, вышедшей из своего эмбриогенеза и заявившей о себе крупными проектами во второй половине XVII в. Это — проект А.Л. Ордина-Нащокина: объединив позиции России и Польши с их речными верховьями и водоразделами, создать беспроектный плацдарм для натиска на оба морских фланга БЧС — черноморский и балтийский. А также для выхода России на Балканы и охвата католической Польши православным пространством, возглавляемым Москвой: выстроить это пространство с опорой на Польшу и им же ее защемить!

Далее проект, представленный в *«Скифийской истории»* А.И. Лызлова — доктрина противостояния кочевого и оседлого миров от Восточной Сибири до Балкан и Юго-Восточной Европы, впервые эксплицитно объединяющая русских с европейцами. Наконец, проект хорвата Ю. Крижанича — создание в покоряемом Крыму второй, южной России, соединенной с северной Московией дуальным союзом, который бы мыслился как «славянское царство», притягивающее к себе славян с европейской периферии.

Это все не XIX, не XX — XVII век! С XVIII же века геополитическая мысль Империи, развернутой к европейскому «основному человечеству», начинает работать над моделями «похищения Европы», утверждающими европейскую роль за страной с незападным историческим опытом, за народом с западной этнорелигиозной идентичностью, за державой, опирающейся на неевропейские протяженности в глубинах материка. Такими первыми большими планами русского «похищения Европы» оказываются проект «Северного аккорда» Н.И. Панина (попытка противопоставить первому в истории Европы «уни-

полю», достигнутому при Людовике XV союзом Парижа и Вены, — новый европейский центр, который был бы собран вокруг России с опорой на Балтику), затем екатерининско-потемкинский «греческий проект», нацеленный на то, чтобы военными, политическими, иммиграционными и иными методами актуализировать геокультурную память Причерноморья и Балкан, укореняя русских через византийское наследие в античном родоначалии Европы<sup>63</sup>.

Как я пытался показать в ряде работ<sup>64</sup>, историю России Петербургского и Второмосковского (большевистского) периодов характеризует циклическая смена событийных фаз, отражающих подвижное отношение Империи к международной системе Запада (Евро-Атлантики). За фазами вспомогательного участия России как балтийско-черноморской державы в играх западных претендентов на европейскую гегемонию (это XVIII — начало XIX вв. до вторжения Наполеона I в Россию; затем эпоха нашего участия в Антанте и, наконец, пакт Молотова-Риббентропа) приходят времена собственно российского «натиска на Запад», когда Империя выдвигает свой проект обустройства Европы (таковы сперва эпоха Священного Союза; потом — попытка большевиков на рубеже 1910 и 1920-х гг. внести в Центральную Европу свою революцию, далее — Ялтинская система). За провалами таких натисков всегда в прошлом следовали попытки России, откатившейся от Европы, собрать собственное пространство, лежащее вне пространства Запада (вспомним эпоху от Севастополя до Порт-Артура, или время сталинского «социализма в одной стране»). Каждый из очередных стратегических трендов представлял жизненной проблемой для правителей, идеологов, военачальников России, всякий раз по-новому задавая им эпохальную парадигму геополитического конструирования, его топику — включая и антисистемные версии, по тем или иным мотивам выступающие протестом против тенденции «основного потока».

Приняв концепцию стратегических циклов Империи за основу историко-морфологического анализа геополитической мысли, мы по-новому увидим многие образы и доктрины, проходящие по страницам разбираемой книги. Оказывается, что декабристы не просто «предвосхищают» геополитику, толкуя о недостатках и преимуществах административного унитаризма либо федерации. «Русская Правда» Пестеля

---

<sup>63</sup> Подробнее об этом в кн. Зорин А.Л. *Кормя двуглавого орла*. М., 2001.

<sup>64</sup> Цымбурский В.Л. *Циклы похищения Европы* // Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. Т.2. М., 1995; Он же. *«Европа-Россия»: третья осень системы цивилизации* // «Полис», 1997, №2.



— этот уникальный в истории проект конституции, определяющий территории, каковые еще должны быть завоеваны и включены в страну — вместе с прилегающими к ней записками являет собой первый продуманный евразийский проект России: со столицей на Волге, с казахскими и монгольскими степями, с мощным Тихоокеанским военным и торговым флотом, распространяющим влияние этой державы на Южную Азию. Перед нами не «предвестие» геополитики, но воплощенное стройное геополитическое видения, документ, являющий последовательную альтернативу паневропеизму Священного Союза, утверждавшемуся как программа при Александре I.

Опираясь на те же историко-морфологические предпосылки можно, к примеру, показать пагубную неудовлетворительность оценки авторами спора В.С. Соловьева с идеями Н.Я. Данилевского — будто бы некоего разрыва «философствующих» геополитиков с собственно философами» (с. 129). Для Соловьева, как и для его главного оппонента Н.Н. Страхова речь в этом споре шла не о конфликте философии с геополитикой, а о столкновении двух философий истории и о жизнеспособности идеи «российского мира» вне Европы. Интерпретация, предлагаемая И.В. Алексеевой с коллегами, была бы правомерна, если бы они взяли показать, что установка Соловьева, в отличие от взглядов Данилевского-Страхова, была несовместима с геополитикой как формой политического моделирования. Но доказать это невозможно, ибо Соловьев, несмотря на всю «антигеополитичность» своих lamentаций о «России — царстве правды и милости, хотя и без Константинополя», неотъемлемо вошел в историю нашей геополитики образом «панмонголизма» — восточноазиатской агрессивной консолидации, преподносимой им как потенциальное Божье возмездие нашей Империи за ее разворот к Азии и вычленение из европейского христианского человечества.

Из пересказа идей Н.Ф. Федорова на страницах монографии не видно никакой надобности упоминать об этом мыслителе в труде по российской геополитике. А между тем, Федоров имеет полное право на место, по крайней мере, в примечаниях к нашей геополитической истории, ибо он выступал видным представителем той ветви русского восточничества конца XIX в., которая пропагандировала российско-китайскую ось в континентальной Азии как стратегию, предназначенную обуздать деструктивный хаос тюрко-монгольского «кочевничества». Можно бы отметить, что федоровский культ «отцов», имеющий яркие конфуцианские параллели, если не прообразы, должен рассмат-

риваться в прочном комплексе с его геостратегическими убеждениями<sup>65</sup>.

Где нашим авторам видятся либо туманные «предпосылки» геополитики, либо разрозненные «идеи», малоубедительно дозревающие до ранга «теорий», там получается иная картина, если рассматривать геополитику как часть имперского идеологического процесса, непосредственно определяемую циклической динамикой системы «Евро-Атлантика — Россия»: открывается редкостное богатство национальных аргументативных форм геополитического моделирования и геополитической мобилизации.

### III

К сожалению, мне предстоит перейти к самой докучной повинности рецензента — говорить о моментах халтуры, которые невозможно, при всей охоте, списать ни на обычную игривость опечаток, ни на стилевые мутации, так любящие вторгаться между порождающим текст созданием и набирающей его рукой.

Я начну со склонности сочинителей рысисто сопрягать имена и идеи, несравнимые в исторической конкретике, каковая не устаивается ни учета, ни разбора. Раскроем страницы 214-216, отведенные европеизму и атлантизму Г.П. Федотова. Сперва его суждение о европейской федерации как «немыслимой без России» — что конкретно значило «без поражения» России сталинской — возводятся ... к Тютчеву и Данилевскому. К Тютчеву, надевавшемуся на поглощение Западной Европы Россией Николая I. К Данилевскому, искавшему противопоставить сплоченный мир славянской федерации — расколотой силовым дисбалансом Европе. Что общего между рекомендациями этих стратегов-идеологов и федотовским либеральным паневропейничаньем?

Тут же медитации Федотова в конце 1940-х о миссии англо-американской Pax Atlantica — обратить ослабленную послевоенную Европу в свой придаток и военной силой извести сталинский СССР — сопологаются с мыслями Герцена и Чернышевского о некоем сходстве путей России середины XIX в. и тогдашних Северо-Американских Соединенных штатов. Особенно «хороша» апелляция к Герцену, как из-

---

<sup>65</sup> Федоров Н.Ф. *Чему научает древнейший христианский памятник в Китае* // Федоров Н.Ф. *Собрание сочинений в четырех томах*. Том третий. М., Традиция, 1997, с.216–217.

вестно, предрекавшему сближение России и САСШ — двух гигантов по сторонам Европы, ненужных ей и, в свою очередь, будто бы призванных отвернуться от нее, чтобы лицом друг к другу в двух сторон соорудить «новый мир» на Тихом океане<sup>66</sup>. Где тут хоть какой выход на федотовское превознесение Pax Americana как Pax Atlantica?

И здесь же уверение, будто мысли позднего Федотова как «убежденного сторонника геополитической концепции атлантизма» имеют «очевидное сходство с геополитической концепцией Н. Спайкмена, являвшегося его современником и также жившего в США» (с. 215). Понятно, что тут для сравнения предлагается извлеченный из работ Дугина и др. карикатурный силуэт «Спайкмена-атлантиста», а не реальная прагматика работ этого геостратега. Ведь Спайкмен в годы Второй мировой войны как никто концентрированно выразил «американский страх» перед окружением Нового Света объединившимися силами евроазиатского приморья. Потому, кстати, он решительно отвергал мысль о каком-то особо агрессивном потенциале советского хартленда и призывал сохранить после войны союз Вашингтона и Лондона с Москвой, то есть, по сути, увековечить тегеранскую Большую Тройку. Если проект Спайкмана и может быть в каком-то смысле назван Pax Atlantica, то в любом случае он очень далек от той демократической «последней империи», которая виделась Федотову единственной альтернативой планетарной тирании СССР.

Три сравнения на две страницы и все три — настоящие «антисравнения». Зато, если уж говорить о Спайкмане, мы не найдем в книге даже упоминания того факта, что основную посылку доктрины Спайкмена за 30 лет предвосхитил В.П. Семенов-Тянь-Шанский, выдвинув тезис о Карибском, Средиземном и восточно-азиатских морях как колыбелях трех «господ мира» или одного «господина мира», который бы соединил в своих руках власть над этими бассейнами. Помним ли мы о Спайкмене хоть что-то, кроме его репутации атлантиста?

Перелистаем параграфы, посвященные евразийцам. «Одной из важнейших работ евразийцев» «с точки зрения осмысления международного аспекта геополитики» названы «Очерки международных отношений» П.Н. Савицкого, вышедшие в 1919 г. в «белом» Екатеринодаре (с. 233). При этом игнорируется, что хронологически это — «доевразийский» текст Савицкого, полный веры не только в скорую побе-

---

<sup>66</sup> Герцен А.И. *Собрание сочинений в 30 томах*. Т. 13. М., 1958, с. 339; Т. 14. М., 1958, с.32. См. особенно статью «Америка и Сибирь»: Т. 13, с. 388–403.

ду белых, но и в то, что восстановленная великая Россия вот-вот непосредственно вернется в расклад Европы и силой включится в политическую реконструкцию этого субконтинента. В этом тексте не проквоззит и намека на ту идеологию отделенного от Европы «особого мира России-Евразии», которую Савицкий будет утверждать в эмиграции с 1921 г. И, напротив, ни в одном труде Савицкого эмигрантской поры не проявится ни представленная в «Очерках» идея российско-германского альянса с русской поддержкой преобладания Германии на европейском западе, ни претензии на русскую гегемонию в Восточной и Средней Европе до линии Познань–Богемские горы–Триест (позднее евразийцы станут проводить границы Европы с «Россией-Евразией» намного восточнее, по Карпатам или по нулевой изотерме января, или, что то же, по рекам Неман–Западный Буг – устье Дуная, исключая средневропейских славян и балканские народы из «евразийской» сферы). Сколько-нибудь внимательный взгляд обнаруживает, что отношение России к европейскому субконтиненту предстает в «Очерках» совершенно иначе, чем в текстах Савицкого «евразийской» поры и в сочинениях его сподвижников тех лет. Поэтому нет основания рассматривать «Очерки» как памятник евразийской мысли. Делая эту ошибку, авторы вольно или нехотя подыгрывают Дугину с его германофилией и пафосом окрошечного смешения самых разных «евразийств».

Похоже, у Дугина они списали и известную историю о знакомстве Савицкого с Л.Н. Гумилевым в сталинском лагере (с. 221) – байку, решительно опровергнутую в 1992 г. самим Гумилевым в его предсмертном интервью<sup>67</sup>.

Непонятно, почему на с. 238 отход П.М. Бицилли от евразийцев связывается с признанием последними, прямо или косвенно... установления советского строя». Сам Бицилли недвусмысленно указывал, что для него «темный лик» евразийства определялся тяготением адептов этой идеологии к православной идеократии<sup>68</sup>.

Заглянем в другие параграфы.

Авторы воспроизводят мою реконструкцию геополитического проекта Ф.И. Тютчева<sup>69</sup>, с различением в его текстах условно «России-1»

<sup>67</sup> См.: Гумилев Л.Н. *Ритмы Евразии*. М., 1993, с. 27.

<sup>68</sup> Бицилли П.М. *Два лика евразийства* // Бицилли П.М. *Избранные труды по филологии*. М., 1996, с. 39-48.

<sup>69</sup> Цымбурский В.Л. *Тютчев как геополитик* // «Общественные науки и современность», 1995, №6.

в имперских контурах 1840-х годов, «России-2» с включением всех народов Европы, не принадлежащих романо-германскому ядру Запада и, наконец, панконтинентальной «России-3», объявшей практически всю Европу, Ближний Восток и Средиземноморье. Списывают, списывают и вдруг заключают: якобы «конкретные задачи по формированию «России-2» (повторяю, промежуточной, — в основном еще панславистской) выражает известная формула Тютчева: «Православный император в Константинополе, повелитель и покровитель Италии и Рима, православный папа в Риме, подданный императора» (с. 98). Господа, разве у Тютчева или у меня можно найти намек на то, что в глазах великого поэта и «крутого» геополитика Италия с Римом обретались вне коренного романо-германского ядра Запада? Неужели столь трудно разобраться в том, что заимствуете?

Еще удивительнее, что на с. 198 В.П. Семенову-Тянь-Шанскому под 1915 г. вменяется гордая мысль об отсутствии в России к тому времени «научных трудов по политической географии» кроме «блестящих трактатов трех ученых» — якобы В.И. Ламанского, А.И. Воейкова и самого В.П. Семенова-Тянь-Шанского... На деле же Вениамин Петрович был гораздо скромнее и третьим в этом ряду называл не себя, а своего отца П.П. Семенова-Тянь-Шанского с его статьей «Колонизационное значение России среди европейских народов».

Я продолжаю настаивать: нет сквернее порока для историка геополитики, чем представление об исторических эпохах и их проблематике «в общих чертах». Два раза в книге буква в букву повторяются слова о том, что «во второй половине XVIII в. Россия в очередной раз...пыталась преодолеть свое отставание от Запада» (с. 41-42, 258-259). Так ли? Читали ли эти люди оценку Ф. Броделя: «Россия великолепно приспособилась к промышленной «предреволюции», к общему взлету производства в XVIII в. ... Зато когда придет подлинная промышленная революция XIX в., Россия останется на месте и мало-помалу отстанет. Не так обстояло дело в XVIII в., когда русское промышленное развитие было равным развитию всей остальной Европы, а порой и превосходило его»<sup>70</sup>. Если мало Броделя — можно вспомнить книгу П.Н. Савицкого о размещении русской промышленности, где в полемике с Милюковым скрупулезно опровергалась мысль об

---

<sup>70</sup> Бродель Ф. *Материальная цивилизация, экономика и капитализм*. Т.1 М., 1992, с. 478.

«отсталости» русской экономики конца XVIII–начала XIX вв.<sup>71</sup>. Или аналогичные оценки советских историков, при всех обычных для них, проходных, нападках на «отсталые... производственные отношения» екатерининской России<sup>72</sup>. Можно спорить о некоторых цифрах, о механизмах и факторах. Но горько, когда ученый оценивает времена, не обнаруживая за душой ничего, кроме уверенности, что Россия никогда ничем заниматься и не могла, кроме как «в очередной раз... пытаться преодолеть свое отставание». Даже и в те поры, когда отставания не было.

Не всегда легко различить, где мы имеем дело с по-человечески извинительной стилевой невнятицей, а где — с мутью самой мысли. Когда нам говорят, что «Савицкий стремился выявить взаимосвязь между температурой и развитием культуры» (с. 224), мы не поверим, будто Савицкому всерьез приписывают воззрения типа «чем культурнее, тем прохладнее». Но как отнестись к словам об «интенсивной государственно-практической деятельности России в Европе, Азии, Африке, Америке и Австралии, способствовавшей практическому применению геополитических идей» (с. 258)? Неужели и в Африке? И в Австралии? Впрочем, мы уже когда-то нечто слышали о «России-родине слонов». Но каково — представить ее заодно и отчизной кенгуру?

Разбираться с этими вещами скучно до отвращения. Но ведь можно не сомневаться, что где-нибудь это сочинение да обретет место в списках «рекомендуемых учебных пособий». Все, на что может рассчитывать рецензент в подобных случаях — это оплаченное невольной репутацией зануды право сказать «Читатель предупрежден!».

#### IV

Этим можно было бы и ограничиться, если бы не послесловие «*О парадигме и коде геополитического развития России в XX-XXI вв.*» Ибо здесь те же люди пытаются выступить в ипостаси «настоящих» геополитиков — сторонников конкретного проекта России. Нам очень кстати было бы в принципе задуматься над политическим смыслом спроса на геополитику в Российской Федерации 1990-х и начала нового века. Случайно ли то, что безоглядная мода на этикеточный геополитизм всех марок вовсе не содействовала умножению профессиональных

---

<sup>71</sup> Савицкий П.Н. *Месторазвитие русской промышленности*. Берлин, 1932, с.104 и сл. — о «фазах бедности» и «фазах богатства» России.

<sup>72</sup> См.: *Всемирная история*. Т.V. М. 1958, с. 634.

разработок в этой области? Что, в самом деле, осталось в памяти от первого десятилетия раскрутки геополитики на российском интеллектуальном рынке? «Последний бросок на юг», («сапоги в Индийском океане» — виват, Снесарев!); зов Дугина — отдать Калининград и Курилы не за так, а за антиамериканский союз Москвы с Токио и Берлином, — плевать, что ни в одной из этих столиц ни сном ни духом не предвидят режима, готового на такую политику; императивы со страниц «Русского геополитического сборника» — аннексировать Восточную Украину, а после этого с западенцами-бендеровцами тотчас же заключить славянский союз; дурной пародией на блоковских «Скифов» угрозы жириновца Митрофанова в адрес атлантистов — открыть китайским ордам путь на Запад уже не по нашим степям Прибалхашья и Приаралья; кое у кого — мой «Остров Россия», освоенный в объеме заглавия... Что еще? Слава Молотову с Риббентропом, переходящая в овации «Президенту Путину, подхватившему евразийское знамя из рук Назарбаева».

Это мы, о Господи! Десять лет назад баловникам-либералам, развешивавшим пугала «веймарской России» любо было подмалевывать на оных геополитические усики как посулы «кровавых авантур». Сегодня почти с уверенностью в ответе спрашиваешь: «да не был ли постсоветский геополитический мандраж той же превращенной формой капитулянтской потребности в альтернативных мирах, что почкуется то плясками «толконутых», то похождениями академика Фоменко с «Батыем — батькой», то дугинской «Конспирологией» с полетами Жана Парвулеску, то переливающейся помойкой всех цветов виртуальной сакральности: от славянских валькирий до русских тольтеков.

Все так. Но нужно сказать и о второй, гораздо более важной функции сегодняшнего геополитизма, какую не могли бы взять не себя никакие иные формы «экскурсий по мыслимым мирам» с их способами приспособления сознаний к условиям «века без России». На самом деле «новая Россия» элит ни на грош заинтересована ни в каком геополитическом проектировании (ибо вовсе не видит себя в перспективе, где бы таковое зачем-то могло востребоваться). Ни даже в серьезной геополитической истории (так как вовсе не очевидно, что в тех контекстах, где эти персонажи себя мыслят, подобная история послужит патентом на благородство, а не скелетом в шкафу). По настоящему геополитизм котируется как идеология, утверждающая мысль о делящейся государственной традиции. И тем самым обосновывающая принцип лояльности подвластных к распорядительным струк-

турам «новой России», занятым утилизацией имперских накоплений и наработок в охвате российских границ и в формах санкционированных мировой экономикой и глобальным властным порядком. Геополитизм бесценен для «новой России» тем, что успешно припрягает даже отъявленных патриотов к повозке корпорации, не заслуживающей иного лучшего определения, нежели The Great Russia Utilization Inc. Такова по-настоящему актуальная страница нашей геополитической истории — психоделика «последних бросков» и «священных союзов» на службе власти, выразившей свою предельную пространственно-политическую мудрость в путинском изречении: *«А почему бы американцам не быть в Грузии, если они уже в Средней Азии?»*

Позволю себе не согласиться с мнениями о прагматизме «новой России», якобы не ведающей поля навязчиво-господствующей идеологии. Я полагаю, что такое поле существует, и функционирование «новой власти» в режиме утилизации России обеспечивается в сфере публичного слова взаимодействием трех дискурсивно-идеологических осей. Одна — это биполярная ось геополитизма с миражами «священных союзов» на одном конце и легитимизацией наличной «третьемосковской» псевдодержавности на другом. Вторая — ось российского постмодерна как пафоса «анклавизации»: на одном конце — в регионалистских, геополитических вариантах, а на другом — в вариантах откровенно антигеополитических, сияющихся вырвать как из национальных, так и из региональных контекстов и прямоком замкнуть на кружащий головы Большой Мир то «города-предприниматели», то фирмы, то КБ, то интернетовские содружества и т. п. (речь идет о геоэкономических проектах А.И. Неклессы, Э.Г. Кочетова, П.Г. Щедровицкого и др). Наконец, третья ось создается наработанным двоемыслием дискурсивных перекатов от демагогии «российского величия» к демагогии минималистского «выживания». Похоже, идейное поле «третьемосковской» России в основном может быть описано при помощи комбинаций этих трех биполярно-оборотнических осей. Более того, я допускаю, что идеологическая критика, которая смогла бы подвергнуть деструкции и дискредитации все эти три оси, будет по-настоящему интеллектуально убийственной для режима The Great Russia Utilization Inc.

В своей собственно геополитической части разбираемый опус примечателен той степенью, с которой он демонстрирует разные компоненты очерченного поля. Эта научно не получившаяся книга — книга впечатляюще современная. Вначале мы в ней прочтем рассуждение о



том, как «под влиянием происшедших в России событий она оказалась в маргинальной зоне всемирно-исторического развития, однако глобализация мировой экономики и политики постепенно возвращает Россию... в ряд ведущих государств» (с. 8). Мы увидим в тексте одобрительные ссылки на Дугина и даже на Митрофанова (в числе «наиболее значительных исследований, затрагивающих историю геополитической мысли в России», с. 10), а заодно и на Е.Ф. Морозова, твердящего о законе ирриденды в масштабе «славянской нации» (с. 178). В последствии же нам поведают о завышенной энергоёмкости наших производств, о недостаточности скудного российского населения для обживания такой страны, о фатальной поэтому «неконкурентоспособности» и «экономической нерентабельности» России как целого «в условиях сегодняшней мировой экономической системы» (с. 275). А отсюда извлекут неизбежность — строить «российскую геоэкономическую стратегию на основе тщательного, с точки зрения экономической целесообразности, выбора приоритетных для освоения территорий», с уже наличными благоприятными условиями (там же); и путеводной нитью такой стройки объявят регионализацию российских сегментов экономики и создание в мировой экономической системе собственных сегментов» (с. 275, 279). А, дотянув эту мысль, заключат, что сегментация вообще должна стать «новым кодом» геополитического развития России. Так не на общегосударственном уровне, а на уровне приграничных районов и избираемых в них властей должно определяться отношение к «происходящим практически по всему периметру российских границ, включая и северные ... интенсивным, хотя, порой, и неустойчивым, изменениям геополитических силовых полей» (с. 280). Причем укажут, — мол такая регионализация — это вынужденная мера, дающая жителям России шанс самосохраниться и самореализоваться в сегодняшних неблагоприятных условиях (с. 282). Если же кого заботит, как это скажется на «государственном суверенитете и территориальной целостности», — так вот вам и ответ: «Парадокс в том, что гарантиями суверенитета и территориальной целостности страны в ближайшие годы будут выступать ее геополитические слабости: во-первых, неготовность мировой экономики принять в свой состав российский рынок или крупную его часть (ну, тут поспособствует наше вступление в ВТО «на общих условиях» — В.Ц. ); во-вторых, значительный внешний государственный долг, который при распаде Российской Федерации теряет законные основания...» (с. 282).

Ах, хорошо же, господа, мы возвращаемся в ряд ведущих держав благодаря «глобализации мировой политики и экономики» — авось, пока не отдадим долгов, нам не дадут сдохнуть (и позволят поработать на поле борьбы с «международным терроризмом»)!. Что у наших геополитиков за умы: тут «великодержавие» и «славянская ирредента», и «выживание в нынешних неблагоприятных условиях» благодаря «слабостям» и «крупному долгу», и желание пойти на сегменты в мировую экономику, и настрой на то, чтобы приграничные боссы сами решали — как быть с «изменением геополитических силовых полей», т. е. попросту с ползучим перемещением границ...

Запах научной неудачи отчасти перебивается букетом с идеологических полей «новой России», где главенствует мистификаторское амбре «выживания–величия–выживания...» — примета политической эпохи, не желающей думать всерьез ни о выживании, ни о величии.

*www.politstudies.ru 2002 г.*

## **ЕВРОПА МЕЖДУ «ЕВРАЗИЕЙ» И «ЕВРОАФРИКОЙ». НОВАЯ ИМПЕРСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА**

Мировая империя как факт существует. Она строилась трудно, перипетийно, но она существует. Последний бросок американцев в Центральную Азию, с зажатием всех континентальных центров силы между базами в середине континента и американским флотом на море, в общем-то подводит ее к моменту кристаллизации. Говоря о так называемой «европейской общности», следует помнить, что она создавалась в контексте строительства этой империи и явилась результирующей двух процессов. Во-первых, у европейских стран отобрали выделенные колониальные сферы влияния. Во-вторых, европейцев подвели под общий защитный зонтик и объявили, что будут их оборонять от врага с Востока. А когда врага с Востока не стало — то, в перспективе, от любого другого врага. Европейцы увидели, что в конечном счете это позволяет им относительно беззаботно процветать. Но вместе с тем в результате просто исчезло поле, на котором европейские государства могли бы позиционировать свои отдельные национальные интересы, интересы, которые до сих пор оформлялись в сферах колониальных, а также в сферах военного соперничества между европейскими государствами.

Во многом сворачивание «политики национальных интересов» в Европе было насильственным и имело целью просто удержать в узде Германию, но, как бы то ни было, оно состоялось, и по мере формирования экономического «гроссраума» начали складываться так называемые «общеевропейские интересы». При этом наиболее крупные центры европейского поля могут представлять тот или иной аспект общеевропейских интересов. Франция представляет их в Средиземноморье и частично в Африке, Германия на Балканах и в Восточной Европе (смотрите у Бжезинского в «Большой доске»). И так далее.

В связи с этим стоит другой вопрос: каким образом оформляющаяся в ходе интеграционных процессов европейская идентичность будет проецироваться в международную политику и, в частности, каким образом европейская политика будет дифференцироваться от североамериканской? Я повторю то, что говорил многократно. Объединенная

Европа играет в системе существующей империи шакалью роль. То есть, попросту говоря, — роль муссолиниевской Италии в Третьем Рейхе. Шакал старается подобрать то, что льву по тем или иным причинам не интересно, на что, попросту говоря, у льва глаз не лег. Шакал стремится выстроить свою сферу влияния внутри более широкого силового поля. Собственно, таким образом и происходит дифференциация. Скажем, если американцы установили военное присутствие на Балканах, то Европа теперь масштабно инвестирует в разрушенную Югославию и получает от этого в перспективе хорошие бонусы. Или если Израиль — союзник Соединенных Штатов, довольно поднадоевший, то у Европы, при всех ее сложных чувствах к арабам, оказываются в Магрибском пространстве свои серьезные интересы, которые она под гуманитарными соусами раскручивает.

В обозримое время в этом распределении ролей вряд ли что-то изменится. Действительно же интересные размышления на европейскую тему начинаются, пожалуй, лишь с того момента, когда мы, под влиянием таких, например, добрых людей, как Иммануэль Валлерстайн, ставим вопрос о ситуации, которая может сложиться после гипотетического краха имперской оси, после Соединенных Штатов. Здесь приходится уже серьезно думать и моделировать возможности альтернативной Европы, которую я условно называю Европой Митридата Евпатора, осуществлявшего, если помните, свой, противостоящий Риму проект. Это консолидированная Европа, относительно известная нам по образам исторически существовавших «Европ-империй», будь то наполеоновский блок, или, затем, Центральная Европа, сплоченная под эгидой Германии и Австро-Венгрии, или приснопамятная гитлеровская Европа (с подачи Шпенглера Гитлер хотел быть Цезарем Европы, но потянул всего лишь на ее Митридата Евпатора).

Какая Россия была бы мыслима и приемлема для этой Европы, оформившейся в качестве самостоятельной, обособленной силы? Посмотрев на вопрос исторически, мы увидим весьма устойчивую тенденцию: для консолидированной и обладающей отчетливым геополитическим самосознанием Европы всегда была наиболее приемлема Россия, развернутая к Азии, продвигающаяся к Тихому океану, по мере сил — к Индийскому: Россия, которую при желании можно назвать «Россией-Евразией». Такая Россия импонировала Наполеону, когда он ориентировал соответствующим образом Александра. Она была мила Вильгельму II, она была приятна Бисмарку даже. И кстати, стоит вспомнить, из-за чего возник кризис во время приезда Молотова в

Берлин осенью 40-го года. Ему предложили конкретный проект: дележ британского достояния, при котором Советскому Союзу отводилась бы зона к югу от Батуми и Баку. В ответ через Молотова передали позицию, что у нас, кроме южных интересов, есть интересы в Финляндии и вообще на Балтике (прямо над германским побережьем!), интересы, связанные с проливами и выходом в Средиземноморье (раз мы теперь боремся с Англией, то должны себя защитить с моря), есть желание, чтобы Гитлер вывел войска из Румынии (чьей нефтью он окормлялся) и согласился бы на патронат советского Коминтерна над болгарской монархией. Выслушав эти предложения, Адольф Алоизович привел в действие план Барбаросса.

Сталин не понял одного: Пан-Европа готова была взять нас в союзники, но не в союзники внутриевропейские — там мы были ей не нужны. Не случайно Хаусхофер, сперва прославивший пакт Молотова-Риббентропа, с лета 1940-го года выразительно заскулил о том, что присоединя Балтию, мы взламываем барьер Европы.

Для интегрированной и сильной Европы в принципе не приемлема никакая Россия с выходом в Средиземноморье, не приемлема Россия, разворачивающаяся на балтийско-черноморском пороге и взламывающая этот барьер. Иными словами, для нее немислима Россия, которая помнила бы о своем византийском и античном наследии, сохраняла средиземноморскую цивилизационную память и которая в принципе заявляла бы, что она тоже — европейская держава. В нынешнем стремлении «отжать» Россию из Восточной Пруссии уже угадываются черты этой потенциальной Европы, чья политика не будет одержима желанием поглотить Россию, но будет определяться именно стремлением «отжать» ее.

Что же касается собственной, наиболее естественной и обширной резервной зоны европейского роста, то она расположена не на русском северо-востоке, а скорее на арабском юго-востоке. Тот же Хаусхофер ставил Гитлера перед альтернативой — идти Германии в «евразийский» или «евроафриканский» разворот, а Макиндер твердил о том, что истинной границей Европы нужно считать Сахару. Поэтому еще одним предвосхищением потенциальной Пан-Европы можно считать нынешнюю политику ЕС в арабо-израильском вопросе, заставляющую вспомнить о давнем проекте «Евроафрики», вокруг которого Европа кружится, как коза на приколе. Ну что делать, если те функции прислуги, которые не хотят выполнять у себя дома европейцы, берут на себя турки, арабы и североафриканцы? На наших глазах возникает

странная ситуация, когда пресловутая Европа, ищущая идентичности, разрывается между неприязнью к накатывающим на нее массам смуглявого народа, размывающим ее идентичность, и окончательным выводом, что европейская геополитическая идентичность мыслима прежде всего через идентичность евроафриканскую.

Следует сказать, что традиция за этим стоит довольно солидная. Напомню популярную у нас «Геоэкономику» Жана и Савоны: как только зарплаты в постсоветской «Центральной» Европе подрастут до уровня общеевропейских, этот регион станет бесперспективным для инвесторов, и необходимо будет всерьез браться за Евроафрику. Примерно то же аргументировал Хаусхофер, видя в «евроафриканском» панрегионе воплощение преимуществ «долготной» интеграции (интеграции «индустриалов» с «аграриями») перед «широтной». В историческом плане ультрамонтаны и романтики могут рассказать о крестовых походах или воссоздать величественный образ Фридриха II, императора «Священной Римской Империи», с его столицей в полуарабской тогда Сицилии.

Поэтому Европа, которая захотела бы найти себя в мире, пошатнувшись после гипотетического падения американского Вавилона, сможет вполне органично востребовать проект «Евроафрики», определив при этом свою «евразийскую» политику максимумом Розенберга. Помните, как он говорил о целях вторжения 22 июня? Оградить сущность Европы и одновременно продвинуть ее немножко к Востоку. Любопытно то, что проблески этой «Европы Митридата Евпатора» мы замечаем в поведении нынешней «шакальской Европы».

*ЦентрАзия, 2002 г.*

## НЕФТЬ И GEOTEPPOP

Рецензия на книгу *Петров В.В., Поляков Г.А., Полякова Т.В., Сергеев В.М. Долгосрочные перспективы российской нефти (анализ, тренды, сценарии)*. — М.: Фазис, 2003. — 200 с.

Понятие «геополитика нефти» укоренилось в мировом политическом обиходе, по крайней мере, с конца 1970-х годов, особенно после того, как комитет по энергии и природным ресурсам Сената США провел в 1980 г. слушания на эту тему [Geopolitics 1980].

Предметом геополитики нефти являются распределение на Земле нефтяных запасов и маршруты доставки нефти в разные пункты планеты, причем эти темы трактуются ею с точки зрения безопасности заинтересованных держав, в увязке с блоковым и цивилизационным членениями мира и с разворачивающимися в нем антагонизмами. Особенность же рассматриваемой книги — в талантливом соединении геополитики нефти с хронополитикой, с учением о меняющихся во времени мировых и региональных трендах в сфере добычи и потребления нефти и о разнообразных политических следствиях, порождаемых этими трендами и их взаимоналожениями.

Вообще хронополитика как отрасль знания и как вид политической практики представляет собой изучение и использование неоднородности исторического времени, его подвижных тенденций и конъюнктур. До сих пор она по преимуществу остается на уровне объективистского анализа, выступает своего рода описательной «политгеографией времени». Между тем будущее этой дисциплины определится ее способностью перейти к ангажированному политическому проектированию, отталкивающемуся от наложения разных трендов, от того, как они усугубляют или гасят друг друга или создают сложные — «бифуркационные» — конъюнктуры разнонаправленностью своих движений и несовпадением своих пиков [см.: Цымбурский 1999a]. (Уже досциентистская предшественница хронополитики — астрология исходила и исходит из представления о закономерно преобразующихся во времени конфигурациях различных влияний-тенденций.) «Политгеография времени» должна выделить из себя аналог геополитики, когда-нибудь явив своих Макиндеров и Хаусхоферов. В частности, это относится и

к хронополитике топлива и стратегических материалов. Книга В. Петрова и его соавторов — из тех, что закладывают надежное объективистское обеспечение для проектных разработок в хронополитической области.

\* \* \*

В этом труде налицо два уровня анализа. С одной стороны, речь идет о мировых тенденциях в сфере добычи и транспортировки нефти до 2020 г. (с редким и осторожным заглядыванием в более далекое будущее). С другой стороны, — о наших, российских нефтяных перспективах на вторую половину 2000-х — первую половину 2010-х годов, то есть, на тот интервал, на который, в частности, придется президентские выборы 2008 г., сулящие поставить под большой вопрос протянувшуюся с декабря 1991 г. непрерывную линию российской либеральной власти.

Первый аспект авторы, забегая вперед, суммируют в словах, открывающих книгу: «Сегодня есть серьезные основания утверждать, что мировое производство нефти достигнет своего пика в конце нынешнего десятилетия. После прохождения максимума добыча нефти вступит в фазу длительного и неуклонного падения и, возможно, уже более никогда не будет расти» (с. 5). Впрочем, ниже даются разные допустимые датировки этого мирового нефтяного максимума — от 2004–2006 до 2015–2020 гг. (с. 9). Вслед за множеством экспертов авторы констатируют наметившееся истощение большинства крупнейших разрабатываемых месторождений за исключением Ближнего Востока. Политические характеристики этого основного нефтеносного поля планеты неизбежно обострят в ближайшие 10–15 лет интерес инвесторов к «любой новой возможности добычи нефти в других, более “спокойных” районах» — в Западной Африке (сейчас все больше пишут о мавританской нефти), в русской Северо-Восточной Азии с ее шельфами и вообще в арктическом поясе (Карское море, Норвегия, Гренландия, Канада). Со второй четверти XXI в. ожидается усиление тенденции перехода мирохозяйственного Центра на нетрадиционные дорогостоящие виды нефти, которая, как допускается, повлечет за собой еще более радикальную демодернизацию и реархаизацию многих бедных стран, этих мировых «опасных классов» (с. 13–17).

В наши дни, пишут авторы, цены на нефть регулируются двумя крупнейшими факторами: «глобальное замедление экономического роста, неопределенность его дальнейших перспектив» (собственно, на-



метившаяся еще с 1970-х годов понижательная «вековая тенденция», по Ф. Броделю) работают на снижение цен, однако мусульманский терроризм, создавая картину ближневосточной и мировой нестабильности, держит цены на уровне существенно выше того, который определился бы сугубо экономическим спросом. Но высокая цена нефти как функция большой нестабильности отнюдь не благоприятствует устремлению инвестиций в эту сферу, наоборот, они все больше уходят в отрасли с более быстрой, краткосрочной отдачей. В свою очередь, проводимые в интересах потребителей из развитых стран либерализация и диверсификация нефтегазового рынка не способствуют долгосрочным контрактам, а, стало быть, и инвестированию в новые большие инфраструктурные (трубопроводные) проекты (с. 27–34).

В таких условиях судьба нефтяной отрасли начинает все более определяться геополитикой, прежде всего, геополитической идеологией и порождаемыми ею приоритетами единственной сверхдержавы. В начале 2000-х годов США оказались перед выбором: развивать ли как альтернативу Ближнему Востоку новые нефтяные провинции, в особенности втягивая в свое жизненное пространство русскую Северную Восточную Азию, или силой навязать ближневосточным странам свой «замирающий» контроль. Республиканцы явно двинулись по второму пути, исходя из того геополитического тезиса, что по высочайшему счету «за пределами Ближнего Востока... просто нет нефти» (заявление директора Бостонского Института анализа проблем энергетической безопасности С. Эмерсон). Предполагавшийся до последнего времени массивный выброс на мировой рынок иракской нефти мог бы стать попыткой переломить по-американски депрессивную «вековую тенденцию». (Эксперты, отвергавшие в 2002-м и начале 2003 гг такой прогноз для иракской нефти, ссылались на изношенность нефтяной инфраструктуры Ирака, на нестабильность предполагаемого послехусейновского режима, отпугивающую инвесторов, и на то, что, добываясь признания соседей, этот режим будет связан ОПЭКовской квотой [Виноградова 2003: 62–64]. Эти экономисты не предвидели, что в Ираке много лет вообще не будет никакого самостоятельного режима, а его нефтяные скважины поступят в неограниченное распоряжение американской администрации — и этим обстоятельством снимутся основные из их доводов.) Последствия такого решения казались прозрачны: крупномасштабное снижение цен на нефть, мощно стимулировав экономики стран не только Центра, но и полупериферии (Китай, Индия), а также Японии, оказавшейся с конца XX в. на грани полупе-

риферии, вместе с тем подорвало бы рентабельность нефтедобычи в мире за пределами Ближнего Востока, по крайней мере, на 5–6 лет.

На фоне этих глобальных ожиданий Петров с коллегами переходят к обсуждению будущего собственно российской нефти. Поскольку наша нефтедобыча ориентирована на мировой рынок, пишут они, постольку «доказанные» нефтяные запасы России следует определять не по советско-российскому, а по западному критерию, относя к ним не всю технически извлекаемую нефть, а только ту, добыча которой рентабельна по наличным экономическим условиям. Кроме того, подчеркивают авторы, надо иметь в виду отсутствие в России благоприятной технологической и инвестиционной среды для разработки небольших залежей. Налоговая политика Москвы начала 2000-х годов последовательно подавляет малые нефтяные компании, открывая зеленый свет компаниям-монополистам, эксплуатирующим огромные месторождения (то же самое происходит и в сфере добычи газа [Ястребцов 2003]). Сейчас для россиян не так важен маячащий где-то в даях наступившего века спад мировой нефтедобычи, как пока продолжающееся восхождение планетарной экономики к ее «нефтяному максимуму». Ввиду предстоящего поступления на мировой рынок иракской нефти, главный вопрос — утверждают авторы — состоит в том, позволит ли добыча из основных российских бассейнов совладать с этим вызовом, поддерживая удовлетворительный для народа и государства уровень нефтяных доходов?

Предлагая свой ответ на этот вопрос, ученые оперлись на разработки крупнейшего в XX в. эксперта по топливным ресурсам М. Хубберта [Hubbert 1962: 41–94]. Они апеллируют к его знаменитой эмпирической кривой и описывающей ее формуле, которые позволяют вычислять ежегодную добычу нефти, исходя из соотношения потенциально извлекаемых ресурсов месторождения и добычи уже накопленной (если эмпирически устанавливается, что пик добычи на месторождении уже пройден, то по данным о ежегодной добыче за предыдущие годы кривая Хубберта позволяет оценить истинные запасы месторождения и сделать долгосрочный прогноз добычи). Важно, что с учетом работ последователя Хубберта Ж. Лэрье супруги Поляковы постарались серьезно подкорректировать модель Хубберта, приспособить ее к случаям, когда оценка запасов может меняться из-за доразведки, а также вследствие переменной интенсивности добычи. Дело специалистов — в деталях оценить построенную супругами-математиками в виде системы уравнений «динамическую» версию модели Хубберта (так называемую

комплексную модель «разведка–добыча»). Если оценка этого результата экспертным сообществом будет благоприятна, то пользователи модели получат в свое распоряжение значительно усовершенствованный аппарат хронополитики нефти как часть общего инструментария хронополитического прогнозирования и проектирования.

Попутно можно указать на один интересный специальный результат, полученный Поляковым и укореняющий хронополитику нефти в мировой и национальной истории. Построив общую кривую нефтедобычи в России за XX век, прошедшую свой пик в конце 1980-х годов, наши математики вслед за Лэрье истолковали ряд меньших выгибов этой кривой как следствие наложения нескольких частных кривых Хубберта. При этом обнаружилось, что такие частные кривые, вопреки Лэрье, могут порождаться не только открытием и введением в разработку новых месторождений: Урало-Поволжского (пик 1967 г.) и Западно-Сибирского (пик 1982 г.), но и средовыми изменениями — индустриализацией и террористическим дисциплинированием в 1930-х (пик 1937 г.), обновлением производственных фондов в 1980-х, наконец, краткосрочным улучшением мировой конъюнктуры и притоком инвестиций в российскую нефтедобычу в начале 2000-х, давшими в наши дни очередной малый пик, пока примерно в полтора раза уступающий суммарному великому пику 1989 г. Оказывается, стимулирующие средовые изменения истолковываются аппаратом модели Хубберта как аналоги открытия новых месторождений, порождая соответствующие кривые или «псевдокривые» с их математически предсказуемыми подъемами, максимумами, перегибами и спадами (с. 86).

А теперь — о главном прогнозе авторов, который составляет политический смысл книги и вытекает из применения модели «разведка–добыча» к динамике наших нефтеносных регионов по отдельности. Северный Кавказ оказывается практически «выработанным» регионом с предвидимой после 2010 г. добычей не более 3,5 млн. тонн в год и то под большим вопросом, а Урало-Поволжье — краем, где искусно выжимаются остаточные запасы благодаря новым технологиям и интенсивности бурения. В зависимости от того, насколько будет выдержан этот курс, подкрепленный доразведкой, прогноз на 2010 г. — от 60 до 110 млн. тонн в год. Север Европейской России, похоже, может дать наибольший относительный прирост добычи при минимальных вложениях в разведку, но общий размер добычи тут вряд ли превысит 20–25 млн. тонн в год. Наиболее впечатляет предсказание для Западной Сибири, оплота российского бюджета: после 2005 г. нас ждет, скорее

всего, стремительное снижение добычи с выходом к 2010 г. на уровень примерно 50 млн. тонн. Общий вывод перечеркивает претензии нефтяников и правительства — достигнув 450–500 млн. тонн ежегодных, стабилизировать добычу на этом уровне, приближенном к пику 1989 г. Взамен этого предполагается падение нефтедобычи во второй половине десятилетия: в худшем случае почти в три раза по сравнению с 2002 г. (375 млн. тонн) и не менее чем на четверть даже в случае фантастически благоприятном — при открытии и начале разработки в Западной Сибири новых месторождений объемом не менее 300 млн. тонн.

И этот внутрироссийский нефтяной коллапс, предсказываемый и моделью Хубберта, и ее модифицированной версией — моделью «разведка–добыча», должен был бы резко усугубиться снижением мировых цен на нефть, которое исключило бы значительную часть российских запасов из категории «доказанных», во всяком случае, на какое-то время.

Исходя из заложенных в нее посылок, модель «разведка–добыча» интерпретирует наш нефтяной бум последних трех лет на старых нефtezалежах, без введения в действие новых месторождений, как результат предельно интенсифицированной добычи, но при почти полном прекращении разведочного бурения, иначе краткосрочный прирост мог бы быть еще больше (с. 184). Речь идет о «сверхэксплуатации высокопродуктивных пластов» посредством насаженных инвестиций в нефтеотдачу (с. 193–194). Мировой обвал цен на 5–6 лет обесмыслил бы эти вложения, не говоря уже о том, что он, скорее всего, «остановил бы всю оставшуюся геологоразведку» (с. 194). Факторы, сворачивающие извлечение нефти, стали бы буквально подхлестывать и усугублять друг друга.

Предотвратить или хотя бы смягчить последствия для России «двойного обвала» — добычи и цен — могло бы, оговаривают эксперты, введение в мировой оборот нефти Восточной Сибири (Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления, по терминологии академика А. Трофимука [Трофимук 1994]). Но это утверждение в духе прогноза Лэрье о возможности выхода российской нефти на второй «большой максимум» после 2010 г. (с. 43–52) сами авторы тут же и опровергают. По их мнению, прогнозируемый спад приблизился настолько вплотную, что «восточносибирский шанс» положить начало еще одной кривой Хубберта, еще два-три года назад бывший вполне реальным, сегодня надо считать практически упущенным, по крайней мере, в масштабах нынешнего десятилетия. После 2005–2006 гг. на его реализацию, скорее всего, не будет средств, если не пойти на широчайшие льготы

западному капиталу, пересмотрев всю нашу геополитику. Но никакая российская власть — ни «патриотическая», ни открыто завязанная на нефтяные компании — не решится на такую капитуляцию, а потому восточносибирскую нефть, скорее всего, законсервируют до более благоприятной конъюнктуры минимум лет на 10, продолжая по инерции все менее рентабельную стагнирующую разработку традиционных и уже истощенных залежей.

Правительство же не только подминает своей налоговой политикой малые компании и прекращает поддерживать геологоразведку, сбрасывая ее на частные корпорации. Стремясь сконцентрировать все налоги на добычу сырья в федеральном бюджете, оно, допускают авторы, вопреки своим декларациям, подспудно уже сейчас исходит из предвосхищения близкого экономического коллапса. И поэтому, концентрируя все доступные ресурсы в своих руках, а все возможные расходы, особенно социальные, сбрасывая на не справляющиеся с ними регионы, правительство стремится загодя замкнуть страну на себя как на монопольный финансовый центр, чтобы предотвратить в пору двойного обвала расползание России по советскому сценарию второй половины 1980-х — начала 1990-х годов. Такая финансовая стратегия предвосхищения кризиса, возможно, и достигнет своей цели, но при этом станет одним из факторов, которые усугубят его и так небывалую остроту (с. 188–189). Анализируя мотивы намечаемого «укрупнения субъектов Федерации» с перенесением проблем слаборазвитых территорий на плечи регионов «продвинутых», особенно нефти — и газоносных, один из авторов «Делового вторника» пришел в свое время практически к тому же самому выводу: «Впечатление от всего этого остается одно — Кремль и правительство предполагают наступление столь трудных для России и ее бюджета времен, что, несмотря на все очевидные издержки планируемых действий, вынуждены все-таки идти по пути финансового истощения провинции и лишения ее каких-либо стимулов к экономическому развитию» [Марчук 2003]<sup>73</sup>.

В общем, сюжет этой впечатляющей книги можно резюмировать так: комбинация сворачивания нефтедобычи на привычных российских месторождениях (по модели Хубберта и модели «разведка–добыча») с приближающимся максимумом мировой нефтедобычи (на

---

<sup>73</sup> Такие оценки подкрепляются заявленным намерением правительства России замораживать значительную долю бюджетных поступлений в кубышке стабилизационного фонда, не пуская их ни в экономику, ни в «социалку», ни на оборону.

фоне понижающей «вековой тенденции») и с предполагаемым расконсервированием иракских скважин, радикально сбивающим цены, создали бы совершенно новую ситуацию для России, обрушив сырьевую ренту как важнейшую несущую конструкцию нашей экономики и нашего бюджета. Мировой «нефтяной пик», совпав с началом российского нефтяного спада, придаст последнему неодолимую крутизну. Можно предположить, что когда-нибудь в отдалении 2010-х мирохозяйственный Центр и особенно США обратят свои заинтересованные взоры к нефти Восточной Сибири. Но с какой Россией им тогда придется иметь дело?

\* \* \*

Обзор этой книги наводит на ряд соображений. Некоторые из них были вскользь обозначены выше, а на двух хотелось бы остановиться подробнее.

Первое касается геоэкономической миссии терроризма в связи с типологией методов современной геополитики вообще и особенно с их задействованием в сфере геополитики топливных ресурсов. Известно и хорошо аргументировано мнение, что в современном мире геополитика практикуется в двух технических разновидностях — как геополитика контроля над пространствами (она же геостратегия) и как геополитика ресурсных потоков (она же геоэкономика) [к пониманию геоэкономики как геополитики потоков см.: Жан 1997: 30; Цымбурский 1999b]. Но современный терроризм — ярчайшее свидетельство формирования также и третьей отрасли геополитики, а именно, практики точечных действий, отстоящих друг от друга в пространстве, но создающих своей кумуляцией на ограниченном временном отрезке политико-психологические эффекты, которыми изменяются образы конкретных пространств и даже образ мира в целом. Можно условно говорить в таких случаях о геотерроре, но не исключено, что мы имеем здесь дело с террористическим применением гораздо более универсальной технологии «геополитической акупунктуры», связанной с хронополитикой более непосредственно, чем иные геополитические техники<sup>74</sup>.

---

<sup>74</sup> При таком подходе оказывается существенно опрокинута банальная трихотомия геостратегия–геоэкономика–геокультура. Работа с геокультурным фактором в видах традиционного контроля над пространством (например, у К. Хаусхофера) оказывается подспорьем геостратегии. Использование этого фактора, в том числе террористическое, для дестабилизации и перенастройки картины мира попадает в репертуар

Говоря о воздействии терроризма на цену нефти, следует исходить из того принципиального положения, что в современном мире позиции экспортера и потребителя топлива характеризует фундаментальная геополитическая асимметрия. Во-первых, очевидно, что в этом мире деньги дефицитнее топлива, в частности, нефти (следствием этого как раз и является опасность ухода денег из нефтедобычи в сферы с более быстрой отдачей). Попытка экспортеров нефти в 1970-е годы перевер-

---

«геополитической акупунктуры». Меня уже несколько лет назад очень заинтересовал роман Ю. Козенкова «Крушение Америки. Книга Вторая» (1998). Если отвлечься от терзающей автора сионистской проблематики, мы получаем любопытнейшее пособие по геополитической акупунктуре в форме безоглядной геотеррористической утопии (для кого утопии, для кого — дистопии). Она повествует о сговоре нескольких очень богатых и влиятельных людей из разных стран, которые разрушают империю США и самое метрополию этой империи, запустив в ход серию разнородных и размещенных акций, сконцентрированных на временном интервале в несколько дней. В эту выстроенную событийную цепь входят: хакерская атака с введением компьютерных вирусов в базы данных крупнейших американских банков и одновременно общим замусориванием компьютерных сетей США, в том числе — правительственных; зверское истребление американского военного контингента, застрявшего в некоей нестабильной нефтеносной стране Юга; панмусульманское радикальное снижение нефтедобычи — при объявлении тотального нефтяного эмбарго против США; поворачивательный демарш российского флота в Индийском океане у побережий Ближнего Востока — и угрожающее нависание флота китайского над западным побережьем США; обрушение американского рынка ценных бумаг веерным сбросом на фондовых биржах Азии, Америки и Европы акций нескольких крупнейших американских компаний; скоординированное восстание черных сепаратистов в Луизиане, Алабаме и Южной Каролине, белых сепаратистов-антисемитов в Техасе и сепаратистов-латинос во Флориде; захват «черными камикадзе» атомных электростанций в двух американских мегаполисах; реконкиста Фолклендских островов аргентинцами и курдский мятеж в Турции с прямой военной опорой на Сирию и Иран; наконец, чудовищный ночной погром евреев в Нью-Йорке — и все это в привязке к спрогнозированному за несколько лет землетрясению, повергающему в развалины Калифорнию. Подчеркну методологически первостепенный момент: землетрясение, с которого, по замыслу террористов, должно было начаться разрушение Америки, запаздывает — и приходит лишь, чтобы нанести сползающей сверхдержаве *coup de grace*. Эта деталь — несомненно говорит в пользу интуиции Ю. Козенкова, ибо разразись это бедствие в тот срок, на который рассчитывали козенковские геотеррористы, оно должно было сплотить нацию и мобилизовать правительство, заблокировав всю программу мировой революции методами геотеррора еще на подступах к ее осуществлению. Чтобы принести заговорщикам победу, землетрясение должно было придти в конце реализации их программы, но как раз на конец спроектировать его было невозможно. Геополитическая акупунктура напрямую играет на поле хронополитики: как фактор складывания неоднородности времени она взаимодействует с иными подобными же факторами, и оказывается от них еще в большей зависимости, чем иные геополитические техники.

нуть это положение закончилась провалом. Во-вторых, наш мир устроен так, что в нем для экспортеров топлива геополитика сводится к геоэкономике: к поиску инвесторов и покупателей, к согласованию объемов добычи с иными экспортерами, к прокладке трубопроводов (при этом вовсе не включая в себя геостратегии). Производитель и экспортер нефти не контролирует регионы, куда она течет, и, как правило, даже те, через которые она течет. Между тем крупнейшие потребители нефти с эпохи колониального раздела мира постоянно использовали силовой контроль над пространствами нефтедобычи и протекания нефти, чтобы укреплять и оптимизировать свои геоэкономические позиции: для них геополитика нефти всегда была не только геоэкономикой, но и геостратегией.

Сегодня США как крупнейший импортер нефти и единственная сверхдержава по сути монополизировали право — в сфере геополитики топлива — конвертировать геополитику пространств в геополитику потоков, геостратегию в геоэкономике и наоборот. Двенадцать лет назад цивилизованный мир был разгневан, когда Ирак пытался, поглотив Кувейт и объединив кувейтские квоты со своими, построить своего рода нефтяную империю. Но цивилизованный мир в 2003 г. принял как данность, что США превратили Ирак с его нефтеносными полями в свою «подмандатную территорию», сами себе выписав на него мандат. Этот цивилизованный мир — мир потребителей топлива — заинтересованно ждал расконсервирования иракских залежей и падения цен на нефть, что вполне отвечало бы его, этого мира, представлениям о должном геоэкономическом порядке. Мы можем принимать или отвергать аргументы вроде того, что США вправе не зависеть в плане своей топливной или сырьевой безопасности от государств с диктаторскими режимами или со средневековыми порядками. Но нам трудно представить себе мир, где бы экспортер топлива устанавливал военный контроль над регионами проживания его потребителей, сменял там неугодные ему режимы и диктовал оптимальные для своей геоэкономики политические условия тамошним обществам. Позиция потребителя нефти и газа в нашем мире геостратегически властна или нейтральна, но позиция их производителя-экспортера в этом мире — геостратегически нейтральна или проигрышна, ущемлена.

В этом мире экспортер топлива по существу не имеет права использовать услуги, оказываемые им импортеру, как средство давления на того в случае возникновения между ними геостратегического спора (во время конфликта с ЕС по вопросу транспортных связей с Кали-



нинградом, своим анклавом, Россия была не властна «прищемить» европейцев их зависимостью от российского газа). Более того, геостратегически «кастрированный» экспортер легко оказывается геэкономически беспомощен даже перед аппетитами суверенного владельца территорий, через которые проходят транзитом нефте- и газопроводы (вспомним историю с неоплаченными откачками российского газа в Украине). Геостратегия, контроль над территориями как средство решения геэкономических задач, — оружие, отнятое у производителя и экспортера топлива, но при этом сплошь и рядом используемое против него потребителями его товара для удовлетворения своих запросов на своих же условиях.

Отсюда вполне понятна и мимоходом отмечаемая в книге «Долгосрочные перспективы российской нефти» миросистемная функция «исламского террора». Ведь этот террор, осуществляемый политически и религиозно мотивированными уроженцами сырьевого Юга, создавая кумулятивный эффект пугающей мировой нестабильности, повышает относительную дефицитность топлива по сравнению с дефицитностью мировых денег, то есть, как ни парадоксально, делает мир более справедливым в глазах соответствующих «южных» обществ. И потому, сколь бы это ни отрицали те или иные «здравомыслящие» исламские авторитеты, геотеррор оказывается полноценным и оправданным оружием крупнейшего на Земле топливно-сырьевого сообщества в борьбе за перетягивание геэкономического «одеяла». Он противодействует геостратегии как оружию импортеров топлива, олицетворяемых монополизирующей геостратегию единственной сверхдержавой. Н. Хомский как-то верно заметил, что реальная цена ближневосточной нефти должна складываться из рыночной цены плюс ближневосточных расходов Пентагона, обеспечивающего потребителям нефти примерно 30% скидку [Хомский 2001: 45]. В рамках геополитики топлива геотеррор как фактор повышения цен компенсирует сырьевые общества за геостратегическую обездоленность, ущербность, за превращение геостратегии в инструмент удешевления их ресурсов.

Следовало ожидать, что покорение Ирака и преобразование его из независимого государства в населенную «подмандатную территорию» США с последующим расконсервированием его нефти — эта решительная попытка геостратегическими средствами переломить большую экономическую конъюнктуру — породят ответное повышение спроса на геотеррор, в том числе и в иллюзорном ореоле «возмездия за Багдад». Если бы замыслы расконсервирования иракской нефти осуще-

ствились — мы попали бы в мир, залитый одновременно дешевой нефтью и кровью. Однако за последние месяцы стало казаться, что успехи террористов в Ираке — связываемых в СМИ то с саудовцами, то с сирийцами, то с иранцами, иначе говоря, представляющих в глазах «мирового цивилизованного» Юг в целом, воюющих за топливное сообщество как таковое — может еще более существенно скорректировать будущее планеты. Если снижение цен на нефть во второй половине десятилетия окажется далеко не столь обвальным, как прогнозировалось, — это будет не только первая существенная победа Юга в «столкновении цивилизаций», но и не менее впечатляющее торжество геотеррора над геостратегией.

В наши дни все войны ведутся за корректировку уже определившегося мирового порядка, за теплое место в нем. Какими могут быть и будут войны за его уничтожение, мы пока не можем даже представить.

\* \* \*

Второе соображение касается возможного воздействия прогнозируемых авторами событий на экономическую стратегию России и на смену судьбы ее политического режима. Разумеется, рецензируемая книга может использоваться теми антагонистами нефтяной олигархии, коим не терпится «открыть миру» Восточную Сибирь, врубив на всю мощь соглашение о разделе продукции. Но другие политические силы могут использовать ее по-иному. В истории нашей постсоюзной экономики наглядно различаются две фазы: фаза господства финансово-спекулятивного, авантюрного капитала в 1992–1998 гг. и фаза топливно-сырьевая — с 1998 г. Если верить рассматриваемому прогнозу (условно «прогнозу четырех»), хотя бы в его российской части и с оговорками в общемировой, то нынешняя фаза должна к концу десятилетия обернуться кризисом не менее «обломным», чем кризис ее предшественницы на исходе 1990-х годов. Поэтому при обсуждении данного прогноза небесполезно вспомнить историю предыдущей фазовой смены.

Сейчас поистине странно читать свидетельства о том, в каких руинах обреталась наша добывающая промышленность, в том числе и нефтяная, к середине 1990-х. Но пресловутые залоговые аукционы 1995 г., посадив на сырьевые отрасли группу «заинтересованных собственников», заложили предпосылки второй фазы еще до того, как дефолт 1998 г. подвел черту под первой.

Смена фаз была отмечена резким сокращением импорта и быстрым развитием внутреннего рынка, вновь замедлившимся с возвратом страны на памятный по зрелому социализму экспортно-сырьевой круг. Надо сказать, кризис конца 2000-х в «прогнозе четырех» имеет явные структурные аналоги с дефолтом конца 1990-х, как бы переписанным в «нефтяной» код из кода финансового. Безответственно раздувавшейся и вдруг фрустрированной доходности ГКО соответствует безоглядно интенсифицируемая добыча на почти выработанных привычных месторождениях, а искусственная стабилизация рубля в предефолтовые годы перекликается с искусственным поддержанием высокого уровня добычи перед президентскими выборами 2004 г. Но если эта аналогия оправдана, она, возможно, позволила бы перешагнуть через пессимизм прогноза, допуская на конец десятилетия со «сжатием» экспорта и импорта новое большое пробуждение внутреннего рынка. Кроме того, двойной обвал — нефтедобычи и цен на нефть — должен бы стать истинным звездным часом тех политиков и экспертов, которые призывают к революционной перекачке средств из сырьевых отраслей в высокие технологии и передовое машиностроение. На входе в новую экономическую фазу, следующую за кризисом, может оказаться лозунг «внутреннего рынка и высоких технологий» как форм, соответственно, геэкономической обороны и геэкономического наступления России.

Не исключено, что историки когда-нибудь, взглядываясь в наши годы, увидят немало симптомов фазового исчерпания. Вспомнят и об ускоренной концентрации денежных средств в руках верховной власти, и о выступлении депутата Госдумы В. Медведева насчет оставшихся у страны ресурсов эффективной нефтедобычи на 3–5 лет [Юдина 2003], и о заявлении президента «Роснефти» С. Богданчикова в феврале 2003 г. о том, что якобы «российский частный бизнес в нефтяной промышленности не доказал своей способности освоить нефтяную провинцию, фактически работа идет на тех фондах, что достались даром от отцов» [см.: «Нефтегазовая вертикаль», 2003, № 3: 44]. В той же ретроспективе они, эти историки, возможно, доосмыслят китайский контракт ЮКОСа. Для нас он хорошо вписывается в нынешнюю восточносибирскую и дальневосточную конъюнктуру — с выходом Приморья из топливного тупика, с пуском Бурейской ГЭС с предполагаемым в 2005 г. завершением БАМа, с прокладкой автомагистрали Чита–Хабаровск и замыслом новых дорог — от Большого Невера на Транссибе к Якутску, а затем к Магадану, укрепляющих коммуникационный контур России по его восточной кайме. Но историки, может

быть, расценят контракт, предполагавший пуск нефти по трубе Ангарск–Дацин уже в 2005 г., как попытку опередить фазовый кризис, начав разработку и продажу восточносибирской нефти еще до его наступления, а трубу до Находки, с которой все равно не успеть до «обвала», заморозив до следующей позитивной конъюнктуры 2010-х годов. При этом мы не знаем, а историки будут знать, — не окажутся ли во время «обвала» Россия (и ЮКОС) заложниками возведенной и не окупившейся инфраструктуры, если китайцы по изменившимся мировым условиям скорректируют контракт с позиции превосходства потребителя.

Чтобы рассуждать о вариантах влияния «двойного обвала» на будущее России, надо представлять международную обстановку, в которой он мог бы опрокинуть наличную структуру российского экспорта — экономическую основу нашей либерально-авторитарной власти. Очевидно, что вспоенный иракской нефтью экономический подъем на Западе дал бы его правительствам дополнительные средства многообразно поддержать дружественную российскую власть. Но, с другой стороны, высокий «спрос на террор» был бы способен сформировать ситуацию, при которой западным лидерам будет просто не до России, с ее скукоживающимся экспортом и импортом и долговыми проблемами.

В контексте «прогноза четырех» новый смысл способен обрести муслируемый некоторыми аналитиками сценарий прямого прорыва к верховной власти на выборах в 2008 г. кого-то из лидеров российской «большой нефти». Как в 1990-х президент — генерал, так сегодня президент — нефтяной олигарх уже сделался привычным фантомом московской политтусовки. Достаточно правдоподобен вариант, при котором избирательные кампании 2003–2004 гг. трактуются как репетиции людей «большой нефти» перед планируемой через четыре года решающей баталией [Никитин 2003: 15–16]. И, напротив, недавняя попытка политологов из Совета по национальной стратегии вбросить сценарий обретения М. Ходорковским политической командной власти уже в ближайший год через некое «правительство парламентского большинства» обнаруживает лишь то обстоятельство, что мы уже сейчас обретаемся в длинной тени 2008 г., искажающей реалии и временные дистанции. Но, как уже отмечалось, «прогноз четырех», если бы он в какой-то мере осуществился, заставил бы расставить смысловые акценты в рассматриваемом сценарии во многом иначе, чем это делается сейчас.

Речь должна была бы идти не об экспансивном стремлении торжествующей «власти большой нефти» «купить» власть еще более высокую, чтобы снять саму возможность препон вроде тех, что все-таки возникали при правительстве Путина-Касьянова, а о поспешной переброске накоплений из теряющей рентабельность, да еще политически угрожаемой отрасли в сферу с наивысшей доходностью — в обретение властного контроля над всеми активами так называемой «Корпорации Россия» (я предпочитаю называть ее «Корпорацией утилизаторов Великороссии»). На знамени этой атаки будет написано не «Экспансия», а «Аврал» и «Завтра будет поздно».

«Прогноз четырех» склоняет нас к мысли: основной контроверзой на выборах 2008 г. имеет шансы стать оппозиция типа «Глазьев против Ходорковского» (речь идет, естественно, не о конкретных людях, а о различных экономических и политических стратегиях). На наш взгляд, это было бы не просто столкновение «вундеркиндов», символизирующих две экономические фазы новой России, а образ цивилизационного выбора, значительно большего, чем масштаб любых фигур, которые его олицетворяют. Здесь открылся бы и антагонизм двух проектов «корпоративного строя» России, и противостояние проросшей в России XIX–XX вв. национальной городской культуры жизненному стилю элит постмодерного мегаполиса. На наиболее поверхностном уровне это оказался бы выбор между авторитарным и ценностно-гетерогенным обществом с квазисословным властвованием самозванной «белой кости» и обществом, которое его противники иногда называют «патриархально-фашистским» и которое, по существу, записав некоторые традиционные либеральные свободы модерна в домашние ценности, приняло бы триединую программную формулу «технологического обновления в ореоле обновления духовного — развития внутреннего рынка (сочетанием кейнсианских и меркантилистских тактик) — ценностной консолидации власти и граждан при моральном контроле народа над элитами, моральном закреплении элит» [о том, что за этими простыми прагматическими формулами могут стоять две непримиримые альтернативные версии русской цивилизационной контрреформации, см.: Цымбурский 2002]. Этот большой выбор может быть лишь затемнен и закамуфлирован мельтешением коммунистической «старой гвардии» и попытками действующей власти обеспечить преемственность, наспех слепив — по примеру, опробованному в 1999 г. Ельциным — фигуру нового «незапятнанного» президента-назначенца.

Вместе с тем, успех сил, представляющих Юг в идущей битве за Ирак, принес бы России последствия, которых наши авторы не предусмотрели: решительный поворот геοэкономики и геοстратегии единственной сверхдержавы лицом к Восточной Сибири, большую сделку ее рулевых с нашими «нефтяными герцогами», подталкивающую скорейшее открытие этого нефтеносного пространства во ущемление бунтующего Ближнего Востока. Это означало бы вовлечение русской Северо-Восточной Азии в мейнстрим мировой истории и, возможно, даже рождение у нас новых проамериканских видов восточничества. Но в еще большей мере это означало бы затягивание у нас фазы сырьевого капитализма, как минимум на два десятилетия, до предполагаемого исчерпания нашей нефти в 2020-х по известному прогнозу «Бритиш петролеум». Иными словами, утверждение у нас цивилизационной формы эпигонски «старопетербургского» типа с растущей ценностной гетерогенностью, с разломами между «дворянством» и «быдлом», прямо по Ленину — с двумя культурами в одной культуре. При таком развитии фазовый переход у нас назреет где-то в 2020-м или чуть позже тогда уже будет делом не выбора, а необходимости, потребовав, ради последнего шанса национального выживания, ломки уклада, успешшего укорениться и затвердеть. То есть ломки, провоцирующей ломщиков на гораздо большую рационализированную свирепость, чем могла бы потребоваться сейчас.

Итак — через четыре года или через двадцать лет? Если вдуматься, «прогноз четырех» сулит на вторую половину десятилетия бифуркацию, способную определить долгосрочное будущее России в не меньшей мере, чем это сделало «грехопадение» конца 1980-х годов, и в гораздо большей, чем «хлипкая грязца» почти всех 1990-х. И хотя применительно к России книга пытается заглянуть вперед не далее, чем на 5–10 лет, сам характер этих лет вполне может оправдать ее заглавие «Долгосрочные перспективы российской нефти». Оправдает ли? Посмотрим.

## **БИБЛИОГРАФИЯ**

Виноградова О. 2003. *Ирак, день второй: золотого дождя не будет* // «Нефтегазовая вертикаль», № 22.

Жан К. 1997. *Геοэкономика: теоретические аспекты, методы, стратегия и техника* // Жан К., Савона П. *Геοэкономика: господство экономического пространства*. М.

Марчук П. 2003. *Новая «волшебная палочка»?* // «Деловой вторник», 15 июля.

Никитин Н. 2003. *Вы нас сильно разочаровали* // «Нефтегазовая вертикаль», № 2.

Трофимук А.А. 1994. *Концепция создания крупных баз газонефтедобычи в Восточной Сибири*. Новосибирск.

Хомский Н. 2001. *Прибыль на людях*. М.

Цымбурский В.Л. 1999а. *Геополитика как мировидение* // «Полис», № 4.

Цымбурский В.Л. 1999б. *Геополитика для «евразийской Атлантиды»* // «Pro et contra», vol. 4, № 4.

Цымбурский В.Л. 2002. *Городская революция и перспективы идеологий в России* // «Русский журнал», 10.07.:

Юдина Л. 2003. *Природная рента: кому она будет служить?* // «Труд», 20 мая.

Ястребцов Г. 2003. *Под гребенку* // «Труд», 3 июля.

Geopolitics of Oil. *Hearings before the Committee of Energy and Political Resources*. 1980. US Senate, 96 Congress, the 2 nd Session. Pt. 1–2. Wash. : US gov., print. off.

Hubbert M.K. 1962. *Energy Resources*. A Report for the Committee on Natural Resources of the National Academy of Sciences, National Council.

## ОТКУДА ПОДУЕТ ВЕТЕР?

Вопрос о «субъекте национальных интересов» не следует путать с вопросом о складывании «нации» в современном западном смысле слова, с болтовней насчет «гражданского общества», «каждодневного плебисцита» и т.п. Даже там, где мы не обнаруживаем признаков классической нации, субъект национальных интересов может существовать. Что же он представляет собой? Он представляет собой некую абстрагированную мифическую фигуру, создающую эффект единения правящего режима с территорией и населением. Утверждаемый таким образом субъект национальных интересов есть конструкт определенного мировидения и мироописания. В одной из своих статей в «Полисе» я предлагаю называть его «Героем-Левиафаном» — по той простой причине, что будучи подобен, в своей интегративной функции, гоббсовскому Левиафану, он превращается при этом в персонажа с собственной игрой в мире. Предполагается, что он стяжает себе некоторую добычу и эту добычу делит на всех, кто с ним идентифицируется. Каждый, кто хочет получить себе долю, должен идентифицироваться с Героем-Левиафаном и его игрой.

Применительно к России субъект национальных интересов может проследиваться где-то с первых Романовых или, еще раньше, с первых Земских соборов. И самое удивительное, что правящая элита всегда производила у нас систематическое самоотчуждение своих интересов в пользу Героя-Левиафана. Когда Юрий Крижанич пообщался с русскими в 1660-х годах, он был потрясен тем, что, когда царь ехал на войну, они использовали выражение — «государь идет на службу». Он писал: что это за абсурдное выражение у русских, кому вообще может служить государь? Но царь действительно «ехал на службу», предвосхищая тем самым на сто лет принцип, который будет зафиксирован в Европе Фридрихом Вторым: «король — первый слуга». Так же и по всей тогдашней Европе. Говорил Людовик XIV, что «государство это я», но он же, умирая, сказал: «Вот когда я был королем:». А это ведь значило: «когда я был государством», когда олицетворял субъекта государственной воли, если угодно, — играл его, как мог. Возвращаясь к России, я должен сказать, что процедура отчуждения интересов правящего слоя в пользу Героя-Левиафана существовала у нас и в импер-



ский период, и на протяжении практически всех лет существования советской власти, за исключением самых начальных, когда все было не очень-то ясно. Что же касается России после 91-го года, применительно к ней вопрос о «национальных интересах» оказывается совершенно безадресным и, в конечном счете, абсурдным.

С 91-го года государства Россия не существует в принципе. А существует, как я не устаю повторять, корпорация по утилизации Веллкороссии. Это компания, которая озабочена извлечением максимальной прибыли из той части достояния Героя-Левиафана, которую она в определенный момент захватила. Этот феномен нельзя смешивать со многими другими, казалось бы, сходными явлениями. Во-первых, с явлением компрадорского капитала. Компрадорский капитализм предполагает мощное присутствие иностранного капитала, его внедрение на данной территории и обогащение части туземцев за счет сотрудничества с ним. Но у нас иностранного капитала как такового нет, а то, что есть, напоминает скорее «самоколонизацию». Представьте, что Ост-Индская компания была бы не навязана индусам англичанами, а выделилась из самих индусов и стала бы проводить политику «огребания Индии» на вывоз без иностранного капитала. Была бы такая компания индийским субъектом национального интереса или нет? Знаменательно, кстати, что Great Russia Utilization Incorporated выбрала своим знаменем — бывший флаг торгового флота.

Во-вторых, происходящее не следует сводить к проблеме «хищнического разграбления благ». На протяжении многих веков вполне хищническую политику по отношению к наличным ресурсам проводил и Герой-Левиафан. Специфика сегодняшних распорядителей в том, что они практикуют хищничество на вывоз. И не надо ссылаться на то, что власть в России всегда нехорошая, что и до Октябрьской революции русские князья строили замки во Франции, и вообще, «в России всегда воровали». Крали — на службе государевой, государственной, сознавая — у кого крадут; замки во Франции строили, но не на государственные заграничные займы, да еще записанные в доходную часть бюджета, как это случалось в 90-е.

Наконец, в третьих, критический анализ сложившегося положения совершенно не может вестись в терминах «эксплуатации». Проблема не в том, что правящий слой «эксплуатирует» большую часть населения, а как раз наоборот — в том, что большая часть населения, а равно и значительная часть территории, совершенно не интересны ему в качестве объекта эксплуатации. Тем самым ни о каком классическом ка-

питализме говорить совершенно не приходится. В игру утилизации включается лишь ограниченная часть населения — то есть, собственно олигархический слой и слой пресловутой обслуги, который я отношу по части «мелкой олигархии», хотя им она не исчерпывается. Основная масса населения остается вне этого слоя, ее никто не эксплуатирует, она просто не нужна. У нас антиглобалисты, по пятам Валлерстайна, кричат о том, что постиндустриализм нас спишет в «новые лишние». Но он еще пока доберется, а нас уже свои списали, «утилизаторы Великой России».

Если бы у нас сложилось капиталистическое государство и капиталисты взялись зверски эксплуатировать всех остальных, с ними можно было бы работать по законам нормальной капиталистической ситуации. Когда тебя эксплуатируют, ты можешь восстать, объявить забастовку, в любом случае, ты востребован. И это уже определенный тип социальной связи. Но там, где тебя не эксплуатируют, где ты фактически непотребен и предоставлен самому себе полностью — в этот момент игра начинается по другим правилам. Если хотите, по правилам асоциальным. В условиях корпорации, работающей систематически на вывоз и оставляющей большую часть населения за бортом общественного разделения труда, сама собой напрашивается простейшая форма протестных реакций: форма террора против структур вывоза, конкретно, против нефте- и газопроводов. Эффективно пресекать диверсии такого рода практически невозможно, поэтому колоссальную роль здесь приобретают общероссийские профилактические меры по имитации государственности.

Даже если не брать в расчет крайние формы протеста, ясно, что новые «лишние люди» представляют собой источник определенной опасности и должны так или иначе удерживаться в повиновении и лояльности. Это и есть та проблема, для решения которой приходится поддерживать видимость субъекта национальных интересов в лице правительства и главы государства. 90-е годы были отмечены феерическими воззваниями о том, что экспертам надо собраться и срочно обсудить, в чем «национальные интересы», какова «национальная идея». Еще в 92-м году Козырев возвестил о «геополитической идентичности», приходящей на смену идеологической. Совершенно очевидно, что «корпорация» заинтересована в том, чтобы постоянно произносились слова «национальные интересы», «национальная идея», «геополитическая идентичность», но чтобы при этом они никак не детализировались и не наполнялись содержанием. Чтобы они присутствовали как некоторые

симулякры, обязывающие население к лояльности — к лояльности тем, кто уполномочен представлять невыраженные национальные интересы несуществующего субъекта.

Особую роль играет здесь, конечно же, фигура Путина. Понятно, что это фигура президента-назначенца, сознающего свою функцию президента-назначенца, откровенно объявляющего себя «менеджером», являющегося и в самом деле менеджером — в корпорации утилизаторов Великороссии. Однако мы видим, как от этого персонажа отчуждается виртуальное тело и начинает бродить по России эдаким «святым и благоверным императором Петром Феодоровичем», формируя своеобразное поле притяжения для чаяний всех «лишних людей». Возникает условный символический адресат для совокупности национальных неудачников. Назвать эту совокупность «общественным носителем национальных интересов» вряд ли возможно. Мы должны признать, что никакого «общественного носителя национальных интересов» в условиях сегодняшней России нет. Он существует в лучшем случае виртуально: в частных переживаниях отдельных лиц по поводу его отсутствия. И этому виртуальному национальному субъекту остроумно предложено сплотиться вокруг виртуального президента.

Рассчитывать на то, что на основе подобного сплочения может произойти реконструкция Героя-Левиафана как некоей автономной фигуры — в высшей степени нелепо. Виктор Милитарев говорит, что шансы «национальной коалиции» на успех напрямую зависят от того, сможет ли Путин реальный приблизиться к Путину имитационному, то есть перейти от виртуальной интеграции населения к политической. Но необходимо видеть, насколько вся генеалогия этого человека противоречит такому развитию событий. Патриоты испытывают большой энтузиазм по поводу того, что президентом стал выходец из КГБ. Энтузиазм совершенно поразительный. Ведь именно в КГБ, особенно, во внешней разведке и сформировался тот круг людей, внутри которого в конце 70-х — начале 80-х годов сложилась преступная идея конвергенции элит. То есть идея сотрудничества профессионалов, перерастающая в идею сотрудничества против своего строя. Это действительно одна из наиболее преступных идей, усвоенных частью коммунистического руководства и разрушивших в дальнейшем страну. Я бы сказал, что даже не просто конкретную страну СССР, а саму возможность страны — поскольку проект «конвергенции элит» и есть не что иное, как осознанный демонтаж «субъекта национальных интересов».

Здесь можно заметить, что, в конечном счете, речь идет о более широкой, общемировой тенденции; что в последние десятилетия XX века во многих государствах мира происходило вытеснение собственно государств такого рода корпорациями. Однако в западном мире этот процесс развивается достаточно эволюционно. Поэтому субъекты нового типа, несмотря ни на что, продолжают нести на себе груз исторической ответственности перед страновыми единствами. В Америке «олигархи» могут сколько угодно наращивать вес, но они не перестают опосредовать свои интересы фигурой Героя-Левиафана — со всеми вытекающими последствиями. И когда в развитых странах возникает тема «геоэкономики», она рационализируется так, как это сделал Эдвард Латвек: «наилучшая возможная занятость для наибольшей части своего населения». У нас, когда звучит слово «геоэкономика» оно означает совсем иное. Оно означает, что те регионы, конструкторские бюро, ТНК, которые могут напрямую вписаться во внешние финансовые потоки, должны немедленно в них вписываться.

Собственно, в этом и состоит ключевая проблема. Сформировавшаяся в России трофейная «корпорация» слишком последовательно завязана на внешние центры силы и на само мировое устройство. Поэтому, оставляя за скобками экзотический сценарий террора против трубопроводов, должен сказать, что ее деструктуризация возможна только в одном случае: если крушение структур вывоза произойдет не на уровне «отправителей», а на уровне «получателей». По-настоящему серьезные внутренние трансформации могут быть вызваны только большим мировым кризисом, благодаря которому огромное количество людей, находящихся в корпорации «Россия» на нижних ступенях, окажется выброшено в зону «неудачников» и мы получим феномен «взбесившейся мелкой олигархии» (по аналогии со «взбесившимся мелким буржуа»). Тогда и впрямь возникла бы возможность новой организованности и случилось то, о чем я люблю говорить от раза к разу: весенний ветер 37-го года взбодрил бы и освежил Россию.

Эпоха правления «корпорации утилизаторов Великороссии» часто — и уже расхоже — сравнивается со Смутой. И смысл в этом немалый. Ведь Смута — это, по существу, пора, когда приватизация власти, катясь сверху вниз, делает национальный интерес частным делом. В том числе, делом частного героизма, если сила найдется. Национальный интерес как частное дело — вот подход, который объединяет Лжедмитрия и семибоярщину, с одной стороны, с Мининым и Пожарским, с другой. Между ними: принципиальная договоренность о несогласии.

*«Русский журнал», 10 апреля 2003 г.*

## ХЭЛФОРД МАКИНДЕР: ТРИЛОГИЯ ХАРТЛЕНДА И ПРИЗВАНИЕ ГЕОПОЛИТИКА

*« Может,  
я один  
действительно жалею,  
что сегодня  
нету Вас в живых».*

*Владимир Маяковский,  
«Юбилейное»<sup>75</sup>*

### I

«Был лишь один поэт — Гомер и лишь один драматург — Эсхил». Эта старая присказка содержит момент высокой истины. Любая цивилизация знает исторические или квазиисторические фигуры, олицетворяющие идеальный тип некоего ремесла или творческой практики. Иным искусникам в этом не сравняться с первообразом, как ни одному медику — с Гиппократом. Как Гомер был для античности ее Поэтом, а Аристотеля Высокое Средневековье провозгласило своим философом, в том же смысле Хэлфорда Макиндера можно назвать Геополитиком, воплотившим идеал этого призвания. Пусть последующие классики геополитики создавали новые образы и сюжеты в сравнении с макиндеровскими, но явными и неявными отсылками к идеям Первого Геополитика полны страницы работ Дж. Фэйргрива и К. Хаусхофера, Н. Спайкмена и П. Савицкого<sup>76</sup>. Даже постклассическая геополитика

---

<sup>75</sup> Первоначально эта статья предполагалась к печати в журнале «Космополис» за первый квартал 2004 г. — к 100-летию юбилею доклада Х. Макиндера «Географическая ось истории». В статье использованы материалы лекционного курса по введению в геополитику, прочитанного мной осенью-зимой 2002 г. на политологическом факультете Государственного Университета гуманитарных наук (ГУГН).

<sup>76</sup> О возможном семантическом механизме воздействия макиндеровского словосочетания «the closed heart-land of the Euro-Asia» и установлении словопонятия «Евразия», «Россия-Евразия» в дискурсе русских эмигрантов-евразийцев (П. Савицкий, Н. Тру-

литика И. Валлерстайна и П. Тэйлора, разыгрывающая антагонистические игры с нулевой суммой между Мировым центром, Полупериферией и Периферией, эксплицитно поднимаясь из идей Ф. Броделя, может быть расценена также как методологическое переосмысление и «выворачивание» самой первой модели Макиндера с ее концентрической триадой «осевого пространства», «внутреннего полумесяца» и «полумесяца внешнего»<sup>77</sup>. Днем рождения геополитики по праву должно считаться 25 января 1904 г., когда Макиндер прочитал в Королевском Географическом обществе доклад, выстроенный вокруг этой планетарной модели.

Вы спросите: а как же Ратцель? А Мэхэн? Но эти авторы с их схемами пространственного контроля и могущества все-таки оставались геостратегами. Макиндер первым стал сознательно и уверенно работать с географическими образами как когнитивными «упаковками» мировых сюжетов, полагающих геостратегии императивные политические цели. Вот почему на фоне тех славных геостратегов он, вроде бы ни разу не произнесший слова «геополитика», — Первый Геополитик.

Ныне мы осознаем, что в России имперской эпохи существовала, не называя себя, блистательная геополитика. Но ведь осознаем мы это благодаря западным образцам, давшим имя подобному мировидению и практике. Эти образцы помогают нам воспринять в новом свете и «Северный аккорд» графа Н. Панина, и потемкинско-екатерининский «Греческий проект», и указ Александра I о Беринговом море как закрытом море России, и «Русскую правду» П. Пестеля — диковинный

---

бецкой) см. в моей работе [Цымбурский 1998]. Я сам в моих геополитических опытах обязан Макиндеру, прежде всего, морфологией ряда образов: мои «территории-проливы» на запад от «острова Россия» [Цымбурский 1993] сродни макиндеровской формуле «государства-канала», а мое видение «Земли за Великим Лимитрофом» структурно связано с образом «пространства за поясом пустынь и пустошей» у Первого Геополитика (конечно же, я никогда не отрицал переклички моей темы Великого Лимитрофа с «лимитрофными» разработками С. Хатунцева, особенно в их ранней версии первой половины 1990-х годов, однако подобные геополитические образы из тех, что крайне редко бывают моногенетичны).

<sup>77</sup> Сходство концентрических моделей Макиндера–Спайкмена и И. Валлерстайна бросается в глаза, когда Дж. Паркер в его «Западной геополитической мысли XX века» пытается изобразить основные концепции евроамериканских геополитиков схематическими разрисовками шарика-глобуса [Parker 1985: 176]. Главное различие состоит в том, что в паттернах классической геополитики пространственный расклад истолковывается на правах функционального, а в геополитике постклассической мы имеем дело с чисто функциональными схемами, накладываемыми-натягиваемыми на карту Земли.

конституционный проект с преуказанием земель, посредством которых Россия еще должна была бы, вобрав их, обрести географическую достройку и завершение. Мы теперь иначе можем прочесть многие страницы публицистики Ф. Достоевского и А. Герцена, по-новому понять жанр трактатов и статей Ф. Тютчева и Н. Данилевского, «Писем в продолжение Крымской войны» М. Погодина, гениального памфлета И. Вернадского «Политическое равновесие и Англия» (где еще в 1854 г. детально разбиралось то, что через десятилетия назовут талассократической «стратегией анаконды»), «Англо-русской распри» С. Южакова — удивительного памятника народнической геополитики — и «Трех миров Азийско-Европейского континента» В. Ламанского. Мы открываем нашу геополитику, как некий русский граф узнавал из «Истории» Н. Карамзина, что, оказывается, у него, графа, есть Отечество — но, повторяю, не открыли бы без геополитики западной просто потому, что без нее не имели бы ни имени, ни мерила для этих наших богатств.

В этом обстоятельстве, хотя отнюдь не только в этом, должно было бы найтись основание для русских почтить 100-летие «Географической оси истории», первой части макиндеровской «трилогии хартленда», как 100-летие классической геополитики на Западе.

## II

«Трилогия хартленда» (далее я использую данное обозначение без кавычек) — это та тематическая целостность, которую образуют с «Географической осью...» еще два текста Макиндера — «Демократические идеалы и реальность» (1919) и «Круглая земля и обретение мира» (1943). Уже влияния Макиндера на первую генерацию наших евразийцев достаточно, чтобы отнести его наработки к тому интереснейшему разряду западных образов России, которые смогли разными путями войти в собственный репертуар нашей геополитики. Вспомним, например, сочиненное во Франции XVIII в., но по-настоящему актуализированное и для Запада, и для русских в двадцатилетие перед Крымской войной «Завещание Петра Великого» с картиной Европы, капитулирующей перед преобразующим ее военным российским натиском<sup>78</sup>. Или труды поляка-эмигранта Ф. Духинского с их образом

---

<sup>78</sup> Показательно, что А. Герцен, позднее много раз высказывавшийся о «Завещании» как о безусловной фальшивке, в начале Крымской войны уверенно писал о Петре: «Он понял слишком хорошо, что западные государства дряхлы, а их правители растлены. Тогда еще не предвидели революции, которой предстояло спасти мир; предвиде-



России как простершейся на восток от Днепра за славянскими окраинами Европы страны поверхностно славянизированного туранства [Duchinsky 1861; Duchinsky 1864], — образом, повлиявшим на воображение позднего А. Герцена, К. Леонтьева и далее ряда поколений российских восточников. Трилогия хартленда, конечно, в том же ряду, но судьба ее у нас до сих пор довольно причудлива, если не сказать — курьезна.

«Географическую ось истории» на русский язык перевели только в 1995 г.<sup>79</sup>. «Демократические идеалы...» пока не переведены и живут у нас в пересказах. «Круглая земля...» переведена в 1994 г. фрагментом, не дающим достоверного представления о ее сюжете в целом [Макин-

---

ли только разложение. Так Петр понял возможное значение России перед лицом Европы и Азии. Подлинное оно или нет, но завещание Петра содержит его мысли... Русское правительство до Николая оставалось верным традиции Петра, и даже Николай следует ей, по крайней мере во внешней политике» [Герцен 1957: 184]. Ожидая победы России в разворачивающейся войне, Герцен уверенно включает французскую подделку как аргумент в перспективу революционного обновления Запада этой чаемой победой — перспективу, на которую, по его оценке, бессознательно работает ненавистнейший публицисту и реакционнейший Николай Павлович. Воистину, одной из ключевых тем для исследователя русской геополитической мысли должны быть национальные предпосылки заимствуемых идей!

<sup>79</sup> К настоящему времени существуют два русских перевода «Географической оси истории». Первый — М. Тимофеева (возможно, псевдоним), опубликованный в журнале «Полис» в 1995 г. [Макиндер 1995], второй — А. Дугина, помещенный в его «Основах геополитики» [Макиндер 1997]. Чем удивляют эти не слишком удачные переводы, так это особенно курьезными «проколами» в одних и тех же местах. Например, слова Макиндера «by the horsemen of Yermak the Cossack and the shipmen of Vasco da Gama» («всадниками Ермака-казака и моряками Васко да Гамы») [Mackinder 1904: 421] Тимофеев перевел как «всадниками Ермака, казаками, а также мореплавателями Васко да Гамы» [Макиндер 1995: 163], а Дугин вовсе трогательно — «конниками Ермака, казаками и мореходами Васко да Гамы» [Макиндер 1997: 492]. Какие, спрашивается, казаки могли оказаться под началом знаменитого португальца? Хуже всего то, что оба переводчика совершенно не ухватили синтаксической и смысловой структуры фундаментального макиндеровского пассажа, характеризующего положение и размеры «осевого пространства» на материке Евро-Азии: «The conception of the Euro-Asia to which we thus attain is that of a continuing land... measuring 21 million square miles or more than three the area of North America, whose centre and north, measuring some 9 million square miles or more than twice the area of Europe, have no available water-ways to the ocean...» [Mackinder 1904: 431]. Ни Тимофеев, ни Дугин не поняли, что слова «whose centre and north» и т.д. характеризуют центр и север вовсе не Северной Америки, а именно Евро-Азии. А отсюда произошла и вторая ошибка переводчиков в этом месте — якобы отсутствие водных путей на океан относится не к северу и центру Евро-Азии, а к этому матерiku вообще [Макиндер 1995: 166; Макиндер 1997: 499–500] — чушь, которую в принципе не мог бы себе позволить профессиональный географ!

дер 1994]. Как следствие, среди русских, у которых имя Макинтера с начала 1990-х годов было на слуху стараниями участников тогдашнего геополитического бума, возникает обычай фантазирования на тему макинтеровских заглавий.

Наиболее симпатичный образец такого фантазирования мы видели, когда в середине 1990-х годов, еще до первого перевода «Географической оси истории», один из наших ярких и эрудированных политологов, ссылаясь на Макинтера, расписывал публике эту ось как «неподвижную сердцевину... мировой истории», якобы спонтанно движущуюся «вокруг и около» земли, где «история как бы и не начиналась» [Ильин 1995: 37]. Это, конечно, очень эффектно, но не имеет отношения к оригиналу, в котором насельники «оси» предстают носителями агрессивной энергии, создающими своим натиском мировую историю как сюжетную целостность, без них никак не мыслимую<sup>80</sup>. Намного хуже, когда популярный идеолог-антимондиалист переводит название последней статьи Макинтера как «Круглая планета и завоевание мира», вложив в словосочетание «The Round World and the Winning of Pease» начисто в нем отсутствующую призывную агрессивность [Дугин 1997: 49].

Но совсем уж геркулесовы столбы неприличия являет третий случай — рекомендуемый Министерством общего и профессионального образования РФ учебник по геополитике, где та же маленькая и удивительно «просоветская» статья «The Round World...» названа «крупной монографией», в которой Макинтер будто бы «...призывает западные державы словом и делом сообща отстаивать концепцию “атлантической цивилизации”, интересы, ценности западного мира, противопоставляя их интересам, ценностям коммунизма» [Нартов 1999: 56]. После этого можно не удивляться, когда на следующей странице г-н Нартов удивляет нас уж совсем немислимым открытием — якобы для Макинтера в 1943 г. «Хартленд... включал в себя и северную Атлантику..., сюда входила Западная Европа, включая Англию, Америку со странами Карибского бассейна» [Нартов 1999: 57]. Курьезно иное — то, что автор другого, тоже рекомендованного учебника, знающий, по

---

<sup>80</sup> Впрочем, надо сказать, что оперирование «семантическими чучелами» формул Макинтера, опустошающее их внешние оболочки и подменяющее содержание, не является каким-то специфически российским пороком. Сошлось на недавнюю интереснейшую статью А. Громько, где, в частности, разбирается имевший место в дискурсе Т. Блэра акробатический перенос понятия «осевой державы» на современную Великобританию [Громько 2005].

крайней мере, в отличие от Нартова, что «Круглая земля...» — статья, а не «крупная монография», тем не менее, полагает, будто в этой статье Макиндер «прогнозировал глобальный конфликт как противостояние между “центральным материком”, который ассоциировался с Советским Союзом, и державами “внешнего полумесяца” — США, Англией и Японией», а заодно «призывал западных лидеров сплотиться вокруг концепции “атлантической цивилизации” и сообща противостоять коммунизму» [Сирота 2001: 29]. Я надеюсь, что после выхода прилагаемого к настоящей статье перевода «Круглой земли...» подобные казусы сойдут на нет. Однако надо признать: чтение курсов по геополитике и сочинение по ней пособий сделалось в России хлебом людей, считающих за непереносимую тяготу минимальное ознакомление с источниками и за привычное дело — стряпание компиляций понаслышке, обретающей действие «испорченного телефона». И выпадет же кому-нибудь впрямь учиться и экзаменоваться по таким недоразумениям, как сочинения г-д Нартова и Сироты! Тем русским, кто действительно заинтересован понять геополитику как ремесло и призвание, я советовал бы постараться прочесть трилогию хартленда, как говорится, не после и не до, а вместо подобных учебников.

Уже в «Географической оси...» Первый Геополитик определил цель и смысл своей работы — и через 40 лет воспроизвел это определение в «Круглой земле...». Он стремился провести «корреляцию между крупнейшими историческими и крупнейшими географическими обобщениями» — и не зачем-нибудь, а чтобы «поместить в (должную) перспективу некоторые из соревнующихся сил текущей международной политики». Он намеревался осмыслить их борьбу через долговременную структуру планетарной географической и исторической сцены, показав, как она структурирует и нацеливает устремления этих сил. Но, будучи поистине образцово проведен в трилогии хартленда, данный метод обернулся техникой непосредственного политического целеполагания. Эта техника, собственно, и выделяет трилогию как творение геополитическое среди добротных, научных и популярных политгеографических трудов Макиндера, которые венчает такой шедевр, как «Британия и британские моря» [Mackinder 1907]<sup>81</sup>. Через

---

<sup>81</sup> Напомню, что у массы британцев первой четверти XX в. имя Макиндера было с детских лет на слуху благодаря выпускавшейся им серии популярных географических очерков тогдашнего мира, в том числе и в его политических изменениях. В 1900-х годах эта серия выходила как «Elementary studies in geography», в 1910-х — под заглавием «Mackinder's geographical and historical studies» (!!), а в 1920-х она именовалась

трилогию мы постигаем геополитику вообще как особую политическую практику и форму политического участия.

В анализе трилогии хартленда, который я предлагаю далее, меня вел тройственный интерес. Во-первых, сама разделенность частей трилогии временными отрезками от 15 до 25 лет, за которые международный порядок каждый раз претерпевал обвальные перемены, позволяет критически разобраться с наиболее известной претензией геополитики, а именно с претензией на открытие если не мировых законов, то, по крайней мере, сюжетных констант истории. Да, каждое из трех изложений Макиндера преподносит нам некий мировой сюжет, якобы порожденный контролем географической картины над историей и, более конкретно, над текущей политической конъюнктурой. Но резкое различие этих сюжетов и картографических образов, с которыми они каждый раз соотносятся, глубочайшие перемены, совершающиеся в «разъясняющих» современность историко-географических перспективах от одной части трилогии к другой, принципиально важны для понимания геополитики как особого интеллектуального искусства. Искусства проблематизировать современную политику через выстроенную для этого систему образов с заложенными в них сюжетами-подсказками, переходящими в проекты, способными нацелить и поновому вдохновить политическую стратегию, укореняя ее конъюнктуры если не в вечности, то в трактуемом надлежащим способом Большом Времени ландшафтов. Первый Геополитик предстает перед нами создателем таких «упакованных» в географию проектных сказаний, которые смогли отложиться в сознании не одного поколения политиков и экспертов, не говоря уже о воздействии на плеяду подобных же сказателей — до нынешних эпигонов ранга З. Бжезинского.

Во-вторых, тексты Макиндера со всеми их мистификациями бесценны для нас как сменяющиеся осмысления ранних этапов в становлении того объединенного мира, в котором мы живем, — мира, так же относящегося к идеалистическим декларациям на тему «мира едино-

---

лась «Elementary studies in geography and history by Sir H.J. Mackinder». Моментом, с самого начала привлекавшим внимание к этой серии, было реноме Макиндера как географа-путешественника, первым покорившего африканскую вершину Кении. Что касается научных достижений Макиндера-политгеографа, сам он важнейшим из таковых считал развитие концепта «map-power» («человеческий потенциал») [Mackinder 1905] и, похоже, введением в научный обиход этого термина гордился больше, чем славой выражения «heartland».

го», как марктовеновский «позолоченный век» США относился к мифическому золотому веку человечества.

В-третьих, для развиваемой мной уже 10 лет теории стратегических циклов системы «Европа-Россия» в XVIII–XX вв. [см.: Цымбурский 1995а; Цымбурский 1995б; Цымбурский 1997; Цымбурский 2003а] трилогия хартленда значима своей серией образов «России в мире», созданных высокоодаренным англичанином. Это очень важно, что их выписал представитель той нации, которая с XIX в., а особенно с начала XX в., пыталась соединить до того в истории Нового времени всегда разьединенные статусы океанического и колониального гегемона, утверждающего позиции западного человечества за пределами его метрополии (на этих путях Англия впервые всерьез столкнулась с Россией), и роль одного из фокусов собственно европейского силового расклада.

«Географическая ось...» дает нам изображение России в первой ее евразийской фазе (между Севастополем и Цусимой), такой, какой наша Империя могла видиться соперникам-англичанам, противостоящим ей вдоль огромной дуги от Балкан и Черноморских проливов до Тихого океана. В «Демократических идеалах...» мы увидим Россию в страшном кризисе ее следующей стратегической фазы, отрывшей новый имперский цикл, — ее попытки, «возвратясь в Европу», причем членом Антанты, через эту новую роль осуществить свои балтийско-черноморские запросы. Здесь уже взгляд Макиндера — взгляд вчерашних союзников, сбросивших Россию в 1918 г. со счетов как организованную силу, но крайне озабоченных после Брестского мира опасностью превращения былых имперских протяженностей с их ресурсами в трофейный приз Второго рейха. Наконец, в «Круглой земле...» он взглянет на Россию-СССР, я бы сказал, «рузвельтовскими» глазами — глазами наиболее симпатизирующих ей союзников по второй, американо-англо-советской Антанте в тот час уже последнего стратегического цикла нашей Империи, когда она снова пережила кризис первой, балтийско-черноморской фазы (на сей раз состоявшейся под знаком пакта Молотова-Риббентропа) и за ее начавшимся большим западным контраступлением приоткрывалась неизбежность нового проекта для Европы и Северной Атлантики.

Я полагаю, что адекватно прочесть трилогию хартленда со своей национальной позиции русский сможет в одном случае — если постарается непродвзято понять, как образы его страны в ней каждый раз

определяются новым видением мировой географии, рождающимся из обновления большой конъюнктуры в кризисах объединенного мира.

### III

Вчитаемся в трилогию хартленда движимые этим интересом (или интересами).

После переводов на русский язык «Географической оси...» не надо особо повторять, что название этой работы никак не предполагает идеи «неподвижного» земного средоточия, что, наоборот, история Запада, по Макиндеру, выросла в историю мировую лишь из-за страстного нежелания европейцев оказаться под пятой тех или иных грозных «осевигов» — гуннов, аваров, мадьяр, монголов, турок, русских. Именно под турецким нажимом Европа с XV в. устремляется создавать себе резервы прочности в заморских колониях и рынках, связывать в обход Османской сверхдержавы водными путями участки выстраиваемого колониального «внешнего полумесяца» (Америка, Африка южнее Сахары, наконец, Австралия) и евроазиатских приморий — «полумесяца внутреннего».

Но, выстроив тем самым систему мировых связей помимо непредсказуемого в своих энергиях «осевого ареала», создав в результате «колумбовой революции» закрытый «постколумбов мир», впервые политически воплощенный в колониальном разделе конца XIX в., Запад лишь возродил в предельной остроте ту проблему, которую пытался для себя решить. Ибо если в мире разъединенном удары «осевигов» по тем или иным азиатским приморским областям оставались местными событиями, то в мире закрытом и структурно связанном падение любого периферийного слабого звена под напором сложившейся за века новой «осевой» империи — Российской — могло бы вызвать глобальный разрушительный резонанс и, опрокинув сверхнапряженную постколумбову конструкцию, открыть путь возвышению на ее обломках мировой империи. Почувствуем этот исходный пафос Макиндера — страх перед рождением планетарной власти из военных кризисов и обвалов первоначального объединенного мира.

Вспомним макиндеровское определение метода геополитики — некое крупное географическое обобщение в увязке с таким же обобщением историческим как разъяснительная перспектива борьбы каких-то сегодняшних политических сил. В первой саге трилогии, видимо, мимоходом изобретенный и используемый еще через дефис неологизм

«the heart-land of the Euro-Asia» («территориальное средоточие Евро-Азии») [Mackinder 1904: 434] представляет географическую характеристику («географическое обобщение») для того самого пространства, которое на уровне «крупнейших исторических обобщений» предстает как «пространство осевого» («pivot area»). Ибо в наличной расстановке международных актантов служит опорой «осевому государству» («pivot state»), программно выводимому в качестве общего жупела приморских народов и стран<sup>82</sup>.

Эта стратегическая характеристика империи-противницы избыточно детализируется в расписывании земли к востоку от водораздела Волги и Дона, ее протяженности, куда никак не попасть водными путями из открытого, подвластного Британии океана, ибо все тамошние реки впадают либо в ледовитые моря, либо в закрытые водоемы. Эта земля в бассейнах Волги, Оби, Енисея, Лены, Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи поделена между лесным севером и тем поясом степей, по которому когда-то катились кочевые орды. Вся эта экспозиция работает на главный сюжетный ход — рассказ о том, как возникшая «на лесных прогалинах» Россия, вырвавшись из своего «одиочества в лесах севера» и вобрав в себя степи и пустыни, получила от них силу — нависать, подобно укромным кочевникам, над полумесяцем приокеанских цивилизаций, грозить ему, свободно перебрасывать по внутренним

---

<sup>82</sup> О композите «heart-land» как изобретении Макиндера свидетельствует отсутствие этого слова в фундаментальном «Новоанглийском словаре» Дж. Мэрри [Murray 1902] и даже в издании «Оксфордского Английского словаря» 1933 г., хотя к тому времени это словечко уже присутствовало не только в трудах Макиндера, но и в выдержавшей многочисленные переиздания книге Дж. Фэйргрива «География и мировая власть» [Fairgrive 1924: 328]. В издании «Оксфордского Английского словаря» за 1989 г. находим множество его употреблений, но в качестве самого раннего указан контекст из «Географической оси истории» [The Oxford English Dictionary 1989: 68]. Надо отметить, что «heartland» с 1940-х годов не только освобождается от «евразийской» привязки, тяготеющей над его русскими употреблениями (под 1947 г. «Оксфордский словарь» фиксирует журнальное выражение «the frontier West, the heartland of the American myth»; вышедший в 1949 г. роман Дж. Оруэлла «1984» одинаково применяет термин «heartland» к «ядровым» землям бесконечно воюющих между собой Океании, Остзии и Евразии, что в русском переводе В. Голышева по праву передается просто словом «метрополия» [Orwell 1949: 189; Оруэлл 1989: 148]), но и постепенно иронически внедряется в самые неожиданные области бытования политической речи; ср., например, приводимые также в «Оксфордском словаре» примеры выражений типа «the very heartland of British trade-unionism» или «Conservative heartlands» применительно к кругам застойных ортодоксов-тори. «Евразийские» коннотации у него в основном сохраняются в идиолекте геостратегии с ее клише «хартленд против римленда».

линиям свои войска против той его части, которая покажется русским властителям слабым звеном «постколумбова» мироустройства. Вопреки тривиальному тезису насчет разорительной дороговизны континентальных перевозок сравнительно с океанским фрахтом, Макиндер свято верит в победоносность будущей российской экономики железных дорог. Она доставляла бы товары потребителям прямо с фабрик, минимизируя расходы на погрузки-разгрузки и складирование и вытесняя экономики Океана с большей части азиатских рынков (не сбылось!).

Итак, полумесяц географических метрополий западного христианства, ислама, индуизма, махаянистского буддизма — та главная подструктура закрытого мира, где судьба каждого элемента определится устойчивостью остальных. Но один из них слабее других при прочих равных условиях. Здесь Геополитик указывает на Ближний Восток со Стамбулом, Суэцем и Персидским заливом, «землю пяти морей» и двойких географических свойств: вписанная во «внутренний полумесяц» своими выходами к Средиземноморью и на Индийский океан, она ландшафтно сродни пустыням и степям «осевого пространства», да к тому же и связана с ним через Иран. Если страны восточно-азиатского пояса муссонов во многом защищены от хартленда горами и пустынями, то Ближний Восток с ним связан открывающимися для русских древними дорогами монголов и тюрок<sup>83</sup>.

Вывод общеизвестен: чтобы «внутреннему полумесяцу» устоять перед «осевиками», надо бы сплотить его союзом во главе с Британской империей, используя как тыл этого союза собственно Британские острова, обе Америки, Австралию, Японию и колониальную Африку за Сахарой. Как видим, исходя из задачи разъяснить текущую конъюнктуру, геополитик легко делает такое обобщение, на которое пошел бы не каждый географ: арабская Северная Африка оказывается частью Европы, Средиземное море — ее внутренней бухтой, а реальным европейским пределом — Сахара, так же защищающая до поры земли за нею от замаха агрессора—«осевика», как это делает Океан<sup>84</sup>. Но если

---

<sup>83</sup> Думается, не только учение Дж. Фэйргрива о «crush zones» между мирами хартленда и Океана, но и макиндеровский образ амфибийного Ближнего Востока претворились в тезисе С. Коэна насчет ближневосточного «пояса раздробленности» («shatterbelt») — одном из наиболее успешных кодов-новоделов «холодной войны» второй половины XX в. [Cohen 1964: 84, 230–252].

<sup>84</sup> Похоже, что этот паттерн «Европы по Сахару» учитывал П. Савицкий в своих рассуждениях о европейском лесистом ландшафте как осколочном фрагменте евразий-



все здоровые силы обоих «полумесяцев» должны быть против русских, за англичан, то, бросает Макиндер под конец, для дела свободы мира еще опаснее, чем допускать Россию к открытому Океану, было бы позволить какой-либо силе Океана или приморья, например, японо-китайскому союзу, по-настоящему разрушить Российскую империю и возобладать в «осевом пространстве» вместо нее. Ведь если даже русские проникнут во «внутренний полумесяц», то до «внешнего» им еще тянуться и тянуться. Насколько же большую угрозу балансу раннего «постколумбова» мира представила бы сила, которая соединила бы изначальное по местоположению присутствие на океане с обретенными прочными позициями в «осевом» средоточии Евро-Азии. Уж какой-то силе было бы до мировой империи рукой подать!

Для современников в 1904 г. эта замечательная сага была переполнена соками «довлеющей дневи злобы его», являя, прежде всего, документ продолжавшейся уже 50 лет англо-русской «холодной войны», когда, по саркастическому воспоминанию старого Макиндера в «Круглой земле...», лондонские газетчики не уставали выискивать свидетельства о русских кознях в любых новостях с Босфора или с индийской границы. Однако сам он в этой саге психологически не далек от тех газетчиков! Образ России, которая из лесного одиночества тянется к океанам через степи и пустыни заволжского хартленда, всецело мотивирован российской отстраненностью от дел Центральной и Западной Европы после Крымской войны, особенно после Берлинского конгресса. Ведь с Европой-то наша Империя в XIX в., тогда владевшая и Польшей, соприкасалась помимо всякого хартленда, и в годы Священного Союза никакого подспорья в хартленде для своего первого европейского стратегического максимума не имела и иметь не могла. Но о той России Макиндер ничего не помнит, он всецело в пылу тяжбы за Азию.

Позднее Н. Спайкмен будет смеяться над макиндеровскими lamentациями насчет превосходства «осевой державы», свободно перебрасывающей армии из конца в конец материка по внутренним линиям, перед обреченными метаться по внешнему периметру Евро-Азии защитниками приморья. Спайкмен отметит, что вся эта наигранная паника происходит из предполагаемого долга англичан оборонять от русских

---

ской системы природных зон — и о том, что только южнее 35° северной широты, за Средиземным морем Европа обретает свое природное восполнение в североафриканских степях и пустынях [Савицкий 1927: 45].

отсталые Китай и Индию, Иран и Афганистан при сомнительной поддержке или даже равнодушии их народов. Не изменится ли картина кардинально, спрашивал он, если, скажем, развитый Китай смогут защищать сами китайцы, действуя по своим собственным внутренним линиям [Sprukman 1944: 40]?

Здесь полезно наметить одну параллель, которая — очень парадоксальным образом, через неполноту своего контрапункта — позволит нам распознать ту когнитивную подмену, что скрывается за декларациями первой части трилогии хартленда. Уже А. Герцен в 1854 г., во время победного для русских дебюта Крымской войны, радостно ставил российские войска в ряд с накатывавшимися на приморье кочевыми ордами былого: «Степи Волги и Урала во все времена служили кочевьями переселяющимся народам: это были залы ожидания и собраний, *officina gentium*, где судьба готовила в тиши дикие орды, чтобы бросить на народы, обреченные смерти, чтобы прикончить цивилизации, впавшие в маразм» [Герцен 1957: 175]. Казалось бы, параллель с Макиндером несомненная: для англичанина степной хартленд — родина грозных вызовов, в преодолении которых консолидируется и растет цивилизация Запада; на взгляд русского дворянина-радикала те же равнины вскармливают смертельное возмездие этой цивилизации за ее поздний самодовольный маразм. Но этот контрапункт частично дискредитируется тем важнейшим моментом, что великие нашествия степняков на Европу, по Макиндеру, обретают свое продолжение вовсе не в российском напоре на нее первой половины XIX в., как у Герцена, а в совершенно не затронувших континентальных европейцев азиатских предприятиях России на рубеже XIX–XX вв. Эффектная начальная панорама «закрытого мира» используется в «Географической оси...» только для того, чтобы возвести сугубо английское дело в дело жизни и смерти цивилизации Запада: противодействуя России в Азии, англичане как бы играют сразу и за весь европейский мир, и за всех азиатов, лучше тех и других разумея их настоящие, судьбоносные нужды.

Макиндер гипертрофированно обыгрывает первое «евразийство» или «протоевразийство» — России «между Севастополем и Порт-Артуром», отказываясь помнить и учитывать ее прежние, принципиально иные образы. И он полностью прав по меркам своей сверхзадачи, ибо именно через такой образ — России-противницы — он пытается разрешить тяготеющую над ним британскую имперскую заботу начала XX в. Что делать стране со старым самочувствием единственной

европейской колониальной сверхдержавы в новом мире, заполоненном другими европейцами, где в империю выросла даже какая-нибудь мелкотравчатая Бельгия, а вопрос о справедливом переделе, если не звучит, так смотрит в глаза — «как зверь стокий» — отовсюду?

Первый Геополитик мог что угодно утверждать в своей старости, но в «Географической оси истории» он в упор не видит — или, скорее, притворяется, что не видит — ни строящегося германского океанического флота, ни прокладываемой дороги Берлин–Багдад. Он не представляет немцев недругами Англии иначе, как в случае их сговора с русскими, а возвещенная им англо-французская Антанта, которую в том же 1904 г. заложит Эдуард VII, для Макиндера — инструмент сдерживания России, но никак не окружения Германии. Пытаясь вменить Британии ключевую роль в структуре нового, «закрытого», миропорядка, он в то же время как бы не хочет замечать в Европе — мировой метрополии процессов, уже готовых захватить его страну, и стремится подверстать динамику возникшего на глазах «постколумбова» устройства под сюжет англо-русской распри, восходящей к более давним, еще вполне «колумбовым» временам.

Отсюда нам открывается пронизывающая текст Макиндера — строящая этот текст — фундаментальная установка: обосновать значение Британской империи для закрытого мира, разделенного на колониальные и вассальные сферы европейских государств, мира, сотрясаемого резонансами приграничных кризисов вроде англо-французского Фашодского кризиса 1898 г. и перенасыщенного замыслами силовых перегруппировок, перечеркивающих викторианскую «блестящую изоляцию» англичан. Макиндер пытается доказать, что Британия необходима непривычному для нее миру, грозящему отнять у нее ее уникальность, — и ради этого создает географический рассказ о великом и опасном для этого мира потенциале британской противницы в Азии — России.

К середине 1910-х годов политикам Европы «Географическая ось...» могла бы представиться ярким, но безнадежно неактуальным памятником навсегда схлынувшей години в международных отношениях. Паттерн и сюжет этого текста не предусматривали ровно ничего из того, что состоялось после англо-русского урегулирования 1907 г., — ни расширенной Антанты с массивным российским участием, ни балканского конфликта Берлина и Вены как детонатора войны, где англичане выступили заодно с русскими, и ни, тем более, секретных соглашений 1915–1916 гг., которыми союзники признавали за надви-

нувшейся на ближневосточное Пятиморье «осевой державой» право превратить Черное море, по сути, в свой закрытый водоем и прочертить свою границу в Анатолии вплотную к пределам Сирии и Междуречья.

Выходит, в первом своем мировом сюжете и его стратегических изводах Макиндер не предвидел, за исключением русско-японской войны, ни одного из эпохальных событий последующих 15 лет, оказавшись в глубочайшем разногласии с большой конъюнктурой, пережившейся через три года после его доклада. Однако это обстоятельство совершенно не сказалось на славе и авторитете опуса, возвестившего два способа вырастания планетарной империи из раннего «постколумбова» мира: один путь — через экспансию «осевой державы» в евроазиатских приморьях и на Океане, другой — через властное утверждение в «осевом пространстве» силы, присутствующей, тем более хозяйничающей также в океанских просторах. Судьба этого текста наглядно обнаруживает, в чем истинная честь геополитика — в создании географических образов, инфицированных сюжетами и проектами, через эти образы внедряемыми в сознание политических элит, и чего, напротив, решительно не нужно ни ждать, ни требовать от людей этого призвания.

#### IV

Читатель, успевший увязать в голове с понятием «хартленд» схематику «Географической оси...», должен был бы если не ломать, то принципиально корректировать свои представления, читая «Демократические идеалы и реальность». Но в России, как уже сказано, эту часть трилогии хартленда мало кто читал, а ее пересказы обычно строятся так, что глубина ее когнитивных новаций вообще не может быть осознана читателем. В этих пересказах сюжеты «Демократических идеалов...» и «Географической оси...» зачастую безоглядно путаются. Во вторую модель Макиндера из первой произвольно переносятся «внешний» и «внутренний» полумесяцы, Мировой Остров «Демократических идеалов...» отождествляется с Евро-Азией [Зубков 1994: 150–151; Дугин 1997: 46, 585] или объявляется, что концепция Макиндера «была не столько антироссийской, сколько антигерманской» [Сороко-Цюпа 1993: 113] без уточнения, о какой из двух концепций идет речь — 1904 или 1919 г. Смысл книги обычно сводят к изречению «Тот, кто правит (rules) Восточной Европой, начальствует (commands) над

хартлендом; тот, кто правит хартлендом, начальствует над Мировым Островом; тот, кто правит Мировым Островом, начальствует над миром» [Mackinder 1942: 150]. Этот афоризм, заунывно воспроизводимый в российских геополитических поделках, привычно толкуется в них как «признание ведущей роли России в стратегическом смысле» [Дугин 1997: 47] и охотно развивается нашими патриотами в том духе, что, перестав с начала 1990-х годов контролировать Восточную Европу, Россия должна была попасть в иноземное распоряжение, а за нею, лишась заступницы, под игом оказывается и немалая часть человечества. На самом деле все эти фантазии куда более произвольные, чем идея «внеисторичности» «осевого пространства» первой модели Маккиндера. Смысл приведенной сентенции задается общим мировым сюжетом книги. А в его контексте этот смысл определяется совсем иначе, чем это кажется нашим толкователям.

В «Круглой земле...» Геополитик сам ретроспективно укажет на новизну всего понятийного строя «Демократических идеалов...» сравнительно с докладом 15-летней давности. Все дело в том, что, по его словам, в 1918 г., когда писалась книга, понятие «осевого государства» полностью перестало отвечать международной обстановке [Mackinder 1943: 597], а потому вместе с «осевым пространством» без колебаний убирается из дискурса и сюжета. Основания для этого ясны: конъюнктура больше не объяснялась через перспективу данных «крупнейших обобщений». Образ «осевого государства на осевой земле» удачно соотносился с великой державой, теснившей англичан по огромной азиатской дуге, но оказывался сугубо нерелевантен, когда речь приходилось вести о наших постимперских равнинах 1918 г. без центральной власти, с порушенным хозяйством и сомнительным будущим — к географическому явлению на месте сгнувшейся Империи — политической величины.

Но переработка дискурса идет дальше. С устранением из него «осевого пространства» актантом оказывается географический — гидрологический — хартленд как таковой, причем актантом, лишенным всякой политической активности, инициативы. Границы его пересматриваются, переставая увязываться с российскими пределами. Горные страны у наших бывших имперских рубежей — Монголия, Тибет, Гиндукуш, Иранское нагорье, ранее функционально трактовавшиеся в качестве препон к наступлению «осевикиков» на «внутренний полумесяц» и тем самым противопоставлявшиеся «осевому пространству», теперь зачисляются в хартленд по признаку недосягаемости водными путями. Зато

вовсе за его пределами оказывается осколочная «основная Россия», ограниченная на севере и востоке ломаной линией Петроград — Казань — течение Волги — Царицын — Ростов-на-Дону. Это всего лишь тупик Восточной Европы у края географического хартленда, давший в него демографические побеги — за Урал и далее в Сибирь вдоль линии Транссиба. Высокий западный берег Волги — граница Европы и «основной России», откуда взгляд устремляется по другую сторону великой реки — в дали хартленда.

Севернее линии Петроград — Казань часть русских земель не принадлежит ни к хартленду, ни к массиву Европы, ни к «основной России», смыкаясь со Скандинавией. Железные дороги перестают быть инструментом натиска «осевой державы» на приморье. Напротив, проходившая мимо «основной России» линия Архангельск — Владивосток, контролировавшаяся к осени 1918 г. в северной части англичанами, а в заволжской — чехословацкими legionерами (в «основную Россию» они вклинились малым плацдармом в районе Пензы), оказывается средством утверждения океанического влияния над северной Россией и хартлендом. Не случайно в тот год посольства Антанты перебираются за пределы полыхающей большевизмом «основной России» в Вологду — на эту линию, обеспечивавшую через оба свои конца связь с Океаном [Mackinder 1942: 115–120]. Теперь Макиндер намного сильнее, чем прежде, педалирует тему Великой равнины, объединяющей хартленд с полуостровом Европы. Повергнутый в разброд, лишенный объединяющей силы хартленд точно застыл перед вопросом: кто придет и будет владеть им? Высокогорная окраина затрудняет приход такого владетеля из приокеанской Азии. Зато протянувшаяся в Европу Великая Равнина как бы указывает сторону, откуда имеет наибольшие шансы появиться новый господин [Mackinder 1942: 74].

Сравнивая сюжеты «Географической оси...» и «Демократических идеалов...» «, мы убеждаемся в принципиальной двусмысленности базисного для геополитики, неотъемлемого от нее представления о пространстве силы. Ведь пространством силы может полагаться как местность, непосредственно взращивающая державную мощь, так и регионы, не дающие собственного игрока в Большую Игру, но обеспечивающие многократный прирост потенциала субъекту, сформировавшемуся где-то по соседству — в случае попадания под его руку. В «Географической оси...» хартленд виделся пространством силы в первом смысле, в «Демократических идеалах...» он остается таковым исключительно в смысле втором.

Здесь бы можно вспомнить для сравнения разные версии трактовки классической геополитикой тех приморских краев, которые Макиндер объединял во «внутренний полумесяц». Для него они были источником заботы — как возможный приз «осевой державы», позволяющий ей утвердиться на Океане. Позднее Спайкмен увидит в этом «римленде» самостоятельный питомник империй, одинаково грозящих морским державам и народам хартленда. Последний будет объявлен природным союзником США за исключением тех случаев, когда его правители попытались бы подмять под себя часть римленда — тогда они представляли бы для США угрозу не в качестве «осеви́ков», а исключительно как новые претенденты на гегемонию в римленде. Когда в американской геостратегии «холодной войны» утвердится формула «хартленд против римленда», формула защиты американцами приморий от советского наступления, в ней будет фигурировать вовсе не тот злокачественный римленд Спайкмена, а просто другое, как бы оригинально американское прозвание для «внутреннего полумесяца» в рамках фактически воспроизводимого в новых условиях макиндеровского сюжета 1904 г. «Римленд» из оплота гегемонизма становится потенциальной добычей и мультиплицирующим подспорьем сил, сложившихся вне его. Иначе говоря, с ним происходит то же, что с макиндеровским хартлендом при переходе от сюжета «Географической оси...» к сюжету «Демократических идеалов...».

В 1918 г. во время написания этой книги Первый Геополитик находился в особенно непростом положении. Если раньше «романотевтоны» недифференцированно относились им к миру морей и приморий в противостоянии «греко-славянским» покорителям Турана, то в новой версии насельники «основной России» и гидрологического хартленда вообще утрачивают собственную политическую энергетику, зато «тевтоны» отлучаются от океанических начал, становясь создателями континентальной империи, подобной Македонской [Mackinder 1942: 46]. Но еще важнее, что в тот год Макиндер не чувствовал никакой потребности в сюжете типа тех, которые и он и Спайкмен поразному разовьют во Вторую мировую войну, изображая Германию врагом сразу и морей и хартленда. В рухнувшей России он не видит значительного актанта и не намерен отводить ей деятельную роль в новом сюжете.

Вместо этого он идет на неожиданный выверт, накапливая в тексте двусмыслицы и вводя, наряду с гидрологическим хартлендом, также с ним не совпадающую идею хартленда стратегического. Последний уже

не переводим как «территориальное средоточие» и вообще не имеет физико-географического смысла. Это — сугубо историческое обобщение, относящееся к областям, куда какие бы то ни были государства, например, Германия, Австро-Венгрия, Турция, могли в истории перекрывать доступ силам, властвующим на Океане [Mackinder 1942: 109–110]. В частности, под стратегический хартленд отходит вся Восточная Европа между двумя весьма условными линиями — чертой, проводимой от Адриатики к Северному морю, и пресловутой линией Петроград — Казань — Царицын — Ростов-на-Дону, так что в этом подругому понятом хартленде оказываются Берлин с Венной, а также полностью Черноморье и Балтика. Коль скоро «осевой державы» больше нет, идея «внутреннего полумесяца» также не жизненна: в игре участвуют антагонистами Океан и часть стратегического хартленда, причем первый, как и следовало ожидать, рисуется родиной демократий, а второй — базисом автократических режимов. Однако же такой паттерн слишком уж явно противоречит первоначальной расстановке сил в интерпретируемой войне — с Россией как одним из столпов Антанты. И Макиндер вынужден дополнять свое повествование все новыми и все более сомнительными «обобщениями».

Он развивает мысль о стратегическом хартленде Европы XVIII–XX вв. как о пространстве либо вполне германизованном, либо в какой-то мере подчиненном германскому элементу. Россия после Петра I для Макиндера — фактически лен немецкого, в том числе остзейского чиновничества во главе с императорами, из поколения в поколение все более онемечающегося через династические браки с германскими принцессами [Mackinder 1942: 131–132]. Если с российской стороны (вспомним военную публицистику Н. Бердяева, В. Эрн, С. Соловьева и др.) расклад блоков в Первую мировую войну мог изображаться как разделение Запада на силы и народы, с одной стороны, близкие России по духу, а с другой — онтологически для нее неприемлемые, то, по Макиндеру, говорить следовало бы о феномене, пожалуй, обратном — о расколе германского и онемеченного стратегического хартленда освободительным движением покоренных было славян, на какое-то время втянувшим российскую верхушку во «внутрисемейный спор» с Берлином и Венной и сделавшим ее, по крайней мере, попутчицей океанских демократий.

Нет смысла подробно критиковать здесь этот мотив второй модели Макиндера. Достаточно сказать, что отсутствие даже намек на него в «Географической оси истории» показывает с очевидностью: Макинде-



ру понадобилось изобразить Петербургскую Россию частью стратегического хартленда германцев исключительно, чтобы свести концы с концами в сюжете, подсказываемом его воображению сменившейся большой конъюнктурой.

Битвы за Палестину, Месопотамию и Сирию, окончательное разрушение Оттоманской Порты и появление по соседству с Суэцким каналом, на пути из Средиземноморья в Индию новых арабских государств, большой передел Африки, откуда изгоняются германские колонисты, шаги Британии к превращению в межвоенную «Империю Индийского океана» — именно эта большая конъюнктура обуславливает кристаллизацию в книге Макиндера на месте снятой концентрической схемы иного, прежде невозможного паттерна, несущего новый сюжет. Ранее Макиндер за первоочевидную данность принимал Евро-Азию с южной европейской границей по Сахаре как наибольшее скопление континентальных масс Земли. Африка за Сахарой сдвигалась, как мы помним, во «внешний полумесяц». Теперь исходной данностью становится евро-азиато-африканский Мировой Остров в окружении иных великих островов (Америк, Австралии и т.д.), а Сахара объявляется осью, делящей его на евроазиатскую и африканскую части [Mackinder 1942: 62, 76, 78–79].

Эта новая конструкция ветвится разнообразными структурными симметриями, закольцовывающими мир Острова. (По мастерству выстраивания таких симметрий с Макиндером сравним из геополитиков только П. Савицкий как разработчик «периодической системы природных зон Евразии».) Над внутренней симметрией Евро-Азии, где по сторонам гидрологического хартленда обретаются овеваемые влажными океанскими ветрами Европа и восточно-азиатский «пояс муссонов», надстраивается симметрия Мирового Острова как целого. В Африке прочерчивается свой огромный «южный хартленд» саванн, куда очень трудно проникать по великим африканским рекам — Нилу, Конго, Нигеру и Замбези — из-за их порожистости. А тропические леса Западной Африки оказываются относительно сахарской оси структурно-географическим аналогом гигантского леса Северной Евро-Азии [Mackinder 1942: 77, 80–81]<sup>85</sup>.

---

<sup>85</sup> Н. Спайкмен будет куражиться над концептом «южного хартленда», указывая, что таковой «не имеет самостоятельного властного потенциала» (но во время написания «Демократических идеалов...» и северный гидрологический хартленд этим потенциалом не располагал!), и утверждая, будто бы с открытием Суэцкого канала Африка оказалась настолько трансформирована внедрением на ее землю морской мощи, что

При таком видении мира истинным средоточием Мирового Острова становится обретающий суверенность арабский Ближний Восток, Большая Аравия вокруг Суэца. Она больше не слабое звено в цепи «внутреннего полумесяца». Связывая атлантический бассейн с индоокеанским, она, вместе с тем, соединяет и оба хартленда, выходя в северный через Иран, а в южный, африканский — через земли Йемена, Эфиопии и Сомали. Русским царям-полунемцам, овладевшим большей частью северного гидрологического хартленда и давившим тяжестью своей страны на Южную и Восточную Азию, было, по крайней мере, слабу замахнуться на центр мира — Аравию. Но на нее прямо посягнули германские строители дороги Берлин — Багдад. В канун установления британского протектората над Палестиной Макиндер воспроизводит в книге средневековую карту мира с Европой, Азией и Африкой — тремя концами великого креста, в середине коего лежит Иерусалим. Он превозносит прозорливость французских союзников, будто бы первыми осознавших перемещение центра угрозы в стратегическом хартленде из переживающего кризис Петербурга в крепнувший Берлин Второго рейха [Mackinder 1942: 89–91, 135–138].

Мы видим, как на южном направлении этот рейх — чемпион стратегического хартленда — дорогами «австрийской» Юго-Восточной Европы, Балкан и Турции тянется к Аравии. Оттуда немцам через тогдашнюю германскую Восточную Африку (современные Танзания и Руанда) открылись бы просторы южного хартленда. На востоке перед ним в конце 1917 — начале 1918 гг. распахнулись перекрывающие Великую равнину балтийско-черноморские ворота в северный гидрологический хартленд. «Основная Россия», измотанная безвременьем, в массе безграмотная, в городской своей прослойке запуганная безвластием и большевизмом, полагает Макиндер, готова принять немцев как возродителей порядка. С принятием же ими российского имперского наследия океанская Азия оказалась бы под германским давлением и со стороны северного хартленда и через Аравию [Mackinder 1942: 158].

Отсюда следует очень тривиальный стратегический извод насчет надобности возведения в Восточной Европе крепкого барьера из государств южного и западного славянства, освободившегося от австрийской и от российской власти, а политически и культурно якобы более

---

бессмысленно здесь рассуждать о каком-то ареале, недоступном проникновению с моря [Срукман 1944: 41]. Показательно здесь различие между традиционнокolonизаторским взглядом англичанина и воззрением геополитика-американца, сосредоточенного на стратегических узлах и контроле над ними.

продвинутого, чем его восточные сородичи, с тем, чтобы, инкорпорируя в этот барьер также румын, венгров и греков, запереть Германию в Европе, не давая ей пути ни в Большую Аравию, ни в Африку, ни в «основную Россию», ни в северный гидрологический хартленд. В России же все равно утвердится какая-то форма автократии, главное, чтобы эта автократия не была немецкой [Mackinder 1942: 158–166].

Выходит, лозунг «кто правит Восточной Европой, начальствует над хартлендом, ... начальствует над Мировым Островом, ... начальствует над миром»<sup>86</sup> в том сюжете, которому он принадлежит, не предполагал никакого антиросийского умысла, но в равной мере не означал и «признания ведущей роли России в стратегическом смысле». Макин-дери не могла прийти в голову такая чушь, что власть русских над географическим хартлендом за Волгой могла как-то зависеть от их контроля над Восточной Европой до линии Адриатика — Северное море. Формула Макин-дери бессмысленна применительно к любой обстановке, где бы сохранялась Россия, держащая гидрологический хартленд под своей властью, — и выработана эта формула была в условиях радикального демонтажа России как государства. Для Первого Геополитика в 1918 г. вопрос, касающийся судеб и мировых функций северного хартленда, состоял исключительно в том, пойдут или нет осколки российской государственности на созидание германского имперского здания, будет или нет весь стратегический хартленд на восток от линии Адриатика — Северное море немецким. (Выше я сетовал на чудовищность русских пересказов этой книги, но стоит ли жаловаться на наших соотечественников, если в лучшей западной биографии Макин-дери, принадлежащей У. Паркеру, вдруг ни с того, ни с сего читаем будто «Демократические идеалы...» «предсказывают борьбу между Германией и Россией за контроль над Восточной Европой как воротами в

---

<sup>86</sup> Интересный вопрос — имеет ли в виду эта формула хартленд географический, к которому примыкает Восточная Европа, или хартленд стратегический, куда она входит одной из его частей? Общий семантический строй формулы — с преобладанием отношений синекдохи, движением от части к целому: от хартленда к Мировому Острову, от Мирового Острова к миру в его полноте — делает второе решение достаточно правдоподобным («кто держит часть стратегического хартленда с обеими германскими и обеими российскими столицами, тот начальствует над стратегическим хартлендом в целом...»). Во всяком случае, двусмысленность здесь достаточно преднамеренна, как и во многих других местах «Демократических идеалов...», сообразно с авторской сверхзадачей, которая состоит в том, чтобы переработать понятие «географическое обобщение», выдвинутое под конъюнктуру англо-русского противостояния, применительно к миропорядку, где России как силы нет.

хартленд» [Parker 1982: 47]. На какой странице монографии Макиндера обнаружил биограф это пророчество?)

Занятно, что смысловой строй «Демократических идеалов...» с их образом Большой Аравии как средоточия и Мирового Острова и омывающих его океанов, казалось бы, требовал иного тезиса, а именно — «кто правит Большой Аравией, начальствует над Мировым Островом... над миром». Ведь по логике Макиндера даже в случае возобладания некой силы в северном хартленде — понимать ли его гидрологически или даже стратегически — гегемон Аравии по желанию перекрыл бы этой силе путь в южную часть Мирового Острова. Почему же Макиндер из своей итоговой формулы исключает Аравию, значение которой незадолго перед тем превознес как первостепенное для своей мировой композиции? Это объясняется исключительно мудрой неохотой привлечь лишний раз внимание к арабской нефтяной и геостратегической игре британской политики, ведь формула «правлящей Большой Аравией начальствует над Мировым Островом» слишком легко могла быть использована недругами Лондона.

Итак, в «Демократических идеалах...» геополитический образ России как государства отсутствует — и это момент принципиальный, знаковый. Этот образ уничтожается с отделением от «России основной», закругляющей Восточную Европу, хотя не очень определенной в западных границах, — России северной, а также заволжских хартлендовских областей империи, русских и нерусских одной массой. Но здесь хочется сказать вот о чем. Не потому ли, что в 1918 г. российское ядро империи было обрушено в общую толчку с внешними имперскими «держаниями», стало возможным пересоздание толчки в империю второго издания — «Россию-Евразию» под консонантным обозначением СССР (большая суггестивная сила этого сокращения, в отличие от мертвых поделок вроде ССГ, СНГ и прочих, определилась тем, что оно — особенно в обычном упрощенном произношении «эс-эс-эр», — несло анаграмму имени «Россия», кстати, не только сохраняющуюся, но даже усиливающуюся в западных эквивалентах при побуквенном, на глаз, их чтении: сравнить англ. USSR — Russia и др.)? Оттого-то восстановление империи сейчас, после раздела 1991 г., намного невероятнее, нежели в 1918 г., что теперь в общую толчку мы не развалились; что этот нынешний раздел четко противопоставил глыбу неимоверного «острова Россия» пролегшей вокруг цепи «территорий-проливов», переходных от России к иным геокультурным человечествам; что этот раздел обретает в новом веке все большую жесткость как

часть несущих конструкций объединенного мира на очередной (предельной ли?) его стадии.

Но на миг еще возвратимся к Макиндеру в 1918-й.

Интересно, что в тот год, как и в 1904 г., Макиндер не может ни вообразить политических перемен, предстоявших в ближайшие три-четыре года, ни предвидеть курса британской политики хотя бы на одно-два десятилетия вперед. Рисуя во второй части трилогии хартленда большевиков порушившими Россию идеалистическими головами, не способными мыслить реалиями государственного интереса, он не предполагал ни пробольшевистских революций 1919 г. в Баварии, Венгрии и Словакии, ни стремительного перехода в том же году, по выражению П. Савицкого, российской «гражданской смуты... в Гражданскую войну», в сознательную борьбу двух сил, одинаково настроенных на воссоздание империи под разными знаменами [Савицкий 1997: 388–390], ни провозглашенного Л. Троцким в записке для ЦК РКП от 5 августа 1919 г. «пути в Париж и Лондон... через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии», ни броска РККА всего через год к Варшаве, Львову и германо-польской границе, ни вообще скорости оформления красного империализма.

Похоже, он если не слеп, то отчаянно близорук — Гомер геополитики! Он не представляет, что за считанные годы «восточный барьер» обретет признание в смысле защиты от изливания большевизма в Европу, прежде всего в Германию, а не как преграда на пути немецкого прорыва в Россию и в северный хартленд, и что уже через два года разделение последних окажется бессмысленным перед фактом воссоздания страны с чертами «осевой державы». Скорее всего, он был бы потрясен, увидев в будущем Локарнские соглашения, оставившие без гарантий Запада границы Германии с новоиспеченными восточными соседями, а особенно — политику атлантических демократий под конец 1930-х годов, разворачивающую новорожденный Третий рейх напрямиком в сторону хартленда.

Мировой паттерн и мировой сюжет «Демократических идеалов и реальности» представляют собой изложение планетарной географии и истории ради разъяснения ситуации 1918 г. — не больше и не меньше. Точно так же, смысл «Географической оси истории» можно бы выразить словами «история и география рода человеческого как предпосылка англо-русской холодной войны XIX века». Вообще, классическая геополитика ранней постколумбовой эпохи, заполняющая свои сказания противоборством планетарных имперских альтернатив и

«битвами панидей» (К. Хаусхофер), чем-то напоминает гомеровское зрелище Троянской войны как проекции спора богов, когда за перипетиями распри певцу открываются непрестанные перегруппировки отношений на Олимпе. Вот так и географические конфигурации, привлекаемые мэтрами геополитики для формирования перспектив и ретроспектив, в которые бы вписалась наличная большая конъюнктура, головокружительно менялись от одной эпохальной ситуации и от одной точки зрения к другой. Но если из иронического регистра переместиться в патетический, можно бы сказать и иначе — насчет раскрытия в геополитическом творчестве ликов Земли — «Земли людей» — через наития политической текучки.

1918 год канул, но возникший в тот год образ Мирового Острова не пройдет, пока стоит объединенный мир, а, может быть, переживет и его.

## V

Сходным путем возникла и последняя часть трилогии — как ответ уже 82-летнего Макиндера на вопрос редакции журнала «Foreign Affairs»: сохраняет ли идея «хартленда» какую-либо ценность для современников и участников новой мировой войны в обстоятельствах, казалось бы, несоизмеримых с мировыми декорациями как 1904, так и 1918 гг.? Понятно, что Геополитик едва ли взялся бы отвечать на этот вопрос, если бы уже не был готов к тому моменту представить все совершающееся на языке «крупнейших географических обобщений» — и представить таким способом, который давал бы ему право уверить американцев чуть ли не в большей, чем когда-либо, злободневности концепта, неотрывно соединенного с его именем. Но, отстаивая жизненность этой идеи, он встраивает «хартленд» в такой глобальный паттерн, который радикально расходится с построениями любой из первых двух частей трилогии, так что некоторые комментаторы склонны утверждать, будто в «Круглой земле...» автор, превознося теорию хартленда, фактически перешагивает через нее [Parker 1985: 122–123].

Выборочно переводить из этой статьи пассажи о хартленде и публиковать их сами по себе вне их контекста — значит ввергать читателя в недоразумение не менее жестокое, чем то, которое возникает из дурного смешения конструкций «Географической оси...» и «Демократических идеалов...».

В «Круглой земле и обретении мира» мы не встретим ни «осевого государства» (кроме как мельком на первых страницах в ретроспективном очерке истории идеи хартленда), ни обоих «полумесяцев» — и лишь один раз Макиндер патетически воскликнет о Южном Урале как о «самой что ни на есть осевой точке осевого пространства». Но мы также ничего здесь не услышим ни о Мировом Острове с сахарской осью, ни о его центре в Большой Аравии, ни о Германии как враждебном демократиям Океана исчадии «стратегического хартленда». Подверстывать под один и тот же ярлык Третий рейх и СССР, обращаясь к американцам, еще пребывавшим под впечатлением Сталинградской битвы, определенно не стоило. И точно так же характер новой аудитории Макиндера, да и поистине исключительная роль США в новой войне не позволяли трактовать Америку как один из резервных «островов» вокруг Мирового Острова, зывали к поиску географической конструкции, неразрывно связующей заокеанскую мощь с судьбой Европы. Но вместе с тем зрелище оформляющейся в 1943 г. новой Антанты — Большой Тройки, ожидания победы примерно к 1945 г., беспокойство о будущем Запада по ходу предвидимого послевоенного распада коалиции победителей, представляемого по образцу постверсальского разброда, — все эти моменты обостряют внимание старого Макиндера к таким географическим особенностям, которые могли бы сблизить и связать не только демократии Северной Атлантики между собой, но и СССР — с ними.

В отличие от Спайкмена, который, страшаясь окружения США с запада и востока, выковал понятие римленда, объединившее фашистские страны Европы с расплзающейся по Восточной Азии японской мощью, Макиндер — уроженец Британии, уже в 1930-е годы ограничившей свое присутствие на Тихом океане, а за военные годы в основном смирившейся с предстоящим уходом из Индии, — не склонен увязывать европейский кризис с восточно-азиатским и тихоокеанским. Игнорируя тот факт, что для американцев война началась с Перл-Харбора, и допуская возможность ее затягивания в поясе муссонов Бог весть на сколько (кто бы в 1943 г. предсказал Хиросиму!), он призывает после победы в Европе приступить к ее экономическому восстановлению, отложив покорение Японии на будущее. Германская проблема для него — чисто североатлантическая, и она никак не увязывается с утратившей в его глазах всякую жизненность старой схемой «внутреннего полумесяца».

Роль СССР в 1941–1943 гг. — непрекращающееся побоище на советско-германском фронте при советско-японском нейтралитете на Дальнем Востоке — подсказывает новую трактовку хартленда в его мировых отношениях. Теперь хартленд — это просто СССР от предвоенных западных границ до Енисея, вместе с балтийско-черноморскими «воротами». Как и в «Демократических идеалах...», горные хребты от Алтая до Гиндукуша с прилегающими пустынями надежно хранят равнину хартленда от масштабных посягательств с азиатского приморья — об агрессивном наползании «осевой державы» на это приморье, понятно, не вспоминается. Но эти хребты-заграждения — лишь часть системы природных барьеров, горно-складчатых, ледяных, водных, тундровых, таежных, минимизирующих соприкосновение хартленда с индо- и тихоокеанскими мирами, поворачивающих его уроженцев лицом к европейским «воротам». Однако отсюда не следует, как в «Демократических идеалах...», обреченность русских равнин — при отсутствии океанского вмешательства — покориться пришельцам из Центрально-Восточной Европы. Ведь сама ширина «этих ворот», как показал опыт 1941–1942 гг., заставляет агрессора, ломящегося в хартленд с запада, рассредоточивать и разбрасывать свои силы, разжигать их низкосортным вспомогательным контингентом, что при многолюдстве хартленда не подрывает, а увеличивает его обороноспособность «огромнейшей природной крепости на Земле».

«Величайшая сухопутная держава в сильнейшей оборонительной позиции» — вот политический смысл хартленда на 1943 г. В каком положении окажутся эта твердыня и ее воинство в послевоенной Европе? Оптимальный расклад для этого полуострова на время перехода новой Антанты от войны к обретению мира видится Геополитику в особом статусе Германии как демилитаризуемого «государства-канала» между двумя «дамбами мощи»: сухопутной мощи хартленда на востоке и системы «земноводной мощи» по берегам Северной Атлантики (Средиземного океана) на западе, с Францией (плацдармом этой системы), Британией (окруженной водами ее передовой базой), Северной Америкой (ее тылом и резервом — Макиндер еще не может помыслить нового, монополярного Запада с центром, смещенным за Океан!). Сознал ли Макиндер некоторые следствия, вытекающие из его третьей модели? В частности, понимал ли он, что она означает фактическую передачу входа на европейский полуостров под контроль далеко выдвинувшегося на запад гарнизона хартленда? Допускал ли он, хотя бы подспудно, что форпосты на «дамбах мощи» окажутся повернуты друг



против друга? Но он не отвечает нам, увлеченно прорисовывая мировой паттерн, куда можно было бы заложить проект, если не исключаяющий эти вопросы, то последовательно их обходящий.

Макиндер на девятом десятке — атлантист в самом редком и точном смысле сосредоточенности на теме Северной Атлантики как историческом эпицентре всего мира христианских (постхристианских) народов — их Средиземного океана. Теперь для него Ледовитый океан, на который выходит российско-советский хартленд, — это лишь особое, пусть нелегкое для судоходства придаточное море Средиземного океана. Даст ли география желанное когнитивное подспорье, чтобы выделить постхристианские страны из прочей ойкумены и заняться их сепаратным обустройством по окончании германской смуты, не дожидаясь, пока решится участь Азии?

Во всех частях трилогии Сахара рисовалась пределом Большой Европы. Битвы 1942–1943 гг. за Северную Африку, предварившую высадку союзников в Европе, вполне подтвердили возможность такого видения. Но лишь в «Круглой земле...» главнейшим конструктивным элементом всей планетарной географии, в том числе и антропогеографии, предстает великий «пояс пустынь и пустошей», который, продолжая Сахару на восток, тянется через Аравию, Иран и Афганистан, через Тибет и Монголию, через трудные пространства русской Северо-Восточной Азии на востоке от Енисея, чтобы обрести за Беринговым проливом американское восполнение в ландшафте Аляски, в Лаврентийской возвышенности и Скалистых горах, в Мексиканском нагорье. Внутри этого пояса на циркумполярном равнинном пространстве между бассейнами Енисея на востоке и Миссури на западе народы Средиземного океана и хартленда образуют лидирующее на Земле цивилизационное сообщество. Погружение стран к северу от «пояса пустынь и пустошей» в разброд и оскудение могло бы положить конец всему, что разумеется под цивилизацией Нового времени.

Именно в упоре на огражденности и неразрывности «земли за поясом пустынь и пустошей», противопоставляемой Внешнему Миру, Макиндер обретает резон, чтобы вычленил к востоку от Енисея особую, не входящую в «Россию-хартленд» «Россию земли (реки) Лены». Lenaland — это та часть «пояса пустынь и пустошей», куда русские выдвинулись из хартленда, превратив ее в крайний бастион своей «огромнейшей крепости на земле». Среди многих нелепостей, связываемых русскими сочинителями-послухами с именем Макиндера, одной из самых отъявленных оказывается толкование этого смыслового хода

с «землей Лены» в качестве талассократической подлянки, нацеленной на отторжение от России сибирского востока с Приморьем, на превращение их в часть «внутреннего полумесяца» и орудие носителей морской мощи против хартленда [Дугин 1997: 49]. Это — чушь уже потому, что в третьей части трилогии, где введен этот мотив, отсутствует как идея борьбы Океана с хартлендом в каком бы то ни было ее воплощении, так и та ранняя концентрическая конструкция, частью которой предстал в 1904 г. «внутренний полумесяц». С не меньшим правом можно было бы обвинить старика Макиндера в коварном отламывании от США их тихоокеанского запада.

«Земля Лены» — важнейший компонент «пояса пустынь и пустошей», объединяющего в пространстве общей судьбы хартленд и берега Северной Атлантики. Можно сколько угодно отвергать этот последний мировой паттерн и последний сюжет Макиндера с их величавой (наигранной?) наивностью, но исходить надо все-таки не из навязчивых идей того или иного толкователя, а из того, что Геополитик говорил на самом деле, силясь подвести географическую базу под призыв к послевоенному экономическому сотрудничеству «от Миссури до Енисея» ради сохранения второй Антанты.

Макиндер советует пока что отложить обязательства Британии и США перед их сферами влияния во Внешнем Мире за пределами земли общей судьбы — в том мире, что омывается Великим Океаном, включающим также и Атлантику южнее широт Сахары. Склонность выстраивать иерархии структурных симметрий, столь эффектно проявившаяся в «Демократических идеалах...», остаточным блеском вспыхивает в «Круглой земле...», где «самая огромная природная крепость» и система «земноводной мощи» располагаются внутри «пояса пустынь и пустошей» по сторонам германского «государства-канала». В то же время их широтную солидарность призывается уравновесить в будущих временах долготная консолидация пояса муссонов по инициативе Китая, созидающего с англо-американского содействия цивилизацию «не вполне восточную, не вполне западную».

Итак, в чем же состояла та основная забота, что скрывается за третьей моделью Макиндера? «Круглая земля...» — это воззвание, обращаемое англичанином к американцам в первой половине 1943 г., когда США уже второй год увязали в тихоокеанской войне, тогда как открытие итальянского фронта оставалось в стадии подготовки, а французский вообще пребывал в замыслах. В 1904 г. Макиндер убежденно писал о Соединенных Штатах как об исключительно «восточ-

ной» державе, влияющей на судьбы мира лишь через Восточную Азию с ее русско-японской контроверзой. Но в 1943 г. его беспокоит именно вероятность застаревания американцев в Тихоокеанской Азии — пусть даже после европейской победы союзников, когда бы Англия осталась в одиночку, лицом к лицу, с новыми «постверсальскими» угрозами, возникающими на разоренном войной европейском полуострове. Забота Макиндера — уверить американский политический класс в общей атлантической идентичности обоих англосаксонских метрополий, в том, что для американцев Северная Атлантика — тоже домашний океан, а Пацифика с прилегающей Азией — часть Внешнего Мира, достойного внимания лишь во вторую очередь. Рассуждение о будущем соучастии британцев и янки (кредитами гоминьдановскому Китаю) в обустройстве также меридионального пространства пояса муссонов — это, по-настоящему, не проект. Это скороговорочное заверение, что от американцев в любом случае не ускользнет какая-то часть пакета акций в делах этого «второго пространства», сходящегося своим крайним севером с пространством первым и главным — между Миссури и Енисеем.

Другое дело, что в контексте последующей «холодной войны» мировидение, утверждавшее евроатлантическое призвание «России-хартленда» и отделявшее «Россию земли Лены» как выдвинутый за пределы крепости хартленда окраинный оборонный бастион, могло актуализироваться с очень неожиданными практическими изводами. Двенадцать лет назад мне довелось обсуждать очень значительную работу американского исследователя М. Мак-Гвайра, доказывавшего, что к рубежу 1970–1980-х годов советская стратегия большой войны против НАТО могла предполагать широкое победное наступление на западе Евро-Азии до Ла-Манша и Суэца за счет временной тактической сдачи американцам части Восточной Сибири (земли реки Лены), то есть вытеснения США на некоторый срок из Европы и Северной Атлантики на Тихий океан, превращающийся во внутренний американский водоем [Цымбурский 1993: 16; McGwire 1991]. Средство здесь с последней моделью Макиндера — не на уровне реальных сценариев (сценарий, подобный макгвайровскому, в 1943 г. как для первого геополитика, так и для его американских читателей лежал за гранью представляемой реальности), а на уровне того царства геополитических идей и топосов, из репертуара которого каждая геостратегическая эпоха выстраивает свои парадигмы и кластеры.

Геополитик нарушает свое обещание ограничиться ближайшими послевоенными годами, «не заглядывая через головы поколений». Но даже получив волю, его воображение избегает задерживаться на роли англосаксонских держав в обустройстве Внешнего Мира за «поясом пустынь и пустошей», на отношениях между двумя стержневыми — широтным и меридиональным — «гроссраумами» будущего человечества, на участии спорных регионов по их стыкам и перекрестьям — той же приморской части земли Лены или же тихоокеанской каймы США. Не желая пополнять ряд сказаний о тяжбах больших Пространств, он завершает трилогию песней во славу мира «счастливого, ибо сбалансированного», оставляя тем, кто захочет, размышлять об искушениях, связанных с опрокидыванием глобального баланса. Или кричать: «Ах, мондиализм, братцы, мондиализм, черт побери! «

## VI

Что мы вынесем из чтения трилогии хартленда для понимания геополитики как профессии и призвания?

В первую очередь, мы видим, что каждая из частей трилогии воплощает собственный образ мира, сюжет и проект, оправданные в событийной логике конкретной эпохи. Геополитика в своей морфологии питается соками хронополитики. Нелепость — толковать один паттерн Макиндера через другой до того, как каждый из них будет исследован в своих хронополитических связях и отношениях. Не надо вычленять на Мировом Острове земли «внутреннего полумесяца» или обсуждать значимость выделения «земли Лены» в «Круглой земле...» с точки зрения антагонизма, разыгрываемого в «Географической оси...»: на этом пути мы ничего не обречем, кроме зловещих гаданий на темы «скрытых умыслов коварного англосакса» в его позднейших работах. Нехорошо вписывать раннюю концентрическую модель Макиндера в паттерны 1919 и 1943 гг., основанные на иных принципах и овеянные иными заботами, или вычитывать «признание первенства России в стратегическом смысле» из «Демократических идеалов...», представляющих последовательно проведенное видение наставшего мира без России-хартленда. Каждый раз должны обсуждаться конкретные «забота — образ — сюжет — проект» — либо мы в состоянии раскрыть их в данностях геополитического текста, в его географических и исторических обобщениях, либо же будем обречены на спекуляции «от ветра головы своя».

Во-вторых, желающим порассуждать об очевидности и огромности влияния Макиндера на «англосаксонскую политику», о «непосредственных результатах» его «политической активности» на «высоких постах» [Дугин 1997: 95] я бы посоветовал разграничивать три вещи: с одной стороны, личную политическую карьеру оксфордского профессора и директора Лондонской высшей школы экономики — избрание в парламент, малоудачную поездку к уже разгромленному Деникину в качестве британского представителя (декабрь 1919 — январь 1920 гг.), председательство в имперских комитетах по экономике и судоходству<sup>87</sup>, под старость синекуру членства в Тайном совете; с другой — внедрение его схем и сюжетов в долгосрочную память западных политических элит; и, наконец, с третьей стороны, — отношение его разработок к кратко- и среднесрочной «англосаксонской политике», с которой они всегда ухитрились оказываться удивительно невпопад. Так было — мы помним — в 1904 г., когда Геополитик не предвидел англо-русского союза и переоценки Второго рейха в качестве главного врага Британской империи. Так было и в 1918–1919 гг., когда он просчитался в рассуждениях о миссии и судьбе «восточного барьера» Европы. А что должны были думать во второй половине 1940-х годов слушатели Фултонской речи У. Черчилля и читатели «длинной телеграммы» Дж. Кеннана, вспоминая макиндеровские рассуждения насчет хартленда и берегов Северной Атлантики как частей пространства общей судьбы внутри пояса пустынь и пустошей? Ни один геополитический опус Макиндера не оказался на ближней дистанции яичком ко Христову дню.

Другое дело, что его истолкования довлеющих данностей, возводимые им в ранг всемирно-политических императивов, обнаружили свойство оживать в десятилетиях как формы осмысления политиками новых обстоятельств и реагирования на них [Gilbert, Parker 1969]. Так возродился паттерн «Географической оси истории» в «холодную войну» XX в., переименовавшую «внутренний полумесяц» в «римленд». Так в 2003 г. во время второй, добывающей войны США против Ирака роль союзных американцам стран «новой Европы», вклинившихся между членами «фрондерской тройки» (Францией с Германией и, по другую сторону, Россией), могла кое-кому напомнить *suggestive maps* «Демократических идеалов и реальности». И, наконец, идея морально-

---

<sup>87</sup> В «Каталоге» Библиотеки Конгресса большинство публикаций под фамилией Макин-дер составляют труды и отчеты этих комитетов.

политического единения стран циркумполярного круга, окаймленных пустынями и пустошами, ожила в России в конце XX — начале XXI вв. в мистифицирующем проекте либеральной суперимперии Демократического Севера, к первоначальному замыслу которой я, сколь ни стыдно сейчас вспоминать, тоже имел отношение 15 лет назад [Драгунский, Цымбурский 1991]<sup>88</sup> (правда, теперь в систему Демократического Севера, вразрез с макиндеровским прообразом, всегда включают также тихоокеанский сегмент — противопоставляемую Китаю Японию).

Макиндер — величайший разработчик таких форм геополитического реагирования. Конечно же, для того, чтобы подобные формы обрели и копили в десятилетиях свою инфицирующую силу, нужны были, повторяю, элиты с долгой политической памятью, держащие их в духовном резерве, понимающие несводимость миссии геополитика к выстраиванию «стратегии на пару лет» для очередной группы постольцев у политического кормила — и тем более к риторической отделке импровизаций того или иного кочевника по властным кабинетам.

Анализ смыслового строя трилогии хартленда лишней раз удостоверяет нас в том, что геополитику в высших ее достижениях нельзя считать «наукой» в попперовском смысле опровержимости (фальсифицируемости) ее наработок. Макиндер неутомимо твердил о своей приверженности «упрямым фактам», но всякий раз, когда политгеографу доводилось выступать в амплу геополитика, «упрямые факты» истории и географии обнаруживали готовность как стекляшки калейдоскопа собираться перед ним в новые герменевтические конфигурации при каждом значительном политическом повороте, побуждавшем его по-иному видеть строение мировой сцены<sup>89</sup>.

---

<sup>88</sup> Образ горбачевской России-СССР как части системы «Демократического Севера, вместе с объединенной Европой, Японией и Северной Америкой» [Драгунский, Цымбурский 1991: 14] обрел в 2003 г. неожиданную реминисценцию в нашумевшей «либерально-имперской» декларации А. Чубайса, венчающейся призывом к России «замкнуть ... кольцо великих демократий XXI в.» [Чубайс 2003; см. для обзора: Межуев 2006: 297–298].

<sup>89</sup> Отсюда единичные случаи расслабленности в отношении «упрямых фактов», которую позволяет себе Макиндер-геополитик. Вероятно, пример самый диковинный — когда в «Географической оси...» он на протяжении двух соседних абзацев относит монгольские завоевания сначала к XV в., затем к XIV в. (вместо истинного XIII в.) [Макиндер 1904: 428–430]. Я не думаю, чтобы оксфордский профессор позволил себе подобное в «настоящих» политгеографических текстах вроде «Британии и британских морей».

Долгие годы на затасканный вопрос, является ли геополитика лженаукой или это «серьезная наука», я имел обыкновение отвечать, что, конечно же, она — лженаука, зато чертовски серьезная. На самом деле, в ее лице мы имеем, как я уже говорил в начале статьи, такую политическую практику, которая по ходу осознания тех или иных проблем, встающих перед «своим» для геополитика сообществом, строит свои «крупнейшие обобщения» в географических образах. Строит так, чтобы из этих обобщений через посредство сюжета как бы сами собой рождались установки, предположительно разрешающие исходную проблему, — будь то сценарии контроля над пространством (геостратегия), манипулирования ресурсными потоками (геоэкономика) или организации точечных акций (например, террористических, но не только), способных своим кумулятивным эффектом изменять имидж регионов и образ мира в целом, перестраивать *suggestive maps* [Цымбурский 1999б; Цымбурский 2003б]. «Когнитивными свертками» из образов, сюжетов и проектов, которые творит геополитика, могут пользоваться как научная география — и, прежде всего, рефлектирующая над материалом политики география политическая, — так и прагматическая национальная стратегия. Для первой они — модели, по-разному охватывающие реальность и в различной степени приближенные к ней, субъективные моменты истины; для второй — указания насчет допустимых реакций на определенные типы вызовов.

Создать новый, работающий в истории геополитический образ — все равно, что создать пословицу, которая выделяла бы некий тип обстоятельств и предлагала для него свою рекомендацию. Но нельзя забывать, что результат обращения к такой «народной мудрости» — позитивный или дурацкий — всецело зависит от интеллекта пользователя. С геополитикой дело обстоит точно так же. Полагая ее «наукой», политик или администратор может пытаться переложить на нее ответственность за решения, принятие которых входит в его обязанность. Но никакая наука с него этой ответственности снять не может. Что же касается геополитики, то она вообще не побуждает ни к какому «научно обоснованному» поведению — она лишь расширяет горизонты политического разума, подсказывая ему возможности отношения к миру, в котором он должен себя реализовать.

## VII

Сегодняшний мир и модели классической геополитики, в том числе макиндеровские, — в каких отношениях они состоят? Не считая геополитику наукой в точном смысле, я настаивал и настаиваю на том, что как вид политической практики она представляет законный предмет политической науки, показывающей нам, к каким последствиям могут вести те или иные геополитические инспирации.

Взять хотя бы нашумевшую, в том числе и в России, книгу З. Бжезинского «Великая шахматная доска» [Бжезинский 1998] (со времени ее выхода автор сильно эволюционировал, но все-таки «Доска» грохотнула куда громче последующих текстов Бжезинского). По замыслу и основной заботе эта книга представляет программу удержания под американским контролем после «холодной войны» XX в. крупнейших центров силы в приморье Евро-Азии — Китая, Ирана, Турции, стран-лидеров объединенной Европы. Причем добиваться этого предлагается, поощряя рост их влияния на постсоветских территориях при продолжающемся ослаблении России. Иначе говоря, это программа американского содействия экспансии центров «римленда — внутреннего полумесяца» — в хартленде.

Нервная реакция наших патриотов на это сочинение, на мой взгляд, лишний раз показала их склонность усматривать опасности для России чаще всего там, где, скорее, следовало бы подивиться бестолковости идеи. Макиндер пришел бы в ужас от рекомендаций океанской сверхдержаве — стимулировать рост других государств, которые смогли бы соединить присутствие на Океане с обретением прочных позиций в хартленде стратегическом. Спайкмена привела бы в шок идея возвращать американским содействием региональные великие державы в евроазиатском римленде, который в XX в. был инкубатором ряда ярких агрессоров. По сути, Бжезинский попытался заново актуализировать схему «римленд против хартленда», схему, популярную в условиях «холодной войны», когда обрел вторую жизнь паттерн «Географической оси истории» с СССР — «осевой державой». Но ведь автор «Великой шахматной доски» советует США делать ставку на ту же схему в совсем иных условиях отказа России от «осевого» статуса, от сплошного «держания хартленда» — когда она по разным причинам во многом вернулась к своему доимперскому паттерну, к нише своего «лесного одиночества», говоря словами Макиндера. Построение Бжезинского выглядит забавным соединением геополитического эпигонст-



ва с идеализмом, исполненным добрых надежд на прочную признательность в адрес США со стороны клиентов, выводимых ими в стратегические тяжеловесы.

Намного реалистичнее и оригинальнее выглядит зримая, практическая стратегия американских администраций со второй половины 1990-х годов, соединяющая силовое размалывание ряда субцентров «римленда» с распространением атлантического влияния на покинутые Россией земли в прежнем стратегическом хартленде. При этом оставшиеся в Евро-Азии местные средоточия силы рискуют оказаться в клещах между морской мощью США на Океане и американскими базами в континентальном тылу, опирающимися на «оранжевую» и иную локальную клиентелу. В сегодняшнем мире проступает новый образ пространственного могущества, который, до конца откристаллизовавшись, оттолкнулся бы от реалий современной нам Евро-Азии, не имеющих аналогов ни в одном из трех великих паттернов трилогии хартленда.

Я говорю об обстановке, когда, в отличие от своего «обвала» в 1918 г., Россия сохранилась в качестве крупнейшего государства между Балто-Черноморьем и Тихим океаном, но, как уже сказано, перестает вмещать в себя ранее охваченные ее империей континентальные подступы к евроазиатским цивилизационным ареалам, лежащим у незамерзающих океанских акваторий. В частности, гидрологический хартленд «Географической оси истории» сегодня поделен между «новой», суверенизированной Центральной Азией и русским уралосибирским пространством. За Волгой Россия во многом восстановила свой контур, предшествовавший ее «броску на юг» в XIX в., который давал повод для обобщений «Географической оси...». Тем самым, с опорой на очень древние предпосылки, закладывается реальность, о которой я много пишу с 1995 г., — немыслимая для Макиндера реальность Великого Лимитрофа Евро-Азии, который пока что политически складывается из «новой» Европы, «нового» Кавказа и «новой» Центральной Азии, упираясь на востоке в тюрко-монгольское порубежье Китая и России с примыкающим к нему Тибетом [Цымбурский 1999а; Цымбурский 2000а; Цымбурский 2000б]. Все макиндеровские версии соотношения хартленда и России перестают работать — Большая Россия налицо (как бы ни мечталось некоторым либералам обломать ее до границ «основной России» из «Демократических идеалов...») и Южный Урал — бывшая «самая что ни на есть осевая точка осевого пространства» — лежит в ее пределах, но путь из Европы в гидрологиче-

ский хартленд оказывается возможен и помимо России через Кавказ и Каспий.

Живи Макиндер сейчас, в мире с Великим Лимитрофом и «островом Россия» за ним, он вряд ли решился бы написать свои тезисы на счет того, что «правлящий Восточной Европой, начальствует над хартлендом, ... начальствует над Мировым Островом, ... начальствует над миром». Но, думается, он мог бы их переформулировать так: «Центр мощи, контролирующий Восточную Европу, получает выход на Кавказ; контролирующий Восточную Европу и Кавказ — обретает прочный доступ в “новую” Центральную Азию; а тот, кто будет контролировать Великий Лимитроф от “новой” Европы до “новой” Центральной Азии, получит сильнейшее орудие давления на любой из центров Евро-Азии — на Россию и Китай, на Иран и Индию, и равно на “старую”, “ядровую” Европу». Макиндер мог бы добавить, что если бы держатель Великого Лимитрофа до китайских границ соединил с этой сухопутной гегемонией преобладание на Океане, планетарная империя поистине предстала бы нам как итоговая форма организации постколумбова мира, подводящая итог тому, что Первый Геополитик именовал «our world revolution».

Эта империя, возможность которой так страшила Макиндера, вполне способна возникнуть из двойной сверхдержавной опоры в первую очередь на морскую мощь и затем — на сквозную систему баз, держащих под своим присмотром Лимитроф. При этом для полноты стратегической эффективности такая система должна была бы охватить и ныне латентную, китайскую часть Лимитрофа, бросив свою тень на республики Южной Сибири и завершаясь выходом к Океану через Манчжурию и Корейский полуостров. Я думаю, какая-то из американских администраций XXI в., в конце концов, придет к выводу, что решение северокорейской проблемы (то есть демонтаж «оси зла») невозможно без постановки проблемы Северного Китая. Предупреждение Макиндера о рождении из раздоров объединенного мира планетарной власти имеет шансы реализоваться таким способом, которого конкретно не представлял себе Первый Геополитик. Понятно, что геополитические схемы, моделирующие эти новые возможности, требуют глубокой рекомпозиции паттернов геополитической классики, наработанных в борениях первой половины XX в., но, однако же, при неизбежном восприятии из этого наследия ряда элементов, которые, вступая в новые связи, неизбежно сохранят и некую память о своих прежних, классических функциях.

Я допускаю, что некоторые, неостребованные в XX в. звенья макиндеровских построений могут получить неожиданную, в том числе геокультурную, нагрузку в век Империи. Так, модель «Круглой земли...» допускает взгляд на мусульманство Леванта (по Макиндеру, южной европейской окраины), а также Ближнего и Среднего Востока в его отношении к миру (пост)христианского циркумполярного ареала как на общность, исторически тяготеющую к сегменту пояса пустынь и пустошей и не только включенную своей диаспорой в саморазрушение Империи Запада, но на определенном интервале исполняющую роль буфера между его метрополией и Внешним Миром (известный многим цивилизациям тип «своих варваров»). Восприятие Макиндером Южной Атлантики как части Великого Океана, которое примыкает к океану Средиземному, разделяя лесистые равнины Африки и Америки к югу от пояса пустынь и пустошей, сегодня несет в себе возможность особой геокультурной интриги ввиду широчайшего распространения в Латинской Америке культов африканского происхождения. Не явит ли из себя Южная Атлантика в эру Водолея внутреннего океана новой «вудуистской» общности, «прорастающей» и в американский сектор североатлантической метрополии постхристианства?

Сегодня классическая геополитика XX в. предстает нам оригинальным политическим эпосом поры смут и «битвы панидей», которыми отметились начальные стадии истории объединенного мира, при нас не только вошедшего в зрелость, но частично уже и начавшего перезреть<sup>90</sup>. Этот эпос представлял «борьбу гигантов» в присущих ему формах, пытаясь преуказывать ее развитие и в некоторых случаях впрямь воздействуя на ментальность протагонистов. Трилогию хартленда надо бы издать по-русски целиком, в пристойном переводе: многих граждан «острова Россия» она способна захватить наследственно близкими им зрелищами русского пространства в разных поворотах этой борьбы — и славой огромнейшей крепости на Земле, и ужасом щебеночной после-России со страниц «Демократических идеалов и реальности». И если бы Россия сгнула Троей в развороте Последней Империи или в ее катастрофе, то и тогда, думаю, оставшиеся русские не забыли бы, как воспел их землю Хэлфорд Макиндер, Гомер классической геополитики. Только да не будет так!

---

<sup>90</sup> Среди основоположников морфологического подхода к истории я бы назвал первым Иисуса Христа с его словами: «От смоковницы берите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето...» (Марк, 13, 28 и сл.).

## ЛИТЕРАТУРА

- Бжезинский З. 1998. *Великая шахматная доска*. М.
- Герцен А.И. 1957. *Старый мир и Россия* // Герцен А.И. Собр. соч. В 30-ти томах. Т. 12. М.
- Громько А.А. 2005. *Внешняя политика Великобритании: от империи к «осевой державе»* // «Космополис», № 1(11).
- Драгунский Д.В., Цымбурский В.Л. 1991. *Генотип европейской цивилизации* // «Полис», № 1.
- Дугин А.Г. 1997. *Основы геополитики*. М.
- Зубков К.И. 1994. *Как рождалась концепция русского хартленда* // Уральский исторический вестник. Вып. 1. Екатеринбург.
- Ильин М.В. 1995. *Проблема формирования «острова России» и контуры его внутренней геополитики* // Вестник Московского университета. Сер. 12. № 1.
- Макиндер Х.Дж. 1994. *Круглый мир и достижение мира* // Уральский исторический вестник. Вып. 1. Екатеринбург.
- Макиндер Х.Дж. 1995. *Географическая ось истории* // «Полис», № 4.
- Макиндер Х.Дж. 1997. *Географическая ось истории* // Дугин А.Г. *Основы геополитики*. М.
- Межуев Б.В. 2006. *Геополитика* // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. М.
- Нартов Н.А. 1999. *Геополитика*. М.
- Оруэлл Дж. 1989. *Избранное*. М.
- Савицкий П.Н. 1927. *Россия – особый географический мир*. Прага.
- Савицкий П.Н. 1997. *Очерки международных отношений* // Савицкий П.Н. *Континент Евразия*. М.
- Сирота Н.М. 2001. *Основы геополитики*. СПб.
- Сороко-Цюпа А.О. 1993. *Проблемы геополитики в исследованиях французских авторов* // Геополитика: Теория и практика. М.
- Цымбурский В.Л. 1993. *Остров Россия (Перспективы российской геополитики)* // «Полис», № 5.
- Цымбурский В.Л. 1995а. *Циклы «похищения Европы»* // Иное: Хрестоматия нового российского самосознания. Т. 2. М.

Цымбурский В.Л. 1995б. *Тютчев как геополитик* // «Общественные науки и современность», № 6.

Цымбурский В.Л. 1997. *«Европа-Россия»: «третья осень системы цивилизаций»* // «Полис», № 2.

Цымбурский В.Л. 1998. *Две Евразии: омонимия как ключ к идеологии раннего евразийства* // «Вестник Евразии», № 1–2 (4–5).

Цымбурский В.Л. 1999а. *Геополитика для «евразийской Атлантиды»* // «Pro et Contra», т. 4, № 4.

Цымбурский В.Л. 1999б. *Геополитика как род мировидение и род занятий* // «Полис», № 4.

Цымбурский В.Л. 2000а. *Земля за Великим Лимитрофом* // Цымбурский В.Л. Россия — Земля за Великим Лимитрофом: цивилизация и ее геополитика. М.

Цымбурский В.Л. 2000б. *Народы между цивилизациями* // Цымбурский В.Л. Россия — Земля за Великим Лимитрофом: цивилизация и ее геополитика. М.

Цымбурский В.Л. 2003а. *Дважды рожденная «Евразия» и геостратегические циклы России* // «Вестник Евразии», № 4(23).

Цымбурский В.Л. 2003б. *Нефть, геотеррор и российские шансы* // Библиообзор «Полиса», ноябрь;

Чубайс А.Б. 2003. *Миссия России в XXI веке* // «Независимая газета», 01.10.

Cohen S.B. 1964. *Geography and Politics in a Divided World*. L.

Duchinski F. 1861. *Pologne et Ruthenie*. P.

Duchinski F. 1864. *Necessite de reformes dans l'exposition de l'histoire des peuples aryas-europeennes et tourans particulièrement des slaves et des moscovites*. P.

Fairgrieve J. 1924. *Geography and World Power*. 5th ed. L.

Gilbert E.W., Parker W.H. 1969. *Mackinder's «Democratic Ideals and Reality» after Fifty Years* // «Geographical Journal», XXXV, № 2.

Mackinder H.J. 1904. *The Geographical Pivot of History* // «Geographical Journal», XXIII, № 4.

Mackinder H.J. 1905. *Man-Power as a Measure of National and Imperial Strength* // «National Review», XLV, № 265.

Mackinder H.J. 1907. *Britain and the British Seas*. L.

- Mackinder H.J. 1942. *Democratic Ideals and Reality*. N.Y.
- Mackinder H.J. 1943. *The Round World and the Winning of Peace* // «Foreign Affairs», XXI, № 4.
- McGwire M. 1991. *Perestroika and Soviet National Security*. Wash.
- Murray J.A.H. 1902. *A New English Dictionary*. L.
- Orwell G. 1949. *Nineteen Eighty-Four*. N.Y.
- Parker G. 1985. *Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century*. L.; N.Y.
- Parker W.N. 1982. *Mackinder: Geography as an Aid to Statecraft*. Oxford.
- Spykman N.J. 1944. *The Geography of the Peace*. N.Y.
- The Oxford English Dictionary*. 1989. 2nd ed. Vol. VII. Oxford .
- «Интеллектуальная Россия», 2007 г.

## РУССКИЕ И ГЕОЭКОНОМИКА

Понятие «геоэкономика» прижилось в России в конце 1990-х годов, в частности, и как идеологема с неоднозначным смыслом, преподносямая разными авторами по-своему, но при этом отчетливо противопоставляемая ими другой идеологеме, именуемой «геополитика». Именно идеологический потенциал «геоэкономики» в трудах отечественных теоретиков я и хотел бы обсудить в данной статье.

Мне уже доводилось писать, что геополитика XX века в ее реальных функциях — это не просто «исследование мировой политики». Поэтому не надо ее путать ни с глобалистикой, ни с дисциплиной «международные отношения». Но точно так же геополитика — это и не всякое «учение о связи политических процессов с землей». Характеризуя так в 1920-х свои штудии, Карл Хаусхофер и его последователи намеренно размывали границы между геополитикой и политической географией и частично маскировали первую под вторую.

Я думаю, старый «проклятый» вопрос о взаимоотношении этих двух дисциплин разрешим сколько-нибудь удовлетворительно лишь в том случае, если признать, что, в отличие от политической географии, поставляющей читателям, в том числе и политикам, объективную информацию об изучаемых ею реалиях, геополитика выступает непосредственно как техника политического проектирования. В многообразии географических данных она открывает политические возможности — позитивные или, наоборот, негативные, опасные. Она обнаруживает такие сцепления этих данных, при посредстве которых можно было бы «заземлить» некие витающие в воздухе общественные запросы и проблемы. Она предлагает свои решения таких проблем в формах пространственного дизайна, проникнутых отношениями политического противостояния/соперничества, или сотрудничества/кооперации, или господства-подчинения, а также порой в формах, призванных снять, изжить эти политические отношения. Геополитика есть род политической герменевтики, ищущий выявить и воплотить в ориентировочных

географических схемах (suggestive maps) заказ, часто еще не вполне осознанный самим сообществом-заказчиком<sup>91</sup>.

Этот герменевтический дух геополитики определяет ее роль в постсоветской России. Вопреки алармистам, десять лет назад пугавшим нас и Запад, а больше — самих себя веймарскими призраками, у нас геополитический ажиотаж 90-х годов менее всего выражал реваншистские порывы и переживания по поводу «географической обездоленности» страны. Идеологическая функция геополитики у русских оказалась иной, чем когда-то в Германии. Невзирая на экстравагантности и глупости отдельных писателей на геополитические темы это словопонятие прежде всего внушало атомизирующемуся, готовому пойти в распыл обществу идею «общего интереса», «общей пользы», мотивируемых и местоположением России в ойкумене рубежа тысячелетий, и государственно-исторической памятью ее пространства. В этом качестве геополитика предстала на страницах партийных программ и в выступлениях политиков, претендовавших на право общенационального целеполагания, будь то Борис Ельцин или Владимир Жириновский, Евгений Примаков или даже Егор Гайдар, призывавший новую Россию как «форпост демократии в Евразии» сосредоточить свой потенциал сдерживания на Дальнем Востоке. Говорить в геополитическом ключе значило напоминать соотечественникам об «общем интересе» и изображать себя его законным толкователем.

Напротив, в России последних лет геэкономика как идеологема, отталкиваясь от геополитики и споря с ней, все отчетливее утверждает парадигму политических программ, либо несущих прямой вызов «общему интересу», либо — просто по логике того же отталкивания и спора — вступающих с ним в сложные отношения.

Я должен признать, что основной стимул к написанию этой статьи мне дали труды Александра Неклессы<sup>92</sup>. Они не только представляют

---

<sup>91</sup> Цымбурский В. *Геополитика как мировидение и род занятий* // Полис. 1999. № 4. Новейшую попытку откровенной инкорпорации геополитики в политическую географию см.: Туровский Р. *Политическая география*. Смоленск, 1999. С. 10, 38. В этой книге геополитика определяется как политгеографический раздел, посвященный «балансу сил в мире и географии международных отношений». Помимо того что это определение не включает внутреннюю геополитику, я указал бы также на ощущаемое любым читателем жанровое различие, к примеру, между классическими геополитическими описаниями Хэлфорда Макиндера и его же добротной политгеографической книгой *«Britain and the British Seas»* (L.; N. Y., 1914) — различие, создаваемое именно проектным характером геополитических текстов.



собой наиболее значительный в современной науке опыт функционального моделирования возникающего на наших глазах — другой вопрос, надолго ли, — мирового порядка, причем опыт, спорящий и расходящийся с классическим миросистемным анализом Фернана Броделя и Имманьюэла Валлерстайна. Для меня они не менее значительны постоянно живущим в них вторым, как бы эзотерическим планом — стремлением придать геоэкономическому образу мира хронополитическое измерение, опирающееся на христианскую метаисторию. Эта сверхзадача делает Неклессу оригинальным представителем теологии хозяйства — интеллектуальной отрасли, отмеченной на Западе многими славными именами — от Фомы Аквинского до ряда римских пап конца XIX — начала XXI века, а в среде русских мыслителей впечатляюще развивавшейся Сергеем Булгаковым и Петром Савицким. Научная и вместе с тем экстранаучная — религиозно-философская — ценность разработок Неклессы (при их одновременной отмеченности и неприемлемыми для меня родовыми чертами сегодняшнего русского понимания геоэкономики) заставила меня вплотную заняться всем спектром аранжировок этой идеологии в России. И в частности, отличием ее прагматики в нашей стране от первородной геоэкономической прагматики — американско-европейской.

## РОЖДЕНИЕ ГЕОЭКОНОМИКИ

Если геополитику как понятие изобрел Рудолф Челлен, то творцом геоэкономики в том же смысле считают Эдуарда Лутвака: это он объявил в 1990-м, что после холодной войны при общем страхе перед ядерным оружием и при сохраняющихся особых отношениях между странами Запада поведение ведущих держав определит главным образом «геоэкономика» как воплощение «логики конфликта в грамматике торговли». Такая геоэкономика потребует, писал он, разработать прие-

---

<sup>92</sup> С наибольшей полнотой концепция Неклессы представлена его публикациями в изданиях: *Глобальное сообщество: Новая система координат: (Подходы к проблеме)*. СПб., 2000 (далее ГС-1); *Глобальное сообщество: Картография постсовременного мира*. М., 2002 (далее ГС-2). Ряд важных уточнений можно найти в брошюре: Неклесса А. *Трансграничье, его ландшафт и его обитатели*. М., 2002. В этих изданиях приведена обширная библиография брошюр, статей, докладов и интервью (около 100 названий), представляющих «текст Неклессы» более эскизно, на разных ступенях его становления и в специальном развитии частных тем. Для моего анализа имела особую ценность ранняя статья Неклессы «Третий Рим» или «Третий мир»: *глобальные сдвиги и национальная стратегия России* (Восток/Oriens. 1995. № 1).

мы экономической обороны и наступления, направленные к главной цели — «обеспечить наилучшую возможную занятость для наибольшей части своего населения», а если понадобится, то и в ущерб населению чужих стран.

В первоначальной формулировке Лутвака миссия геоэкономики определялась так: «Если внутреннее сплочение [нации] должно быть поддержано консолидирующей угрозой, то сегодня таковой обязана стать угроза экономическая». Основная разница между геоэкономикой и классической геополитикой должна, по Лутваку, определяться двумя моментами. Во-первых, большим плюрализмом модальностей мировой политики, среди которых перестает откровенно главенствовать военно-силовая модальность. Во-вторых, тем, что прежде государства не только были субъектами мировой борьбы, но и одновременно образовывали само ее поле. Пространства, обретшие субъектность, тягались между собой, стремясь одну географическую позицию ущемить в пользу другой или подчинить ей. Теперь же государствам предстоит бороться на поле мировой экономики, коего они собою не покрывают: его значительную часть образует приватный, в том числе транснациональный, капитал, чья логика может не совпадать с геоэкономическими задачами наций<sup>93</sup>.

Позднее Лутвак развил тезис о «консолидирующей экономической угрозе». Он выдвинул ставшие очень популярными понятия «турбокапитализма» движущихся по планете финансовых потоков и «призрака бедности», появляющегося перед странами из-за своенравия этих, как их сегодня называют, геофинансов<sup>94</sup>. Так он проложил путь тому пониманию задач и статуса геоэкономики, которое в России хорошо известно по переводу итальянской коллективной монографии «Геоэкономика», собранной усилиями Карло Жана и Паоло Савоны.

Для авторов указанного труда геоэкономик — это «принцип объединения всех экономических установок и структур какой-либо страны

---

<sup>93</sup> Luttwak E. *From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict: Grammar of Commerce // The National Interest*. 1990. No. 20. Из более ранних работ, предвосхищающих геоэкономическую парадигму в ее западном понимании, очень важна книга: Rosecrance R. *The Rise of the Trading States: Commerce and Conquest in the Modern World*. N. Y., 1986.

<sup>94</sup> Luttwak E., Pelanda C., Tremonti G. *Il fantasma della poverta: Una nuova politica per difendere il benessere dei cittadini*. Milano, 1995; Luttwak E. *Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the Global Economy*. L., 1998.

в единую стратегию, учитывающую общемировую ситуацию»<sup>95</sup>, в том числе ситуацию финансовых рынков, на которых движутся капиталы, не привязанные к той или иной стране, но сами для себя выбирающие, где им платить — а лучше бы вовсе не платить! — налоги. Вслед за Лутваком главную угрозу государству как интегратору нации в условиях размывания национальных экономических границ итальянские геоэкономисты видят не в социальном бунте бедных, а в выливающимся в бегство капитала «бунте богатых». Особой формой такого бунта становится подрыв национальной сплоченности преуспевшими городами и регионами, все менее опирающимися на поддержку государства, а потому не желающими спонсировать соседние обездоленные территории и готовыми составить «архипелаг... из островов богатства посреди океана бедности»<sup>96</sup>.

Пафос Жана и Савоны — в призывах укрепить национальное государство, зажатое между «бдительными и хищными вольными городами» и растущими геоэкономическими империями типа ЕС, «пока нас окончательно не поглотил новый мировой порядок и те господствующие в нем силы, которым удается ускользнуть от демократического контроля со стороны граждан»<sup>97</sup>. Поскольку новые технологии понижают спрос на рабочую силу, составители «Геоэкономики» не видят для правительств иного пути, как отход от многих социальных гарантий низам ради вдумчивой и интенсивной поддержки капитала в деле создания на национальных территориях «богатств без больших социальных затрат»<sup>98</sup>. Сформулированный Лутваком принцип «наилучшей возможной занятости для наибольшей части своего населения» оборачивается лозунгом «Больше бедных, меньше безработных». Жан смеется над пресловутым государством всеобщего благосостояния как над «демократией дефицита», при которой «все больше дефицита и все меньше демократии»<sup>99</sup>.

При всем том одно несомненно. Жан, Савона и их коллеги по монографии — убежденные этатисты. Они жаждут отстоять свое еще не

---

<sup>95</sup> Савона П. *Введение* // Жан К., Савона П. *Геоэкономика, господство экономического пространства*. М., 1997. С. 15.

<sup>96</sup> Жан К. *Геоэкономика: Теоретические аспекты, методы, стратегия и техника* // Жан К., Савона П. Указ. соч. С. 37.

<sup>97</sup> Жан К., Савона П. *Предисловие к русскому изданию* // Жан К., Савона П. Указ. соч. С. 14.

<sup>98</sup> Жан К. Указ. соч. С. 31.

<sup>99</sup> Там же. С. 58.

простоявшее и полтора века итальянское национальное государство, платя за это любую дань, которую может потребовать новый мировой порядок, жертвуя уровнем жизни бедняков, обеспеченностью пенсионеров, надеждами старших поколений. Они верят: сегодня государство может выжить, лишь выступив геоэкономической «страной-системой», где «бунт богатых» замирит перспективная интегральная стратегия, принимающая в расчет навязываемые извне нормы главным образом затем, «чтобы успешнее и безопаснее их нарушать». По словам этих соотечественников Макиавелли, «государство должно быть постоянно готово защищать национальные интересы, а не соблюдать любой ценой имеющиеся договоренности»<sup>100</sup>.

Если Лутвак думал развести свою крестницу — геоэкономiku с геополитикой, то для корпусного генерала Жана геоэкономика, естественно развившаяся из геополитических разработок, не альтернатива геополитике, а ее органичный раздел с особой методологией. В ней применяется геополитическая логика в специальном варианте: как «логика потоков» — ресурсных и, в частности, финансовых. В этом своем качестве она обязана работать рука об руку с более традиционной геополитической отраслью — геостратегией, специфика которой заключается в опоре не просто на фактор военной силы, а прежде всего на резоны «территориальной политической логики»<sup>101</sup>. За призывами Лутвака к главенству геоэкономики над геополитикой Жан слышит всего лишь спор с теми американскими политиками и военными, которые готовы ради геостратегического партнерства с Японией и Западной Европой пренебречь велениями геоэкономического противоборства.

Во всяком случае и Лутвак, и Жан с коллегами мыслят геоэкономiku не иначе как государственный курс, обеспечивающий живучесть устремляющемуся в новый век национальному Левиафану.

## **ГЕОЭКОНОМИКА ПРИХОДИТ В РОССИЮ**

Подхваченное русскими в 1995—1996 годах новое словечко «геоэкономика» сперва применялось в стиле традиционной геополитики Больших Пространств, относясь к задачам и приемам формирования автономного российского рынка с прихватом также и части ближнего зарубежья. Помнится, в 1996-м в этом духе была написана для несосто-

---

<sup>100</sup> Там же. С. 52 сл.

<sup>101</sup> Там же. С. 30, 41 сл.

явшегося журнала «Бизнес и общество» блестящая статья Олега Григорьева «От внутренней геополитики к внутренней геоэкономике современной России»<sup>102</sup>. Но через год-другой, на исходе десятилетия и века, наступает черед русским концептуализациям геоэкономики как требований, предъявляемых к России мировым порядком, что, казалось бы (увы, лишь казалось бы), ближе к западной семантике и прагматике слова. Разногласию же в истолковании этих требований можно оценить, обратившись, с одной стороны, к работам Эрнеста Кочетова, а с другой — к статьям Петра Щедровицкого.

Как мы видели, для генерала Жана геоэкономикой есть результат методологической дифференциации внутри геополитики. А вот для эксперта российского Министерства экономического развития и торговли Кочетова она — высшая форма конъюнктуроведения, смещающая в национальной внешнеэкономической активности упор с торговли на «воспроизводственную модель». Иными словами, включающая «в поле зрения не только сферу обращения... но и сотрудничество по всем звеньям производственно-технологического процесса с вынесением части этой цепи за национальные рамки (транснационализация хозяйственной деятельности)»<sup>103</sup>. И главное тут — через свои ТНК создать «интернационализованные воспроизводственные циклы» (ИВЯ), или «ядра». Ведь внутри таких ИВЯ, анклавами врезающихся в национальные экономики, формируется, по Кочетову, так называемый «мировой доход». Отсюда суженное толкование понятия «страна-система» как «государства — глобального предпринимателя», строящего вокруг себя самостоятельную систему ИВЯ и поручающего упомянутым «ядрам» представлять национальные интересы в геоэкономическом пространстве мира. Читай: в сферах складывания «мирового дохода»<sup>104</sup>. Если россияне не пробьются к этому доходу, Россия продолжит пребывать в числе стран, не признаваемых за полноправных участниц интернационализованных циклов, а лишь обслуживающих эти циклы своими ресурсами по заниженным биржевым котировкам.

Пока мысль Кочетова движется вокруг отношений геоэкономики и конъюктуроведения, она поставляет и специалисту-международнику,

---

<sup>102</sup> Обзор взглядов Григорьева, изложенных в этой статье, см. в моей работе: Цымбурский В. *А знаменей времени не различаете...* // Цымбурский В. *Россия — Земля за Великим Лимитрофом: Цивилизация и ее геополитика*. М., 2000. С. 131–133.

<sup>103</sup> Кочетов Э. *Геоэкономика: Освоение мирового экономического пространства*. М., 1999. С. 41–46, 156; Он же. *Геоэкономика и стратегия России*. М., 1997. С. 18, 27.

<sup>104</sup> Кочетов Э. *Геоэкономика: Освоение мирового экономического пространства*. С. 111.

и экономисту, и геополитику богатую умственную пищу. Тут и соображения о том, что мировое хозяйство регулируется вовсе не законом стоимости, а совокупностью разных, часто скрытых мотивировок экономических лидеров (вполне в духе различения собственно рыночного хозяйства и капитализма как закрытого, «приватного» рынка или «противорынка», по Броделю); и заметки о новых — не межгосударственных, а межканклавных, межфирменных — стыках в мировом разделении труда, словно пульсирующем между этими двумя типами границ; и обсуждение стратегии геэкономических войн с финальным кредитным ударом; и рассказ о приемах внедрения товаров, включая «товары-объекты» (целые производства, инфраструктурные комплексы и т. д.), в не подготовленную к ним среду — приемах, обеспечивающих откачку ресурсов этой среды; и еще многое другое. «Геэкономика» Кочетова — книга, которая могла бы служить не одному поколению русских отличным учебником по подобным технологиям, если бы он не захотел в качестве геэкономиста возвыситься не только над конъюнктуроведением, но и над геополитикой.

А сделать это Кочетов попытался следующим образом. Сперва он вводит идею трех разных мировых пространств — геополитического, геэкономического и геостратегического, приобретающих разный вес в те или иные эпохи<sup>105</sup>. Такой прием означает не что иное, как автоматическое вычитание из геополитики и военно-силового, и экономического компонентов. Одним этим лукавым шагом у геополитики отнимается чуть ли не все ее реальное содержание. Понятно, что после этого Кочетов считает себя вправе трактовать геополитику по-своему, бюрократически, — как сферу деятельности российского МИДа, который видит в государствах главных международных субъектов и возводит их границы в ранг основополагающей реальности<sup>106</sup>.

Так, наш эксперт, опустошив геополитику и сведя ее к дипломатической рутине, берется за вырванную из геополитики геостратегию и, опять же понимая ее сугубо институционально как деятельность военных, ставит перед ней «смешной» вопрос: «Что защищать?» В самом деле, неужели проливать кровь за МИДовскую формалистику? Поскольку единственным содержательно определенным из трех пространств оказывается, по Кочетову, поле геэкономии, он и вытребы-

<sup>105</sup> Там же. С. 9; Он же. *Геэкономика и стратегия России*. С. 117.

<sup>106</sup> См.: Кочетов Э. *Геэкономика: Освоение мирового экономического пространства*. С. 262 — о «геополитической (мидовской) функции»; с. 298 — о том, как «МИД ослеплен геополитикой».

вает для нее господство над военным целеполаганием и военным строительством (также и над дипломатией, но это меня интересует меньше)<sup>107</sup>. А так как геоэкономические интересы государства, если исходить из его определения как «страны-системы», должно передать «своим» ТНК, получается, что основной функцией вооруженных сил обязана стать защита безопасности, интересов и имущества таких хозяйственных анклавов. Ведь это они, и никто другой, пишет Кочетов, «воспримут глобальные вызовы и дадут достойные ответы»<sup>108</sup>. Такой поворот мысли дополняется радостным соображением насчет возможности снять с государства тяготы содержания армии и переложить их на обслуживаемые военными ТНК, которые преобразуются в «военнофинансово-промышленные группы»<sup>109</sup>. По сути, к таким группам переходила бы прерогатива законного применения вооруженного насилия, для Нового времени рассматриваемая замшелыми политологами как исключительное право территориальных государств.

Теперь мы можем наблюдать, как операция по выхолащиванию геополитики, начатая с вычитания из нее геоэкономики и геостратегии, развязывает руки экономисту, присвоившему себе приставку «гео», для своевольного пространственного дизайна, который попирает отжившие понятия национальной безопасности. Обругав западный постиндустриализм за то, что он в лихорадке технологических квази-революций губит вполне здоровые производства, Кочетов заявляет романтическую идею такой «неоэкономики», которая бы придала интернационализированным анклавам в России, поддерживаемым — не забудем! — воинскими подразделениями, «этнонациональную окрашенность» и заставила бы их работать на «воспроизводство встроенных в их циклы этнонациональных систем»<sup>110</sup>. Задекларированная в качестве антитезы гнусному постиндустриализму «этноэкономическая система мирового класса Россия» оказывается ареалом соприкосновения и столкновения, как минимум, трех (можно придумать куда больше!) «экономических этнонациональных группировок»: 1) славянской; 2) страннотой финно-угорской, которая связала бы с Венгрией, Финляндией и Эстонией Мордовию и Удмуртию (почему-то не вспоминаются ни Карелия, ни Республика Марий Эл, ни Ханты-

<sup>107</sup> Там же. С. 242: «Россия увлеклась геополитическими инициативами, при этом военно-стратегическая составляющая оказалась без целевой направленности».

<sup>108</sup> Там же. С. 273.

<sup>109</sup> Там же. С. 132 сл., 154 сл., 187, 249 сл., 297–302.

<sup>110</sup> Там же. С. 211–222; Кочетов Э. *Геоэкономика и стратегия России*. С. 89–90, 97–111.

Мансийский автономный округ); 3) исламской, призванной действительно объединить Татарстан, Башкирию и почти весь Северный Кавказ с мусульманским Ближним и Средним Востоком. Пикантно, что Кочетов надеется тем самым гармонизировать исламский фактор в России и в мире<sup>111</sup>. Представьте себе, например, судьбу Крыма в «неоэкономической» перестройке Восточной Европы!

Мне, право же, неохота уподобляться тем бдительным патриотам, которые, прочтя Кочетова, ухватились бы за его «неоэкономику», увидя в ней программу дележки России этнокультурными мафиями, в том числе и в обличьях военно-финансово-промышленных групп. Для меня намного важнее любых романтических довесков вещь самоочевидная без всех этих угрюмых подозрений: с учетом нашего опыта 1990-х, особенно уроков первой чеченской войны, такая геоэкономика означает присвоение интернационализированными анклавами и армии, и во многом национального интереса. «Снятие» геополитики во имя геоэкономики оказывается непосредственно связанным со «снятием» и государства как носителя и воплотителя «общего интереса». Характерна ли такая связь лишь для Кочетова, или мы ее найдем также и у других наших геоэкономистов?

Иную геоэкономику, резко отличную от кочетовской, предлагает Петр Щедровицкий, политтехнолог и устроитель организационно-деловых игр, близкий к Союзу правых сил и в свое время представленный известной антологией «Иное» в амплуа «человека играющего»<sup>112</sup>. Среди его текстов программная статья «Русский мир» замечательна обилием цитат из «Геоэкономики» Жана и Савоны без ссылок и кавычек<sup>113</sup>. Так, у итальянцев списаны определение пропагандируемого «геоэкономического» подхода как «призванного объединить все экономические установки и структуры страны в общую стратегию, учитывающую общемировую ситуацию»; пассажи о «капитале... не поддающемся налогообложению»; об «институциональной архитектуре... которая позволила бы создавать богатства без больших социальных затрат»; о «политической независимости», которая сегодня будто

---

<sup>111</sup> Кочетов Э. *Геоэкономика: Освоение мирового экономического пространства*. С. 210, 278; Он же. *Геоэкономика и стратегия России*. С. 115.

<sup>112</sup> См.: *Иное: Хрестоматия нового русского самосознания: Путеводитель*. М., 1995. С. 65.

<sup>113</sup> Щедровицкий П. *Русский мир: Возможные цели самоопределения* // Независ. газ. 2000. 11 февр. В самом конце интернетовской версии этой статьи (Щедровицкий П. *Русский мир и транснациональное русское*) появляется беглое упоминание о книге Жана и Савоны, не соответствующее масштабу дискурсивных заимствований из нее.



бы выражается в «возможности... привлечения и удержания капитала на данной территории» (у самого Жана это цитата из Карло Пеланды), и т. д. Но надо признать, что Щедровицкий расставляет смысловые акценты существенно иначе, чем это сделано в источнике его геоэкономической фразеологии. Заявив, что «национально-территориальные границы на наших глазах теряют экономический смысл», он не доверяет ни возможности «в языке национального капитала планировать будущее», ни вообще жизнеспособности «стран-систем». Для него истинное царство геоэкономики — это тот бравый мир, где, оттеснив в качестве международно-политических субъектов не только государства, но даже и ТНК, вперед выходят «мировые диаспоры, крупные трансрегиональные объединения или стратегические альянсы стран, мировые города (инфраструктурные узлы мировой геоэкономической сети) и антропоструктуры (сплоченные группы и ассоциации, использующие сетевые формы организации деятельности и культурную политику для активного участия в мировых процессах)». Где «диаспоры, антропоструктуры и мировые сети становятся центрами выработки и принятия решений, которые затем оформляются государственными обязательствами» — надо думать, за счет граждан этого государства<sup>114</sup>. Поэтому у проекта Щедровицкого для России оказываются два взаимно соотнесенных фокуса. Один фокус — это «русский мир», понимаемый как совокупность русскоязычных индивидов и групп, раскиданных по планете, прежде всего в постиндустриальном и богатом дальнем зарубежье. Постсоветская Россия «не стала адекватной формой включения русского общества в мировой исторический процесс... создан совершенно неконкурентоспособный (ой, так ли? — В.Ц.) псевдоолигархический класс и общество мелких лавочников, являющихся питательной средой для экстремистских партий (каких? — В.Ц.). Этот процесс... был компенсирован... процессами формирования... масштабной русской диаспоры в мире», сословия «состоятельных русских во всех смыслах этого слова: они занимаются бизнесом, наукой, искусством, в том числе и во многом безотносительно к бывшему СССР и России. Поэтому уже сегодня можно говорить о возможностях формирования модели своеобразного “гамака”, где территория РФ как бы подвешена в сетке связей и отношений, крепление которой находится

---

<sup>114</sup> Щедровицкий П. *Русский мир...* Далее ссылки на эту статью даются без специальных указаний. Концепция статьи разбивается в текстах: Островский Е., Щедровицкий П. *Россия — страна, которой не было.*

вне страны»<sup>115</sup>. Второй фокус проекта — главная потенциальная опора диаспорического мира на землях политически «бесформенной» России — несколько ее крупнейших мегаполисов, «городов-предпринимателей». Щедровицкий из текста в текст величает их «остовом России», по-видимому не чувствуя явной гиньольности этой метафоры<sup>116</sup>.

Когда Щедровицкий призывает российскую власть признать разницу между «народом» и «электоральным корпусом», он, казалось бы, лишь повторяет мысль Жана о необходимости для «страны-системы» действовать часто вопреки воле нынешних избирателей, работая на будущее нации<sup>117</sup>. Но в контексте проекта «Русского мира» такое различие получает и другой смысл: превознесение экстерриториального «народа» над территориально связанным «электоратом». «Современное государство суть (единственное число! — В.Ц.) прежде всего система институциональных и управленческих сервисов-услуг». Либо Россия усвоит такую стратегию поставки сервисов элите мегаполисов и «русскому миру» и эта стратегия «станет основой формирования нового народа, либо территория РФ, не обретя устойчивой политической и государственной формы (а так, как предполагает Щедровицкий, обретет ли? — В.Ц.), превратится в объект деятельности мировых субъектов силы (а через вынос центра принятия решений в диаспору не превратится? — В.Ц.) или в худшем случае — в свалку человеческих отходов». Таков будет конец нашей демократии, если она отождествит с «народом» наличный электорат. «Чем большему числу отдельных граждан других государств нужна Россия, тем устойчивее позиция России в мире». А я-то всегда думал, что устойчивость России зависит прежде всего от того, насколько она нужна собственным гражданам, и, похоже, здесь на моей стороне против геоэкономиста Петра Щедровицкого оказывается геоэкономист Эдуард Лутвак с его формулой «наилучшей возможной занятости для наибольшей части своего населения». И вообще, ни один из западных «отцов» геоэкономики не

---

<sup>115</sup> Островский Е., Щедровицкий П. Указ. соч.

<sup>116</sup> Дело не только в том, что такое словосочетание легко вызывает у читателя образ России как кем-то обглоданного скелета. Еще забавнее, как внутри национально-культурной традиции этот оборот перекликается со знаменитой тирадой Василия Розанова о России — «остове, никому не нужном и всеми плюнутом», над коим создатель «Осенних листьев» приглашал небрежливо порыдать всякого истинно русского. См.: Розанов В. *Сочинения*. Т. 2. М., 1990. С. 299.

<sup>117</sup> Жан К. Указ. соч. С. 31, 34. Ср.: Жан К., Савона П. *Выводы: геоэкономика как инструмент геополитики* // Жан К., Савона П. *Геоэкономика...* С. 203.

представил бы себе такого выбора: либо растить вокруг «остова» своей страны «новый народ» из людей, занимающихся наукой, искусством, бизнесом вне ее и безотносительно к ней, либо остаться при «старом народе», перерождающемся в «свалку человеческих отходов».

Не веря «планированию будущего в языке национального капитала», Щедровицкий приглашает планировать это будущее в языке «русского капитала», понятого как «совокупность... потенциалов, выраженных в коммуникационных ресурсах русского языка» и обращаемых — «энергией воли различных этнокультурных групп, думающих и говорящих на русском» — в «образы будущего». Он полагает, что «высокая производительность» такого капитала «выгодна всем», несмотря на то, что «сегодня этому тезису противостоит не только геополитическая идеология (так ее, геополитику! — В.Ц.), но и реальная практика межгосударственных отношений». Добавлю: а также реальная практика криминалистики, помнящей об аферах прошлого десятилетия, оформившихся в коммуникационных ресурсах русского языка и увязывавшихся энергией воли березовских, козленков и мавроди с их образами будущего. Но Щедровицкий связывает грядущее процветание «русского капитала» с «мировыми пределами роста», ставящими в центр новой экономики «не объемы производства товаров и не уровень обеспеченности потребления, но способность управлять производством, потреблением и обращением». Управлять производством, не заботясь об объемах! Управлять потреблением, не хлопоча об уровне его обеспеченности! То-то разыграется «русский капитал» в эпоху, когда извлечение тающих ресурсов природы (кроме разве что области биотехнологий) ступается перед «производством человеческих качеств самого человека и глобальными технологиями управления жизнью» и когда поиск новых видов энергии сублимируется в маневрирование «предпринимательским фактором». Только зачем тогда говорить о неконкурентоспособности нашей псевдоолигархии, например информационной? Разве не в подобных практиках она преуспела непревзойденно? Не выйдет ли она в истинные чемпионы такой новой эпохи?

Разрыв между геоэкономикой Кочетова и Щедровицкого огромный. Та мировая информационная сфера, которой Кочетов отводит скромное место среди два-три раза мельком упоминаемых им «рынков среды»<sup>118</sup>, у Щедровицкого покрывает всю геоэкономку без остатка —

---

<sup>118</sup> Кочетов Э. *Геоэкономика: Освоение мирового экономического пространства*. С. 30, 103, 158.

и поприще ее, и игрище. Напротив, межанклавное разделение труда, составляющее квинтэссенцию геоэкономики для Кочетова, маргинально в мире «человека играющего» вместе с корпорациями-анклавами, зачисляемыми им в «уходящие субъекты мирового развития». Различие этих двух русских геоэкономик — геоэкономики турбокапитализма и геоэкономики «интернационализированных воспроизводственных ядер» — вполне можно соотнести со старым противопоставлением спекулятивного и производительного капитала. Но интересно сравнить перспективы, которые та и другая прочерчивает перед Россией. В одном случае мы видим анклав военнофинансово-промышленных групп, присвоивших армию и определяющих, что считать «национальным интересом» в сферах образования мирового дохода и каким должен быть наш ответ на глобальные вызовы. В другом случае Россия — это гамак с креплением, вынесенным в диаспору, «вырабатывающую и принимающую решения, затем оформляемые государственными обязательствами», а белеющий мегаполисами «остов России» (какой-то сюрреалистический а la Дали «остов-гамак») поставляет «новому народу» «институциональные и управленческие сервисы-услуги» не над распростершейся ли вокруг «свалкой человеческих отходов» в образе национального электорального корпуса?

## ГЕОЭКОНОМИКА КАК ГЕОПОЛИТИКА С ПОЗИЦИЙ СЛАБОСТИ

До сих пор я говорил о русских образах геоэкономики, утверждающихся в решительном отталкивании от геополитики — ее заявленного антипода<sup>119</sup>. А теперь приглядимся к тем образам геоэкономики, кото-

---

<sup>119</sup> См., например: Островский Е., Щедровицкий П. Указ. соч. «Четвертая мировая война — это война за наследство СССР и Восточного блока... существует высокая вероятность, что новая (четвертая мировая) война будет разворачиваться не в рамках доктрины геополитики, а на геоэкономической и культурно-политической аренах. Четвертая мировая война может оказаться не войной за новые пространства, а войной за расширение систем связей...» Кажется, впервые образ «истинного» постсоветского существования русских в виде бытия в диаспорах, «беловежском рассеянии» начертал в середине 1990-х Глеб Павловский (в те поры будущий идеолог путинского президентства проклинал Россию Ельцина как оскорбительную для русских уродливую придумку «беловежских людей»). См.: Павловский Г. *Вместо России: сведения о беловежских людях* // Век XX и мир. 1994. № 9–10. Связь между топиками Павловского и Щедровицкого — «свалочная» территориальная Россия и вселяющий надежды мир диаспоры, — на мой взгляд, несомненна, особенно с учетом жестких нападков первого на геополитику как на уничтожительно третирующую антитезу уходящей в рассеяние российской цивилизации (Там же. С. 149–151).

рые проступают из текстов самих наших геополитиков. Что же мы обнаружим?

Книгу Ирины Алексеевой, Евгения Зеленина и Виктора Якунина «Геополитика в России» я подробно обсудил в другом месте<sup>120</sup>. Здесь же остановлюсь на ее последнем разделе с его практическими рекомендациями стране на XXI век<sup>121</sup>. Посылки этих ответов не отличаются новизной: «России не хватает людских ресурсов для равномерного освоения пригодных для жизни и необходимых с точки зрения жизнеобеспечения территорий». Освоение большей части страны «нерентабельно в условиях сегодняшней мировой экономической системы». Хотя она и «из немногих стран мира, способных обеспечить себя практически всеми необходимыми для экономического развития полезными ископаемыми» (на деле это неверно, хотя и банально<sup>122</sup>), но беда в том, что в ней «сравнительно мало сырьевых месторождений, пригодных в настоящее время для рентабельной разработки по ценам мирового рынка».

Ну и какой же вывод? Нам отвечают: нужно действовать «с помощью геоэкономической стратегии, основанной на регионализации российской экономики и создании в мировой экономической системе собственных сегментов». Язык почти кочетовский, да только речь о другом: не о выводимых в мир транстерриториальных анклавов ИВЯ, а о вычленении из российского пространства регионов и точек, непосредственно окупающихся по глобальной конъюнктуре.

Геополитика в целом, уверяют нас, должна следовать за понимаемой так геоэкономикой. «Практически по всему периметру российских границ, включая и северные, происходят интенсивные... изменения геополитических силовых полей. Реагировать на них необходимо, но далеко не всегда на общегосударственном уровне». Пусть уж на эти сдвиги силовых полей реагируют, как могут, сами приграничные регионы: их реакция будет «адекватной, быстрой и эффективной... в силу непосредственной заинтересованности в этом местных жителей, а следовательно, и избираемых ими региональных властей». О какой, собственно, реакции идет речь? Об исходе россиян в глубь страны под напором иммигрантов? О всплесках защитной ксенофобии? Или о

---

<sup>120</sup> Цымбурский В. *Дожидались?: Первая монография по истории российской геополитики*.

<sup>121</sup> Алексеева И., Зеленов Е., Якунин В. *Геополитика в России*. СПб., 2001. С. 268–284.

<sup>122</sup> О реальной ограниченности сырьевой базы сегодняшней России см.: Неклесса А. *Эпилог истории* // ГС-1. С. 242; Он же. *«Российский проект» в новой системе координат XXI века* // ГС-2. С. 393.

переориентации регионов на силовые центры вне России? И к чему может вести отказ от общегосударственного реагирования в таких случаях? Ответ достоин полного воспроизведения: «Парадокс в том, что гарантиями суверенитета и территориальной целостности страны в ближайшие годы будут выступать ее геополитические слабости: во-первых, неготовность мировой экономики принять в свой состав российский рынок или крупную его часть (а как же наше устремление в ВТО? — В.Ц.); во-вторых, значительный внешний государственный долг, который при распаде Российской Федерации теряет законные основания» (но это уж совсем несерьезно: при распаде России, как и в случае с СССР, кредиторы, несомненно, нашли бы способ получить свое с ее осколков или с импровизированного главного правопреемника). В манере врачей, выносящих беспощадный диагноз, авторы провозглашают: «Регионализация — это вынужденная мера, дающая жителям России шанс самосохраниться и самореализоваться в сегодняшних неблагоприятных обстоятельствах».

Казалось бы, предполагая жизнестойкость неабсорбируемого мировой экономикой внутреннего рынка России, следовало задуматься о его консолидации и стимулировании, о «связывании соседств» (в таком духе — на стыке геополитики пространств и геополитики потоков — была выполнена упоминавшаяся статья Григорьева). Но в понимании петербургских геополитиков геоэкономика — это совсем другое. Да и регионализация как «геоэкономическая стратегия» вовсе не раскрытие региональных потенциалов, якобы иссушаемых централизмом (старинная утопия нашего областничества!), а сепаратная самореализация тех групп россиян, которым благодаря географическим условиям не составит труда встроиться во внешние хозяйственные связи, даже произойди при этом фактическое смещение границ не в пользу Российской Федерации. Если чуть ли не главная надежда сохранить страну держится на внешнем долге, какой смысл вещать об «ответственности» государства «за межрегиональное интегрирование и поддержание единой экономической системы страны»? И это о государстве, границы которого отданы на откуп играющим напрямую с зарубежьем приграничным боссам!

Впрочем, не сквозит ли за жалобными словами о «самосохранении и самореализации в сегодняшних неблагоприятных обстоятельствах» тайное чаяние пережить-переждать на иноземной подкормке миропорядок, воспринимаемый как что-то вроде затяжной дурной погоды для государства Российского?

Немудрено, что при таких условиях в текстах геополитиков-антиглобалистов Александра Дугина и Леона Казаряна геоэкономика предстает «геополитикой за вычетом политики» — ненавистой им «мондиалистской» программой обустройства будто бы уже состоявшейся планетарной империи со всемирным правительством<sup>123</sup>.

### **В ЦАРСТВЕ НОВОГО СЕВЕРА: ЭКЗОТЕРИКА «ТЕКСТА НЕКЛЕССЫ»**

Публикации Александра Неклессы — наиболее интересное явление в парадигме «геоэкономики по-русски», — частично повторяясь, образуют единый варьирующий текст или метатекст, отмеченный (о чем уже сказано) напряжением между двумя планами: планом экзотерическим, научно-гуманитарным, и эзотерикой, окутывающей геоэкономическую схематику аурой теологического контекста. В то же время экзотерику текста Неклессы характеризует контрастная, драматичная стыковка двух пониманий геоэкономики как двух уровней мировой конструкции, титулуемой *Rex Oeconomicana*.

Конек Неклессы — упущенные XX веком шансы «благородной» глобализации, достигшей своего исторического максимума в начале века, в пору колониального раздела мира, глобализации как свободы передвижения людей, товаров, технологий, производительного капитала, приблизившей мир к идеалу панхристианского универсума в его секулярной версии всемирного гражданского общества<sup>124</sup>. Сперва заделы этого проекта расточались в потлаче мировых войн. Затем надежды, рожденные деколонизацией 1950–1960-х годов с тогдашним хозяйственным подъемом, фрустрировала доктрина «пределов роста», и особенно ее извращенные практические следствия. По логике вещей провозглашенные ресурсно-экологические ограничения должны были поднять новую волну НТР, несущую более глубокое познание мира, более эффективное использование его богатств и повышающую производительность капиталов. Вместо этого успехи информатики и электроники утверждают на Земле режим Нового Севера — «штабной экономики», которая, работая с турбокапиталистическими потоками, привлекает всевозможные ренты из перепадов хитроумно поддерживаемо-

<sup>123</sup> Дугин А. *Основы геополитики*. М., 1997. С. 129; Казарян Л. *По ту сторону системы координат: (Мирополитические и мирохозяйственные процессы через призму западной геополитики)* // ГС-1. С. 119–131.

<sup>124</sup> Неклесса А. *Постсовременный мир в новой системе координат* // ГС-1. С. 24–26; Он же. *Реквием XX веку* // ГС-2. С. 11; Он же. *Эпилог истории*. С. 228.

го неравновесия в экономической среде планеты. Такая глобализация несет с собой мировую сословность, приписывая народам и странам статусы планетарных «верхов» (они же «мировое сообщество») и «низов» с выделением среди последних неопитов, услуги, мировых опасных классов. Отпочковываясь демагогией «устойчивого развития» и «золотого миллиарда», идеология пределов роста, вопреки лукавым призывам верхов к низам создавать, а не перераспределять богатства, блокировала импульс новой НТР, подменила поиск новых источников энергии практикой ресурсно-распределительного властвования, а освоение природы — управлением людьми (вот она — радость г-на Щедровицкого!). Неотделимый, по Неклессе, от истории христианства первооткрывательский и творческий порыв Запада Новый Север перенаправил в управленческое, спекулятивное и оптимизаторское русло, в сферу уловляющих души гуманитарных технологий<sup>125</sup>. За типичную для христианского модерна инновационную ренту выдаются оптимизаторская рента и навары «экономике брэнда». Так определяется один из двух больших смыслов «геоэкономики» в тексте Неклессы: она мыслится режимом перераспределения ресурсов и благ, который в условиях растущего творческого дефицита «выступает не только как способ хозяйствования, но и как доминирующая система управления обществом, как политика и даже идеология наступающей эпохи, как новая властная система координат»<sup>126</sup>.

В своем становлении такой режим прошел три стадии: от управления в 1980-х глобальным долгом, когда структуры Нового Севера выбили из рук Юга его оружие — сырьевую ренту и заполнили мир удешевленным сырьем, через стадию оперирования с искусственно создаваемыми финансовыми рисками и кризисами, прославившими на весь мир имена гениев «финансового абордажа» (на этой стадии от институций Нового Севера ответвились пиратские дочерние подструк-

---

<sup>125</sup> Ср. на этот счет броские рассуждения в книге *«Практика глобализации: Игры и правила новой эпохи»* (Под ред. М. Делягина. М., 2000) на с. 52 о том, что «влияние на сознание оказалось значительно более эффективно (в том числе в узкокоммерческом смысле слова), чем на традиционные материалы... Фигурально выражаясь, ловить жемчуг и золото стало пустой тратой времени: с появлением информационных технологий по-настоящему прибыльно лишь уловление душ»; на с. 15 — о ноосфере как «технологической реальности», каковая надвинулась на наиболее «продвинутой» часть человечества, заслоняя и подменяя собой кантовские «звездное небо над нами» и «моральный закон внутри нас».

<sup>126</sup> Неклесса А. *Постсовременный мир...* // ГС-1. С. 64; Он же. *Геоэкономическая система мироустройства* // ГС-2. С. 327.



туры Квази-Севера — турбокапиталистической «экономики казино»), к наступившей с конца 1990-х годов третьей стадии — управлению экологической и военной деструкцией регионов ради облегчения доступа к ресурсам повергаемых в хаос обществ<sup>127</sup>.

Уже на первой стадии своего становления Новый Север вынуждал должников работать на экспорт, сворачивать импортозамещающие производства, урезать социальные расходы, развивая импорт для немногих, и низводить свои нижние классы до состояния «свалки человеческих отходов». На следующих стадиях геэкономика, пишет Неклесса, принесла многим обществам гибель ростков модернизации, в том числе и там, где сама модернизация успела подорвать устои традиционализма. Такие общества он обозначил термином, уже получившим большую известность, — «Глубинный (или Глубокий) Юг», видя в них мировую подсистему, извлекающую криминальную ренту, в том числе из «трофейного» расхищения прежних цивилизационных накоплений. Глубинный Юг в модели Неклессы стыкуется с финансово-управленческим Новым Севером через подструктуру «игрового» Квази-Севера, где отмываются все виды «грязных» денег, в том числе приносимых «грязной» утилизацией социальных катастроф. Разъеда я мир, Глубинный Юг одновременно поддерживает в среднесрочной перспективе ресурсную базу окованной «пределами роста» глобальной экономики творческого дефицита.

В таком мире размываются, утверждает автор, основные посыпки современной геополитики: государства все больше превращаются в элементы больших территориально-цивилизационных массивов, сплавляемых особым местом в мировом разделении труда, свойствами инфраструктуры, специфическими понятиями о справедливом миропорядке, а также географическим тяготением к определенным океанским

---

<sup>127</sup> Неклесса А. *Постсовременный мир...* // ГС-1. С. 49–51; Он же. *Геэкономическая система мироустройства*. С. 337–339. Меня удивляет утверждение Делягина и его коллег, что геофинансы, «легко перетекающие с территории на территорию», будто бы несут смерть геополитике, ибо подрывают «учение о жизненном пространстве», толкая не к овладению и развитию территорий, а к провоцированию на них деструкции и деградации, прежде всего ради откочки из разрушаемых обществ «носителей финансов и интеллекта» (*Практика глобализации...* С. 126). Откуда взялась идея, будто геополитика сводится к наращиванию и развитию жизненных пространств? Хищническое «выжимание», «высасывание» таких пространств не менее, а, наоборот, намного более старый способ обращения с ними, чем их развитие, и геополитика деструкции не хуже любой другой, как, кстати, и геополитика противостояния деструкции.

акваториям<sup>128</sup>. Так проступает второй смысл геоэкономики в тексте Неклесса: если со стороны турбокапитализма Нового Севера она видится псевдоэкономической системой властвования, то со стороны производящей экономики она предстает «рассмотрением мировой экономической реальности... через призму хозяйственной деятельности тех или иных цивилизационных ареалов и их составляющих, специализации этих ареалов, нахождения ими своей оригинальной ниши в мировом разделении труда и, конечно, через призму их экономического, порой весьма конфликтного взаимодействия»<sup>129</sup>.

Этими новыми Большими Пространствами, отличающимися своей взаимозависимостью от автаркийных гроссраумов классической геополитики, выступают: 1) живущий на сырьевую ренту, тяготея к Индийскому океану, традиционный Юг (но во многом таково и Южное Средиземноморье); 2) североатлантический Запад — бывший очаг НТР, перерождающийся в ареал элитной «экономики дорогого человека»; 3) тихоокеанский Новый Восток с приделами в Индии и Латинской Америке, возвысившийся на последней волне модерна и укрепивший за собой массовое, поточное производство — «экономику дешевого человека». Этот треугольник реальной экономики обвит сетями трансрегиональных структур Нового Севера — Квази-Севера — Глубинного Юга. Все его стороны полыхают претензиями и друг к другу, и к оплетшему их Новому Северу: он-де и сырьевую ренту сбивает, обесценивая богатства Юга, и гробит социальное государство на Западе, поощряя вынос производств за его пределы, и подрывает финансовыми абордажами хозяйственные успехи Нового Востока, не дает конвертировать их во всемирно-политические успехи.

Поскольку технологический прорыв модерна Неклесса выводит из христианства — «религии свободы», то по той же логике режим творческого дефицита, насаждаемый Новым Севером, увязывается с отречением Запада от христианского мирового проекта, с возрождением грабительского перераспределительного хозяйствования, типичного для старых языческих империй, но теперь окрашиваемого духовным колоритом постхристианской, а для Юга и Востока также и посттрадиционной «эры Водолея». Откачка предпринимательской энергии в «виртуальную псевдоэкономику» (любит Неклесса такие термины-

---

<sup>128</sup> Неклесса А. *Постсовременный мир...* С. 71–78; Он же. *Геоэкономическая система мироустройства*. С. 340–343.

<sup>129</sup> Гудыменко А. *Предисловие* // ГС-1. С. 7.

приговоры!) и в дело гуманитарно-технологического промывания мозгов при сбросе массового производства на Новый Восток выдвигает посттрадиционные нехристианские массы этого ареала на роль крупнейших агентов реальной экономики. Это обстоятельство вкупе с движением уроженцев Юга и Востока на североатлантические берега и постмодерным смещением культурных языков стимулирует «культурную гомогенизацию мира на псевдovосточной основе», камуфлирующую насильнический смысл мировой сословности.

А между тем мир «разыгрываемого» глобального долга, управляемых рисков и учиняемых региональных разрушений втихую перерождается в «темную конструкцию», где с потуханием христианско-модерных «горизонтов большого смысла» падает доверие вообще к международному порядку и подрываются предпосылки регулярного кредита<sup>130</sup>. Старая оптимистическая идея властвующей в рыночном хозяйстве Невидимой Руки, бывшей для Адама Смита рукой Христианского Творца-Устроителя, подменяется мифологией «порядка из хаоса», азартом игры со стихиями: их рабы воображают себя повелителями, все больше проникаясь воззрением на мир как на добычу, груду трофеев — воззрением, находящим выражение и в новых формах религиозности<sup>131</sup>.

Рах Оесопотисана, полагает Неклесса, должен изучаться лишь на правах временного, преходящего состояния ойкумены, внутри которого быстро растут побегии мира постэкономического, отнюдь не в том смысле, какой во множестве работ придает последнему понятию Владислав Иноземцев. Речь идет о Мире Распада, получающем все большую ренту от прямого насилия, сползающем к бунту и большой смуте, — мире, сказал бы я, где принцип «один доллар — один голос»<sup>132</sup> дома игры трансформируется в принцип «одна пуля — один голос». Здесь Неклесса-аналитик уступает место Неклессе — теологу хозяйства, успев, правда, передать нам образ сегодняшней России вне великого треугольника мировой реальной экономики, написать картину одолевающих континентальную Евразию сил и практик Глубинного Юга, среди которых тлеют остаточные огоньки естествоиспытательской науки и рождаемых ею чудных умений — аскетические прибежища

---

<sup>130</sup> Неклесса А. *Постсовременный мир...* С. 46; Он же. *Геоэкономическая система мироустройства*. С. 335.

<sup>131</sup> Неклесса А. *Постсовременный мир...* С. 42.

<sup>132</sup> Неклесса А. *Эпилог истории*. С. 228–229; Он же. *Конец цивилизации, или Зигзаг истории* // ГС-2. С. 136.

творческого изобилия<sup>133</sup>. Вскоре мы поговорим о смысле этого образа в репертуаре «геоэкономики по-русски».

### **Пир Дней Творения: Эзотерика «Текста Неклессы». Возможности критики этого текста и его апология**

До сих пор я говорил о диагнозах и прогнозах Неклессы, которые можно рационально поддерживать или опровергать. Теперь же обратимся к интерпретирующему историю как целое Большому Мифу Неклессы — одному из тех, которые не верифицируешь, но и не оспоришь, пока история длится, но который, тем не менее, можно использовать для характеристики происходящего и ориентации в нем. В этом отношении Мировые Сюжеты нам служат наравне с пословицами и поговорками: не случайно обороты вроде «ну чисто по Марксу!» представляют собой своеобразную разновидность пословиц.

Опираясь на библейскую шестидневную космогонию, Неклесса прочерчивает цепь цивилизационных фаз, или Дней Творения, в каждом из которых складывался свой тип хозяйствования на Земле, и уверяет нас, что все они, за одним исключением, материализованы в наличной структуре Рах Оесопомисана. Общей подоплекой всей структуры служит жившая натуральным хозяйством Протоистория (День Первый). Древний мир городов-государств, создавший природозатратную экономику (День Второй), олицетворен добывающим сырьем Традиционным Югом. Его потеснили Великие Империи и Интегрисы с экстенсивным расширенным воспроизводством (День Третий), и их превращенную форму являет собой Новый Восток, внедряющий производные технологии в «экономику дешевого человека». День Пятый — Новое время, расширенное воспроизводство на основе НТР — еще живет на Западе. Мир новейший (Шестой День) окутал всю планету сетями Нового Севера, «штабной экономики». Лишь выделенный Неклессой особый День Четвертый — Средневековье Запады — остается невоплощенным в этой конфигурации, вокруг которой общей Ночью Всех Дней Цивилизации и хозяйства простирается Глубинный Юг с его деструктивным, «трофейным» корыстованием. Очевидно, что вся хронополитика Неклессы выстроена вокруг теологической фабулы о сотворении мира из Ничего и о том, как затем Ничто (исконное или иное, вторичное?) вошло в него его теневой изнанкой, пытаясь поработить и поглотить созданное. (Это что-то вроде «червотчины мира»,

---

<sup>133</sup> Неклесса А. *Эпизод истории*. С. 243–245.

открывшейся гению Стивена Кинга.) Оно вползло в Пятый День поплачом военной экономики — негативом производительной «экономики суши», оно же наводнило Шестой День играми организуемых кризисов и разрушений — негативом торговой «экономики моря». Грех Шестого Дня в том, что он, в частности, через двери Квази-Севера фактически открылся Ночи, расточающей созданное в предыдущие дни<sup>134</sup>.

При этом оценка Шестого Дня в «тексте Неклессы» все же неоднозначна. Ведь, что ни говори, только в этот День, в тенетах Нового Севера, Земля, представшая картиной географически материализованных, взаимозависимых и сотрудничающих исторических эпох, явила весь зон человеческой цивилизации как бы «сворачивающимся», «закрывающимся на себя», по выражению Пьера Тейяра де Шардена. Но ясно и другое: крепнувшие в Пятый День апостасийные<sup>135</sup>, секуляристские тенденции обернулись на Шестой День неоязыческой всемирно-имперской пародией на христианский универсум, одержимой не творчеством, а перераспределением и рисующей образ мировой истории в виде жуткого симбиоза Нового Севера с Глубинным Югом, в сумерках тусклого Дня, сливающегося с Ночью, в перспективе насильнического постэкономического строя. Главный вопрос для Неклессы как теолога хозяйства: мыслимо ли в нынешний день расколдовывающее излияние творческого дара, подающее карту зона в ином свете? Возможна ли иная глобальная геоэкономика?

Эзотерическая онтология «текста Неклессы» в своем разворачивании опирается на три независимые друг от друга аксиомы. Первая — уже известный тезис об укорененности НТР в христианстве. Для Неклессы НТР безоговорочно есть форма раскрытия Христова дара свободы, направляющего мир к благу Апокалипсису пророка Исаяи с возлежащими рядом львом и ягненком, как бы ни извращали этот дар языческие примеси в европейском Средневековье и в православии или секуляристские изломы Пятого Дня. Аксиома вторая: неизбывность разницы между христианством — «религией свободы» и «традиционными» религиями, подчиняющими человека миропорядку. Для Неклессы неприемлема мысль, что разложение ритуалистических и «язы-

---

<sup>134</sup> Неклесса А. *Эпилог истории*. С. 206–207; Он же. *Конец цивилизации*. С. 131; Он же. *Постсовременный мир...* С. 50.

<sup>135</sup> Апостасийный — отходящий от христианства и этим раскрепощающий действие сил зла, от греческого слова «апостасия», означающего «отступление от Бога», причем отступление особенное по своей силе и по своему широкому распространению.

ческих» примесей в христианстве, которыми изобиловало Средневековье, должно было с необходимостью привести к демонтажу самого христианства как религии, к секулярно-гуманистической «апостасии». Потому он отвергает и самоочевидную для многих связь науки Нового времени с его секуляризмом, с победным шагом «апостасии». Похоже, для него секуляризация и НТР — те «кости» и те «котлеты», которые надо «класть отдельно», учитывая их порознь.

Наконец, аксиома третья: он без колебаний, что весьма неожиданно, принимает в 2000–2002 годах православную метаисторическую схему и даже претензии российской монархии на роль «удерживающего», «катэхонта» — таинственной силы, отодвигавшей приход антихристианского и постхристианского Царства Зверя (Ночь Творения, по Неклессе). Но, оговаривается он тут же, перенятый русскими от Византии особый вариант христианского проекта пережил в XX веке катастрофу, разительно повторив схему «падения Царьграда»: Россия, подобно Византии, поддалась западному искусству и, приняв марксистскую «унию», переродилась в нехристианскую мировую державу, аналог Оттоманской Порты — нового Халифата, чтобы потом, надломившись, также испить чашу «балканизации». Третий Рим расплылся в разнокультурных антропомассах, и открылось, что Филофеево пророчество — «Четвертому не быть!» — утверждало вовсе не гарантированную вечность России, а только ее конечное место в ряду христианских мировых царств. Христианскому Четвертому Риму возникнуть и впрямь не из чего, но этим не отвергается возможность возрастания неоязыческого («сумеречного») Четвертого Рима, стоящего вне Филофеева ряда и подминающего под себя вместе со всей ойкуменой также и остаток России<sup>136</sup>.

Поэтому Неклесса переписывает миф катэхонта применительно к Шестому Дню так, что из этого мифа вполне отнимается геополитическое имперское измерение. Будущее русских, не совладавших с миссией Третьего Рима, для мыслителя определится тем, способны ли они в

---

<sup>136</sup> Неклесса А. *Российский проект...* С. 386–390. Он же. *Эпилог истории*. С. 234–238. Вспомним в этой связи, как известный церковный публицист Андрей Кураев, анализируя перспективы православия в XXI веке, прочерчивает две главные линии: миссионерство в рамках всемирной американской империи и проповедь среди китайцев, «к которым почти без сомнения отойдут сибирские земли» (Кураев А. *Что ждет Россию?* // Кураев А. *О нашем поражении*. СПб., 1999. С. 335). Вопреки мнению о якобы нерасторжимой связи православия с российским государственным национализмом и «державностью» хорошо известны православные и квазиправославные версии обесценивания и «размазывания» России как территориального государства.

новом состоянии все же воспротивиться полному слиянию Шестого Дня с Ночью. При этом ни постимперская российская государственность, ни русский язык как средство коммуникации в его глазах не имеют ценности вне соотнесения с этой сверхзадачей. Русские в его истолковании — это «скорее идеологическое, чем политическое сообщество», народ, «двигавшийся по самой кромке эпохи Нового времени, правда замочив ноги, но так, однако, и не погрузившись в ее бурные воды». Это плененные Четвертым Римом носители дара естествоиспытательских открытий и технологических озарений, способных стать благодатью для иссушаемой «псевдоэкономическим» чудищем реальной мировой экономики.

Со скептическим реализмом оценивая сырьевые запасы сжавшейся страны, не видя блага для нее в финансово-информационных ристалищах и, по-видимому, смиряясь с тем, что по вступлении России в ВТО наше массовое производство будет придушено импортом, Неклесса оставляет русским два пути на выбор. Либо, соединив с остатками ядерной мощи криминально-экономические практики Глубинного Юга, вынести их на уровень государственной политики и, заставив Новый Север взглянуть в глаза смерти, энергичнее подтолкнуть Рах Осесопотисана к постэкономическому оползнию и планетарной смуте. Либо потоком больших технологических инноваций поработать на расколдовывание геοэкономики, способствуя явлению карты зона в богатом сиянии Большого Модерна, то есть утверждению «справедливого» сотрудничества между специализировавшимися (воплотившимися в пространственных массивах) мировыми эпохами (это напоминает мистический пир открывшихся друг другу Дней Творения из романа Гилберта Кита Честертона «Человек, который был Четвергом»). Это значило бы войти в царство породнившихся Нового Севера и Глубинного Юга таким «Гипер-Севером» (реминисценция Гипербореи), просветляющим сумерки Шестого Дня, обещающим День Седьмой.

Нести же эту миссию, поворачивая мир от Апокалипсиса Иоанна к Апокалипсису Исайи, надлежит не предавшимся Новому Северу и Квази-Северу мегаполисам-предпринимателям, а «городкам, ведущим свою родословную от атомградов и шарашек», технополисам и экополисам — цивилизационным «обитаемым островам», «островам смысла», средоточиям интеллектуального делания и опытного (а также малосерийного) производства, приближенным по типу существования к автаркийным монастырским хозяйствам да и по местоположению ино-

гда, как Арзамас-16, тяготеющим к священным локусам северного православия. Такие «острова смысла», соединенные информсетями, по ним выходящие за пределы России и через технологические цепочки разделения труда создающие в чужеземье проекции и продолжения русского мира, а в самой России авторитетом своим осуществляющие дело «духовного собирания земли», продолжают подвиг канувшего Третьего Рима — подвиг «удерживающего». Если же у русских «островитян» и их сотоварищей в иных краях неостанет сил просветить Шестой День, то в ночи Истории, по крайней мере, останутся прибежища, хранящие память и опыт Третьего Рима<sup>137</sup>.

Но показательно, что в одно из изложений своего проекта — или своей утопии — Неклесса ввел эпитафией, как выражение сердечной надежды, слова из завещания великого князя Василия II (середина XV века) о необходимости до времени сбора дани в татарскую орду: «А переменит Бог Орду, и моя княгиня и мои дети возьмут дань себе...»<sup>138</sup>

Переходя от реферата текста Неклессы к обсуждению, я бы переложил смысл этого текста в категориях структурно-функциональной социологии следующим образом. Для кристаллизующегося к началу XXI века планетарного сообщества характерен институциональный синкретизм интегративно-управленческой и экономическо-перераспределительной функций при полнейшей неразвитости структур, которые бы обеспечивали в сообществе снятие напряжений и поддержание его

---

<sup>137</sup> Неклесса А. *Эпизод истории*. С. 246–259; Он же. *Российский проект...* С. 398–413.

<sup>138</sup> Неклесса А. *Российский проект...* С. 412. Собственно, к тому же призывает Россию и группа Делягина — обслуживать русскими умами западную «технологическую пирамиду победителей с одной-единственной стратегической целью: при первой же возможности выпрыгнуть из нее и восстановить собственную технологическую пирамиду» (Практика глобализации... С. 328). Но так как отставание России от развитых стран в рамках нынешней технологической пирамиды признается «окончательным и необратимым» (Там же. С. 104), достижение указанной стратегической цели было бы возможно лишь при условии, что «переменит Бог Орду». С образом России как «сокрытого» технологического Гипер-Севера у Неклессы полезно сравнить характеристику всего постсоветского пространства на «новой мировой карте» у Джеффри Сакса: за вычетом регионов, непосредственно примыкающих к европейскому и азиатскому рынкам, оно отнесено к той «мировой трети», которая «не производит технологических инноваций у себя дома и не воспринимает зарубежных технологий» (Sachs J. *A New Map of the World* // *The Economist*. 2000. June 24–30. P. 95). См. также реакцию на этот диагноз, довольно близкую по духу к взглядам Неклессы, в статье: Смирнов Е. *Станет ли Россия высокотехнологичной страной?* // Независ. газ. 2003. 12 февр.



паттерна как целого (особенно в условиях хорошо показанного Валлерстайном распада «геокультуры развития» и бурного утверждения сепаратных геокультур). В мире, который удерживается воедино обручами силы и ресурсных циркуляций, призывы в стиле Кочетова к «неоэкономике», воспроизводящей идентичности этносов и цивилизаций, непродуктивны: ведь Рах Оесономісана и так ее по-своему воспроизводит через позиции в глобальном разделении труда, чем отнюдь не умаляется напряженность миропорядка. Утопия Неклессы — это надежда на второе издание христианско-модерной «геокультуры развития», предполагающей альтернативную нынешней спайку базисных социальных функций в мире-как-сообществе, когда поддержание паттерна Глобального Града обеспечивалось бы своеобразной религиозной аурой экономики творческого изобилия.

Я могу лишь восхищаться гуманитарно-технологическим блеском языковых и образных аллюзий, преподносящих нам всю эту эзотерику теолога-геоэкономиста. Например, той же формулой «духовного собирания земли» применительно к воздвижению в России среди бушующего Глубинного Юга «обитаемых островов» инновационного хозяйства<sup>139</sup>. Как бы отвоевывая у геополитики эту «землесобирательскую» формулу, Неклесса эксплуатирует ее обычно упускаемую из виду смысловую амбивалентность-оборотничество. Ведь «собирание земли» так же может означать стягивание истинного мира к его последним предельным оплотам (вспомним Филофеев «Третий Рим», остров в «потопленной» неверием вселенной, символически представляющий все «потонувшие» христианские царства), как и геополитическое восстановление истинного мира из последних пятей в его пространственной полноте<sup>140</sup>. Или другой пример: асимметрия между числом Дней Творения (пять без Предыстории) и числом геоэкономических блоков в схеме Неклессы (четыре без Глубинного Юга и Квази-Севера). Отсутствие у христианского Средневековья своего «дома» на геоэкономической карте — загадка, предполагающая именно то решение, которое Неклесса обнаружил в одной из последних статей<sup>141</sup>: Россия, пребывающая на краю Новейшего Мира (у Ледовитого океана) «Гипер-Севером», возвращает ему высосанный «псевдоэкономикой» творческий импульс Четвертого Дня — Средневековья Альберта Великого и

---

<sup>139</sup> См.: Неклесса А. *Этилог истории*. С. 255.

<sup>140</sup> Цымбурский В. «От великого острова Руси...» к прасимволу российской цивилизации // Полис. 1997. № 6.

<sup>141</sup> Неклесса А. *Конец цивилизации*. С. 131.

Роджера Бэкона; Средневековья западных святых, местночтимых в разных краях как первые строители водяных мельниц; Средневековья соловецких монахов во главе с даровитым инженером и святым мучеником Филиппом Кольчёмвым, райски преобразивших свой остров; Средневековья — духовной родины Павла Флоренского.

Вообще, без учета теологического плана сама экзотерика текста Неклессы может порождать (и порой порождает) ложные толкования. К чистым недоразумениям надо отнести попытки увидеть у этого автора идею раздела мира на обособленные Большие Пространства с самодовлеющими укладами экономики или вычитывать у него мотивы вроде заката обленившейся Евро-Атлантики и возвышения трудолюбивой Пацифики<sup>142</sup>. На деле для Неклессы выход нехристианского Нового Востока в основные агенты поточного производства несет миру «понижающиеся стандарты в различных сферах жизни», включая «предпринимательскую этику, качество товаров массового спроса, множащиеся формы новой бедности» и т. п., то есть рост энтропии в областях, не охватываемых непосредственно элитной экономикой<sup>143</sup>. Не меньший абсурд записывать автора, осуждающего Новейший Мир за измену идеалу планетарного христианского универсума, в союзники антиглобалистов-«цивилизационщиков» вроде покойного Бориса Ерасова, чья критика сегодняшнего миропорядка, по сути, продолжала его же нападки в 1960—1970-х годах на вестернизацию, игнорирующую самоценность африканских и азиатских нехристианских культур. Сверка с эзотерикой текста Неклессы позволяет отвергнуть все эти лапсусы истолкований.

Как уже говорилось, концепция Неклессы резко расходится с мировым системным подходом, полагающим главной чертой Нового времени феномен НТР, а раскрепощенный капитализм — свободное, не сдерживаемое властями и обществом накопление капитала. Классики этой школы усматривают в глобальных процессах последних 30 лет то ли проявление начавшегося в 1970-х очередного сверхдлинного — порядка 70—80 лет — понижательного тренда (Бродель), то ли выражение «кризиса капитализма вследствие его планетарной победы» с исчерпанием источников дешевой рабочей силы и проявлением тенденции к

---

<sup>142</sup> Шишков Ю. *Геоэкономика: неустойчивая «гексагональная федерация» разнородных регионов или все более целостная глобальная система?* // ГС-1. С. 197; Воскресенский А. *Сбалансированное многомерное партнерство — оптимальная стратегия для России* // Там же. С. 97.

<sup>143</sup> Неклесса А. *Этилог истории*. С. 213.

монополистическому «загниванию» в мировом масштабе (Валлерстайн во множестве работ). В России разные версии Валлерстайновой трактовки развивают Андрей Фурсов и группа Михаила Делягина. Однако на любые претензии мирсистемников к тексту Неклессы можно было бы ответить, что, признавая относительно позднюю (с начала XIX века) встречу капитализма с новоевропейской наукой и НТР, эта школа смогла лишь констатировать, но не объяснить типичное для Нового времени двуединство образа Современности как Современности Освобождения и вместе с тем как Современности Технологий<sup>144</sup>.

Неклесса вообще долгое время избегал упоминать о капитализме, пока в одной статье не попробовал объяснить Реформацию и кальвинистский «капитализм избранных» идейным натиском переживших Средневековье и нехристианских по своим истокам гностических сект. Следствием такого натиска стал, по его мысли, христианско-гностический симбиоз, проникнутый работавшей на торгово-финансовый капитализм идеологией «спасения искусных и преуспевших». Становление крепких национальных государств, перешедших на самофинансирование и решительно урезавших возможности частного капитала кредитовать политику, толкнуло капитализм к союзу с наукой и промышленностью, с НТР — детищем христианства, и именно этот союз обеспечил Западу мировое лидерство, приблизив христианский проект к торжеству. Под конец же XX века дехристианизация Запада вместе с идеологией «пределов роста» и подрывом роли территориальных государств как политэкономических субъектов возвращают капитализму его исконный гностический дух самоутверждения «знающих» и «призванных». Их практика и характер притязаний все определеннее выдают — по христианским меркам — этос пропавших душ, демонстрируя «в предвидении не столько сущего, сколько грядущего вселенского разделения отдельные черты будущей космогонии огненного мира отверженных, лишенного реальной сотериологии»<sup>145</sup>.

---

<sup>144</sup> Валлерстайн И. *Конец какой современности?* // Валлерстайн И. *Анализ мировых систем и ситуация в современном мире*. М., 2001. Тезис, будто капитализм нуждался в геокультуре двуединой Современности (с превалированием Современности Технологий), ибо прежде «экономически и политически функционировал в системе, где отсутствовала геокультура, необходимая, чтобы поддерживать и усиливать эту систему» (с. 169), не более чем постулат. Он опирается на те представления о природе капитализма, которые как раз с конца XX века подвергаются большому испытанию.

<sup>145</sup> Неклесса А. *Неопознанная культура: Гностические корни постсовременности* // ГС-2. С. 31–37.

Выработанный Неклессой идиолект описания реальности, в котором «христианство», «творчество», «революционные инновации», «щедрость», «освоение природы» группируются вокруг единого смыслового полюса, противостоящего негативному полюсу «гностицизма», «неоязычества», «гуманитарных технологий», «управления людьми», «оптимизации», «деструкции», «творческого дефицита», оказывается едва ли не единственным языком, обеспечивающим по-настоящему эффективную критику различных апологий экономического и социального постмодерна<sup>146</sup>. В России образцом таких апологий можно считать развиваемую Владиславом Иноземцевым неомарксистскую доктрину «постэкономической формации», отмеченной гегемонией «носителей знания» и «творцов», для себя преодолевших отчуждение труда и шагнувших из царства необходимости в царство свободы. Эти «дети Солнца» создают себе богатства, их не ища, просто по ходу творческого самовыражения в сферах управления, гуманитарных технологий, индустрии развлечений, финансовых операций и т. п., постепенно теряя возможность взаимопонимания с людьми, оставшимися в темном царстве необходимости, превращающимися в службу «творцов» и в массе лишаящимися шансов — при любых усилиях — улучшить свое положение. На идиолекте Неклессы абсолютное большинство иноземцевских «творцов» (во многом к ним относился бы и «новый народ» Щедровицкого) были бы, скорее всего, определены как фигуры, ангажированные в антитворческом диапазоне «управления-оптимизации-деструкции», как утилизаторы и прожигатели достижений былых эпох, как оптимизаторы творческого дефицита.

В трудах Иноземцева поражают пассажи, где он начинает как бы откровенно играть по логике текста Неклессы, например в нижеследующем комментарии к «Граду Божьему» Блаженного Августина: «То, что теолог называл “божественным градом” и что мы назвали бы “градом будущего”, ныне порождается не любовью к Богу, доведенной до презрения к самому себе, а стремлением воплотить божественные чер-

---

<sup>146</sup> Среди сегодняшних антиглобалистов распространены и тезис «Мир должен быть иным», и обличение финансовой глобализации за якобы утверждаемую ею «невозможность полноценно работать, творить, вносить свой вклад в развитие общества» для людей, к ней неприсяжных (ср. интервью французско-российской антиглобалистки Карин Клеман в «Труде» от 21 декабря 2002 года). Однако тот смысловой пучок, в который у Неклессы оказываются встроены эти простые идеи, подсказывает когнитивные следствия, неочевидные для многих западных антиглобалистов, например глубинную несовместимость предпосылок их движения с идеологией «пределов роста», экологическим неоязычеством и антитехнизмом.

ты Творца в собственной личности; то, что ранее считалось “градом дьявола” и что правильнее было бы определить как “град прошлого”, задается сегодня не любовью к себе, доведенной до презрения к Богу, а попытками найти свое место в земном сообществе, определяемом материальными факторами<sup>147</sup>. Разве не дают эти слова основание оценить «постэкономическую формацию» Иноземцева как злую гностическую пародию и на Блаженного Августина, и на Маркса в той мере, в какой последний с его темой всеобщего прорыва в царство свободы имитировал христианскую сотериологическую схематику?

Повторяю, эзотерика Неклессы, как и эзотерика Иноземцева, — не предмет научной апробации. И ту и другую можно либо воспринимать, либо прохладно принимать к сведению, либо отвергать. Теологию хозяйства Неклессы могут не принять многие: те, для кого христианство лишь одна из традиций, и для кого оно ветвь единой Традиции, и для кого — Традиция по преимуществу, и симпатизанты неоязычества как защиты природной ткани от ее христианского порушения и модернотехнократических бесчинств. Эта теология не станет своей для тех, кто не верит в христианские импульсы НТР и кто, подобно Шпенглеру, будет искать истоки индустриализма в прафеномене высокой культуры, зародившейся на Западе незадолго до 1000 года нашей эры, или, подобно Тойнби, начнет их открывать в еще более древних изобретательских склонностях европейских племен, усматривая предвестницу новоевропейской машинерии в убогой жатке, изготовленной древним галлом<sup>148</sup>. Ее не примут даже те, кто одобрительно ухватится за гностическую родословную капитализма, но с оговоркой, полагающей в НТР его единокровную сестру от тех же корней<sup>149</sup>. Кое-кто мог бы ядовито пройтись по христианству Неклессы, увидя в его утопии мистический извод технократических надежд советского шестидесятничества. И можно, пожалуй, даже предвидеть изошренную аналогию с так называемым западно-европейским Розенкрейцерским Просвещением начала XVII века, в котором пафос Третьей Реформации и вроде бы даже неподдельная набожность скрестились с (магико)-сайентистским миллениаризмом, исповедующим расцвет наук, технологий и добродет-

---

<sup>147</sup> Иноземцев В. *Расколотая цивилизация*. М., 1999. С. XVIII.

<sup>148</sup> Шпенглер О. *Человек и техника* // Культурология: XX век: Антология. М., 1995; Тойнби А. *Постижение истории*. М., 1991. С. 292.

<sup>149</sup> Йейтс Ф. *Розенкрейцерское Просвещение*. М., 1999. С. 396: «...В наибольшей степени благоприятствовала научному прогрессу та религиозная конфессия, в сфере влияния которой сложились оптимальные условия для развития герметической традиции».

телей на исходе мировых сроков<sup>150</sup>. Но Неклессе просто не было бы смысла спорить с подобными выражениями веры — религиозной или историософской, отличной от его собственной.

На ином уровне критики могли быть произнесены слова о «банальности» призывов к вовлечению России в Pax Oeconomicana в роли инкубатора задумок, и, наверное, не меньшей банальности, чем у толков о наших «несметных» ископаемых или о «мосте между Западом и Востоком». Но на такую атаку и ответ очевиден. На деле предпосылки всех возможных стратегий России в новом веке трюистичны. Дело лишь за тем, чтобы трюизмы преобразовать в стратегии, и более подходящего способа для этого не найдется, чем увидеть в трюизме стержень захватывающего национального или мирового — а лучше сразу и того, и другого — сюжета. Неклесса решил эту задачу блистательно, сделав участь наших чахнувших наукоградов важнейшей частью конструкции Большого Мифа с образами (кстати, вполне гностическими по духу) плененного эона в сетях Нового Севера, Квази-Севера и Глубинного Юга, ойкумены под «сумеречным» Четвертым Римом, с напряжением метаисторической развилки путей, ведущих либо к грозным перипетиям Апокалипсиса Иоанна, либо к светлому Апокалипсису Исайи.

Мои собственные интеллектуальные счеты к тексту Неклессы иного рода. Они определились еще в 1995 году при чтении чуть ли не первой статьи, репрезентировавшей этот сквозной текст. В той статье, рассматривая разные геополитические сценарии для России (ориентация на США или на Западную Европу, сближение с АТР или с сырьевым Югом и т. п.), Неклесса под конец обсуждал «сценарий полной государственной катастрофы», когда «суверенное пространство страны оказалось бы разорванным на многочисленные локальные образования с различными схемами власти, причем их значительная часть контролировалась бы вооруженными силами различного генезиса». При этом он утверждал, что «деструкция государства еще не означала бы прекращения существования специфического цивилизационного пространства, трансформирующегося в своего рода архипелаг “идеологически организованного сообщества” в той степени, в какой удалось бы сохранить объединяющие его идею и тип организации». А вслед за тем он противопоставлял старой «геополитической семантике стратегических сценариев» «новую парадигму геоэкономического контекста»,

---

<sup>150</sup> Там же.

оптимальное воплощение которой для России должны были представлять уже описанные «острова смысла» в дестабилизированной экономике и в обществе, утратившем целостность, которые «помогли бы своевременно определить перспективные тенденции мирового развития»<sup>151</sup>. Меня уже тогда поразило совпадение топики описания геополитической катастрофы (архипелаги «идеологически организованного сообщества» среди распавшейся страны) с топикой преподносимой геоэкономической программы («острова смысла»... «в обществе, утратившем целостность»), так сказать, топикальное тождество геоэкономического оптимума с геополитическим пессимумом. Именно это наблюдение позволяет включить «российский проект» Неклессы в один ряд с рассмотренными образами «геоэкономики по-русски» у Кочетова, Щедровицкого и авторов «Геополитики в России».

### **О ДОСТОИНСТВЕ И ГЛАВЕНСТВЕ ГЕОПОЛИТИКИ**

Заканчивая обзор, делаю вывод: в отличие от геоэкономики на Западе, заявившей о себе как о новом виде геополитики во утверждение нации-государства в небывалых мировых обстоятельствах, идеологема геоэкономики в России обрела антиэтатический заряд: за ее антигеополитизмом маячит безгосударственность.

Казалось бы, много ли общего между Щедровицким и Неклессой, кроме рамочных слов о «технологиях», «новом образе России» и т. п.? Между историсофом, поверяющим постимперскую судьбу русских старым назначением «катэхонта», с одной стороны, и «человеком играющим» в «Россию — страну, которой не было» с «остовом» мегаполисов, обслуживающим транснациональный «новый народ», — с другой? Между мистиком, подающим овладение природой как истинно христианское призвание вразрез с демонизмом «управления-оптимизации-деструкции», и певцом «производства человеческих качеств, самого человека и глобального управления жизнью»? Проект Щедровицкого рассчитан на элиту мегаполисов и на «новый народ», отслаивающихся от национального остатка; проект Неклессы предполагает духовную гомогенизацию страны на новых ценностных основаниях. Не случайно Щедровицкий резко выступил против ставки на «городки» как инновационные центры, видя в том мертворожденную советскую, собственно, шестидесятническую идею<sup>152</sup>. Это спор о том,

---

<sup>151</sup> Неклесса А. *«Третий Рим» или «Третий мир»...* С. 12, 16.

<sup>152</sup> Щедровицкий П. *Русский мир...*

неизбежно ли мировая фрагментация располосует Россию разломами новой неоднородности, или ее «духовное собрание» могло бы увенчаться мировым посевом новой гомогенизирующей геокультуры развития, возвращенной на «островах смысла». Мир или Россия — кто кого?

И тем не менее столь разные проекты объединяет фундаментальное сходство смысловых схем и ключевых образов. И там, и здесь проблемность, бесформенность и обесцененность России как территориального государства. И там, и здесь образ русского мира, существующего помимо государства: или как массы индивидов в разных концах света, сближаемых еще не забытым русским языком, или как «общности идеологической, скорее, чем политической». И там, и здесь топика сверхценных, выделяющихся из российского окружения сетевых групп и территориальных точек с эксклюзивными выходами вовне России, минуя национальное окружение и соседство. Та же базисная топика очевидна и в работах Кочетова с его ИВЯ, берущимися дать за Россию ответ на глобальные вызовы, и в замыслах «регионализации как геоэкономической стратегии» (из заключения «Геополитики в России»).

Неклесса отдает себе полный отчет в тех «срывах и нелепостях», которые могли бы обнаружиться при попытках материализовать его замысел «инновационной России». Он с отвращением предвидит возможность использования этой идеи «в очередной кампании, преследующей корыстные интересы того или иного олигархического клана». Или как «благовидного предлога для банального расхищения бюджетных средств». Или в «обоснование не столько для налаживания инновационных производств, сколько для организации обвальнoй демпинговой распродажи изобретений и технологий»<sup>153</sup>. Но я боюсь, что тезис о стратегической бесперспективности как нашей сырьевой, так и производящей индустрии способен дать повод к тягчайшей из этих нелепостей — к восприятию проекта Неклессы как еще одной версии выламывания из России сверхценного «нового народа», «соли земли» и с одновременным отбрасыванием массы остаточных русских (россиян) на «свалку человеческих отходов» (Щедровицкий) или на поживу «стихиям Глубинного Юга» (Неклесса). Да еще под слова о «христианской свободе», которые так часто бывают синонимичны жесту *let-them-die*. По некоторым подсчетам, исключительная экспортно-сырьевая ориентация российской экономики могла бы прокормить

---

<sup>153</sup> Неклесса А. *Этилог истории*. С. 289; Он же. *Российский проект...* С. 405.



около 50 млн человек<sup>154</sup>. А какому числу людей обеспечила бы право на жизнь «островная» инновационная Россия, производящая только идеи да опытные образцы? Стратегия, предназначенная лишь для нескольких процентов народа, для «соли земли», в своей однобокости разве не санкционировала бы ситуацию гностического отделения «призванных и спасенных» от «несведущих и проклятых»?

Вернусь немного назад. Я сказал бы, что западную парадигму геоэкономики можно образно представить себе зрелищем флотилий — странсистем, быоущихся за контроль над сегментами океана, чья стихия в своих бурях и глубинных течениях им неподвластна. Но столь же диагностичным для отечественных попыток геоэкономики был бы образ высывающихся из русской стихии островов, налаживающих связи с материком по ту сторону ее. Утверждения о состоянии мира, служащие в западной геоэкономике фоном для выработки конфликтных стратегий, описанием средовых условий борьбы, в России становятся программами реорганизации и «снятия» субъекта национальных интересов. Лутвак пишет о государствах, «направляющих в своих геоэкономических целях крупные компании или даже выбирающих среди них свои будущие инструменты»<sup>155</sup>, а Кочетов передает определение интересов национальной геоэкономики на усмотрение корпораций-анклавов. Жан предупреждает: перспективные регионы слабых стран, выпав из национальной целостности и утерав в ней поддержку, окажутся предельно уязвимы в конкуренции с чужеземными регионами, поддерживаемыми политикой своих сильных государств<sup>156</sup>, а у нас грезят об автономном плавании конъюнктурно-рентабельных областей ради сиюминутного «самосохранения и саморазвития» их уроженцев. Их геоэкономика говорит: «Таков мир, и в нем мы — идеальное целое, и нам, как целому, нужна стратегия, чтобы в этом мире и против него устоять», а наша утверждает: «Коли мир неблагоприятен для России, как целого, значит, с нею, как таковой, и не следует связывать стратегические виды». Разумеется, мировидение, суженное до тезиса, что в одних местах деньги возвращаются, а в других — нет, вполне может существовать и не принимая прозвища «геоэкономика». Но жаль, если у нас оно закрепит за собою это имя, на которое вовсе не имеет права.

---

<sup>154</sup> *Практика глобализации...* С. 326.

<sup>155</sup> Luttwak E. *From Geopolitics to Geo-Economics...* P. 22.

<sup>156</sup> Жан К. Указ. соч. С. 39.

Я готов был бы усмотреть в «островном» паттерне нашей геоэкономики еще одно воплощение древнего и ранее мной разбиравшегося «островного» прафеномена (на шпенглеровском языке) российской цивилизации — ключевого для нее способа трактовки мирового пространства и собственно ландшафта<sup>157</sup>. Но проявлением сейчас этого прафеномена не в образе консолидированного «острова России», а в виде массы анклавных островов мы обязаны, помимо социально-политических обстоятельств рубежа веков, также фактору лингвистическому и когнитивному: противопоставлению геоэкономики геополитике, каковое объективно, независимо от личной воли авторов просто не может в российских условиях не подкапываться под «общий интерес».

Впрямь, что значит приравнять интересы тех или иных компаний к общероссийским? Вспомни, как в 1990-х МИД стоял за эксклюзивно российский маршрут доставки каспийской нефти на Запад, между тем кое-кто из наших нефтяных чемпионов был готов присоединиться к обустройству нефтепроводов в обход России, страхующих получателей нефти от влияния Москвы. С точки зрения «геополитики потоков» должны ли мы в этой готовности видеть истинный российский геоэкономический интерес, до разумения коего не дорос «ослепленный геополитикой» МИД? Государственная на три четверти «Транснефть» замышляла нефтепровод из Ангарска в сторону Японии через наше Приморье, а ЮКОС уготовил той же нефти путь через Китай в Дацин<sup>158</sup>. Кто здесь представляет геоэкономiku России по меркам «наилучшей возможной занятости для своего населения»? И если нефтяные компании бывают весьма сомнительны как олицетворения национального интереса на геоэкономическом поле, почему эту роль надо

---

<sup>157</sup> Цымбурский В. *«От великого острова Руси»...*

<sup>158</sup> Опыт с «Голубым потоком», казалось бы, должен был научить русских, что топливные магистрали, замкнутые на единственного внешнего потребителя, легко превращают поставщика топлива в заложника возведенной инфраструктуры и потенциальную жертву ценового шантажа. Нет гарантий, что китайский контракт ЮКОСа не обернется сходными последствиями и нефтяные ресурсы Прибайкалья не окажутся частью китайского «жизненного пространства» на пересмотренных Китаем в свою пользу условиях. Утверждение о том, что трубопровод Ангарск — Находка своей нацеленностью на японский рынок создаст России ту же «проблему монопольного покупателя», что и трубопровод на Дацин (Юрков С. *Трубный выбор* // Нефть и капитал. 2003. № 2. С. 12—14), спотыкается именно на игнорировании геополитики. Да, Япония может купить все 50 млн тонн нефти в год, но Россия не была бы обязана продавать ей всю эту нефть при наличии лучшего покупателя, как она будет обязана в случае с Китаем, в землю которого намертво встет дацинский нефтепровод.

безоглядно доверять кочетовским ИВЯ? Присвоение ими «национального интереса» ведет к отчуждению государства, субъекта собирательного от этого интереса, к превращению последнего в «интерес необщий», а анклавов — в особую «нацию среди населения» (та же самая оппозиция «народ versus электоральный корпус» у Щедровицкого)<sup>159</sup>.

Что касается мечты Кочетова о «военно-финансово-промышленных группах», то, ясное дело, корпорации не возьмутся содержать армию в размерах, достаточных даже для эффективного сдерживания на Дальнем Востоке, по Гайдару. О поддержании баланса сил на Западе я уже не говорю. Осуществление этой идеи означало бы разделение и редукцию армии до размеров наемных континентов, силой обеспечивающих интересы ИВЯ в том числе и тогда, когда эти интересы вошли бы в противоречие с политикой центрального правительства. Этот раздел в «Геоэкономике» Кочетова приводит на память веселое определение «вооруженных сил» в одном антиутопическом «словаре XXI века»: «Вооруженные силы — коммерческие организации, предоставляющие услуги по защите и охране государств, доменов, владений и частных граждан, а также услуги противоположного свойства»<sup>160</sup>.

Кочетов явно вдохновлялся тем симбиозом геоэкономики со стратегией национальной безопасности, который так нагляден в политике США. Но надо помнить, что этот симбиоз стал по-настоящему возможен благодаря военной мощи, обеспечивающей американской геостратегии возможность «нависать» над интересующими правительство регионами планеты. Поэтому здесь нет оснований говорить о «приватизации политики», а говорить надо о совместной работе геостратегии,

---

<sup>159</sup> Знаменательно, что в выступлениях Неклессы последнего времени «островная» топика интерпретируется в существенно новом смысловом ключе: то ли в противопоставлении благим «островам смысла», то ли на смену им выдвигаются некие «летучие острова России», ее «Новая Лапутания», каковая «вроде бы населена россиянами, которые, однако же, тяготеют к совершенно иному транснациональному пространству элит» и «все заметнее отъединяются от основного социального организма, приобретая черты если и не совсем чужеродные, то своеобразной “химерической” культуры» (Неклесса А. *Анатомия аномии* // Неклесса А. *Механика глобальной трансформации*. М., 2003. С. 17). Эту новую фазу в развертывании «текста Неклессы» можно будет по-настоящему оценить лишь тогда, когда автор более отчетливо проявит свое видение отношений между «островами смысла» России и ее же «летучими островами». Как мы видели, «острова смысла» России по-своему тоже обособляются от «большого» социального организма и тоже тяготеют к включению напрямую в транснациональное творческое пространство.

<sup>160</sup> Крылов К. *Новый мировой порядок: Краткий толковый словарь* // Эпоха. 2000. № 1. С. 75.

геоэкономики и бизнеса на американский *imperium*, ибо двуединая геополитика (геостратегия геоэкономика), прокладывая путь «своему» бизнесу, в то же время держит его в поле своего доминирования. Мощь — к мощи, как деньги — к деньгам. Но нет никакой уверенности, что в контексте миропорядка, который клонится к однополярному, планетарно-имперскому состоянию, частная политика экстравертных анклавов, возникающих на землях геостратегически хилого государства да еще оснастившихся военной силой, непременно должна действовать как международному влиянию страны, так и благополучию и покою ее граждан.

По поводу мыслей, высказанных Щедровицким в «Русском мире», позволю себе два замечания. Во-первых, сам по себе русский язык вне притяжения российской истории как собственной вряд ли кого-то всерьез объединяет. Как известно, это либо первый, либо второй основной язык для множества людей, ни в каком смысле не относящих себя к «русскому миру» и даже открыто ему враждебных, — вспомним, к примеру, отлично говорящих по-русски лидеров чеченского повстанчества. Перефразируя высказывание Бернарда Шоу об англичанах и американцах, я бы назвал русскоговорящих «людьми, разьединенными общим языком»: внутри этой непреодолимой разьединенности проявляются действительно реальные сближения, объединения и сплочения, часто прихватывающие людей иного языка.

Во-вторых, неясно, в какой мере две последние волны русской эмиграции способствовали развитию «русского мира» в форме диаспоры и сетевой антропоструктуры. Среди экспертов популярно мнение, что эти волны, в отличие от предыдущих, в основном образовывались индивидами — «толпой одиноких», стремящихся, каждый для себя, вписаться в общества принимающих их стран и не слишком склонных к диаспорической солидарности (кроме тех эмигрантов из нижних слоев, что часто оседают на чужой земле «таборами»), а для житейской подстраховки по преимуществу использующих сохраняющиеся у каждого личные связи с Россией<sup>161</sup>. Если исходить из подобных оценок, то всё построение Щедровицкого надо бы перевернуть. «Толпа одиноких», колеблющихся между дерусификацией как выражением жизнен-

---

<sup>161</sup> *Геополитическое положение России: Представления и реальность* / Под ред. В. Колосова. М., 2000. С. 174–176. См. также важные материалы о судьбе русского языка в эмиграции четвертой волны, где привязанность к нему оказывается существенно меньше, чем в предыдущих волнах, особенно первой и второй: Земская Е. *Умирает ли язык русского зарубежья?* // Вопросы языкознания. 2001. № 1.

ного успеха и тыловой опорой на родину — страну и государственно оформленное сообщество, — сама по себе не может обеспечить России политическую форму и определить ее международную устойчивость. Наоборот, мера их самосоотнесенности с Россией, частота оглядки на нее будут определяться ее государственной силой и энергией, во многом представимыми в геополитических параметрах. Кроме того, общеизвестно, что эта «толпа одиноких» немало криминализована, и хотя бы поэтому она не то место, где должны вырабатываться решения, которые бы потом оформлялись государственными обязательствами России. Если же говорить о структурировании лояльного к России мира диаспоры вокруг нее — своего реального крепления — в ее видах и при ее поддержке, мы с необходимостью оказались бы в области геокультуры, как третьей отрасли геополитики наряду с геостратегией и геоэкономикой. Важно, что во всех этих трех отраслях принятие России в качестве идеального стратегического субъекта, закладываемого в политическое проектирование, не может быть совместимо с безгосударственничеством, декларацией российской «политической бесформенности».

Возвращаясь к тексту Неклессы, я должен сказать: идею инновационной России в виде «островов смысла» нельзя обсуждать всерьез, не касаясь предполагаемого российского и мирового контекста их существования. Русские и впрямь народ, во многом созданный идеологией («Святая Русь» и т. д.), но созданный и мотивированный не напрямую, а через сменявшиеся формы идеократической государственности. Те элементы нашей цивилизации, что исторически предшествуют Московскому царству и Империи, будь то «Слово о полку Игореве», иконы Андрея Рублева или подвиг Сергия Радонежского, свой наличный для большинства русских смысл обрели внутри эпохи государственно существования.

Опыт жизни «общностью идеологической, но не политической» — для России специфически-сектантский, и я не уверен, что на него может быть продуктивно ориентирован уклад «островов смысла», притягивающих на «духовное собрание земли».

Но даже с сугубо прагматической точки зрения «островам» Неклессы попросту не выжить в приписываемом им качестве среди буйства Глубинного Юга, в стране, разорванной на «образования с различными схемами власти» и произволом «вооруженных сил различного генезиса». В таких условиях «острова» либо погибнут, либо порознь вступят в симбиозы с этими силами, как те же средневековые монастыри уко-

ренились под опекой крупнофеодальной (на Руси — княжьей) власти, своими территориально-объединительными симпатиями постоянно заявляя связку геостратегии и геокультуры.

В одной из недавних лекций сам Неклесса признал, что успех инновационной России потребовал бы ее «поддержки со стороны влиятельных политических и экономических кругов, одобрения населением страны и определенной поддержки со стороны зарубежных партнеров». Еще раньше он говорил о необходимости «Национальной инновационной корпорации, транслирующей покровительство государства»<sup>162</sup>. А это и значит, что подобный проект неосуществим понастоящему «в обществе, утратившем целостность» и в пространстве геополитического пессимума.

Но главная моя претензия к Неклессе — это то, что он, похоже, не оценил, какое значение для жизнеспособности его идей должна иметь судьба людей нетворческого труда в России, способ сосуществования «России духа и России рук». Выводя своих «островитян» через Интернет напрямую в «мир за Россией», где бы могли материализоваться их наработки, он оставляет по ту сторону квазимонастырских оград миллионы людей, которые оказываются невостребованными, коль скоро он прокламирует обреченность отечественной индустрии. На деле же, для того чтобы «опорные пункты цивилизации» не были сметены массами, брошенными на откуп Глубинному Югу, режим, сделавший ставку на инновационную Россию, должен был со всей энергией стимулировать производство на внутренний рынок<sup>163</sup>. Геоэкономика для России в понимании Неклессы с необходимостью требует для себя поддержки в иной геоэкономике, о которой в 1996 году писал Григорьев. И оба этих смысла интегрируются определением геоэкономики, которое дает Жан, как «принципа объединения всех экономических установок и структур страны в единую стратегию, учитывающую общемировую ситуацию».

---

<sup>162</sup> Неклесса А. *Трансграничье...* С. 27; Он же. *Эпилог истории*. С. 255.

<sup>163</sup> Группа Деягина в «Практике глобализации» (с. 43–46), во многом под влиянием построений Иноземцева, очень сильно поставила вопрос о соотношении между этими видами труда, но в своем собственном варианте идеи инновационной России данной проблемой полностью пренебрегла. Дело ведь не в том, что «Россия может выжить, только будучи умной и решая сложные задачи», а в достойном задействовании национальной экономикой десятков миллионов людей, не входящих непосредственно в инновационную Россию. Геоэкономический смысл отношения «России духа» и «России рук» во многом тождествен отношению между «экономическим надутием» и «экономической обороной», по Жану и Лутваку.

Теперь немного об общемировой ситуации. Даже если не впадать в крайности в духе Дугина и Казаряна, остается неоспоримым, что режим глобального перераспределения ресурсов — это признают и его апологеты, и его недруги — держится сейчас американским силовым доминированием на планете. А это доминирование и Збигнев Бжезинский не решается назвать непреходящим<sup>164</sup>. Что будет, «ежели Бог переменит Орду»? Политика — искусство возможного, но после появления ядерных Индии и Пакистана, а особенно после 11 сентября 2001 года наши представления о возможном сильно расширились. Вернись мир в XXI веке к «новому реализму» полицентричного существования с силовым переделом ресурсов и богатств, многое бы зависело от того, на какой именно стадии кристаллизации униполярности произошел бы этот откат. Если на ступени достаточно ранней, мы просто отступили бы к практикам, памятным по XIX—XX векам. Если же рухнул бы униполярный уже состоявшийся, при котором реально просуществовал хотя бы одно поколение жителей Земли, его конец явил бы картину, производящую на христианское сознание эффект сбывающегося Иоаннова Апокалипсиса с «восстанием десяти рогов» против универсального Вавилона. Помнится, по Броделю, мироэкономический понижающий тренд, наметившийся с 1970-х, оказывается в ряду иных подобных депрессивных тенденций, охватывавших мир-экономику Запада с середины XVII по середину XVIII века, а потом на протяжении большей части XIX века (условно 1817—1896)<sup>165</sup>. В таком случае нельзя забывать, как последующие повышательные тренды неизменно сопровождались «революциями притязаний», вылившимися в первый раз в якобинский террор и наполеоновские походы, а во второй — в тридцатилетнюю большую смуту XX века (1914—1945). Если на смену Рах Оесопотисана придет нечто подобное, то русские «острова смысла» имели бы шанс выжить лишь под защитой армии, которую не составить из высоколобой «островитянской» братии, — это под силу лишь государственно оформленному народу, окружающему «острова» со всех сторон. Средоточия инновационной России могут быть долгосрочно (даже среднесрочно) жизнеспособны и действенны, только будучи на особых началах инкорпорированы в государственное, геополитическое единение земли и народа. Что, собственно, и означало бы ин-

<sup>164</sup> Бжезинский З. *Великая шахматная доска*. М., 1998. С. 246 и сл.

<sup>165</sup> Бродель Ф. *Материальная цивилизация, экономика и капитализм: XV—XVIII вв.* Т. 3: *Время мира*. М., 1992. С. 72—77.

теграцию российской геоэкономики в ее ракурсе, трактуемом Неклессой, в план национальной геополитики. При этом фундаментальные экзотерические разработки Неклессы по структуре Новейшего мира должны быть скорее отнесены к сфере глобалистики и рассматриваться на правах глобалистического обеспечения геоэкономики как национальной стратегии (подобно тому, как во многих работах, проходящих сегодня под титулом внутренней геополитики Российского государства, я вижу в основном ее историко- и политикогеографическое обеспечение).

Не думаю, что включение реальных проблем, поднятых нашими геоэкономистами, в сферу геополитики представит большие затруднения, так как в своих выпадах против геополитики они часто неверно представляют себе объект своих атак. Когда Кочетов отождествляет геополитику с хлопотами над политической картой при игнорировании новых экономических границ, помнит ли он, что уже немецкие геополитики 1930-х отождествляли *Lebensraum* народа со сферой его экономического воздействия и экономических запросов? Когда насущной задачей нашей геоэкономики он называет разработку геополитического атласа и «интерпретацию глобального пространства в форме, удобной для стратегического оперирования и принятия стратегических решений»<sup>166</sup>, мне не понять, чем подобная задача отличается от той разработки *suggestive maps* (карт-подсказок, наводящих карт), которую всегда практиковали геополитики. Когда же Кочетов пишет, что «геоэкономика ищет продолжения и решения вопросов, поставленных геополитическим подходом, в формах отложенной внешнеэкономической контрибуции»<sup>167</sup>, я опять же не возьму в толк, что ему мешает признать — вслед за Жаном и Савоной — геоэкономике отрасль геополитики и ее методом.

Полагаю, что проблематика пространственных точек роста экономики, скажем в виде свободных экономических зон и интернационализированных экономических анклавов, является законным предметом геоэкономики как ветви геополитики (и точно так же структурирование пророссийских диаспор — возможный объект геокультуры как другой геополитической отрасли). Главное, что при этом меняются прагматика геоэкономики (и геокультуры), представление о субъекте стратегии. Из учения о «снятии» государства как субъекта в наблю-

---

<sup>166</sup> Кочетов Э. *Геоэкономика: Освоение мирового экономического пространства*. С. 242.

<sup>167</sup> Там же. С. 114.



даемой мировой ситуации, из орудия демонтажа национального «общего интереса» и «общей пользы» геоэкономику в России надо переосмыслить в инструментарий национально-государственного самоутверждения. Я думаю, российский геополитический дискурс мог бы адаптировать данное словопонятие, прибегнув к своего рода когнитивной и лингвистической терапии. Такая терапия должна была бы включать:

— актуализацию в России западных смыслов и коннотаций «геоэкономики» как «интегративной стратегии для национальных экономических структур»; как «геополитики» ресурсных (не только финансовых!) потоков; как «логики конфликта, воплощаемой в грамматике торговли»; наконец, как «стратегии обеспечения наилучшей возможной занятости для своего населения»;

— отказ от отождествления «геоэкономики» с глобальным финансовым обращением (за последним стоило бы оставить не имеющий явной идеологической нагрузки термин «геофинансы» для обозначения одного из театров геоэкономики);

— популяризацию формулы «внутренней геоэкономики» применительно к сети внутрироссийских ресурсных циркуляций, строящих, поддерживающих и трансформирующих национальный рынок;

— с оглядкой на российскую социальную и демографическую обстановку, когда массовый уход в небытие становится основной формой бессмысленного и беспощадного русского бунта, воздержание от надления «геоэкономики» социально-политическими коннотациями («бунт богатых», «новый народ» и т. п.); при разработке геоэкономических стратегий — демонстрацию отношения к геоэкономике как к технике, а не идеологии за исключением пассажиров, посвященных функционированию Рах Оесономисана с его техникой ресурсного передела, возводимой в ранг идеологии.

Кроме того, следовало бы избегать словесных конструкций, размещающих геоэкономику и геостратегию на одном таксономическом уровне с геополитикой, обесмысливая последнюю, и, наоборот, использовать контексты, описывающие сочетание геостратегических и геоэкономических (а также геокультурных) приемов и технологий для решения национальных геополитических задач.

И последнее соображение. В 1990-х годах отечественные интеллектуалы впервые открыли для себя благодатную проблематику, сопряженную с реконструкцией богатейшего и причудливого гуманитарного репертуара отечественной геополитики, будь то Филофеев «остров-

ной» Третий Рим, или переосмысление этой концепции XVII веком в духе собирания и восстановления расточенной ойкумены; или потемкинский Восточный проект с подспудной идеей «сворачивания времен», знаменующего включением в мир России возрождающейся греческой прародины европейской цивилизации; или агрессивная гео- и хронополитика Федора Тютчева с ее лейтмотивом «преобразованной Европы — России будущего»; или терминологическая алхимия ранних евразийцев (Петр Савицкий, Николай Трубецкой), катализировавших геополитическое воображение языковой омонимией «России-Евразии» и «Евразии-континента»<sup>168</sup>. Думаю, эзотерике текста Неклессы будет не зазорно занять место в этом ряду герменевтических встреч российской геополитики лицом к лицу с открывающимися во времена большими смыслами мировой и христианской истории — по недавно прозвучавшему меткому определению, в традиции национальной геоапокалиптики<sup>169</sup>.

\*\*\*

Есть еще важный момент, который не обойти. Я уже как-то писал, что практически все оппозиционные новому Кремлю идеологи и политики 1990-х, склонные к геополитическому дискурсу, обнаруживали явную или завуалированную готовность к партнерству с властью в той мере, в какой она сама оказывалась способна оперировать дискурсом «национального интереса» с геополитическими мотивами, формально заявляя себя национальной властью. «Национальный интерес» и «геополитика» сплошь и рядом служили риторическими средствами приручения оппозиции и ее самоприручения (Цымбурский В. Дождальсь?..) Можно добавить, что оппозиционеры, не владеющие языком геополитики (вроде Виктора Анпилова), обычно проявляли полную неспособность сформулировать свое толкование «общего интереса» и, как представители «частной политики», маргинализировались, оказываясь символами дискомфорта для русских кризиса общности, пер-

---

<sup>168</sup> Богданов А. *От летописания к исследованию: Русские историки последней четверти XVII века*. М., 1995; Зорин А. *Кормя двуглавого орла...: Литература и государственная идеология в России последней трети XVIII — первой трети XIX века*. М., 2001; Цымбурский В. *Тютчев как геополитик* // *Общественные науки и современность*. 1995. № 6; Он же. *Две Евразии: омонимия как ключ к идеологии раннего евразийства* // *Вестник Евразии (Acta Eurasica)*. 1998. № 1—2.

<sup>169</sup> Словопонятие «геоапокалиптика» предложил в беседе со мной Григорий Кремнёв — крупнейший специалист по Константину Леонтьеву и большой знаток христианской историософской сюжетики.

сонифицированными образами хаоса, которые подлежат вытеснению на грань «кромешной тьмы». Идеологема же геоэкономики в большинстве ее разработок, помимо намерений разработчиков, должна толкать и толкает более молодую генерацию оппозиционеров к отказу от «приручающего» дискурса, к мысли о столкновении на российской земле непримиримо различных «геоэкономических народов» в псевдословном облике. При этом молодая оппозиция открывает перед собой два возможных пути. Первый из них: приняв геоэкономическое «снятие» территориального государства Россия как политического субъекта за окончательное, осознать себя просто одним из боевых отрядов мирового антисистемного движения, причем отрядом, вовсе не обязательно ориентированным на цивилизованную западную практику антиглобализма именно из-за ее цивилизованности, а значит, курьезно малой действенности (этот путь я по известной аналогии назвал бы путем «безродного радикализма»). Второй путь: не нять «снятие» России в качестве окончательного и поднять на щит противопоставление «Или мир — или Россия», считать крушение наличного миропорядка необходимым условием восстановления ее субъектности, без чего не бывать «возрождению» страны. Я не вижу возможность предотвратить подъем радикализма в России иначе как при режиме, который следовал бы некоей версии идеологии «общего интереса» и который восстанавливал бы среди русских представление о субъектности государства, когда не спрашивают: «А ваша Россия — это кто?» Но для государства с российскими параметрами «общий интерес» несовместим с отрицающей геополитику «геоэкономикой немногих». Когда-то — на мой взгляд, в лучшие свои времена — Глеб Павловский написал, что «бывает и “музыка толстых”, но знамен для элиты не бывает» (Павловский Г. Указ. соч. С. 130). Бывают! И «геоэкономика немногих» есть набор тех самых «знамен для элиты», которые лучше не выносить в массы, способные принять слова о «свалке человеческих отходов» на свой счет. Разумеется, режим может постараться работать сразу в двух идеологических регистрах: прикармливая оппозицию демагогией «общего интереса», одобренной геополитическими приправами, и одновременно интимно мысля себя главным образом «поставщиком институциональных и управленческих сервисов-услуг» приближенным группам, исповедующим «геоэкономику немногих». К чему это приведет — Бог весть!

*«Диалог.иа», 4 июня 2004 г.*

## РАСКОЛОТАЯ РОССИЯ, ИЛИ «ПИТЕРСКИЙ» ПРОЕКТ

Все разговоры о том, что ельцинщина была абсолютным злом, а путинщина — зло относительное или добро, поскольку так или иначе связана со строительством русской государственности, — разбиваются о совершенно прозрачную и последовательную логику *путинских социальных реформ*. Трудовой кодекс, жилищный кодекс, монетизация льгот — все реформы социальной политики направлены на то, чтобы *расторгнуть те остаточные обязательства между элитами и населением, которые и образуют государственность*. Чтобы освободить «избранников рынка» от обузы в лице неликвидного населения и закрепить положение тех групп, которые получили доступ к ресурсам в 90-е годы. Когда Глеб Павловский в 99 году написал, что задача ельцинского преемника — сохранить завоевания демократической революции, — он предвосхитил всю программу Путина. Программу оголтелого и расчетливого либерализма.

Здесь возникает закономерный вопрос: почему либералы так ненавидят Путина? Отвечаю: по той же причине, по которой феодальная фронда фрондировала против королевской власти. Как писал в свое время Энгельс, королевская власть защищала феодалов от крестьян и друг от друга, чтобы они друг друга не перерезали, и феодалам это крайне не нравилось. Они бунтовали. Но власть довела дело до конца: кому-то отсекла голову, кого-то посадила и обеспечила контроль феодальной верхушки над жизнью европейских абсолютистских государств на протяжении двух столетий. Путин делает то же самое для квазифеодальной верхушки, рожденной в хаосе 90-х.

Если Ельцин был отвратителен именно хаосом и безобразием, соответствовавшим эпохе *финансового капитализма*, то Путин соответствует эпохе *экспортно-сырьевого капитализма*<sup>170</sup>, политической над-

---

<sup>170</sup> Не совсем справедливы утверждения об экспортно-сырьевом капитализме как порождении ельцинского десятилетия, если не делать одной важной оговорки: этот капитализм и впрямь зародился среди финансовых игр ельцинщины, но он же послужил основой для ее изживания. В середине 1990-х наша нефтянка лежала в руинах. Мне вспоминается геополитический семинар «Суздаль-клуба» в 1994-м, где виднейший эксперт Я.Паппэ произносил впечатляющую речь насчет роковой нерентабельности нашей нефтедобычи. Залоговые аукционы середины десятилетия стали предпосыл-

стройкой которого является попытка придать этому возвышению «белой кости» над «быдлом» вид нормальной государственности. Отсюда путинское православие, замешанное на архиерейских интригах. Отсюда идущее присвоение истории восторжествовавшей «белой костью», включая и махинации с провозглашением 4-го ноября — даты, которая в России никому ничего не говорит и из-под которой так и будет торчать замазанное 7-е ноября. Власть отчетливо воспроизводит *«петербургскую» модель* российской государственности, делая ставку на *ценностно-гетерогенное общество, скрепленное авторитарными обручами*. В свое время я писал об этом квазисловном сценарии контрреформации как о наиболее опасном для России выходе из городской революции большевизма.

На это можно возразить: ну что ж, в конце концов, вспомним наш XVIII век. Разве тогдашнее дворянство, обличаемое славянофилами или Солоневичем, — разве оно не явило образцы патриотизма и мощной государственной идеи. Но в том-то и дело, что сегодня ситуация существенно иная. Сегодня Россия — провинция мировой империи. Эта империя представлена двумя проектами, но мне лично плевать на разницу между ними. Когда мне говорят о разнице между проектом Буша и проектом Гора, я всегда вспоминаю, как в 73 году на страницах «Правды» была охарактеризована полемика между Сахаровым и Солженицыным: «какое самодержавие лучше для России — абсолютное или просвещенное?». Нам действительно по существу не должно быть никакого дела до разницы между этими проектами. Ясно одно. Миром правит империя, решающая, по Бжезинскому, задачи всех старых империй — обеспечить безопасность подданных, предотвратить сговор вассалов, отразить наступление варваров.

Превращение России в периферию этого мирового образования приводит к тому, что российскую социальность *располосовывают трещины, проходящие через мировую империю* — трещины между «белой костью» и «быдлом». В этой ситуации ставка Путина и его окружения на «петербургский» вариант контрреформации — это ставка на ценно-

---

кой оформления у нас крупного экспортно-сырьевого капитализма, но эта предпосылка оставалась сугубо абстрактной возможностью, пока масса капитала была задействована в авантюрных играх с перераспределением займов, «пирамидой» ГКО и т.д. Только теперь задел залоговых аукционов реализовался в полную силу. Экспансия нефте- и газодобычи на рубеже веков экономически подорвала силу «коллективного Ельцина», но вместе с тем она свернула наметившийся в премьерство Примакова сценарий национального промышленного капитализма.

стный и социальный раскол России. Раскол на людей, живущих давосской культурой и на людей, питающихся объедками этой культуры в смеси с какими-то сомнительными остатками культуры национальной.

Когда-то я писал о том, что основная черта любой цивилизации — это переживание своего народа как *основного человечества*, а своей земли как *основной земли*. В 1634 году немецкому путешественнику Адаму Олеарию новгородский старый монах показал икону, где была изображена толпа иноземцев, свергаемых чертями в ад. На вопрос — «Неужели, все, кроме русских, погибнут?» — монах ответил: немцы и другие иноземцы могут спастись, если обретут русскую душу. В 1937 году, в канун своего ареста, Осип Эмильевич Мандельштам написал стихи о том же: «я, дичок, убоявшийся света, становлюсь рядовым той страны, у которой попросят совета все, кто жить и воскреснуть должны,» — утверждая, что, в конечном счете, вечная жизнь и воскресение связаны прежде всего с приобщением к опыту России. Мы забываем, что черты переживания России как основного человечества сквозят во многих текстах, которые, казалось бы, говорят о совершенно другом. Вспомним слова Достоевского о русском как всечеловеке. Ведь если русский человек способен произвести из себя самого образ всего человечества во всех вариантах — из этого следует прямой вывод, что в принципе без остальных можно обойтись. Русский человек произведет человечество из себя самого. Переживание себя как основного человечества на основной земле проходило через века существования России в самых разных формах и версиях.

Сегодня по разным причинам Россия оказывается включена в чужой мир. Ну что ж, так было. Писал же Шпенглер о том, как ближневосточная арабская цивилизация была интегрирована в мир римской империи. Подобные вещи были, и *цивилизации прорастали изнутри чужого мира*, тем более, мира, находящегося на стадии имперского, позднего развития, на стадии готовящегося надлома. Поэтому сам по себе факт пребывания в поле чуждой мировой империи не является ни катастрофой, ни приговором. Но он диктует особые, более жесткие требования к внутренней жизни цивилизации, сужая диапазон ее выживания. В истории «высоких культур» воспроизводство ценностно-гетерогенных обществ — вполне обычное дело. Но посреди чужого имперского мира воспроизводство моделей внутрицивилизационного раскола, пусть и заимствованных из собственного исторического опыта, совершенно самоубийственно. Поэтому я и подчеркиваю, что в сегодняшних условиях любая попытка конструировать Россию по петер-

бургскому дворянскому варианту, на основе различия «дворян-давосцев» и «быдла», — это попытка, в конечном счете, зачеркивающая путь цивилизации.

Поскольку власть отождествила себя с этой стратегией, сегодня судьбу цивилизации приходится связывать с политической перспективой оппозиции. И если говорить о стратегии оппозиции, сознающей свой цивилизационный импульс — то она должна была бы пойти по тому пути, который в свое время наметил в ряде работ А.И. Неклесса. Ей предстоит заняться производством авторитета, покрыть страну точками альтернативной духовной власти, точками противостояния и концентрации духовной энергии, способными в определенный час взять на себя миссию духовной сборки страны. Этот час наступит, когда наметится исчерпание основных сырьевых ресурсов России.

Подобно тому, как ельцинщина, олицетворявшая наш финансовый капитализм, была фактически изжита с *дефолтом 98-го*, путинщина, связанная с сырьевым капитализмом, будет надломлена в тот момент, когда ясно обнаружится тенденция *исчерпания наших сырьевых ресурсов*. Задача оппозиции, следующей цивилизационной традиции России, состояла бы в том, чтобы готовиться к этому моменту истины. Готовиться к переориентации страны на внутренний рынок, на полноценный промышленный капитализм, сочетающийся с развитыми социальными программами.

Конечно, строя планы на будущее, нам приходится помнить одну важную и прискорбную вещь. Русского народа сейчас просто нет. Есть скопище того, что политологи называют «атомизированные потребители». Но мы знаем и другую вещь. Претерпевания нашей цивилизации в 20 веке, окончательное крушение аграрно-сословной культуры, затрудненное, драматическое развитие культуры городской и потом напользание на нее международной космополитической культуры — все это привело к тому, что народ чрезвычайно пластичен и аморфен. Он в принципе никакой. Россия — страна, в которой, как, может быть, нигде может реализоваться формула Брехта: *когда власти неуютен народ, власть всегда может распушить этот народ и набрать себе новый*. Акцентируя определенные группы людей, определенные типы людей, определенные социальные и психологические слои. Я глубоко убежден в том, что в конечном счете власть, сформированная вокруг этих оппозиционных центров, имела бы самые серьезные шансы *сформировать новый народ*, провозгласив контроль этого народа над элитами и фак-

тически осуществляя контроль над элитами от имени не существующего в данный момент, пока еще не существующего народа.

*«Агентство политических новостей», 19 января 2005 г.*



## О РУССКОМ ВИКТОРИАНСТВЕ

Когда мы хотим метафорически разъяснить некую эпоху в народной судьбе, уподобляя ее совсем другой эпохе в истории другого народа, самый большой риск состоит в смещенном, мистифицирующем видении той или другой, а то и обеих вместе, — как произошло, на мой взгляд, с «веймарской» Россией Александра Янова. Володихин свою проектную будущую Россию обозначает столкновением двух исторических метафор сразу — «*России викторианской*» и «*России александровской*» — от имени государя Александра III, Александра Александровича. *Да что же общего между духом александровского царствования и викторианством, кроме частичной синхронности?* Что остается от образов этих эпох после их схлестывания в володихинской риторике? И как получающийся метафорический гибрид проецируется на Россию наставшего века?

Вспомним, чем отложились годы Александра Александровича в исторической и культурной памяти. Царь — ученик С.М. Соловьева, ценитель талантов Фета и Чайковского, Поленова и Менделеева, поднявший в министры Витте, поверивший раскаянию Льва Тихомирова и приобретший для Империи в былом террористе крупнейшего монархического мыслителя, который видел в Александре III «носителя идеала». «Гатчинский узник», царствование в страшной тени 1-го марта 1881 года (не забыть и о «втором 1 марта» 1887-го!); (Распоряжение от 14 августа 1881 г. о режимах Усиленной и Чрезвычайной Охраны, передающее исключительные полномочия министерству внутренних дел и генерал-губернаторам, — по оценке Ричарда Пайпса<sup>171</sup>, важнейший шаг от самодержавия к полицейскому государству), чудовищный памятник резца Паоло Трубецкого («Стоит комод, на комод бегемот...»), блоковское «Возмездие» с «совиными крыльями» Победоносцева над Россией. Двойственная геополитика: восточничество, вздымающийся азиатско-тихоокеанский проект, маячащий за закладкою Транссиба и путешествием цесаревича Николая Александровича по Азии — и тут же нависание над Европою, не дающее второму Рейху обратить ее в германский полуостров, союз с Францией — зачаток Антанты; царь, с

---

<sup>171</sup> Пайпс Р. *Россия при старом режиме*. М., 1993. С. 400 и сл.

непокрытой головой внимающий «Марсельезе». Блистательная для современников геополитика, несущая в себе предпосылки обеих российских военных катастроф следующего царствования. Разочарование власти в частнокапиталистическом грюндерстве поры «великих реформ», массивированный госкапитализм виттевского железнодорожного строительства. Борьба со стремительно протекающим размыванием старых сословий, — словами Константина Леонтьева — «дифференцирующая реакция» контрреформ, восстанавливающих или имитирующих черты дореформенного строя. В том числе в области образования — очистка гимназий от «кухаркиных детей» (не ее ли вспомнить сейчас в дни становления у нас по-новому сословного образования?). Постоянные жалобы печати на развал сельского хозяйства; деревня в Европейской России все явственнее приобретает облик, знакомый нам по чеховским «Мужикам».

Все это — вообще вне володихинского имиджа «александровской России». Автор доклада намерен строить этот имидж «скорее по романтической литературе и кино, чем по историческим источникам». Что ж, сегодня не найти бульварного живописателя той поры популярнее, чем Б. Акунин. Каковы же фигуры, встающие из его романов? Босс политического сыска Пожарский, истребляющий своих конкурентов во власти руками пасомых им террористов («Статский советник»); великий князь Кирилл, организующий заказное убийство тянувшегося в русские Бонапарты популярного генерала Соболева (Скобелева) и патетически ораторствующий над его гробом («Смерть Ахиллеса»); «прокуратор» Победин (Победоносцев), ищущий извести пришедшего на Русь Христа-Мануйлу («Пелагия и красный петух»); да купец Еропкин, лихо пародирующий «византинистскую» проповедь Леонтьева, раздавая нищим медную мелочь с присказкой «Не вам, не вам подаю, пьянчужки — Господу Богу Всеблатому и Матушке Заступнице!» («Пиковый валет»). Поклонникам Акунина не воспринять «александровской» метафоры Володихина.

Не «последним спокойным и благополучным царствованием» осталось в памяти русских правление Александра Александровича, а провальным противостоянием поднимающейся буре городской революции в России, сметшей старый добрый аграрно-сословный уклад. Назвать проект новой России в память исторической неудачи — как-то делает Володихин, — плохая примета.

Теперь о другой метафоре — викторианской. У нас недавно перевели очаровательный ранневикторианский триллер-сериал «Вампир

Варни» (1830-1840-е годы). Читателя, раскрывшего его страницы, ошеломляет зрелище разъяренных толп, громящих буржуазные дома, и солдат, которые стрельбою отбивают погромщиков. Откуда все это? Мы редко вспоминаем о двояком истоке викторианства как великой социальной программы, поистине спасшей Англию. Сперва — дразнящий и злящий буржуа разгул аристократов при Георгах III и IV (годы 1810-е и 20-е, золотое время английского дендизма). А затем — 20 лет наступающей чартистской революции, когда перед имущими сословиями Британии угрозой встали уже не аморфные «опасные классы» XVIII в., усмирявшиеся широчайшим применением смертной казни (в ту пору путеводители по стране, бывало, указывали расстояния от виселицы до виселицы<sup>172</sup>, — но промышленный плебс, организованный как политическая партия с легальной верхушкой, мозговым штабом, боевыми организациями и арсеналами.

Эпоха Виктории — время постоянно расширяющегося избирательного права, приливных плебейских, в том числе пролетарских, пополнений политического класса. Время, когда политический разум пуританской буржуазии с согласия наиболее здравых групп знати и при живейшей поддержке двора (тут историки отмечают особую роль супруга Виктории — немецкого лютеранина принца-консорта Альберта) решал двуединую задачу. Этой задачей стало: во-первых, моральное обуздание аристократии, конвергенция ее с буржуазией (методы были многообразны — от образа идеальной буржуазной пары, выстраиваемого на всю страну королевской четой Викторией и Альбертом, от писем Виктории редактору «Таймс» с призывами обличать беспечность и аморальность людей верхушки<sup>173</sup> до показательной юридической расправы над любимцем света Оскаром Уайльдом). А во-вторых, воспитание неопитов политического класса через закладку идеалов нового аристократизма — аристократизма жизненной формы. Фигурально, через умение есть овсянку, вызывая к себе уважение. И через внушение неопитам уверенности в том, что соблюдение политической формы отечества — необходимая часть и один из критериев жизненной формы политика.

Мой любимец среди политфилософов Шпенглер по праву писал как о величайшем внутривнутриполитическом достижении в европейском

---

<sup>172</sup> Кестлер А. *Размышления о виселице* // Кестлер А., Камю А. *Размышления о смертной казни*. М., 2002, с.40.

<sup>173</sup> См.: Оссовская М. *Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали*. М., 1987. С.146 и сл.

мире XIX в. — о викторианской демократии, реализующейся так, что правительство сохранило строгую форму, причем форму «старинно-аристократическую», где «всякий мог свободно (по собственному усмотрению) заниматься политикой», но непременно «в рамках... традиции, с которой осваивались молодые таланты»<sup>174</sup>. Эта выработка нового типа англичанина «рыцаря-буржуа» сопровождалась бесчисленными издержками ханжества и снобизма, неудачами сублимации, выплескивавшимися в жизнь и литературу: за спиной викторианского джентльмена протянулись тени Дориана Грея, мистера Хайда и графа Дракулы. Но игра стоила свеч: Англия — единственная из великих европейских держав — при переходе к массовому обществу сумела сублимировать революцию. Родись Робеспьер в XIX в. на английской земле, он, без сомнения, явил бы тип образцового викторианца. Несомненно и другое: такая задача требовала серьезнейшего повышения жизненного уровня слоев, втягиваемых в политический класс — и во многом именно эту задачу решало ускоренное созидание империи, извлечение доходов из колоний. Идущее изглаживание сословности в английской метрополии своеобразно уравновешивалось утверждением новой сословности в имперском масштабе<sup>175</sup>, причем культ жизненной формы, аристократизм, двинутый в массы, позволил англичанам первым заявить о себе всерьез как о носителях не только миссионерского, но и рыцарского «бремени белого человека» (эту претензию всерьез принимал даже Джордж Оруэлл — см. его воспоминания об убийстве им безумного слона в Бирме во исполнение «долга», лежащего в тех краях на «белом»). Как говорил пародийный «первый викторианец» — сплошь расписанный татуировкой британский кельт из «Цезаря и Клеопатры» Бернарда Шоу «у нас можно отнять жизнь, но никто у нас не отнимет нашу респектабельность».

---

<sup>174</sup> Шпенглер О. *Закат Европы*. Т.2. М., 1998. С. 438.

<sup>175</sup> Здесь нужно в параллель вспомнить замечательную мысль Константина Леонтьева об имперском проекте Наполеона I как о попытке формируемой новой сословностью Империи компенсировать разрушение и изглаживание сословного строя во Франции по ходу Великой революции: «Французы, все политически и граждански между собою равные, могли бы, в случае успеха, стать привилегированными людьми в среде всех других покоренных наций» (Леонтьев К. Н., *Восток, Россия и славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза*. М., 1996, С.683). По существу, мы видим у Леонтьева первую постановку важнейшего вопроса о механизмах связи между становлением на Западе массовых обществ и евро-атлантическим империализмом Новейшего времени.

Показательно, что фундаментальный европейский сюжет об искушителе-дьяволе викторианство переложило в литературный миф, где провинившийся ангел оказывается осужден искушать и испытывать людей, втайне мечтая каждый раз, что очередной искушаемый устоит перед соблазном и тем самым приблизит конец мытарствам Первого Падшего (Р.Л. Стивенсон «Маркхейм», М. Корелли «Скорбь Сатаны»). Искушение оказывается не битвою Бога и дьявола за человеческую душу, но испытанием человека, его природы и формы на прочность.

Когда я три года назад писал о «реморализации» вроде «русского викторианства» как о российской задаче на новый век, я исходил из двух наших проблем, обнаруживающих некоторое функциональное сходство с проблемами ранневикторианской Англии. Социальный и государственный переворот начала 1990-х я трактую как фронт против надсословного государства со стороны части его тогдашних элит, захвативших в России государственную собственность и власть. Дело даже не в том, что основная масса общества — сложившаяся при большевиках «протобюргерства» и крестьянства — была отторгнута от национальных ресурсов, присвоенных вместе с именем государства этой «корпорацией утилизаторов Великороссии». Не менее важно то, что множество членов «корпорации» морально выломались из русского общества, сплошь и рядом позволяя себе публичные антинациональные бравады, вроде выступления Альберта Коха в 1998-м перед американской радиостанцией насчет мировой «ненужности» государства Россия<sup>176</sup>. В то же время, свернувший свою империю «остров Россия» переживает мощное евразийское и собственно азиатское наступление с юга и востока на свои территории, свои ресурсы и рынки. Так называемая чеченская война представляет критику оружием права русских на политическое и культурное лидерство в официальных границах России.

Поэтому для меня лозунг «русского викторианства» означал и означает, во-первых, складывание в среде нашего «протобюргерства» политического класса, который был бы в состоянии вновь провозгласить принцип надсословного государства и осуществлять блокирующий контроль над попытками тех или иных элит утвердиться в каче-

---

<sup>176</sup> Если кем-то сейчас эти похождения Коха уже подзабылись, пусть заглянет в справочник с очень показательными цитатами: Зенькович Н.А. *Самые открытые люди: Энциклопедия биографий*. М., 2004, с.368 и сл.

стве сословия правящего. Во-вторых, он означает выработку такой жизненной формы русского человека — члена политического класса, которая в столкновении российских цивилизационных ценностей с мировыми и евразийскими данностями обеспечила бы победу первым. И в частности, торжество принципа, по которому россиянином является тот, кто готов и имеет право выступать перед миром как «русский», даже обладая возможностью и правом дифференцироваться с «русскими» внутри России. В определенном смысле эти проблемы нерасторжимы. Вспомним размышления персонажа их романа «Колодец пророков» Юрия Козлова — списанного с Джохара Дудаева генерала Сака о нежелании евразийских народов России, деливших с Империей и с СССР их славу, невзирая на все тяготы, — делить с нынешней Россией ее позор.

Задача интеграции «варваров» и вербовки среди них новопосвященных адептов России, ранее непосредственно решавшаяся имперской силой, славой и приростом, для «острова Россия» может решаться только наличием такого политического класса, который смог бы соединить открытость с жестокостью жизненной и политической формы. К тому же, при царях и Советах не вставала с подобной остротой — точнее, не признавалась за первоочередную — проблема обуздания элит. Если прав Ларошфуко, что лицемерие — дань порока добродетели, наши, надышавшиеся давосским воздухом, элиты должны быть обложены регулярной и тяжелой моральной данью, пригибающей их к российской земле.

Но тут, пора вернуться к докладу Володихина.

Как можно видеть «Россию александровскую» сразу и «викторианской»? Что общего между александровским стремлением задержать наступление городского общества на аграрно-сословный порядок и викторианской оптимизацией перехода от сословности уже городской к массовому обществу XX века?

Чтобы это понять, оценим важнейшие эстетические мотивы, характеризующие «александровско-викторианскую» утопию.

Прежде всего, это мировоззренческая легкость. «Легкий, немного ритуализированный монархизм (именно легкий)». В одежде «легкая милитаризация, но опять — именно легкая». «Благодушный деспотизм», снисходительный к «дискуссиям философического свойства» «в политике культуре социальной сфере». «Обыгвленное» христианство: вера-то, в общем, дело повседневное, «о вере можно говорить сколько угодно и когда угодно» (по-моему, понятие «говорить сколько угодно

и когда угодно» лучше передать одним глаголом, общеизвестным, но, как правило, заменяемым междометиями). Легкий техногизм — «намеки на промышленность», способную производить на свет комические линкоры. «Легкомысленные или, напротив, интригующие министры» — да зачем же это «напротив»? Вполне ведь возможно интриговать легкомысленно. В этой атмосфере необыкновенной легкости, с намеками на монархизм, милитаризм, техногизм... с разговорами о вере «сколько угодно, когда угодно», хорошо играть водевили и оперетты «а-ля рюсс», полные легкомысленных интриг.

Эта «смысловая легкость» оттеняется повадками персонажей, исполненных тяжеловесной вальяжности. ««Викторианская Россия» торжественно-основательна... Неспешная походка, отсутствие суеты... сдержанность, корректность, спокойное состояние духа... Еда... что тут сказать? Водка вошла. И вместе с ней — красивая посуда. Хрусталь. Изящные чайные сервизы». «Тяжелые на подъем и, по большому счету, простоватые офицеры уголовного, а также политического сыска». Поразительны слова автора о том, что быт «викторианской России» «лишен застолий», — и это прямо перед упоминанием о балах и «званных обедах», а также о водке. Но званый обед с водкой — это и есть «застолье»! Или водку предполагается прихлебывать из «изящного сервиза», уединяясь? Похоже, «викторианская Россия» Володихина готова перещеголять лицемерием викторианскую Британию.

Вообще, эта Россия как-то странно шарахается между минорными претензиями на быт «аккуратный и чистый», где «нет ощущения избытка пищи, зато очевидна спокойная обеспеченность всем необходимым» — и внезапным розановским мажором, безоглядно славящим «отовсюду себя кажущее русское нутро, капризное, выносливое, хлебо-сольное, да и само излучающее доброту по отношению к тому, кто покормит (а ну, как покормит фонд «Открытое общество? — В.Ц.)... своевольное и даже беспутное в семье, но смиренное перед властями... верное в дружбе и жуткое в бунте; набожное и хамоватое... дай только корни пустить(нутру-то? — В.Ц.), потом уж не выкорчуешь, прижилось». Так и хочется крикнуть: «А овсянка, сэр? Вы научились ли есть овсянку?»

И над всем спектаклем — над идейной «легкостью» и осанистой «тяжестью», над «смирением перед властями» и «добротой к тому, кто покормит» — фейерверочной ракетой взлетает лихой призыв «кончать обниматься с гробами», «вспомнить о победе и победителях». «Наши подводные лодки должны всплыть!» — лучше не скажешь. «Виктори-

анство» Володихина из хвалы «капризно-неприхотливому нутру» переходит в поистине «викториозное» — сразу видно писателя! — самолюбование. Как там в надписи к монументу Александру Александровичу — «Стоит комод, на комодe бегемот...» (выбор слов очень важен: призови Володихин думать не о «силе», «победе» и «победителях», а о «подвиге» — все это воспринималось бы иначе, но «подвиг», величие усилия в конфигурацию такой «викторианской России» совершенно не вписывается).

Главная же несущая конструкция этой имитационной России — сверхлегкой, вальняжной, викториозной — уверение автора в ее чрезвычайной уютности для нас, каковая наступит, как только осознаем: в ней все друг другу свои, «от государя и вельмож до самой простой чади». Мы должны поверить: все эти «легкомысленные» или, напротив, «интригующие» министры и «офицеры, склонные ко всякого рода озорству» (вот уж точно — помните дело Александра Пуманэ, чей труп родные признать не могли?) — все «они могут ошибаться, но целом сознательно действуют на благо страны, избегая притом этической грязи». Все они — уже «сложившийся строй», в рамках коего «революционер и митинговщик», выломавшийся из «дискуссии философического свойства», предстает чудищем противоестественным и омерзительным, марсианином, Зеленым Склизким Чужаком, не слишком даже и страшным в своей гнусности, — ибо весь эмоциональный склад володихинского проекта как-то нейтрализует любые высокие напряжения, в том числе и напряжение страха. «Сусальным золотом горят В лесах рождественские елки, В кустах игрушечные волки Глазами страшными глядят». Дело Зеленого Чужака — время от времени дурачки моргать страшными глазами из кустов на заднем плане водевиля.

Теперь понятно, как «викторианская Россия» оказывается сразу и «александровской»? Это нетрудно, если и викторианство, и пора Александра III, обращаясь в метафоры, теряют всякое содержание, кроме мистифицирующего имиджа комфортного, уютного, как бы не слишком хлопотного имперства. «Викторианская Россия» — приглашение к игре в красивую, «устанканенную», вроде бы имперскую жизнь — елей на сердце «россиянского» атомизированого потребителя, с его «нос-тальгиями по ненастоящему», в конце концов, безнадежно замыкающимися на сегодняшний день.

Почему для меня неприемлема такая эстетика русского будущего?



Я начну чуть издали, сперва ответив на поставленный Володихиным в начале его доклада вопрос — можно ли указать на какой-то набор явлений<sup>177</sup>, «в высшей степени характерных для современной России», которые и сейчас, и в будущем могли бы «вызвать у образованного человека верные ассоциации» с нашими днями. Я полагаю, что такой набор поистине существует, и в него входят:

— утыкавшие страну новорусские «красноготические» поселки;

— праздник «изгнания поляков», молчаливо — чтобы мусульман не обижать! — подверстанный (дабы православным угодить!) под день Казанской Божьей Матери, и этим своим куцым семиотическим пучком сияющий закрыть соседнюю большевистскую дату;

— в какой-то мере — реанимированный гимн с музыкальной схемой, заполненной благонамеренными, но совершенно неудобозапоминаемыми словесами, обретающий курьезную эзотеричность для того, кто еще частично помнит другие слова, на место которых эти подставлены<sup>178</sup>;

— и, наконец, несомненно — состоявшийся 7 ноября 2005 года в день отмененного праздника (то есть в день будний) парад ветеранов на Красной площади во славу 64-летия (чудный юбилей!) другого парада, который тогда проводился в честь ныне элиминированного праздника.

Все это — явственные эстетические приметы нынешней России. И если первая — общая родовая черта послебольшевистского 15-летия с проступающим в это время определенным типом сословности, то последующие три отличительны именно для маразматического семиозиса путинщины. Для периода, когда «корпорация утилизаторов Велико-россии», опираясь с конца 1990-х на территориально-привязанный, экспортно-сырьевой капитализм, берется претендовать уже не на смелую цивилизованного кода России, — чем бредили идеологи восторжествовавшей фронды году этак в 1992–93, — а на присвоение всего антуража нашей цивилизационной и государственной истории, на статус

---

<sup>177</sup> Говоря о приносимом цивилизацией новом «наборе сущностей», Володихин, однако же, под именем «сущностей» перечисляет одни лишь явления и артефакты («Вот древнегреческий храм и древнегреческая триера, вот римский легион... вот стрельцы и рынды Московского государства»). Для моего спора с ним это момент первоначально важный.

<sup>178</sup> Я убежден, что восстановление нашего цивилизационного ритма, которое я в других работах представляю как победу нашей народной контрреформации над контрреформацией фрондерской, элитарной — будет отмечено отказом от этой дурной гимнической поделки и, возможно, обращением к гимну Свиридова-Твардовского.

«исторически сложившегося строя». Подытоживая достижения победителей 1991–93-го за время их правления, нетрудно убедиться в политическом и культурном бесплодии этих людей, принесших со своей победой затяжную, заполненную однодневными фантомами паузу в ритме нашей цивилизации.

Я опасаясь, что программа «викторианской России» в забавных формулировках Володихина (независимо от его собственного политического кредо, представляемого мной довольно смутно) может быть использована как средство маньеристской эстетизации цивилизационного провала, каждый год поглощающего сотни тысяч жизней. Надеюсь, проделанная мною реконструкция базисных смыслов проекта достаточно наглядно показывает такую возможность.

В докладе есть и иные моменты, укореняющие его в духе разывшейся в России верхушечной, или фрондерской контрреформации, которая сменила нашу великую — во всех ее ужасах и абсурдах — большевистскую реформацию. Например, Володихин неоднократно говорит о Русской цивилизации как о погибающей, мертвой — «вот уже два десятилетия, как мертвой» к началу Великой Отечественной войны. Но если вы, г-н Володихин, признаете, что выстраиваете русское будущее под брэнд «мертвой» цивилизации — а именно таким оказывается «александровский» брэнд — то кто, спрашивается, обнимается с гробами? И когда, оторвав СССР от истории «мертвой» цивилизации, на которую Вы ориентируетесь, Вы тут же объявляете «и его достижения» своим наследством, что это, если не утилизаторское манипулирование с реликтами «мертвых» для Вас эпох, — по ходу которого оформляется вполне приемлемый для старателей поддержания нынешнего расклада и украшения новорусского быта охранительный водевиль «викторианской России».

К тому же, заявляя об имеющихся сегодня «признаках возрождения» страны, Вы воспроизводите общее место демагогии «утилизаторов», особенно в их путинской мутации. Кстати, если Русская цивилизация мертва и оставивший Вам наследство СССР тоже мертв, то что же показывает «признаки возрождения» и что способно, по Вашим словам, подняться как «самостоятельная и даже... самодостаточная цивилизация»? Что она такое — Ваша Россия, охочая разыгрывать спектакль в антураже «мертвых» цивилизаций, если не наличная «Россия утилизаторов»?

Мне лично близка точка зрения — высказывавшаяся, в частности, Михаилом Ремизовым, что сейчас говорить о конце смуты и призна-

ках «возрождения» и «выздоровления» значит силиться законсервировать определенный этап этой Смуты. Сегодня идеал «уютной» державы, где государь и вельможи — «свои» для простой чади, если он не служит открыто суду над реальностью, слишком легко раскрутить в целях противоположных — преподнося этот идеал как осуществленную данность и пропагандируя среди массы за порогом корпорации пиетет к тем, чей собственный реестр «своих» заканчивается на секьюрити («боевых холопах», по определению Андрея Фурсова) и личных шоферах.

Все сказанное затрагивает и характеристику революционера — лучше сказать, «бунтовщика» — как «марсианина». Я не знаю — готовы ли Володихин признать наличный в России режим за «сложившийся строй». Но мне довелось на просмотре спилберговской «Войны миров» в кинотеатре «Родина» города Орехово-Зуево услышать собственными ушами в тот момент, когда из-под земли полезли невесть сколько ждавшие своего часа треножники: «Вот так вылезли и наши правители». В конце концов, прецеденты подобной трактовки власть предержащих в мировой фантастике общеизвестны — напомним, хотя бы, «Людей десятого часа» Стивена Кинга. Если наметившееся сегодня в России сословное разделение сохранится в существующих формах и усугубится, а русские, как я когда-то писал, представят в XX–XXI вв. аналог европейского пути — от битв Реформации к 1793 году, — то этот путь будет сопровождаться столкновением двух мифов. В одном бунтовщики будут рисоваться Зелеными Склизкими Чужаками, а в другом правящие странюю вместе с верхними пятью процентами — узурпировавшей Святую Русь нечистью. Вот такие, как выражался фигурант из «Братьев Карамазовых», предстанут две фантастические правды, и не сказать, какая из них окажется почище.

Важно понять, что в условиях сегодняшнего объединенного мира задача политического «обламывания рогов» у неадекватной элиты не может ставиться по-большевистски — как только смена верхушки и захват государственной машины партией с добрыми намерениями. Мы слишком убедились на том же большевистском примере, что складывание у властных рычагов «нового дворянства» получает естественное продолжение в его выламывании из национального общества, в попытке непосредственно замкнуться на структуры объединенного мира, на мировой «стол сильных и богатых». Власть может стать для народа России хоть сколько-нибудь «своей» — повторюсь — если народ сможет внутри себя выделить достаточно широкий и открытый политиче-

ский класс, способный контролировать любых выдвиненцев к властным «кормилам», в том числе поднявшихся из этого самого класса — и в случае необходимости через свои институты и организации пресечь попытку присвоения государства любой элитарной фрондой<sup>179</sup>. Политический класс, который выступит властной контрэлитой<sup>180</sup>.

Когда-то Шпенглер ярко развил мысль, что в истории любой цивилизации — высокой культуры — реализуются две культурные и общественно-психологические партии: «партия жизни», опирающаяся на импульсы культурно-аранжированных биологических ритмов, и «партия ценностей» (вносящая в жизнь общества высокое напряжение суда над данностями). Сам Шпенглер, с его преклонением перед аристократией, склонен был делать в своей историософии основной упор на партию жизни, каковую, по его мнению, на первой, аграрно-сословной стадии, истории цивилизации представляет знать в противоположность первичному исполнителю партии ценностей — духовенству. Но применительно к России наших дней я вижу цивилизационную роль этих партий существенно иначе, нежели чтимый мной мыслитель<sup>181</sup>.

После большевистской реформации у нас нет знати. Но у нас есть пытающаяся подменить государство, отождествив его с собою, псевдо-знать в ее очевидной бездарности. Выступать сегодня с партией жизни в любой из ее версий — прославляя ли аристократические доблести, превознося ли разгул «капризно-неприхотливого нутра» или вбрасывая в «быдло» лозунг «выживания» — значит, работать на притязания

---

<sup>179</sup> Мне вспоминается разговор с одним замечательным отечественным политологом об этимологическом тождестве слов свобода и слобода. Разъяснив это тождество в смысле «свободы как возможности быть среди своих», он назидательно добавил: «А если тех, среди кого пребываешь, не считаешь за своих, так они такого тебе покажут, что и своих не узнаешь!»

<sup>180</sup> В истории самый наглядный пример властной контрэлиты — римские плебеи после введения института народных трибунов, собственно «плебейских трибунов», с правом накладывать вето на любые решения патрицианского правительства. Но патриции были реальной традиционной знатью огромной политической силы. У нас же задача самоорганизации национального политического класса как потенциальной властной контрэлиты связана с неизбежным особым статусом любого правящего российского слоя в наш век, с его пребыванием на стыке российского общества и мирового порядка.

<sup>181</sup> Однако гениальность Шпенглера заключается уже в том, что третируемую Ницше «мораль рабов» он глубоко переоценил как партию ценностей в цивилизованном контрапункте, сохранив за «моралью господ» статус партии жизни.

псевдознати, на ее усилия образовать господствующее сословие<sup>182</sup>. Историческое викторианство являло собой нагляднейшее торжество партии ценностей, представленной пуританской буржуазией — наследниками и потомками кромвелевских «железнобоких» — под знаком высокого напряжения нового аристократизма и новой героики (вспомним грезы Стивенсона, подвиги Шерлока Холмса и ритмы поэзии Киплинга). У Володихина — с его любованием игрой в Империю, соединением духовной облегченности и этологической утяжеленности, (благодушный деспотизм, терпимо подсмеивающийся над философическими дискуссиями!), викториозного нахрапа с экстазами нутра — мы видим чистейшей воды партию жизни ровно в том регистре, в каком эта партия наиболее приложима к обслуживанию самолюбования псевдознати.

Вопреки этому автору, я вовсе не думаю, что оригинальность цивилизации, а также принесенных ею в мир новых сущностей вполне сводима к ее внешним проявлениям в социальных играх и артефактах. В конце концов, внутри выстраиваемого Западом объединенного мира переливаются десятки этнических колоритов, и все они, «от китайского до итальянского, от польского до ирландского — ... по сути совершенно одинаковы», как обнаружил герой романа Дина Кунца «Ангелы-Хранители», обойдя множество национальных ресторанчиков. В том же «Сибирском цирюльнике» изображение «императорской России, красивой, богатой, исполненной мощи, верной Богу и государю» служит национально-экзотическим брэндом выставляемой на мировой кинорынок истории о том, как здорово упрямая русская кровь влилась в жилы великой американской нации. Национальная окрашенность обычаев и изделий способна поистине стать глиной для большой цивилизационной лепки — но не более того!

Сущность цивилизации, выделяющая ее в мире, — это организующее жизнь ее народов суждение об этом мире, которое может переходить в суд над ним. Бог как бы говорит цивилизации: «Суди мой мир, да с ним будешь судима!» Внешние приметы высокой культуры потому и служат ее образами для нас, что представляют оплотненную, свернутую форму, метонимию этого суждения, как колокол — это материализованный звон. Таковы все примеры, перечисляемые в начале

---

<sup>182</sup> Я благодарю Бориса Межуева, с которым мы еще в 1990-х много беседовали о конкретном политическом смысле, обретаемом партией жизни и партией ценностей в современных российских обстоятельствах.

доклада Володихиным, и многие-многие другие: и хранящий границу империи от варваров римский легион, и связующая концы Средиземноморья триера, и придворный ритуал Третьего Рима, и буденовка с красной звездой, и мусульманская чалма. Надо сказать, этика сама по себе так же не диагностична для цивилизации, как и эстетика, пока за ее предписаниями не распознаем специфики вершимого над миром суда. Душеспасительные ценности, признаваемые «викторианской Россией» Володихина — каковы «вера в Святую Троицу и Любовь... милосердие, добротолубие, внутреннее благородство, нравственный пуризм, культурное хранительство» — не дают никакого повода говорить об их носителях как о какой-либо «новой» и «самостоятельной», а то и «самодостаточной» цивилизации. Присутствие России в мире свидетельствовало с XVI века не подобными, отчасти общехристианскими, отчасти общечеловеческими трюизмами, а фундаментальным мироопределяющим суждением (способным трансформироваться от образа Третьего Рима среди потопленной Вселенной до мифологии большевизма), превращенной формой которого в разные эпохи выступала и сама российская государственность. О «мире без России» сегодня все чаще говорят именно потому, что голос, звучащий в планетарных контрапунктах как воплотитель этого суждения-суда, замолк с началом 1990-х.» Викторианство» — метафора слишком обязывающая как раз тем, что исторически оно было с начала и до конца суждением и судом. Поэтому нельзя применять эту метафору к проекту, в котором тема российского мироопределяющего суждения даже не обозначается, — без чего невозможно и оценить ельцинско-путинские годы по праву — как зияющую цивилизационную паузу (только в эту пору русская литература могла породить такой образ, как президент Ремир из романа Юрия Козлова «Реформатор», делающий российским национальным гимном ... минуту молчания).

Володихин исключительно удачно возгласил в Интернете, что «наши подводные лодки должны всплывать» в начале того самого лета, когда наш батискаф не разделил участи «Курска» исключительно усилиями британских спасателей. Что же делать, если мы живем при таком режиме, при котором подводные лодки не всплывают?

*Их корабли в пучине водной  
Не сыщут ржавых якорей...*

Когда это было сказано? В 1907-м или в 2005-м?

В русской литературе наших лет настоящая «игра на повышение, на героизацию» рождается исключительно в развитие звучащей голосом Суда партии ценностей — как критика действием, которая врывается в историческую паузу, обрубаёт её глухоту. Я высоко ценю криминальные и бульварные романы Виктора Пронина (весь сериал «Банда», «Террористы и заложники», «Ворошиловский стрелок»), Сергея Т. Алексеева («Пришельцы (Долина Смерти)», «Утоли мои печали», «Покаяние пророков», первые три романа из цикла «Сокровища валькирии»), Анатолия Афанасьева (цикл о бандите Алеше Михайлове, «Зона номер три» и «Монстр сдох», «Ужас в городе», «Одиночество героя», «Реквием по братве»), за то, как партия ценностей у этих авторов интегрирует и нацеливает партию жизни, как русское суждение о мире восстанавливается через действие, осуществляющее суд над временем провала. Признаю, у меня немало претензий к названным писателям. Но я не в состоянии нынче требовать ещё и художественной безукоризненности от произведений, со страниц которых веет в лицо живой дух нашей цивилизации — высокой культуры. Как говаривал главный герой пронинской «Банды», идеальный Гражданин-Начальник, защитник прав живых и мертвых, следователь по особо важным делам Павел Пафнутьев, в последней «Банде-8» уже готовый взяться за дела обоих президентов России, прежнего и нынешнего:

— *«Чуть попозже, ребята, чуть попозже!»*

*«Агентство Политических Новостей», 2005 г.*

## ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ГЕОПОЛИТИКА — СКВОЗЬ «ПИСЬМО ВОЖДЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

Среди нынешней «солженицынской» дискуссии на АПН статья Б. Межуева «*Александр Солженицын и русское Будущее*» выделяется осмыслением удивившего современников «*Письма вождям Советского Союза*» как свидетельства о большой «подковерной» борьбе идеологий в руководстве СССР начала 1970-х. О борьбе, продолжающейся и по ту сторону — по нашу сторону! — разрушения Союза в молодой генерации нашего политического класса и сохраняющей огромное значение для исторической судьбы России. Отчасти под впечатлением от этой статьи я хотел бы предложить свой комментарий к геополитическим мотивам «Письма вождям» как показателям цивилизационного хода России, в который мы все включены. И на который иные из нас по разным мотивам не оставляют надежды повлиять.

### ДЕКАБРИСТСКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ

На фоне истории русской политической мысли «Письмо вождям» поражает едва ли не более всего тем, как идеологическая оппозиция властям в этом произведении перерастает в оппозицию геополитическую. Писатель предлагает советским лидерам геополитический проект, который противостоит реальной ситуации России — СССР 1970-х, сверхдержавы, созданной нашей большевистской реформацией и пребывающей — с чем согласен Солженицын — в пике своей силы.

Вообще-то, как правило, для русской политической оппозиции типично либо игнорирование геополитики (народники времен Александра II, ранние социал-демократы и эсеры, большинство советских диссидентов), либо надежда реализовать свои цели через ту же самую мировую ситуацию, в которой действует и власть (славянофилы, Герцен, кадеты, евразийцы). Солженицынская пропаганда сосредоточения государственных усилий на русском Северо-Востоке со свертыванием большой советской игры в Европе и на «дальних континентах» и «*построением более, чем половины государства на новом, свежем месте*» в этом отношении необычна. Но не уникальна. Прецедент у нее есть — и



не обращают на него внимания обычно лишь из-за крайней неразработанности истории российской геополитики.

Я имею в виду геополитику декабристского движения. Странным образом она оставлена почти без внимания в многочисленных советских трудах о декабристах (где в основном упоминается выросший из польских корней панславизм т.н. Общества соединенных славян — кружка немногочисленного и скорее маргинального в рамках движения как идейно, так и организационно)<sup>183</sup>.

В своих основных установках декабристская геополитика была ответом на проект Священного Союза, каким он виделся его инициатору Александру I. А для Александра вопрос стоял о восстановлении единства всего европейско-христианского мира с опорой на консенсус крупнейших династий, представляющих три ветви христианства, при моральном первенстве православного императора как «освободителя Европы», главного творца победы над Наполеоном. По его мысли, новый политический порядок Европы сменял не только эпоху революции и насильнической псевдоимперии (наполеоновской Анти-Империи), но и подводил черту под «расшатанной» Западом идеологией и практикой силового баланса XVIII в. — раннего модерна, с его эгоизмом «государственного резона» и непрерывной перегруппировкой коалиций. По Александру, принцип силы должен был сохранить применимость лишь в отношениях с нехристианскими державами и народами.

Весь этот проект мне приводит на память вычитанное в одной из работ М. Делягина понятие *метатеchnологии* — технологии власти, отмеченной приоритетом основного, преимущественного пользователя, так что ею нельзя воспользоваться в ущерб ему и его влиянию. Порядок Священного Союза, будучи принят европейскими правительствами, выразил максимум европейского влияния аграрно-сословной России — так же, как «ялтинско-потсдамская» Европа станет стратегическим максимумом России большевистской (реформационной, в моем понимании) с ее упором на городской плебс и рождающееся из него протобюргерство как на первенствующий социальный слой. Говоря современному, Священный Союз утверждал геокультуру христианского универсализма как метатеchnологию обустройства Европы, где бы за православным царем закреплялся статус «совестного судьи» (замысел,

---

<sup>183</sup> Впрочем, ценные материалы можно найти в книге: Орлик О.В. *Декабристы и внешняя политика*. М., 1984.

энергично поддержанный таким светилом православия, как Филарет Московский, что ярко показал А.Зорин в своей книге «Кормя двуглавого орла»).

Нападки на Священный Союз католических ортодоксов, вроде Ж. де Местра, видевшего в его идее влияние масонского надконфессионального христианства, не достигали цели. Они показывали лишь то, что сама по себе масонская утопия, возникшая в религиозных войнах XVIII в., была ни чем иным, как перерожденной формой средневековой мечты о Res Publica Christianica. Александр I должен быть, без сомнения, оценен как последний великий средневековый человек, которого видела Европа модерна.

Полвека назад молодой Г. Киссинджер в своей книге о Венском конгрессе *«Восстановленный миропорядок»* («A World Restored»), играя за Меттерниха — партнера-антагониста Александра, — продемонстрировал, каким образом замысел европейско-христианского Союза был подменен пятиугольным «концертом» сверхдержав (Австрия, Англия, Россия, Пруссия, Франция), в котором перегруппировка интересов и голосов позволяла в одних случаях нейтрализовать Россию, в других — использовать ее потенциал, шантажируя иллюзии императора как «хранителя Европы». Россия оказывалась опорой строительства на «умиротворенном Западе новых сфер влияния (австрийской в Италии, австро-прусской в Германии) и заодно «оплотом реакции», поскольку эта нарезка шла под лозунгами борьбы с революциями и конституционными движениями, якобы возмущающими европейский консенсус. И, наконец, в 1820-х российский политический класс изумленно увидел «христианскую» легитимистскую Европу, распространяющую свое покровительство на турецкого султана как на такого же законного монарха, приветствующую его расправы с православными греческими повстанцами — как с разновидностью революционеров — и парализующую намерение Александра вмешаться в балканское кровопролитие.

Отталкиваясь от универсалистского христианства Александра I как дискредитированной, несостоявшейся метатехнологии и уничтожительно видя в императоре «волонтера чужого дела для России» (декабрист А. Поджио), геополитика декабризма словно обращает к его европейско-христианскому видению язвительный риторический вопрос: *«Да что здесь нашего?»*

Раскроем «Русскую Правду» П. Пестеля — эту поразительную конституцию с подробным перечнем земель, которые еще должна бы во-

брать Россия, чтобы географически полноценно осуществиться как государство. Мы видим здесь на западе не входящие в нее, но союзные Царство Польское, буфером закрывающее и отодвигающее Декабристскую Россию от габсбургско-бурбонской Европы. По одному из вариантов со стороны Средиземноморья Россию бы прикрыло федеративное Царство Греческое из множества балканских обрезков Турции. На юге Россия охватывает причерноморский Кавказ, примерно до нынешнего Батуми, казахские («киргиз-кайсацкие») степи по широту Арала и монгольские степи до Китая с их караванными транзитами. На Тихом океане — русские флоты, военный и торговый флот на Амуре. Столица в Нижнем Новгороде, новонареченном Владимире, на стыке транзитов из Азии и Европы. В конституции Пестеля пафос *«открытия Востока»* «через удобность сношений, которые сии приобретения доставят России со всеми почти народами Азии» соединяется с мотивом географического завершения, «отвердения» страны, с отклонением искусов ползучего панконтинентализма: *«Далее же отнюдь пределов не распространять»*.

Сподвижник Пестеля декабрист А. Корнилович в записке Бенкендорфу из Петропавловской крепости напишет о двух целях России: на западе цель — безопасность, оборона, на востоке — торговля.

А на севере декабристы к середине 1820-х стягиваются вокруг Русско-американской компании, чей управитель К.Рылеев твердо продолжает геополитику, выработанную за четверть века предшественниками. Геополитику, добившуюся от Александра I объявления Берингова моря внутренним морем России, заложившую форт Росс в Калифорнии, вгрызающуюся в американский континент, дабы развитием хлебопашества снизить зависимость от петербургского привоза, прощупывающую шансы суверенитета над Гавайями как большой стоянкой. Так впервые занятно встретились Соединенные Штаты и Россия: первые — поднимая континентальную доктрину Монро, вторая, пытаясь замкнуть морское кольцо на севере Пацифики<sup>184</sup>. Декабристы Русско-американской компании представляют, таким образом, второй вариант декабристского восточничества, скорее дополняя, достраивая пестелевский, чем с ним конкурируя (изумительна фигура Д. Завалишина, связанного с компанией полуформально, но совершенно одержимого идеей Русской Америки как пространства русской свободы).

---

<sup>184</sup> См.: Болховитинов Н.Н. *Русско-американские отношения 1815–1832 гг.* М., 1975.

*Так из коллапса Священного Союза — нашего первого европейского максимума — возникает геополитика, выстраивающая образ России как ушедшего из Европы, отстранившегося от нее и от Средиземноморья царства (или республики) на востоке. Эта геополитика станет началом и прототипом всех наших восточнических проектов.*

Но она же готовностью к отказу от европейской роли, обретенной в великом походе 1813–14 гг. послужит — прямо или косвенно — вызовом для новых, спорящих друг с другом российских геополитических самоопределений. То есть вызовом — и попытке при Николае I выстроить по-новому геокультурно окрашенный силовой баланс — связать Россию с консервативной германской Европой, якобы прочно хранящей истинные начала западной цивилизации, против Европы революционной с эпицентром в Париже. И панславизму со всеми его рисками — еще М. Погодин отмечал, что, будучи повернут Западом против России, он может свести ее границу к древней Смоленской стене. И призыву Чаадаева вернуться в Европу «совестными судьями» — кто бы нас туда звал! — ценой отказа от всякой реальной политики. И надежде Герцена на рождение социалистического мира из разрушения буржуазной Европы победой армии Николая I в надвигающейся войне 1850-х (думалось, что эта война развернется не в Крыму, а на европейских равнинах).

И этот *спор геополитических версий*, пытающихся ухватить отношение России к поднимающемуся Западу зрелого модерна, как видно сейчас — носителю планетарной мир-экономики с ее силовыми имперскими надстройками — вольется в ту общую, пышную идеологическую смуту, которая сперва предварит, а затем будет сопровождать вступление самой России из аграрно-сословной эпохи в эпоху городскую.

## **СЕВЕРО-ВОСТОК — ПРОТИВ ЕВРОПЫ, СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ И ИДЕОЛОГИИ?**

Открываемое главкой «Запад на коленях» «Письмо вождям» звучит преувеличенным — не побоюсь сказать, льстивым — гимном нашей второй кульминации европейского влияния, уже на основе коммунистической идеологии, — новой метатехнологии власти. «...*Все вместе европейские державы перестанут существовать как серьезная физическая сила... их руководители будут идти на любые уступки за любую благосклонность руководителей будущей России и даже соревноваться за эту благосклонность...*». В этой второй кульминации ряд драматиче-

ских проблем царской дипломатии отпал сам собою — так вопрос Черноморских поливов обесценился для большевистской империи, «далеко шагнувшей... в Средиземное море и в океаны» (в те же годы С.Коэн, указывая на успехи советского флота, пишет о бессмысленности стараний заблокировать доступ «империи хартлэнда» к океанам: «Что толку сторожить загон, когда лошадь ушла на волю?»). Договариваясь даже и до того, что «*Западный мир как единая весомая сила перестал противостоять Советскому Союзу, да почти даже перестает и существовать*», Солженицын выстраивает образ идеологически им отвергаемой, но признаваемой как данность мощи в понятиях «Европы», «Средиземного моря», «океанов» и «далеких континентов». Именно это позволяет ему совершить *геополитический противоход*, по типу вполне сравнимый с декабристским ответом Священному Союзу.

Можно лишь удивляться, «из какого сора» растут геополитические образы в их контрапунктах. Из соединения «страха китайского» (с кивками на А. Амальрика), из алармистской демагогии первых докладов Римского клуба, подносимой «вождям» как неоспоримое слово науки, и из респектабельной советской топики «новой Сибири» (Братская ГЭС, БАМ, новосибирский Академгородок, призывы молодежи на сибирские стройки, песни про «туман и запах тайги») с замахом опять же вполне советской гигантомании — «*более чем половина государства на новом, свежем месте*» — поднимается политически заряженный географический символ нового «центра государственного внимания и центра государственной деятельности». А заряженность достигается исключительно тем, что «северо-восток Европейской нашей части, север Азиатской и главный массив Сибири» сводятся в оппозицию с «Европой и океанами», взятыми как образ советской коммунистической победоносности. Идеологический спор «заземляется». «*Еще ли нам не отказать от Средиземного моря? А для этого прежде всего — от идеологии*».

Задумаемся теперь над предпосылками этого «противохода».

Общеизвестно, что «Письмо» появляется на переломе сразу двух жизненных трендов писателя-идеолога — как его отношений с советской системой, так и личной эволюции. После конъюнктурных игр с властью в 60-х (посылки текстов на суд хрущевского референта Лебедева, беседа с завотделом ЦК Демичевым в 1965 насчет «строительства коммунизма в людях прежде, чем в камнях», письмо Брежневу в 1966 с моральным отречением от «одиозного» «Пира победителей»), посленобелевское начало 70-х было отмечено желанием поставить отноше-

ния по-новому. Говоря словами Маяковского, — «как у державы с державой». Первой такой попыткой было письмо Суслову сразу после присуждения премии, где конкордат предлагался на условиях, для большевистской власти более, чем льготных: издания в СССР «Ракового корпуса» с его темой «нравственного социализма» и только что завершено «Августа Четырнадцатого» в первом варианте — то есть романа о вырастании революции из военного краха самодержавия<sup>185</sup>.

Парадокс в том, что «Письмо вождям» — вторая, гораздо более серьезная, попытка конкордата, перебитая налетевшей высылкой — всегда и по праву рассматривается как первое открытое явление «нового», «другого» Солженицына, шаг за шагом отталкивающего западных и советских его поклонников. Солженицына Гарвардской речи, врага детанта «правее Барри Голдуотера»; Солженицына, клеймящего Февраль, превозносящего старообрядчество и неустанно разводящего СССР и Россию — осуждающего США за военный союз со Сталиным и даже готового отказать Великой Войне 1941–45 гг. в праве именоваться «Отечественной». Солженицына-«аятоллы», с которым как с символом русского национализма отказался персонально встречаться Рейган.

Нельзя не видеть: во множестве перечисленных моментов имидж «нового Солженицына» определен высылкой и конъюнктурой «другого берега». Однако исходными и первичными своими чертами он был заявлен не на «другом берегу», а по ходу второй и серьезнейшей попытки договора с системой. И в этой своей первоначальной презентации новый имидж (помимо требования религиозных и политических свобод) крепко соединял три темы.

Это был, во-первых, призыв к отказу от коммунизма как метатехнологии мировой власти и к сбросу этой метатехнологии на конкурирующий за нее с вождями Союза Китай.

Во-вторых, как уже знаем, — антитеза Большого Северо-Востока, пространства строительства новых и возрождения старых, «мягких для жизни» русских городов — соединенному с отвергаемой идеологией комплексу «Европы» и «океанов».

Наконец, в-третьих, — противопоставление среднего и малого города как основной формы и средоточия национальной жизни — мегаполису, «высасывающему» страну, имитирующему в своих конструкциях центры Запада и воздвигнутому в одержимости власти решением «ин-

---

<sup>185</sup> Островский А. *Солженицын: прощание с мифом*. М., 2004, с. 277–278.

тернациональных задач». Собственно, врезавшемуся в страну денационализованному космополису.

Все остальное — и присутствовавшее уже в самом «Письме», и сцепившееся в годах с «новым Солженицыным» — было производно от этих трех тем, которым в уточненном, по-иному проясненном звучании суждено, на мой взгляд, стать *лейтмотивами цивилизационного хода русской контрреформации*.

Материалы КГБ и Политбюро о писателе, опубликованные под титулом «*Кремлевский самосуд*» (М., 1994), позволяют продвинуться к истокам и связать этот комплекс с тем образом «правительства без возможностей» и мотивом «рвущихся приводных ремней», что фиксируются в разговорах Солженицына середины 60-х. «*Это правительство без возможностей... У них просто нет приводов ни к идеологии, ни к экономике, ни к массе, ни к внешней политике, ни к мировому коммунистическому движению...*». Нет оснований не верить показаниям из «Самосуда» о том, что восприятие всего советского — в широком смысле слова — пространства как выстроенного и удерживаемого метатехнологией коммунизма вызывало у писателя уже к 1965 г. предчувствие его сворачивания — при распаде метатехнологии — до ядерной великорусской платформы вопреки историческим, экономическим и иным апелляциям.

В том-то и дело, что 60-е и начало 70-х давали все новые подкрепления ощущению «рвущихся ремней». Антагонизм с Китаем представлялся необратимым. Массы западных левых переходили в маоистскую епархию — «Маркс, Мао, Маркузе!». Москва оказалась полностью в стороне от тряхнувшей Запад «революции хэппиэннингов» 1968 г., вознесшей в исторически почти невероятном соединении культовые фигуры Мао и Троцкого — и сдетонировавшей во Франции величайшую послевоенную забастовку, в которой профсоюзники и коммунисты подняли лозунг «народного правительства». *Коммунизмов в мире становилось слишком много...*

В событийном контексте 1968 г. сейчас иначе видится судьба «Пражской весны». Разумеется, консерваторам из советской верхушки, вроде Косыгина, она давала повод бояться «венгерского сценария». Но в известных по воспоминаниям З. Млынаржа дискуссиях Брежнева с вывезенными в Москву чехословацкими коммунистами проступали совсем иные мотивы. По Млынаржу, «реалист» Брежнев (как не вспомнить здесь повторяющиеся до навязчивости апелляции автора «Письма» к «крайнему реализму» вождей Союза), насмехаясь, «давал...

поистине полезный урок» «нам, фантазерам», рассуждающим о какой-то модели социализма, которая подошла бы для Европы, в том числе и Западной; он, реалист, знает, что «это уже пятьдесят лет [то есть с 1917 г.! — В.Ц.] не имеет никакого смысла»... Граница социализма, то есть граница СССР пока проходит по Эльбе [так! Граница социализма мыслима только как непосредственно имперский предел России-СССР — В.Ц.]. И американский президент согласился с этим, так что еще лет пятьдесят все останется без изменений». И — еще чуть раньше: «*Вы надеетесь на коммунистическое движение в Западной Европе? Но оно вот уже пятьдесят лет не имеет никакого значения*» с последующими специфическими выпадами в адрес «какого-то там товарища Берлингуэра»<sup>186</sup>. И это все говорилось сразу после парижских событий!

Август 1968 г., явившийся практической демонстрацией «доктрины Брежнева», может быть с полным правом назван ответом не только на «Пражскую весну», но и на весну парижскую. Есть все основания утверждать, что без разгрома «Пражской весны» как удара по еврокоммунизму, невозможны были бы Хельсинкские соглашения 1976 г. с «доктриной Брежнева». Но, с другой стороны, декларация «ограниченного суверенитета» восточноевропейских коммунистических режимов неизбежно должна была плодить в поле своего действия криптоантисоветские анклавы вроде румынского, поглядывавшие в сторону Пекина с его независимым коммунизмом.

То что Межуев пишет о группе А. Шелепина, надеявшейся воссоздать идущий вразлом коммунистический гроссраум большим компромиссом с Китаем, особенно интересно в свете одной перипетии июля 1968 г. А именно, как тогда Шелепин, выступая за «вмешательство политическое» против «вмешательства военного», убеждал «большую тройку» — Брежнева, Косыгина и Подгорного — в полном ее составе отправиться в Прагу и навести там порядок в делах и мозгах чехов. Можно согласиться с историками, полагающими, что такая поездка должна была стать концом карьеры этих славных людей — и они не были дураками, когда вместо себя послали в Прагу танки социалистического содружества<sup>187</sup>. Когда-нибудь идеологическая история последних 30 лет СССР предстанет — да ведь и уже сейчас предстает, в том числе в своих геополитических изводах — куда более захватывающей, чем все конспирологические построения А. Дугина.

<sup>186</sup> Млынарж З. *Тот август шестьдесят восьмого* // «Юность», 1990, № 1, с. 73.

<sup>187</sup> Латыш М. «Пражская весна» 1968 г. и реакция Кремля. М., 1998, с. 156.



Однако и план шелепинской группы едва ли мог предохранить коммунистический гроссраум от разрыва: ведь резкий крен влево неизбежно отторгал от геокультурного пространства, контролируемого Советами, традиционные европейские коммунистические силы и, не исключено, некоторые режимы народной демократии, уже принявшие и по-своему пережившие десталинизацию.

Что говорить о судьбе коммунизма как метатехнологии во второй половине 70-х со становлением объединенного Вьетнама антикитайским центром силы в Восточной Азии. Особенно после того, как беззаконнейшее вьетнамское вторжение в прокитайскую Кампучию вывело на свет Божий эксперименты былых сорбонских воспитанников по изничтожению всевозможных видов разлитой в обществе, согласно трудам М.Фуко, скрытой власти — власти старших поколений над младшими, городов над деревней, грамотных над неграмотными и т.д.?

А тем временем поступь детанта, неожиданно открывшиеся симпатии Мао к американским консерваторам и столь разгневавшее Солженицына в его «Письме» обращение СССР в топливный тыл Европы потихоньку приближали мир к киссинджеровскому идеалу. К тому многополярному порядку, с коммунистическими и некоммунистическими полюсами, в котором новый Меттерних, перегруппировывая союзы по интересам, так же повязывал коммунистов-идеократов раскладом «концерта» как его прообраз из «*Восстановленного миропорядка*» — Александра I с его великой европейско-христианской иллюзией.

Когда-то в 50-х православный националист Б. Кирьянов начинал свою пропаганду в лагерях с того, что, раскрывая перед солагерниками советский географический атлас, очерчивал размеры красного — коммунистического — сектора на Земном шаре с восторженными словами «Все наше». То есть — все единое имперское поле для засева преобразительной проповедью<sup>188</sup>. В 70-х людям, разделявшим взгляды Кирьянова, огромная часть того же поля уже не могла видаться «нашей». А Солженицын уже с 1965-го предполагал, что «разрыв приводных ремней», все нагляднейший, способен еще разительнее сократить пространство «нашего» для русских. «Новый» Солженицын в 1974 г. вырисовался в попытке диалога с «крайними реалистами», для себя однозначно поставившими крест на западном коммунизме и видящими опасность исключительно в коммунистическом гиганте Азии. Оказав-

---

<sup>188</sup> Митрохин Н. *Русская партия: движение русских националистов в СССР. 1953–85 годы*. М., 2003, с. 434.

шимися при «взбесившейся» идеологии, теряющей метатехнологическую применимость.

Восточничество «Письма вождям», зовущее к строительству *«больше, чем половины государства на новом месте»*, на месте неотторжимом, которого не нужно бояться потерять по ходу грядущей редукции — вырастает как своеобразный ответ на закат метатехнологии нашего второго имперского максимума, вырастает из того же вопроса, который геополитики декабризма обратили к Священному Союзу: *«Да что здесь нашего?»*.

*«Агентство политических новостей», август 2005 г.*

## СОЛЖЕНИЦЫН И РУССКАЯ КОНТРЕФОРМАЦИЯ

Как когда-то в ситуации со Священным Союзом попытки охранить единство коммунистического гроссраума в 1960–70-ых упирались в урезание политических претензий России, в расшатывание господствующей идеологии как метатехнологии власти. Так или иначе, империя была вынуждена самоограничиваться — либо вместе с географическим полем идеологии, либо пытаясь поддержать это поле политическим уступками идейным союзникам и превращаясь из силы ведущей в силу ведомую — часто за очень сомнительную благодарность партнеров.

И однако же, разница с судьбою декабристского прецедента огромна. Конец «Александрова века» сам по себе еще не был концом ни аграрно-сословной фазы с ее православной сакральной вертикалью, ни Царства как политического воплощения той стадии бытия, — мы знаем теперь, что он лишь предвещал стадийный переход с его идейным цветением (или зацветанием?). Конец коммунизма как метатехнологии обернулся надломом квазисакральной вертикали, державшей самое Россию в ее реформационной ипостаси России—СССР. Голос Солженицына зазвучал одним из голосов русской контрреформации, стремящейся вернуть дореформационные ценности новому горожанину, созданному большевистскими десятилетиями.

Я не хочу много говорить о «неверных» нотах солженицынского контрреформационного «запева», которые должны были смущать иных участников движения. Воспринимая большевизм в двух качествах — как часть планетарной антисистемщины и как недолжную ипостась самой России — он был готов трактовать большевистские десятилетия нашей государственной истории на правах чуть ли не всецело «отреченных» (так для двух религиозных ликов Европы, глядевших друг в друга в XVI–XVII вв., папа и Лютер представляли образы абсолютного зла).

Эта односторонность, несомненно, проявилась в его отношении к Великой Войне 1941–45, в возвышении власовских теней. Что, кстати, напоминало не самый удачный историко-ревизионистский опыт декабристов — рылеевскую попытку представить образы Мазепы и Войнаровского героями свободы. Все-таки для нас основным Мазепой на-

шей традиции навсегда останется не персонаж «Войнаровского», а герой пушкинской «Полтавы» — поэмы, которой Империя сумела достойно ответить уже повешенному Рылееву. А ревизовать Великую Войну перед русскими еще безнадежнее. Нашими оценками Великой Войны определяется наша, а не ее значимость — как Моны Лизы, имеющей право выбирать, кому и как на нее глядеть. И как неожиданно иногда определяется — массивированный «полив» Суворова-Резуна насчет Сталина-агрессора для миллионов русских оказался едва ли не сильнейшей апологией тирана, который якобы лишь на день-два не успел предупредить «план Барбаросса»! И наша контрреформация окажется безжизненна, если в государственной истории реформационных лет не увидит того, что уже встало — как *народная* история — над разделениями внутри нашей высокой культуры и что она, контрреформация, должна будет принять как свое, если притязает быть новым обликом России.

Одним из следствий низложения большевистской вертикали стала утрата множеством русских сколько-нибудь признанных, внятных оценок мирового порядка и времени мира, артикулирующих в сознании общества место и позицию России. Сколько раз в 1990-х и 2000-х, произнося «Россия», я в ответ слышал «А ваша «Россия» — это кто?»

На деле, когда мы читаем даже сахаровские «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» (1968) с их императивом облагораживать влиянием социализма когда-то породивший его буржуазный мир, мы ясно слышим внятный и четкий язык *суда*, выделяющий большевистскую версию нашей цивилизации и не слишком отличающийся даже от того, который звучит, скажем, в светловской «Гренаде». Наше контрреформационное движение сможет определить новую фазу российской высокой культуры, более того — само выступить такой фазой лишь в случае, если обозначит твердые критерии суда над миром, *язык нового суда*. И некоторые приметы такого языка определенно проглядывают в выступлениях Солженицына последних лет, — например, в его речи о «Перерождении гуманизма».

Та часть «китайской проблематики» в «Письме вождям», которая была связана с идеей «сброса» обесцененной метатехнологии и с последующим, по сути *внесистемным*, положением России, — сегодня выходит, в основном освободившись от сугубо китайских коннотаций, на одно из главных мест во внутривосточной идейной распре. С дефолтом коммунизма как глобальной метатехнологии, идеологии мировой власти, политическая борьба на сцене мира, который выстроил

Запад, сводится к ресурсному переделу — впрямую или мимикрирующей под *схватку брендов* (о брэнде как преемнике религии и идеологии много и хорошо пишет в России Александр Неклесса). Последние пятнадцать лет брэнды послебольшевистской власти и ее риторической obsługi апеллируют исключительно к символической стоимости русских в глазах мирового порядка — или, по крайней мере, внушаемым самим русским представлениям об этой стоимости («либеральная империя», «страна, которой не было», «русский мир, с центром тяжести в диаспорах», «страна не агрессивная, но прогрессивная» и т.д.). На самом деле, сейчас во многом важнее то, каким будет сам миропорядок представляться ближайшему поколению русских, и что он будет стоить в их глазах. Для политизированной русской молодежи, сознающей насильнический и подложный характер мира, куда она попала, открываются *два* пути. Либо поодиночку или осколочными, выламываемыми из нации астероидными группами — в *планетарную антисистемщину*. Без гарантий, что дело жизни не сведется к припеву: «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб цену на нефть на два бакса поднять» или к порождению в играх «всемирного гражданского общества» новых брэндовых уродов не хуже восставшего из докладов Римского клуба «золотого миллиарда». Либо путь к утверждению России как мировой силы *внесистемной*, а не *антисистемной*, через становление и возобладание политического класса с определяющим место России *новым языком цивилизационного суда*.

Я допускаю, что молодежи разных частей страны этот выбор должен видаться по-разному: иначе в мегаполисах и сложных этнодемографических скоплениях юго-запада России, иначе — в Нижнем Новгороде и Томске, Новосибирске и Иркутске. Нашей контрреформации, коль скоро она поднимет эту ключевую тему из «Письма вождям», по необходимости, придется выходить и на две другие темы. Одна из них, как уже сказано, — отношение между городом как формой национального существования, соответствующей возрасту нашей цивилизации, и мегаполисом как агентом мировой динамики, «интернациональных задач». Этим вопросом сейчас оттесняется проблематика отношений города и деревни, сама судьба российской деревни определится по-разному в зависимости от путей его решения. И, далее, остается в силе тема *регионов и узловых точек, в наибольшей мере предрасположенных к утверждению нового образа России*, к «заземлению» контрреформации.

В конечном же счете все эти вопросы сведутся к одному — тому самому, встающему заново: «*Что здесь собственно наше?*» Все сомкнется на нем.

*«Агентство политических новостей», сентябрь 2005 г.*

## КАЗАХСТАН В НОВОЙ МИРОВОЙ СБОРКЕ

*По материалам семинара АПН-ИНС 30 июня 2005 г. «Цена «казахстанского вопроса» для России».*

Я хочу вернуться к тому, о чем уже говорилось в самом начале «круглого стола» и отметить уже обсуждавшийся удивительный парадокс российской политики. На первое место ставится СНГ — без СНГ никуда! — и в то же время никаких внятных проектов для СНГ у России нет. Наши посольства обнаруживают практически полную недееспособность и зашоренность. Эта зашоренность посольств, особенно очевидная в критические моменты, говорит только об одном: у нас нет ясного политического видения и понимания этого пространства.

Для нас СНГ — это какой-то дурной советский остаток, заикленный на Россию. И даже Прибалтика то же самое, только хуже и бесплодней. Мы даже не пытаемся поставить вопрос о том, какую роль играют эти страны в сегодняшнем — постбиполярном — мире, в unimultipolar world, как назвал его Хантингтон. А в ответ на такое провинциальное видение, практикуемое российскими политиками, получаем местечковые видения постсоветских стран как малых пространств, балансирующих между различными центрами силы.

На мой взгляд, и тот, и другой подход одинаково тупиковы. Мы сознательно оползаем в провинциальность, она проявляется и в столь охотной болтовне о России как региональной державе и в постоянной отсылке к ситуации СССР. В ряде работ, начиная с 1999 г., я пытаюсь отстоять другое видение современного мира. Я рассматриваю постсоветские страны кроме России, включая даже и Прибалтику, прежде всего как части огромного целостного территориального пояса, протянувшегося от Финляндии пока что до границ Китая и разделяющего крупнейшие силовые и цивилизационные центры Евразии. Пояса, куда входит Восточная Европа, куда входит Кавказ, включая даже и российский Северный Кавказ, куда входит новая постсоветская Центральная Азия.

На Западе выдвигались многие экзотические модели, типа модели Бжезинского из его «Великой шахматной доски». Но на самом деле американская администрация, и особенно нынешняя республиканская,

всё отчетливее пытается действовать в рамках выстраивания этого пояса как контролируемой целостности, позволяющей в сочетании с морской мощью обуздывать крупнейшие центры силы в Евразии, примыкающие к океану. *Что это за центры?* Это Россия, Индия, мусульманский мир плюс Иран, а также Китай. Собственно, эту игру начали не республиканцы, начали еще демократы и их друзья европейцы с ГУУАМом. Прилегающие к океанским побережьям центры оказываются как бы сдавленными между контролем со стороны великого континентального пояса и контролем со стороны океана.

Надо ломать старые геополитические формулы. Если в начале XX в. толковали, что контролировать Россию значит контролировать Хартлэнд, а контролировать Хартлэнд значит контролировать мир, то сейчас можно сказать иначе. Кто контролирует Восточную Европу, тот имеет, с одной стороны, выход на Кавказ. Кто держит руку на пульсе Турции, тот имеет второй выход на Кавказ. Кто контролирует Кавказ, перебрасывает мост в новую Центральную Азию. Кто контролирует новую Центральную Азию — имеет возможность давить на Россию в ее сибирском транспортном средоточии. Имеет возможность давить на Индию со стороны Кашмира. Давить на Иран со стороны его Тюркских северных провинций. Давить на Китай со стороны Синьцзян-Уйгурского района, со стороны Тибета и даже внутренней Монголии. Имеет возможность разворачивать великий пояс через старую Центральную Азию навстречу американским базам на корейском полуострове.

Я утверждаю в данном случае, что *Казахстан должен рассматриваться не как малое государство, балансирующее между разными «центрами сил», а как одно из ключевых и фундаментальных звеньев великого территориального пояса, несущей конструкции современного мира.* Во многом от судьбы этого звена зависит, будет ли этот пояс тем, чем он был в веках — поясом, разделяющим и связывающим цивилизации Евразии, или же он окажется частью новой структуры, замкнутой на Евроатлантику и позволяющей евроатлантическим структурам контролировать Евразию изнутри, приплюснув их к океанской кайме. Вот о чем на самом деле сейчас идет речь.

А еще я скажу следующее. Здесь уже говорилось о том, что события в Киргизии потрясли китайцев. Совершенно правильно — потому что *естественным продолжением великого пояса по стыку России и Китая являются территории, населенные тюркскими и монгольскими народами, и отчасти — тибетцами.* Иначе говоря, продвижение «бархатных



революций» в Центральную Азию явилась попыткой большого наезда на Китай, обусловленной стремлением разделаться с этой поднимающейся сверхдержавой посредством дестабилизации ее северных территорий.

В связи с этим я говорю о том, что мы неправильно ставили вопросы так называемого *цивилизационного диалога*. Наши патриоты талдычили о союзе с Китаем, с Индией, с Ираном, как о союзе цивилизаций, которые таким образом противостояли бы американскому глобальному центру. То есть ставили вопрос об этом непрактично, идеалистично, неинтересно для всех участвующих сторон. На самом деле, этот вопрос должен ставиться иначе — как вопрос *великого пояса*, его будущего и его судьбы. Еще в 2001 году после 11 сентября я говорил о том, что полным безумием было позволять американцам вклиниваться в Среднюю Азию. Естественным ответом на теракт должно было стать только создание восьмерки: российско-иранско-китайской тройки с привлечением 5 крупнейших государств Центральной Азии, которые закрыли бы это пространство для прорывов афганского экстремизма и обеспечили бы поставку всех нужных средств Северному альянсу, чтобы ни в коем случае не допустить сюда американцев. А что мы сделали — известно.

Но я должен сказать, что ситуация сейчас наконец-то благоприятна. И вот почему. Надламывается Узбекистан. Хорошо ли это? На протяжении многих лет Узбекистан и Казахстан выступали как конкурирующие «центры силы», а Киргизия колебалась между ними. Причем Узбекистан сознательно шел по пути отталкивания от всех евроазиатских «центров силы» и проводил политику завязки на США и на евроатлантические структуры. Сейчас его отблагодарили хорошо. *И Узбекистан отказывается от этой своей ориентации, перестает быть, если угодно, агентом евроатлантической сборки великого пояса.* Это момент фундаментальный, и злорадствовать здесь нечего. Я бы напомнил, что Каримов еще до андижанских событий сделал ставку на выход из ГУАМа (теперь уже с одним У). И он уже три года назад признал интересы России на юге новой Центральной Азии и сейчас добивается конструктивного участия своей страны в шанхайской организации, фактически идя навстречу иранцам, которые стремятся туда же, и с которыми он так долго не хотел иметь дело.

Этот момент нельзя упускать. Сейчас киргизы и узбеки вместе требуют вывода американских баз, заявляя, что после свободных выборов в Афганистане американцам на этой территории нечего делать. Амери-

канцы отвечают, что без этих баз контролировать Афганистан они пока не в состоянии. Таким образом, если эти базы оказываются выведены, Узбекистан получает роль юго-восточного стража новой Центральной Азии, но уже без американцев. Необходимую опору ему смогут представить только китайские и российские контингенты. На этом фоне заявка Ирана на присоединение к шанхайской группировке стоит многого. Что теперь американцам проламываться со стороны океана через Иран на ту часть великого пояса, откуда им уже предлагают убираться? На протяжении прошлого десятилетия великий пояс пытались собирать как несущую конструкцию мирового порядка против и помимо России, а вот теперь он собирается в таком качестве при ее участии просто сообразно с логикой unimultipolar world. Так что американцам придется работать с этой логикой, а не стоять ее под себя. И нам, и китайцам нужно будет работать с этой логикой.

Коллеги, новая Центральная Азия — *центральная* не сама по себе, а потому что на ней замкнулись напряжения всего великого пояса Евразии. Парадокс сегодняшней политики в том, что геополитические фигуры этого пояса — это крупнейшие фигуры мировой политики, а мы привычно воспринимаем их через провинциальную толчею мелко-травчатых сделок («региональная держава», «болтание между центрами силы» и т.д.). Великий пояс — школа политиков XXI века. Лидеры, которые сумеют воспринять судьбу своих стран в категориях структуры этого пояса, — это люди, которыми во многом определится политика грядущего столетия. На мой взгляд, *главное — это развитие совместных российско-иранско-китайских проектов на территории государств Центральной Азии с теснейшим привлечением местных режимов в качестве полноправных партнеров*. Прежде всего — транспортных проектов, замороженных в последнее пятилетие. Но также и газовых, хлопковых, машиностроительных проектов. Обращу внимание на серьезные работы Сергея Панарина относительно огромных резервов центрально-азиатской рабочей силы для России.

Что несколько огорчило меня на сегодняшнем заседании — это некоторая робость представителей казахстанской оппозиции перед открывающимися перспективами. Надо сказать, в текстах Назарбаева мне приходилось сталкиваться с большей точностью и глубиной оценок. Однако у оппозиции есть время учиться и входить в ситуацию. И от России здесь зависит очень многое. Для нее Казахстан должен являться центральной частью великого пояса, связующего и разделяющего выходящие на него цивилизации, а не средством внешнего кон-

троля над ними. И от самой России зависит, сумеет ли она занять наиболее выгодную сделочную позицию по отношению к своим партнерам в рамках этого процесса.

*«Агентство политических новостей», 2005 г.*

## ЧЕЛОВЕК ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕЖДУ *RATIO* И ОТВЕТАМИ НА СТИМУЛЫ

*К исчислению когнитивных типов принятия решений*

*Примечание: к сожалению, отсутствуют графические схемы из статьи*

### МАКС ВЕБЕР — И НЕСТЬ ЕМУ КОНЦА

Навряд ли кто-нибудь станет спорить о том, что политическая история, как и вся человеческая история, представляет совокупность решений, принимаемых людьми, и тех, часто неожиданных, эффектов, которые создаются взаимоналожениями этих решений. А потому покажется трюизмом усмотрение в человеческом решении атома истории — и атома политики. Однако эта атомистическая метафора обретает менее тривиальный смысл, если учесть, что в рамках современной политологии решения людей выглядят чем-то вроде атомов Демокрита, разнящихся внешней формой, предметной и ситуативной отнесенностью, своими историческими конфигурациями, но при этом мельтешащем разнообразии не обнаруживающих той внутренней структурной вариативности, без которой немислима типология этих атомов, подобная таблице Менделеева.

Между тем каждый из нас интуитивно притязает на имманентную типологию человеческих решений и поступков, во всяком случае тогда, когда те или иные из них мы расцениваем как «рациональные» или «иррациональные». Но наша речь в таких случаях — своего рода «умная собака», которая, нечто понимая, не умеет выразить. Ибо в каждом отдельном случае мы не можем указать, какова именно мера рациональности обсуждаемых акций или качественная специфика их иррациональности.

Мне могут возразить, отослав к знаменитой классификации типов сознательного социального действия по М. Веберу<sup>189</sup>, которая именно в своем упоре на сознательность такого действия оказывается вместе и типологией выражающихся в нем человеческих решений. Однако можно ли утверждать, что разделение действий-решений по их отне-

---

<sup>189</sup> Вебер М. *Избр. произв.* М., 1990 с. 628-630

сенности к цели, ценности, традиции или аффекту представ ляет имманентно-структурную типологию? Во всяком случае из формулировок Вебера это неочевидно: если действие аффективное отличается от целерационального, потому что одно порождено аффектом, а другое — стремлением к цели, это различие легче всего мыслить как классификацию действий-решений по особенностям внешней, житейской и психологической рамки, в которой они получают место. Но так их классифицировать — это и значит подходить к атомам истории по демокритовски, а не по-менделеевски, говорить о внешних их образах, а не о структурных свойствах.

Если же эффективность, традиционность, целерациональность и ориентация на ценность суть проявления различий во внутренней структуре сознательных действий (действий-решений), тогда, вообще говоря, типологизатору следовало бы показать, какова в общем виде эта структура человеческого действия-решения, что в ней составляет инвариантную основу, позволяющую сопоставлять действия-решения разных типов, и каковы те модификации структуры, которыми создаются эти типы. С данной точки зрения классификация Вебера уязвима именно потому, что, приняв сознательное действие (материализованное решение) за исходное и центральное понятие своей теории, он тем не менее предположил своей типологии действий-решений понятия «ценности», «цели», «эффективности», «традиционности», как будто бы самоочевидные, более прозрачные, чем само действие, вместо того, чтобы их самих определять или через позиции в инвариантной структуре действия-решения или через модификации этой структуры. Другими словами, вопрос о возможности перевода классификации Вебера в имманентную типологию человеческих решений, их структурных вариантов — остается открытым.

Ценность же этой классификации в том, что она представляет наиболее значительный опыт изучения социальных действий, исходящий из характера воплощенных в них решений. Многие из последователей Вебера, начиная с Т. Парсонса, претендуя на построение теории социального действия, на деле занялись структурами социальной деятельности. Они подменили предмет изучения таким образом, что вопрос типологии решений перестал быть релевантным. Ибо в чем заключается различие между моделированием социального действия и социальной деятельности? Да в том, что если социальное действие есть любое «действие, которое по предполагаемому действующим лицом... смыслу

соотносится с действием других людей»<sup>190</sup>, то социальная деятельность — это не что иное, как преломление в практике людей ритмов и норм самовоспроизводства социума, функционирования его подсистем. Именно таков объект моделирования Парсонса и последующих функционалистов. Сюда же относятся схемы деятельности, разрабатывавшиеся в России Г.П. Щедровицким<sup>191</sup>, — например, схема, включающая такие категории, как «цель», «задача», «исходный материал», «метод», «процедура» и «продукт». Она выражает функционирование материального производства и «нормальной» (в категориях Т. Куна) науки, но точно также приложима к описанию ритмики социально-интегративных и политических институтов.

Критерий социального действия — его сознательный смысл, критерий социальной деятельности — функциональность. Не всякая социальная деятельность представима как сознательное действие — воплощение индивидуального смысла, и не всякое проникнутое смыслом действие вписывается в нормы социальной деятельности. В определенных условиях оправданно даже говорить о социальной деятельности киллера-профессионала, но выглядело бы пародией сведение к схемам деятельности таких «действий, по смыслу соотносящихся с действиями других людей», как убийство из мести или самоубийство из протеста. Переписывание бумаг гоголевским Акакием Акакиевичем, отвечающее всем критериям социальной деятельности, менее всего представляло собою выражение осознанного смысла, и напротив, влияние Г. Распутина на политику Российской Империи осуществлялось в осмысленных действиях, никакой «нормальной» социальной деятельностью не охватывавшихся. Через социальную деятельность нам раскрываются нормы и структуры социума, через социальное же действие — структуры смысла, присущие стоящей за этим действием человеческой ментальности.

Даже категории, которые, казалось бы, общи деятельности и действию, в каждом из этих планов практики предстают по-разному. Так, с точки зрения теории деятельности категория «проблем» может быть принята за одну из исходных: когда перед учреждением или конкретным функционером поставлена новая проблема, тем самым запускается новый цикл деятельности, означая, что социум продолжает существовать и воспроизводиться. Такую трактовку «проблем» мы и видим

---

<sup>190</sup> Вебер М. *Избр. произв.* М., 1990 с. 603

<sup>191</sup> Щедровицкий Г.П. *Избр. труды.* М., 1995 с. 244

на одной из схем Щедровицкого<sup>192</sup>. При моделировании же действия-решения главный вопрос состоит в том, как перед субъектом решения возникло то, что он счел за «проблему». И ответ на этот вопрос приводит к толкованию «проблемы» прежде всего через интерес субъекта, в свою очередь «взывающий» к концептуальной рас шифровке в понятиях ценностей субъекта и его же мировидения: идет деконструкция «проблем», отрицание за ними самостоятельной онтологии.

Моделирование определенного акта в ключе стандартов деятельности, допускающей данное решение как одно из возможных, требует совершенно иной исследовательской фокусировки, нежели разбор того же акта с точки зрения скрытых за ним смысловых процессов. Различие между анализом, сводящим историю к корпускулам действий-решений, и трактовкой той же истории в категориях эволюционирующих схем деятельности не менее радикально, чем в физике дополнительность корпускулярной и волновой моделей вещества. Именно то, что классификация Вебера оперирует с социальным действием в самом точном смысле слова — не с функционированием системы, а с материализованным в поступке человеческим решением и только с ним, — делает возможным при изучении действия-решения диалог с классиком помимо ссылающихся на него же исследователей социальной деятельности и независимо от них.

Для политолога эта проблематика имеет особую значимость. Как известно, образцовое воплощение целерациональности Вебер усматривал в экономической практике с ее принципом «веса и меры». Он утверждал, что «поведение, в котором какую-то роль играют также традиции, аффекты и заблуждения, воздействие внеэкономических целей и соображений», лучше всего может быть осмыслено через меру приближенности к эталону «идеальной и чисто экономической целерациональности»<sup>193</sup>, хотя сам и не указал никаких способов определения этой меры. Политология в своей сфере (где, в отличие от экономики, даже самые блестящие результаты далеко не всегда количественно выражены) имеет дело с решениями, в принятии которых роль «традиций, аффектов и заблуждений» исключительно велика. Можно сказать, что политика — область многообразных отклонений от экономического целерационального эталона, однако же отклонений, отнюдь не отменяющих идеала эффективного целедостижения. Последнее со-

---

<sup>192</sup> Щедровицкий Г.П. *Избр. труды*. М., 1995 с. 246

<sup>193</sup> Вебер М. *Избр. произв.* М., 1990 с. 623

ставляет наивысшую славу политика. Но парадокс политики заключается в том, что в ней много примеров достижения весьма значительных и даже долгосрочных результатов людьми, эксплуатировавшими либо свои, либо сразу и свои и чужие «традиции, аффекты и заблуждения». Здесь мы естественно сталкиваемся со значительно большим плюрализмом «техник» принятия решений, нежели в экономике, производящей естественный отбор на целерациональность. Поэтому политология, как, может быть, ни одна другая отрасль гуманитарных исследований способна выиграть от имманентной типологии решений, обретя в ней инструмент для исследования форм рациональности и иррациональности политического поведения.

Я думаю, в создании такой типологии должны раскрыться возможности дисциплины о системах, оперирующих со знаниями, — т.н. когнитологии. Начав складываться в 70-х годах как прикладная околокомпьютерная дисциплина, когнитология быстро обнаружила редкостную способность к экспансии в различные гуманитарные сферы. В частности, она уже застолбила за собою моделирование разных аспектов политической ментальности и глубокий анализ политических текстов как излюбленные поля обкатки своих методик<sup>194</sup>.

### **КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ЦЕЛЕРАЦИОНАЛЬНОСТИ**

В конце 80-х и начале 90-х годов я в соавторстве с В.М. Сергеевым опубликовал серию работ, обосновывавших наличие универсальной когнитивной схемы принятия решений человеком<sup>195</sup>. Именно когнитивной — т.е. порождающей решения в результате операций над различными видами знаний.

Обосновывая нашу концепцию, мы преподносили ее как достигнутый синтез трех известных подходов к процессу сознательного принятия решений. Один из этих подходов мы находили именно в традиции

---

<sup>194</sup> См.: *Язык и моделирование социального взаимодействия*. М., 1987; *Когнитивные исследования за рубежом: методы искусственного интеллекта в моделировании политического мышления*. М., 1990, и др.

<sup>195</sup> Сергеев В.М., Цымбурский В.Л. *К моделированию процессов принятия решений в конфликтных ситуациях*. — Комплексные методы в исторических исследованиях: тезисы докладов и сообщений научного совещания. М., 1987; Сергеев В.М., Цымбурский В.Л. *Принятие решения: когнитивная модель*. — Ученые записки Тартусского государственного университета. Вып. 840/1989; Сергеев В.М., Цымбурский В.Л. *Когнитивные механизмы принятия решений: модель и приложения в политологии и истории*. — Компьютеры и познание. М., 1990; Сергеев В.М., Цымбурский В.Л. *Решение как звено исторического процесса*. — Системные исследования — 1991. М., 1991.



классического структурно-функционального анализа, идущей от М. Вебера к Т. Парсонсу и неофункционалистам. В этой традиции базисными компонентами любого социального действия считаются субъект, ситуация (состояние мира), в которой он действует, и его ориентация. Мы с соавтором настаивали на архетипической когнитивной универсальности этой триады, как различающей представления человека о мире, окружающем его, о собственном его теле, включенном в этот мир и находящем продолжения в разных орудиях и инструментах, и, наконец, о своем сознании, предъявляющем требования и к миру, и к самому человеку, указывая, чего следует добиваться и чего надо избегать. Так компоненты функционалистской триады, в том числе такие, как субъект и ситуация, утрачивают свою онтологичность, перестают быть внешней рамкой действия, но непосредственно включаются в самое сознательное действие-решение, выступая его когнитивными компонентами. Понятно, что при этом для нас оказывалось неприемлемым веберовское отличие действия целерационального от ценностно-рационального через подчиненность первого принципу «полезности» — ибо «полезность» мы рассматривали лишь как ценность в ряду иных ценностей.

Вторым подходом к принятию решений, включенным в наш синтез, была используемая в психологии и в теории международных отношений концепция двух шкал — шкалы интересов и шкалы возможностей<sup>196</sup>. На одной шкале любое состояние мира и любой выбор человека или государства оцениваются по мере пользы или вреда, которые могли бы проистекать для субъекта, в зависимости от того, насколько то или иное стечение обстоятельств или поворот событий были бы в его интересах. На другой шкале все эти варианты оцениваются по их вероятности или правдоподобию. В результате указанная концепция сопоставляет меру заинтересованности или не заинтересованности субъекта в наступлении некоего положения вещей не только с его пониманием «объективной» динамики миропорядка, но с его представлением о мере своей возможности повлиять на мир. Как мы демонстрировали на материале военной политики и военной стратегии Нового времени, в конфликтных условиях возможности каждой из противоборствующих сторон усредненно определяются со отношением наличных ресурсов борьбы с теми потерями, которые эта сторона может по-

---

<sup>196</sup> См.: Singer J.D. *The Correlates of War*. Vol.1, N.Y.-L., 1979; Линдсей Л., Норман Д. *Переработка информации у человека*. М., 1974.

нести в краткосрочной перспективе, преследуя интерес того или иного масштаба и свойства.

И наконец, третьим учтенным нами аспектом принятия решений стал общепринятый в системном анализе и получивший особую популярность благодаря практике «РЭНД корпорейшн» принцип разработки сценариев, преобразующих предварительно намеченные цели в принимаемые к исполнению конкретные задачи. Сознвая, что этот метод должен обрести в нашем синтезе свое место, мы подчеркивали заключенную в нем серьезную опасность фетишизации целей, связанную с отсутствием в его рамках реального аппарата критики самих целей и их ревизии. Отмеченную опасность вполне раскрыла война во Вьетнаме, когда именно РЭНДовские приемы были положены в основу стратегического планирования.

Отталкиваясь от этих посылок, мы предложили модель принятия решений (схема 1), отличающуюся следующими чертами. Во-первых, для нее характерны различие целеполагающей и целеобслуживающей, высшей и низшей ступеней принятия решений (на схеме они обозначены буквами А и В). Во-вторых, в процессе вывода (порождения) решений задействованы четыре блока, содержащих четыре типа ин формации: это блоки «ценностей», «образа мира», «оценки собственных ресурсов», а также включающийся лишь на целеобслуживающей ступени блок «поведенческих схем», находящихся в репертуаре субъекта.

На высшей ступени А совершается выработка цели. Идет она в два этапа. Сперва на основе «ценностей» и «образа мира» формируется промежуточный блок «интересов», то есть тех состояний мира, при которых могли бы реализоваться некоторые ценности субъекта. Параллельно на основе «образа мира» и «оценки ресурсов» складывается столь же промежуточный блок обобщенных представлений субъекта о своих «возможностях». Эти блоки промежуточны, ибо образуют, вместе взятые, подготовительную ступень к формированию на их базе ключевого в нашей схеме блока «целей», иначе говоря, тех интересов субъекта, которые по наличному состоянию его возможностей полагаются принципиально реализуемыми.

Вслед за тем из блока «целей» подается активизирующий сигнал на блок «поведенческих схем», и принятие решений переходит на целеобслуживающую ступень. Теперь через соизмерение присутствующих в сознании субъекта поведенческих схем с его пониманием своих возможностей складываются потенциальные сценарии, которые могли бы

слу жить поставленной цели. И наконец, когда цель снабжена сценарием ее достижения, она становится практической задачей. Решение принято.

Такой была наша модель в огрубленном виде. Ее существенно обогащало допущение обратных связей, возможностей влияния нижестоящих блоков на блоки выше стоящие, более фундаментальные. Важнейшими из обратных связей являются связи «цели-ценности» и «сценарии-возможности». Первая обратная связь должна была включаться, когда состояние возможностей субъекта в его глазах резко изменялось, в результате чего либо какие-то из привычных целей оказывались явно недостижимыми, либо, наоборот, возникало впечатление, что цели, коими субъект привык руководствоваться, покрывают лишь малую часть диапазона новообретенных возможностей. Тогда по запросу из блока «целей» система «ценностей» могла быть перестроена так, чтобы продуцировать интересы, отвечающие новому состоянию возможностей. Тут допускалась такая вспомогательная операция, как дополнительный запрос из блока «ценностей» в блок «образ мира» насчет тех ценностных иерархий, которыми обладают в настоящем или отличались в прошлом субъекты с подобными возможностями. В качестве примера мы опять же рассматривали военно-политическую и стратегическую динамику XIX — XX веков, когда превалирование мобилизационных возможностей борющихся сил над их потенциалами уничтожения оборачивалось неизменной ставкой на войну до «полной и большой победы», с капитуляцией противника. Напротив, явный перевес средств уничтожения над возможностями мобилизации и в XVIII-м и во второй половине XX в. влечет за собой утверждение типа «войны с ограниченными целями».

Другая обратная связь, допускаемая нашей моделью, связь «сценарии-возможности», включалась, когда на целеполагающей ступени состояние блока «возможностей» оказывалось неопределенным из-за нестабильности образа мира, так что выработка целей рисковала «зависнуть». В таких условиях базисные возможности субъекта в мире начинали бы определяться вероятностью реализации некоторых известных сценариев по принципу «пан или пропал». Такие сценарии устанавливают контроль над блоком «возможностей» субъекта, а далее и над его целями: он принимает к исполнению такие из своих интересов, которые позволили бы ему действовать в существующих обстоятельствах, исходя из предположения, что сценарий, на который сделана ставка, осуществится. Нарботанные поведенческие схемы, усилен-

ные памятью о сценариях, реализованных кем-либо в прошлом, тянут субъекта за собою, начиная во многом господствовать и над его целеполаганием и над целеобслуживанием. Так, например, возникал ленинский план Октябрьского пере ворота, проникнутый идеей «сегодня — рано, а послезавтра — поздно». Так продуцировался план войны в Европе А. фон Шлиффена, гарантировавший Германии победу на обоих, западном и восточном, военных театрах — но исключительно в случае скрупулезно-сточного, по дням, соблюдения графика наступления германских войск против Франции, пока Россия не успела отмобилизоваться. Кроме этих обратных связей модель допускала ряд связей чисто информационных — перенос сведений из одного блока в другой, например, как уже указывалось, из «образа мира» в блок «ценностей». Или, скажем, когда устойчивые, прочно закрепившиеся интересы субъекта переписывались в блок «образ мира» как его неотъемлемая часть.

Благодаря допущению таких связей, не обозначенных на схеме 1, мы сняли немало важных критических замечаний в адрес нашей модели. Так, кое-кто из критиков оспаривал само распределение знания, задействованных в принятии решений, по четырем базисным блокам, — исповедуя принцип «все во всем». Разве при оценке наших возможностей нам не приходится считаться с тем ущербом, который могут понести объекты и существа, высокоценные для нас? Как согласуется наша модель с тем, что наша оценка собственных возможностей столь часто включает сугубо ценностный компонент? Информационная связь между «интересами» и «об разом мира» позволяла, думается, ответить оппонентам: благодаря ей ценностные мотивы проникали в картину мира и из нее переносились в порождаемый с ее участием блок «возможностей». Так сведения о содержании одного блока, передаваясь в другой, обретали новые функции в порождении решений.

В работах, посвященных этой модели, мы подчеркивали ее якобы сугубо дескриптивный характер, чуждость любым нормативным претензиям, доказывали ее способность интерпретировать любое человеческое решение, в том числе и в политической сфере, через порождающую процедуру, которая выводила бы это решение через предусмотренные промежуточные стадии из информации четырех базисных блоков. Демонстрировалось, что лица, принимающие решение от имени некой представляемой ими системы, неизменно облачают такое решение — по крайней мере декларативно — в категории, приписывающие системе (стране, международному учреждению, внутригосударст-

венному институту, партии и т.д.) некоторые ценности, образ мира, оценки ресурсов и поведенческие схемы. Иначе говоря, такие лица имитируют активность системы, как если бы она была субъектом принятия решения. По этому поводу мы писали: «В любом случае решения людей в истории не только являются результатами описанных когнитивных операций, но и неизбежно имеют вид таких результатов, независимо от того, совпадают ли реальность и видимость. Подобные решения просто не могут восприниматься и подаваться иначе, без апелляций к тому, чего мы хотим, что происходит в мире, чем мы в нем располагаем и как мы привыкли поступать»<sup>197</sup>. Отсюда уверенность, звучащая в большинстве наших с Сергеевым публикаций на эту тему, в универсальной антропологической значимости выведенной нами схемы. Мы предполагали в те дни, что она, одинаково реализуясь во всех решениях, принимаемых людьми, если и способна служить основанием для типологии человеческих ментальностей, то исключительно в плане особенностей внутренней организации тех или иных выделяемых нами базисных когнитивных блоков: люди разнятся иерархиями ценностей, картинами мира, репертуарами поведенческих схем, а также тем, что они готовы себе засчитывать в ресурс.

В то же время некоторые из наших оппонентов настойчиво указывали нам на избыточность, «нерентабельную» громоздкость, которую обнаруживала наша схема при попытках ее использовать для моделирования решений, принимаемых «человеком толпы», — например, толпы на политическом митинге. Такой же «излишней роскошью» она могла казаться исследователям, работавшим с разными формами жестко идеологизированного мышления, проникнутого устойчивыми, ценностно нагруженными клише и ассоциативными схемами, срабатывающими стремительно и часто вполне «иррационально». Отвечая на подобную критику, мы писали в 1989 г.: «Наиболее известная альтернатива предложенной модели — принятие решений по схеме «стимул-ответ», несмотря на многочисленные квазибихевиористские формы поведения в человеческом сообществе, устойчиво трактуется человеческой культурой в гротескных, часто монструозных тонах. Примеров более, чем достаточно, начиная с побасенок о «медвежьей услуге» и кончая оруэлловским ужасом перед культурой, предполагающей мгновенную рефлекторную реакцию ее носителей на любой идеологический раздражитель. Решение, основанное на схеме вывода «стимул-

---

<sup>197</sup> *Системные исследования* — 1991, с. 234.

рефлекс», нормально интерпретируется человеческим разумом как *решение нечеловеческое*<sup>198</sup>.

Сейчас, к середине 90-х, автору данной статьи видна вся непродуктивность подобной позиции глухой обороны. С такой поэзии нельзя ни оспорить, ни объяснить того обстоятельства, что человеческий разум с его претензиями так легко склоняется к «квазибихевиористскому» реагированию на мир, что многие его реакции поддаются компьютерному моделированию при посредстве предпосылок, значительно более простых, нежели предложенный нами порождающий аппарат. Надо подчеркнуть, очень часто речь при этом должна идти о моделях, не вполне — или лишь с очень серьезными упрощениями — укладываемых и в формулу «стимул-ответ». Кроме того, приходится признать, что давая вполне операциональную интерпретацию целому ряду категорий, в которых психологи представляют принятие решений человеком (таковы категории «ценностей», «интересов», «целей» и т.д.), наша схема совершенно игнорировала другие термины того же ряда: например, с ее помощью никак нельзя было объяснить такую категорию, как «установки». И наконец, выдвигая в фокус процедуры принятия решений блок «целей», наша модель из всей тетрады форм социального действия М. Вебера отражала лишь действие целерациональное и практически ничего не давала для понимания трех других форм.

Преимущество предложенной нами модели я продолжаю усматривать в том, что ценности и цели трактуются ею не как ориентиры действия, внешние по отношению к нему, но как компоненты самого действия-решения, всецело характеризуемые через позицию в его структуре. Вместе с тем на ряд вопросов она не отвечает. Как отличить действие целерациональное от ценностно ориентированного, если полагать, будто в процессе принятия любого решения ценности неизбежно должны пройти преобразование в интересы, а затем — в цели? Разнятся ли эти два типа действий решений чем-либо, помимо предполагавшейся Вебером ориентации действий целерациональных на высшую ценность «полезности»? А если не разнятся, то как можно объяснить слишком хорошо известный из истории феномен иррациональной одержи мости «полезностью», явно обусловленный структурой поведения, а не выбором предпочитаемой ценности?

---

<sup>198</sup> *Ученые записки Тартуского государственного университета*. Вып. 840, с.148 и сл.

Сейчас я полагаю, что в диапазоне форм принятия решений человеком схема «стимул-ответ» (поскольку речь идет именно о принятии решения, а не о бессознательном следовании поведенческим стандартам и не о рефлекторном отклике на физический раздражитель) представляет полюс аффективной акции, противоположный варианту, моделируемому схемой 1. Последняя, с ее дифференцированностью друг от друга универсальных когнитивных блоков выступает как бы предельным воплощением человеческого *ratio*, обособляющего ценности от образа мира, поведенческих схем и ресурсов (понятно, речь здесь идет о рациональности чисто формальной, не предрекающей ни характера ценностей, ни особенностей образа мира, которые могут быть весьма специфичны). И все-таки в нынешней статье я хотел бы вступить «за честь и достоинство» этой максимально развернутой и в своей «громоздкости» иногда кажущейся как бы «не от мира сего» когнитивной схемы принятия решений, показав, что именно она обладает правом рассматриваться как базисный инвариант всех более простых схем. Все они могут быть из нее получены при посредстве разных упрощающих трансформаций. Но возникающие при этом типы принятия решений, реально представленные в истории, взаимопереводимы, соизмеримы друг с другом лишь на фоне предельно развернутого инварианта как основания для их сравнения.

Тем самым мы парадоксально возвращаемся к мысли Вебера о возможности охарактеризовать «нерациональные» типы принятия решений через отличия от эталона рациональности, понимая при этом «отличия» в смысле прилагаемых к данному эталону трансформационных процедур.

Я утверждаю, что все более простые типы принятия решений — и ценностно-ориентированные, и аффективные, и «традиционные» — можно вывести из схемы 1 склеиванием отдельных ее блоков между собою. Причем таким склеиванием, когда происходило бы поглощение одних блоков другими, так что «ценности» или «образ мира» или «поведенческие схемы» принимали бы на себя в процессе принятия решений функции иных когнитивных образований, скажем, «ценности» начинали бы работать за «образ мира» и т.п. Применяя к частям схемы 1 подобные склеивающие процедуры, мы порождаем (конструируем) значительное число простых схем, которые при некоторой толике воображения можно представить в образах модельных персонажей, вроде «характеров» Феофраста или Лабрюйера. При дальнейшем чтении статьи не следует забывать, что каждый такой персонаж — это всего лишь

некоторый способ принятия решений людьми, и прежде всего политиками. Я полагаю, что число и набор таких персонажей, присутствующих в индивидуальном менталитете человека, может значительно различаться, варьируя от одного индивида к другому.

### **Исчисление иррациональных стратегий**

Обратимся к той предельно простой схеме, которая часто рассматривается как схема поведения «недочеловеческая» и которая, тем не менее, достаточно часто встречается в практике людей: это схема «стимул-ответ». Наши оппоненты конца 80-х годов были совершенно правы, когда усматривали, под впечатлением повседневности тех лет, типичный пример такого поведения в том, как толпа на политическом митинге воспринимает сигналы, подаваемые ораторами. Модель этого реагирования состоит из двух блоков: блока распознаваемых «ценностных стимулов-клише» и блока предзаданных, усвоенных «реакций» на эти стимулы.

Эта модель не предусматривает никаких порождающих процессов. Описываемый ею акт сводится к передаче активирующего сигнала из блока в блок. На первый взгляд такую структуру социального действия трудно сравнить с высокодифференцированной схемой 1. И тем не менее, основание для сравнения обнаруживается. Обе схемы состоят из двух базисных компонентов, соединенных активирующим сигналом. На схеме 1 это целеполагающая и целеобслуживающая ступени вывода решения, а на схеме 2 — это блоки «стимулов-клише» и «реакций». Сопоставление этих схем позволяет высказать догадку о том, что аффективное реагирование на ценностные стимулы, осуществляемое персонажем схемы 2, может рассматриваться как крайняя редукция схемы 1, сворачивающая каждую из ступеней этой последней в один целостный блок. Выработка интересов и целей заменена отождествлением поступающих внешних раздражителей с теми или иными «сверхценными» клише (ступень А), скажем, клише «демократии», «фашизма», «империи» и т.п., а определение способов достижения цели замещено стандартной реакцией на распознанный ценностный сигнал (ступень В), например, скандированием «Фашизм не пройдет!». В любой конкретный момент набор стимулов и реакций ограничен, хотя стандартно число сигналов превышает число предписанных реакций.

Соотносимость блока аффективных «стимулов-клише» на схеме 2 с той ступенью принятия решений, которую на схеме 1 обслуживали



три базисных когнитивных блока («ценности», «образ мира», «ресурсы»), собственно, означает: этот единственный блок на схеме 2 может рассматриваться как результат склеивания триады блоков, представленных в максимально дифференцированной версии. С другой стороны, как мы помним, хотя на целеобслуживающей ступени схемы 1 были задействованы три базисных блока (и «образ мира», и «ресурсы», и «поведенческие схемы»), однако ключевым для нее оказывается блок «поведенческих схем», на основе которых, проходя цензуру «возможностей», строятся сценарии. Тем самым блок спонтанных «реакций» схемы 2 можно рассматривать как аналог «поведенческих схем» развернутой версии: собственно, это и есть поведенческие схемы, прямо, грутально претворяемые в действие, не опосредованные взвешиванием возможностей и строительством сценариев.

Но вывод о «ценностных стимулах-клише» как о результате склеивания трех когнитивных блоков должен быть уточнен и дополнен. Вглядимся в ту же митингующую толпу. Мы увидим: одни из участников непосредственно переживают идеологический аффект, в других же преобладает удовольствие от чувства приобщенности к «единой силе». Как различить эти два способа реагирования, несомненно, разные по внутренней структуре, хотя одинаково аффективные и способные совпадать в продуцируемых реакциях? Я описываю это различие так, что хотя в обоих крайне редуцированных вариантах — и идеологически-аффективном, и ультраконформистском — три блока развернутой схемы 1 и совпадают в одном блоке, однако склеивание происходит по-разному. В обоих случаях какой-то один из блоков схемы инварианта поглощает остальные блоки, берет их функции на себя. Но в одном случае (схема 2) «ценности» точно поглощают и «образ мира» и оценку «ресурсов» — митингующему экстатике «море по колено»: в мире ничего не остается, кроме ценностей и антиценностей, а вместе с тем исповедание «истинных ценностей» переживается как источник силы, главный и победоносный ресурс. В другом же случае, описываемом ниже схемой 3, и «ценности» и взвешивание «ресурсов» полностью поглощены «образом мира», внушающим чувство счастливого единения Панургова стада. На практике, как уже сказано, обе модели начинают работать солидарно, стоит идеологическим экстакам выступить в глазах гиперконформистов на правах «большинства» или носителей силы или выразителей «гласа народа».

Но если поведение толпы на митинге впрямь описывается комбинацией схем 2-3, то едва ли какой-либо субъект, будь он хоть сколько

экстремистски ориентирован, идет на практически значимую акцию (скажем, при перерастании митинга в погром или в побоище с властями), не прикинув, пусть наскоро, те наличные ресурсы, которыми располагает. А тогда место схемы 2 заступает схема 4. Как видим, на ней от блока «ценностных стимулов-клише» обособляется ранее поглощенный им блок оценки «ресурсов». И не только обособляется, но и в качестве цензора устанавливает контроль над выходящими из блока «стимулов-клише» активирующими сигналами. А эта дифференциация влечет за собою и дальнейшие преобразования в схеме. Если в крайне редуцированной версии схемы 2 «ценностные стимулы-клише», поглотив и «образ мира» и представление о «ресурсах», тем самым заступали место также всех производных блоков целеполагающей ступени — и «интересов», и «возможностей» и, наконец, самих «целей» — то на схеме 4 ситуация иная. У изображаемого персонажа мир по-прежнему «съеден» ценностями, его картина крайне деформирована и об интересах говорить не приходится. Зато вместо блоков «возможностей» и «целей» на базе взвешивания ресурсов возникает единый блок, который я бы определил как «священные возможности» — констатация того, какие из требований, предъявляемых стимулами-клише, можно реализовать при имеющихся ресурсах.

Теперь активирующие сигналы направляются на блок «реакций» («поведенческих схем») уже не прямо из блока «клише», но из подменяющего цели блока «священных возможностей». А поскольку последние, формируясь на основе оценки ресурсов с соответствующими прогнозами, образуют определенную структуру, под чиненную временной перспективе, то и поведенческие схемы-реакции уже не прямо претворяются в действие, а, подчиняясь порядку «священных возможностей», образуют своеобразный блок «установок-сценариев». Если на схеме 1 венчающая принятие решения постановка задачи есть цель, снабженная сценарием ее реализации, то в варианте схемы 4, представляющем один из подтипов ценностно-ориентированной ментальности, где целей как таковых нет, «установки-сценарии» предстают как «священные возможности», воплотившиеся в планируемые цепочки поведенческих схем, отсроченных и опосредованных реакций.

Мы видим, что на этой схеме, помимо передачи активирующих сигналов, уже присутствуют порождающие процедуры, собственно, составляющие отличие действия ценностно-ориентированного от аффективного. По существу, это — отличие, которое еще Вебер несколько расплывчато определил через будто бы присущие ценностно-

ориентированному действию «осознанное определение своей направленности и последовательно планируемую ориентацию на нее»<sup>199</sup>. Теперь ни целеполагающая, ни целеобслуживающая ступени более не сводятся к единому синкретичному блоку, но предполагают порожденные элементы, составляющих блоки «священных возможностей» и «установок-сценариев».

С персонажем, руководствующимся в своем поведении схемой 4, можно вступать в диалог по-иному, нежели с заидеологизированным аффектиком схемы 2. Последний живет одними клише и риторически повлиять на него можно, лишь подкидывая ему знакомые стимулы. Персонаж схемы 4 вполне способен воспринять доводы, касающиеся тех ограничений, которые налагает на него состояние его ресурсов: он уже понимает, что бывает «локоток, который не укусишь». Это уже не иррациональное поведение, но и рациональным его еще не назовешь из-за растворенности «об раза мира» в «ценностях»<sup>200</sup>. Это именно та промежуточная ступень между эталонами целерациональности и эффективности, которую представляет ценностно-ориентированное действие по своей структуре, независимо от его отношения к принципу «полезности».

Точно так же может быть скорректирована и схема 3 — модель рефлекторно-безоглядного конформизма. Выделим блок «ресурсов» в особый компонент, и стремление персонажа к имитации ценностей, вкусов и поведенческих схем своего окружения окажется контролируемо резонами насчет того, «по Сеньке ли шапка» и «по барину ли говядина». Соответствующей схемы не привожу — она вполне аналогична схеме 4.

Мы убеждаемся в том, что, как и обещалось выше, разные «иррациональные» и «недорациональные» типы принятия решений можно

---

<sup>199</sup> Вебер М. *Избр. произв.* М., 1990. с. 628

<sup>200</sup> Едва ли можно лучше представить ценностно ориентированное действие-решение этого типа, чем то сделал А. Швейцер, утверждая, будто его «этика благоговения перед жизнью» «не зависит от того, в какой степени она оформляется в удовлетворительное этическое мировоззрение... Ее нельзя сбить с толку тем аргументом, что поддерживаемое ею сохранение и совершенствование жизни ничтожно по своей эффективности... Но важно, что этика стремится к такому воздействию, и потому можно оставить в стороне все проблемы эффективности ее действий...» (Швейцер А. *Культура и этика.* М., 1974, с. 309). В этих словах с максимальной четкостью представлено «поглощение» мира ценностями, их абсолютное доминирование над образом мира: этика превыше мировоззрения, этичность выше эффективности, интересы неотличимы от ценностей.

получить из рациональной (целеориентированной) схемы-инварианта посредством операций с поглощением одних базисных блоков другими и принятием на себя блоком-поглотителем не только функций поглощенного блока, но и тех вторичных блоков, которые могли формироваться с участием блока-поглотителя и блока-поглощаемого. Скажем, если «мир» поглощается «ценностями», то перестает выделяться в особую позицию блок «интересов» и т.д. Разумеется, при комбинаторном переборе вариантов склеивания-поглощения встречаются и случаи слишком парадоксальные или извращенные, чтобы широко фигурировать в социальной практике, хотя небезынтересно, что таким путем могут быть успешно смоделированы некоторые вполне реальные патологии по ведению. Например, подстановка «ресурсов» на место «ценностей» дает нам болезненные феномены вроде «гобсековской» одержимости накопительством (стратегии, вовсе не вписывающейся в веберовскую классификацию). Тем более важно, что предлагаемый подход позволяет дедуцировать типы ментальностей, способных обрести политическую значимость.

Мы рассмотрели только что движение от эффективности к целерациональности через вариант, когда зацикленность на сверхценных клише корректируется автономной оценкой ресурсов. Но в политике, особенно когда дело касается экстремистских движений, мы легко можем столкнуться с типом ментальности, «непробиваемым» для ресурсного рационализма. Под этот тип подходит любое сознание, проникнутое убежденностью, что «правое дело всегда победит», что «праведник силен своей правдой» и т.п. Такой персонаж может вполне рационально, то есть ценностно-нейтрально, рассматривать ситуацию в мире. Однако в его схеме вывода решений блок оценки «ресурсов» оказывается абсорбирован «ценностями». В результате на уровне промежуточных блоков «возможности» растворяются в «интересах», так как «справедливый» интерес предполагается всегда реализуемым. В такой модели «законные интересы» даже явно максималистского толка заступают место практических целей, образуя в соответствии с наблюдаемым состоянием мира блок отвечающих этому состоянию «сверхценных установок».

Так обозначается тип ценностно ориентированного социального действия, вопреки Веберу, вовсе не безразличный к критериям «полезности» и «эффективности», жизненность которого засвидетельствована в XX в. множеством националистических, экологических и правозащитных движений. Описывающая этот тип действий решений схема

5 содержательно явно разнится от схемы 4. Там ценностные стимулы-клише обретают константный характер, не зависящий от состояния мира (что бы ни происходило, «Карфаген должен быть разрушен»), зато ресурсы трактуются вполне трезво. В варианте же схемы 5 образ мира когнитивно автономен, он не предполагает непрременной ценностной заикленности персонажа на одном и том же объекте, зато коль скоро заикленность возникает, апеллировать к состоянию ресурсов бесполезно. Это своего рода тип Дон Кихота, обретающего в меняющемся мире все новые поприща для донкихотских подвигов. Риторическое влияние на такого персонажа возможно лишь через корректировку его картины мира, через аргументацию типа «много шума из ничего», через ссылки на «добрые намерения, ведущие в ад» и т.п. Тем не менее структурная аналогия схем 4 и 5 как различных версий ценностно ориентированного действия прозрачна: это два варианта частичной рационализации ценностных аффектов посредством альтернативных разложений блока «ценностных стимулов-клише».

Как схема 4, так и схема 5 отделена лишь одной дифференцирующей операцией от превращения в целерациональную схему 1, однако соответствующие операции для этих двух случаев должны быть разными. Окончательная рационализация схемы 4 требует подстановки на место «ценностных стимулов-клише» двух относительно автономных друг от друга блоков — иерархии «ценностей» и «картины мира», с признанием того, что мир независим от наших ценностей, последние, представляя наш субъективный суд над миром, во многом ему трансцендентны. В случае же со схемой 5 рационализация должна заключаться лишь в последовательном, не без толики цинизма, разведении ценностей и ресурсов, в признании того положения, что наши ценности сами по себе не всегда являются нам подспорьем и не обязательно должны увеличивать наши возможности («не в силе Бог, а в правде»).

Однако этими случаями перечень персонажей, моделируемых указанным способом, отнюдь не исчерпывается. Ведь до сих пор я молчаливо следовал аксиоме: «Если базисные блоки схемы 1, задействованные и на целеполагающей и на целеобслуживающей ступени — «образ мира» и «ресурсы», — на высшей ступени А синкретизируются с другими блоками, так значит и на нижней ступени В они не могут быть представлены в чистом, несвязанном виде». Кто иррационально ставит цели, тот иррационально и стремится к ним. Но всегда ли такая аксиома оправдана? Разве мы не можем себе представить персонаж, подонкихотски убежденный в победе «правого дела» и не считающийся с

отсутствием реальных шансов на достижение своего идеала, однако же по пути к этой цели обнаруживающий на предполагаемых им «промежуточных этапах» реализм в манипулировании ресурсами и немалую ловкость в построении сценариев? Не это ли случай Р. Оуэна, соединившего социальный утопизм с одаренностью предпринимателя? Не отвечает ли этому типу и деятельность Ленина, когда он, сохраняя сверхценную установку на мировую революцию, заключал Брестский мир или вводил нэп? Можно и дальше перечислять примеры таких «квазирациональных» ментальностей, когда ценности поглощают оценку ресурсов только на целеполагающем уровне, однако на уровне целеобслуживания эта оценка остается автономной.

Отсюда вывод: трансформации, претерпеваемые «образом мира» и «ресурсами» на более фундаментальной ступени А, лишь факультативно могут переноситься и на ступень В. Как вариант, копия блока, утратившего свою самостоятельность в сфере целеполагания, может сохраняться на ярусе целеобслуживания и участвовать в соответствующих порождающих операциях. Когда подобное происходит с блоком «ресурсов», персонаж лишается способности к трезвой оценке своих возможностей при постановке цели. Он может, однако, обрести вновь дар рациональности в борьбе за цель, иррационально определенную. Диалог с таким персонажем неизбежно должен иметь свою специфику. Побуждая его изменить оценку своих возможностей, мы в состоянии лишь склонить его к воздержанию от тех или иных конкретных акций или заставить двигаться к цели иными маршрутами, но практически невозможно, пока образ мира пребывает неизменным, заставить носителя подобной ментальности отречься от сверхценной установки как таковой.

Такой тип принятия решения представляет схема 6. Читатель сам может вообразить, как должен выглядеть ее структурный «близнец» — модель, где при целеполагании образ мира растворялся бы в ценностных клише, но восстанавливался бы во всей своей конкретике при выработке способов практического осуществления «священных возможностей» персонажа. Тем самым предлагаемый подход позволяет смоделировать гибридный вариант принятия решений, который еще М. Вебером был определен как «поведение, целесообразное лишь по своим средствам»<sup>201</sup>, и, более того, обнаруживает весьма вероятное существование двух подвариантов подобного гибрида.

---

<sup>201</sup> Вебер М. *Избр. произв.* М., 1990 с. 629

Мы можем сделать в нашем моделировании еще один шаг, отказавшись и от другой, до сих пор молчаливо соблюдавшейся, хотя эксплицитно и не оговоренной, аксиомы. Она заключалась в том, что все варианты принятия решений, промежуточные между эталонами рациональности и эффективности, рассматривались как одинаково выводимые и из максимально развернутой схемы 1, посредством склеивания ее фундаментальных блоков, и из схем предельно редуцированных (2 и 3), через разложение-дифференциацию образований, которыми эти последние схемы оперируют. А потому поглощения одних блоков другими до сих пор рассматривались как происходящие в пределах одного и того же, а именно целеполагающего уровня. В результате во всех выведенных выше схемах сохранялось различие двух уровней или компонентов решения, независимо от того, сводится ли каждый из них к единому блоку («стимул»/»ответ») или же представлен когнитивной процедурой, осуществляемой над многими блоками.

Но если мы отрешимся от этой аксиомы, мы легко получим модель ментальности, где исчезает различие между целеполаганием и целеобслуживанием. В самом деле, представим, что один из блоков целеполагающего уровня вступил в отношения «склеивания-поглощения» с блоком «поведенческих схем», — к примеру, «ценности» замещаются «поведенческими схемами». Получается, ценности персонажа сводятся к безупречно точному соблюдению определенных реакций в ответ на идущие из внешнего мира раздражители. Как следствие, схема в целом обретает парадоксальный вид (схема 7). Поскольку в ней отсутствуют «ценности» как таковые, а порождение какого бы то ни было блока на основе только «образа мира» и «поведенческих схем» не предусмотрено, то блок «интересов» выпадает безо всякого замещения: вместо определения и осознания персонажем своих интересов, видим прямую передачу сигнала из «образа мира» в возникший блок «сверхценных поведенческих схем». С элиминацией интересов устраниваются и собственно цели. Вместо них на базе возможностей и сверхценных поведенческих схем порождаются самодовлеющие установки-сценарии.

Так строится модель ритуализированно-этикетного, «традиционного», по Веберу, поведения. В ней целеполагание практически поглощено целеобслуживанием, в рамках которого происходит и взвешивание возможностей. Осуществление стандартных поведенческих схем становится на место выработки цели. Перед русским читателем этот тип принятия решений можно проиллюстрировать таким известным литературным примером как дуэль Онегина с Ленским. После того, как в

сознании Онегина интерес «примириться с приятелем и исчерпать дискомфортную ситуацию» блокируется интересом «избежать общественного осуждения», его поведение полностью переходит на традиционалистский «автопилот» — оно демонстрирует безупречный автоматизм в исполнении общественно санкционированных поведенческих схем при отсутствии осмысленных целей. Убийство на дуэли оказывается результатом вовсе не стремления к цели «убить противника», но следования сценарию дуэли, ставшему этикетной самоцелью.

Случаи проявления такой ментальности в политической сфере следует отличать от разобранных мною выше (а еще раньше в совместных публикациях с Сергеевым) варианта рационального поведения по схеме 1, когда с образованием обратной связи «сценарии-возможности», сценарии, по существу, устанавливают контроль над целями. Как отмечалось, в подобных случаях, вроде ленинского плана Октябрьского переворота или плана мировой войны фон Шлиффена мы имеем рациональное или квазирациональное принятие решений в условиях неопределенного состояния блока «возможностей».

Схема 7 относится к случаям совсем иным: в частности, ею описывается поведение несчетного числа исторических персонажей, которые могут быть охарактеризованы как «жертвы этоса» — будь то гвардейцы Наполеона I, утверждающие в уже проигранной битве при Ватерлоо принцип «гвардия умирает, но не сдается», или слуга князя Курбского В. Шибанов, идущий на смерть, доставляя письмо господина Ивану IV, или те из подсудимых на Московских процессах 1936 — 38 гг., что шли на лжесвидетельства и самообвинения, выполняя «приказ партии».

Мы вполне можем представить и менее интересный случай встречной трансформации, когда, наоборот, поведенческие схемы оказываются подменяемы ценностями и понимание того, как можно было бы действовать в конкретной ситуации, блокируется общими представлениями о должном и недолжном. Я называю этот случай менее интересным, так как при этом принятие решения по сути останавливается на уровне целеполагания, за которым наступает бесконечная этическая рефлексия по поводу поставленной цели, не преобразуемой в обеспеченную сценарием практическую задачу (тип «рефлектирующего интеллигента» от политики — С. Ковалев в Чечне).

По аналогии с поглощением поведенческими схемами ценностей мы можем себе представить поглощение этими схемами блока «ресурсов». И перед нами возникнет персонаж, убежденный, что некие пове-



денческие схемы сами по себе обладают чудесной силой, гарантируя исполнимость интересов и представляя для них исчерпывающее ресурсное обеспечение. В чем-то такая ментальность сравнима с ментальностью математика, чьи ресурсы при решении встающих перед ним высокоабстрактных задач сводятся к тем операциональным навыкам, которыми он располагает. В политике реализация такой модели дает нам тип решений без различия целеполагания и целеобслуживания, вообще без подлинных целей, всегда отягченных взвешиванием наличных средств и калькуляцией материальных возможностей. В разбираемом же случае (схема 8) оформившиеся интересы непосредственно шлют активирующий сигнал в блок «поведенческих схем», принимаемых за источники мощи. Так возникает тип «стратегадогматика», представленный, скажем, К. Победоносцевым или некоторыми из «рыночных реформаторов» России в 1990-х, тип, одержимый сценариями-установками, призванными обеспечить «магическую» власть над миром, материальной реальностью.

Действия-решения, которые Вебер называл «традиционными», суть по внутренней своей структуре такие действия-решения, при порождении которых либо ценности, либо оценка ресурсов оказываются поглощены поведенческими схемами, воспринимаемыми, соответственно, или как воплощения ценностей или в качестве источников мощи. Но поскольку такая контаминация когнитивных блоков в поведении субъекта может возникать и помимо традиции, имея индивидуальное происхождение, то определение подобных решений как «традиционных» я ставлю в кавычки, впрочем, не упуская из вида и фрейдистской проблематики гомологии поведения традиционного и индивидуально-невротического.

Наконец, предложенное исчисление когнитивных типов принятия решений можно дополнить постулатом о том, что каждая из представленных моделей способна выступать в двух версиях — «закрытой» и «открытой». Различие между версиями в том, остается ли содержание базисных блоков каждой модели неизменно-заданным или может обновляться и пополняться за счет новых элементов аналогичной структуры. Так, «закрытую» версию аффективной модели (схема 2) можно проиллюстрировать образом демократа, манипулирующего в наши дни теми же «антиимперскими» и «антикоммунистическими» клише, которыми он жил в 1990-м. Открытую же версию этой модели явит персонаж, научившийся за последние два года амальгамировать клише либеральные и патриотические, «права человека» с «правами зарубежных со-

отечественников» и «национальными интересами молодой демократии». Если в «закрытой» версии схема 8 впрямь являет кредо догматика, верящего в мудрость накатанных схем, непременно обязанных принести успех, то в версии «открытой» этого типа сменяет экспериментатор, готовый «учиться, учиться и учиться», шарахаясь от одной стратегии к другой под знаком веры в существование где-то сценарных «золотых ключиков», убирающих все преграды: догматик трансформируется в авантюриста.

### **СОМНЕНИЯ, ОТВЕТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ**

Так открывается множественность разнотипных программ принятия решений человеком — программ, способных опираться на одну и ту же нейронную базу человеческого мозга. Разрабатывая исчисление таких программ, отвлекающееся от содержания конкретных когнитивных блоков, в двух пунктах я испытывал наиболее серьезные, хотя и постепенно преодоленные сомнения. Причем существенно, что как сами сомнения, так и разрешение их были впрямую связаны с моими политологическими интересами последних лет.

Во-первых, мне доводилось уже на страницах «Полиса» писать о том, что великие социально-политические видения, такие как консерватизм и либерализм в разных его осмыслениях, основываются на космологических мифах с прямыми ценностными импликациями<sup>202</sup>. Консерваторы, от К. Победоносцева до А. Зиновьева, исповедуют миф случайно возникшего космоса, тяготеющего к сползанию в хаос, и потому не приемлют ни произвольных рациональных «переделок» мира, ни отпуская его на самотек, но требуют от политика прежде всего героического «охранения» мира как он есть, в наличном состоянии. Либерализм эволюционистского толка, в нашем веке замечательно представленный Ф. Хайеком, стоит на мифе спонтанно совершенствующегося космоса, восходящего ко все более высоким ступеням самоорганизации. При таком видении любые конструктивистские или охранительные вмешательства в динамику мира воспринимаются как препятствия на путях «доброй природы»<sup>203</sup>. Напротив, для либерал-

---

<sup>202</sup> Цымбурский В.Л. *Открытое общество, или Новые цели для Европы*. — «Полис», 1992, № 5-6.

<sup>203</sup> Потому забавно, когда российским либерал-реформаторам начала 90-х годов ставят в вину как логический абсурд исповедание принципа «революционно разрушим, а потом все будет органически вырастать» (Кургинян С.Е. *Русская идея, национализм и фашизм*. — Куда идет Россия? Альтернативы общественного развития. М., 1995,

конструктивистов толка Дж. Кейнса или Ф. Рузвельта космологический выбор лежит между соскальзыванием мира в хаос и непрерывным демиургическим вмешательством конструктивного разума в «природу», в том числе социальную. В каждом из этих мифов определенный мировой сюжет становится основанием ценностной квалификации политических действий. Оправданно ли в таком случае настаивать, как я делаю в данной статье, на инвариантной разделности ценностей и образа мира — или следует для какого-то, не освещенного мною уровня Ментальности постулировать дорациональное единство мировидения и аксиологии?

Сам я, конечно, допускаю деградацию как консервативной, так и либерально эволюционистской, и либерально-конструктивистской ментальности к «синкретистским» клише, в которых ценности с противостоящими им антиценностями оказываются неразличимы от явлений мира. Однако в общем случае я считаю правильным связывать перечисленные великие мифы политики с наиболее глубинным уровнем вторичного, производного блока «интересов», полагая их возникающими в результате определенной корреляции между состояниями блоков «образа мира» и «ценностей». А именно, если «образ мира» содержит в себе какой-либо из указанных космологических сюжетов как таковой, то в блоке «ценностей» консерватора и либерала присутствует аксиома о существовании космоса как «высшем благе» или «предпосылке благ» (хотя в остальной ценностная иерархия может быть трансцендентна относительно мироустройства, предъявляя к нему серьезные счеты). Подтвердить правомерность такого разложения великих идеологических мифов нетрудно. Если мы переменим знаки в блоке «ценностей» и прогностически определим существующий мир как «зло» (ср. разработку мотива «концентрационной Вселенной» в текстах чилийского фашистского идеолога М. Серрано), то при тех же космологических сюжетах мы порождаем иные, ультрарадикальные идеологические конструкции, позитивно расценивающие сокрушение имеющегося социального строя «до основания, а затем...», независимо от того, трактуется ли он просто как коснеющая помеха благому сози-

---

с.451). Критика Кургиняна осуществляется с позиций его собственного конструктивистского мифа. Напротив, для либерала-эволюциониста, верящего в «до брую природу», «невидимую руку» и «расширенную систему сотрудничества», критикуемый подход совершенно естествен: сломать препоны, которые старая система ставила перед «доброй природой», и дать последней созидать «систему расширенного сотрудничества»... «невидимой рукой».

данию или как самоорганизующаяся материя, движущаяся ко все более мрачным ступеням зла (например, в эзотерической философии Р. Генона). А потому оказывается вполне законным полагать основания идеологий «большого стиля» в комбинации посылок из разных когнитивных блоков, настаивая на изначальной взаимной независимости космологических схем и аксиологии самого факта бытия космоса, в том числе космоса социального и политического.

Вторым камнем преткновения для меня была степень способности предлагаемой типологии решений служить для спецификации Ментальности субъектов, вырабатывающих эти решения, будь то субъекты индивидуальные или собирательные. Очевидно, что один и тот же политик в разные периоды своей деятельности и в различных ее областях способен опираться на разные модели вывода решений, как бы переключаться с одной программы на другую. Ментальность Ленина как политика-практика, видимо, описывается квазирациональной схемой, допускающей на уровне целеобслуживания отсрочки и изощренные обходные пути реализации сверхценных установок, «подмораживание» последних, когда они вступают в противоречие с наличными возможностями, а вместе с тем и их реструктурирование на глубинном, целеполагающем уровне, коль скоро они перестают соответствовать образу мира. Однако ментальность Ленина-идеолога, в особенности периода написания «Материализма и эмпириокритицизма», может быть вполне адекватно задана простейшей аффективной схемой 2 и сведена к сканированию текстов оппонентов на предмет распознавания «мыслепреступлений», вызывающих однотипную реакцию: «попался идеалист!» Заключение Брестского мира и написание «Материализма и эмпириокритицизма» предполагают глубокое различие интеллектуальных программ, включаемых в зависимости от сферы деятельности разума. Я не исключаю, что анализ других ленинских текстов и ситуаций мог бы обнаружить также примеры и иных схем вывода решений.

Потому гипотетический сверхкомпьютер, предназначенный моделировать разно родные решения политика даже в одну и ту же эпоху его деятельности, должен быть в состоянии выбирать между перечисленными когнитивными моделями, переходя с одних на другие. Тем более это должно относиться к динамической модели духовной и психологической эволюции политика: она должна быть в состоянии осуществлять процедуры образования совершенно новых блоков основных значений для некоторых областей его практики посредством поглощения-синкретизации или, напротив, дифференцирования блоков,

определявших структуру его Ментальности на предыдущей жизненной ступени.

Однако не кажется бесосновательным предположение о том, что эпохи в истории отдельных областей политики и культуры могут разниться превалярованием тех или иных когнитивных типов вывода решений, по крайней мере на уровне целеполагания. Так, в моей работе об изменениях концептуального аппарата советской военной доктрины с 1945 г. по начало 90-х были выделены периоды, различие между которыми может быть осмыслено, в том числе, через смену схем целеполагания<sup>204</sup>. В первое послевоенное десятилетие над советской военной доктриной господствовала идеология т.н. «постоянно действующих факторов» войны и победы, согласно которой в случае третьей мировой войны ставка нашего противника на новый, теперь уже ядерный блицкриг будет сломлена факторами, неотделимыми от социалистической природы СССР, и прежде всего прочностью тыла и высоким моральным духом руководимой коммунистами Советской Армии. Иначе говоря, если в плане целеполагания ценности осмыслялись как основные источники силы, важнейшие из ресурсов, то на ступени целеобслуживания, похоже, гарантией победы оказывалась установка на повторение стратегического сценария предыдущей победоносной войны. Все это придает когнитивному аппарату советской военной доктрины тех лет, продуцирующему стратегические планы, следующий образ (схема 9):

Со второй половины 50-х годов под впечатлением советских успехов в ядерной области и особенно в ракетостроении в выступлениях и публикациях наших военных лидеров возобладала другая схема целеполагания. Зазвучали утверждения, что СССР, ликвидировав военную неуязвимость США, практически уже достиг превосходства над потенциальным противником, и с каждым годом гонки вооружений это превосходство будет все увеличиваться и упрочиваться. Итак, теперь превосходство не прямо выводится из ценностей, но связывается с геостратегическими факторами и владением современным оружием. Однако картина мира в изложениях военной доктрины тех лет исподволь утрачивает автономность. Мир выглядит устроенным так, что обладатели наивысших ценностей по некоему стечению обстоятельств вместе с тем не могут не быть хозяевами положения в военно-техническом и

---

<sup>204</sup> Цымбурский В.Л. *Военная доктрина СССР и России: осмысления понятий «угрозы» и «победы» во второй половине XX века.* М., 1994.

стратегическом планах. Образ мира и ценности совмещаются так, будто первый «подыгрывает» последним, и ставка на тотальную ядерную войну до полной победы лишь отчасти корректируется на целеобслуживающем уровне признанием возможности возникновения «войны по недоразумению» со страшными последствиями.

И наконец, с конца 60-х годов в течение двух десятилетий доктрину характеризует постепенное размывание целевых установок на случай большой войны. В официальных документах 80-х годов цели военной политики и военного строительства все больше формулируются в выражениях типа «не допустить превосходства НАТО», «поддержать паритет», «не дать разговаривать с собою с позиций силы» и т.д. — т.е. явно связываются с отсутствием прямого военного конфликта сверхдержав. Применительно же к варианту с возникновением большой войны в основном используются формулы «решительного» или «гарантированного отпора», «гарантированных ответных действий» и т.п. К середине 80-х годов тезис о «войне до победы» практически выходит из употребления, хотя официально от него и не отказываются ради «поддержания высокого воинского духа». Похоже, в эту пору и образ мира, и оценка ресурсов достаточно дифференцированы от ценностей, а навязчивые рассуждения о моральной правоте СССР, проявляющейся в его отказе от силового превосходства, оказываются вполне в духе максимы «не в силе Бог, а в правде». В то же время подлинной рационализации вывода решений не происходит, так как ценности в контексте рассуждений о возможной войне поглощаются самодовлеющими сценариями «гарантированных действий» — традиционно-сверхценных поведенческих схем. Между тем в годы «нового мышления» эти кризисные черты доктрины усугубляются пацифистской критикой, которая, уловив самый уязвимый пункт нашей современной военной мысли — отсутствие представления о целях войны, распад прежних когнитивных суррогатов этих целей, по сути стала пропагандировать встречное растворение поведенческих схем в ценностях, в рассуждениях о должном и не должном, полностью блокирующее разработку реальных военно-политических и военно-стратегических сценариев.

Неизменными свойствами советской военной доктрины второй половины века оказываются невыделенность блока «ценностей» в явном виде, их склеивание с другими блоками — то с «ресурсами», то с «образом мира», то, наконец, с «поведенческими схемами». Похоже, отечественная военно-политическая Ментальность этих лет проявляет

неспособность ориентироваться на ценности, которые не обладали бы некой «магической» властью над миром, иногда откровенно заявляемой, иногда подспудно принимаемой за данность, или, по крайней мере, не предъявляли бы потайных претензий на такую власть, будучи «невротически» упакованы в сверх ценные поведенческие схемы.

Таким образом, построенное исчисление когнитивных моделей, описывающих принятие решений людьми, обнаруживает практическую приложимость в политологических исследованиях и достаточную продуктивность в этой области. Я вижу сейчас возможность дальнейшей разработки этой концепции в двух основных направлениях. Во-первых, должна быть отработана техника выделения в политических текстах речевых образований, соответствующих различным когнитивным блокам, в том числе характерным для решений «недорационального» и квазирационального типа. Такая техника позволит с уверенностью идентифицировать порождающую когнитивную схему, стоящую за каждой конкретной акцией политического лидера, а накопление подобных результатов позволило бы определять для политика тот регистр когнитивных типов принятия решений, в котором он привык работать<sup>205</sup>.

Во-вторых, заманчиво было бы проследить воздействие культурных и цивилизационных стилей, а также великих религий на предпочтительную склонность их адептов к некоторым схемам вывода решений, а именно — к синкретизации или разведению тех или иных когнитивных блоков. Задел в этом направлении нам дают классические труды М. Вебера, показавшего связь протестантизма с рационалистическим «расколдовыванием» мира. На деле такое «расколдовывание» определяется, в первую очередь, трансцендированием ценностей, их последовательным отделением от образа мира и даже от оценки ресурсов. Отправляясь от данного результата, Вебер наметил программу исследований того, как в этом плане дело обстоит с другими великими религиями и цивилизациями. Гуманитарными науками нашего века эта программа осуществлена лишь фрагментарно. Предлагаемое исчисление типов принятия решений позволяет, думается, подступиться к ней с новым инструментарием.

---

<sup>205</sup> Подход к этой задаче см.: Акимов В.П., Цымбурский В.Л. *Взаимопонимание в политическом процессе как когнитивная проблема*. — «Наука-Политика-Общество» (пробный выпуск общественно-теоретического журнала). М., 1991, с.9-13

Таковы вопросы, которые ставит проделанная работа перед теми, кто готов пред лагаемую методику воспринять всерьез.

*Интеллектуальная Россия, 2006*



## КУЛЬТУРА ЖИЗНИ

### I

В современной России нестабильность в сфере социальных, этнонациональных и конфессиональных отношений обусловлена комплексом причин как общемирового, так и внутреннего, российского свойства. Каковы же те мировые вызовы, которые способны сегодня прямо или косвенно влиять на обострение ситуации в стране?

К концу XX столетия господствовавшая в мировом сообществе идеология «развития для всех» постепенно сменяется логикой глобального управления, основанной на принципах системного контроля над ресурсными и финансовыми потоками, на выстраивании «мировой властной вертикали» субъектов международных связей. Средствами новой политики становятся, в частности, технологии манипулирования глобальным долгом, игры на финансовых рынках, методы продуцирования рисков, управления хаосом, применяемые и с целью извлечения необходимых ресурсов, и для динамичного контроля над социальными процессами на планете.

Народы, становящиеся объектом подобной политики, испытывая стеснения, в свою очередь бросают вызов хозяевам нового миропорядка, причем опираясь в своих действиях также на фактор свершившейся глобализации. Формами ответа становятся подчас столь извращенные деяния, как трагедия 11-го сентября 2001 года, равно как и предшествующие ей, а также последующие акты «системного терроризма», грозящие превратиться в своего рода чуму XXI века.

В современном мире, в ходе нового переселения и смешения народов, религиозные и этнические сообщества, взаимопроникающие, подчас небесконфликтно обитающие на одних территориях, заметно обновляют социальную ситуацию, выдвигая на повестку дня вопрос о путях и самой возможности гармоничного сосуществования в глобализованном, мультикультурном сообществе.

В последнее время все больший интерес вызывает, и все чаще обсуждается, историческое будущее мировых религий, в особенности — направления развития ислама. Мы наблюдаем с одной стороны возрождение социальных, политических амбиций одной из основных миро-

вых религий, но одновременно и попытки адаптации мусульман к образу жизни западного общества. И вместе с тем — стремление части сообщества произвести на свет идеологию воинствующего исламизма, имеющую мало общего с обликом ислама как религии. Тем не менее, нарождающаяся на свет идеология — демонстрирующая подчас, как это ни странно прозвучит, признаки, характерные для эклектичных постмодернистских конструкций — пытается утвердить себя на планете в качестве специфического трамплина для доктрины мировой насильственной революции, носительницы плевел мировой гражданской войны.

Действительно, столкновение в объединенной в глобальную целостность Ойкумене двух неправедных сил — Нового Севера и Глубокого Юга — способно породить явление миру того, что можно было бы определить, не как IV мировую войну, но, скорее, как первую гражданскую войну общепланетарного масштаба (*First Global Civil War*).

Наше время отмечено опасными извращениями духа, прозорливо охарактеризованными на грани *fin de siecle* покойным папой Иоанном Павлом II как культура смерти. Данная культура проявляется в выходящей из глубин подсознания тяги части человечества к массовой деструкции и самоуничтожению. Эта тяга, носящая порой почти иррациональный характер, эксплуатирует разнообразные достижения цивилизации и проявляется в широчайшем диапазоне: от узаконенной эвтаназии до имеющих высокотехнологичную основу событий 11 сентября 2001. Но наиболее драматично — в нарастающей на протяжении последних лет эпидемии террористов-самоубийц.

## II

Кризис этот грозит обрушиться и на многонациональную, поликонфессиональную Россию-РФ — страну, населенную многими народами, исповедующими различные религии. Здесь также обнаруживаются политические силы и скрыто, и явно пытающиеся перенести нарастающий конфликтный потенциал на российскую территорию, утвердив Российскую Федерацию в качестве вынужденного партнера и одновременно — жертвы противоборствующих сторон.

В подобных условиях социальный опыт России — страны с многовековой историей, на разных этапах своего пути, реализовывавшей собственную версию сосуществования людей различного этнического и конфессионального происхождения, сообществ, отличающихся в

своём понимании трансцендентных ценностей и мировидении — этот опыт приобретает в наши дни совершенно особую ценность.

В чем смысл тернистого пути России? Один из ответов на подобный «вечный» вопрос — со всеми оговорками и присущими человеческому естеству огрехами — для страны все же, в целом, не были характерны ни насильственная русификация, ни насильственная христианизация входивших в империю многочисленных народов. Подобная позиция объяснялась не в последнюю очередь специфическим мировидением, побуждавшим правителей государства выступать державными попечителями о множестве племен с разными языками, обычаями и верованиями — людей, совместно переживших весьма непростые коллизии, представлявших как бы «мир в себе» под общей имперской властью.

Советская версия специфической реформации страны основывалась — в числе других оснований — на идее ускоренного перехода в модернизационную фазу истории, где религии сохранились бы лишь в качестве рудиментов прошлого. А многочисленные народы, населявшие СССР, должны были по замыслу устроителей так или иначе, но при этом на равно редуцированных, окороченных основаниях, приобщаться к историческим свершениям державы.

Провал большевистского проекта обернулся не только трагическим распадом прежнего государственного организма, но также восстановлением достоинства традиционных религий и культурных ценностей, обитающих здесь народов, декларацией о намерении возродить по-прежнему личное достоинство человека и гражданина. Другое дело, что декларации и практика их реализации приводят подчас к совсем не очевидным для «отцов-основателей» того или иного социального проекта результатам...

Однако тернистая история государства Российского: страны, претерпевшей на своем многовековом пути немало трудностей и скорбей — на бескрайних, «от моря до моря» пространствах которой долгое время сосуществовали народы, придерживавшиеся разных конфессиональных ориентаций и культурных ценностей, — все это создавало весомые аргументы для секулярного устроения государственной оболочки державы на основе принципов, которые в наши дни определяются специалистами как «*гражданская религия*».

В период советской истории понятие это, хотя и существовавшее под совершенно иными именами, было наполнено единообразным, причем не слишком приятным и весьма памятным содержанием. В

нынешние времена, однако, создаются предпосылки для иной трактовки концепции сосуществования и сотрудничества различных этнокультурных и конфессиональных групп под эгидой единого национального суверенитета. Понимание идеологии уважительного добрососедства как пространства свободы совести, порождающего у *соотечественников* этику *гражданской уверенности*.

Сосуществования, основанного не в последнюю очередь на признании высокой ценности общей исторической судьбы, единого социального наследия, совместно обретенного непростого опыта и разделяемого согражданами страны совокупного образа будущего.

### III

На последнем моменте следует, наверное, остановиться особо. Совокупный образ будущего является высоко значимым компонентом общественного сознания, который формируется в рамках культуры гражданского общества и реализуется активной частью граждан — так называемым *политическим классом*. А через посредство соответствующего устройства практики — деятельно осмысливается и истолковывается пройденный страной исторический путь. Оглядываясь на этот пройденный путь, мы видим, что одной из констант многовековой русской истории выступают полифоничная социальность и государственность (включившие в себя в той или иной пропорции различные, порой чрезвычайно различные, компоненты также и большевистской реформации).

Вместе с тем России-РФ сегодня угрожают раздор, разделение и упадок по причинам не только общемировым, но и сугубо внутренним. На этнокультурные и национальные процессы в стране существенное влияние оказывает фактор (о чем уже неоднократно приходилось писать) мировоззренческой, идеологической пустоты, отсутствия смыслового каркаса, кризис социальной и политической философии, системы национальных ценностей, которые были бы признаны не только государственными институтами, но, что, пожалуй, более важно, также и российским обществом.

Никакой реальной, конструктивной деятельности государственными институтами и федеральными ведомствами по заполнению этого мировоззренческого, а также морального и этического вакуума в настоящее время не ведется. Неудивительно поэтому, что «естественным» следствием подобного положения вещей оказывается заполнение

данной пустоты различными радикальными этническими или конфессиональными *-измами*, подчас переводящими культурно-религиозную проблематику в русло прямого политического вызова.

Население России, и, прежде всего, молодежь, руководствуясь гражданским инстинктом, ищет *осмысленную* и идеологизированно окрашенную информацию, которая способствовала бы утверждению чувства национальной гордости россиянина. Однако предпринимавшиеся до сих пор попытки разработать национальную доктрину России сталкиваются со сложнейшей проблемой преодоления синдрома 1991 года — болезненной памяти о крушении державы, несмотря ни на какие лексические и семантические аббревиатуры воспринимаемой как Великая Россия, которую мы потеряли.

Все отчетливее осознаваемое народом предательство национальных элит того времени, в том числе российских, порождает разочарование и гнев, являющиеся одним из энергичных источников этнического и квазирелигиозного экстремизма. *Столь же малопродуктивным оказывается тезис о «проигранной третьей мировой войне»* — тем более что исторически он уязвим, представляя собой некоторую ретроспективную аберрацию памяти. Холодная война заканчивалась и фактически закончилась по обоюдному согласию сторон уже в конце восьмидесятых годов (1988–1990 гг.), что было ознаменовано, в частности, июльской встречей 1991 г. глав «большой семерки» и разрабатывавшимся в контексте встречи дизайном нового мироустройства, естественно, со своим набором плюсов и минусом. Распад же СССР не в последнюю очередь явился следствием процессов своекорыстно запущенных частью обанкротившихся «элит» в обстановке «послевоенного расслабления»...

#### IV

На наш взгляд, в настоящее время, по причинам как внешним, так и внутренним, особую ценность может приобрести доктрина, которая была бы в состоянии обозреть новый исторический ландшафт и усмотреть, опознать в крушении общероссийской государственности пятнадцатилетней давности и резком зигзаге ее исторического пути проявление замысла Провидения. Замысла, возможно, предполагающего, что участь России — в перспективе разворачивающегося XXI столетия — способна раскрыться как предназначение всечеловеческое, мировое. Не исключено — хотя никоим образом и не гарантировано —

как предназначение по-своему горькое, трагически унижительное или величавое, однако все же имеющее некий глубинный историософский смысл.

Мы полагаем, что перед проступающими симптомами угрозы глобальной гражданской войны Россия должна ясно осознать и заявить: она не на стороне экстремизма, усугубляющего несправедливые черты мирового порядка. Но она и не с теми, кто делает ставку на насильственный переворот и новую деспотию. Для подобного выбора у нее имеются не только прагматические, конъюнктурные, но также исторически обоснованные духовные, метаисторические предпосылки, в том числе связанные с перспективой возрождения животворной традиции, отмеченной великими именами Сергия Радонежского и Нила Сорского.

История свидетельствует, что *падение мировых империй слишком часто сопровождалось разрушением основ нормального человеческого общежития*. А в условиях распространяющейся сегодня культуры смерти, когда речь идет о самих начатках антропологического бытия, такая перспектива выглядит особенно опасной. Можно сказать, что балансирование человечества на краю истории и угрожающее основам цивилизации разрушение мирового порядка, — который при всех своих отрицательных свойствах и негативных проявлениях, однако же, удерживает мир от падения в пропасть зла и анархии — заставляют с тревогой задуматься, что ждет людей в случае утраты этой скрепы. Можем ли мы внятно предложить миру лучший и более гуманный проект?

В качестве предупреждения позволительно вспомнить сценарий из Откровения Иоанна Богослова, в котором грядущее разрушение универсального Вавилона морально осуждаемого за непомерные претензии, за то, что на него падает кровь всех убитых на земле оборачивается в итоге возведением на дымящихся руинах еще более чудовищного Царства Зверя. Сегодняшний мир с расплзающейся трупными пятнами по планете культурой смерти, подчас возводимой в сан псевдорелигиозной идеи, кажется, слишком перекликается с этим предупреждением...

Иначе говоря, мировые тенденции в их крайнем развитии — позволим себе это заметить — чреваты рождением антицивилизации — своего рода *цивилизации смерти*. В подобных условиях Россия обязана провозгласить и, главное, утвердить в своих сложных обстоятельствах *высокую культуру жизни*, противостоящую надвигающемуся на гло-

бальное человеческое сообщество темному призраку, во всех его многочисленных и часто лукавых проявлениях.

Культура жизни должна не только утверждать значение жизни как таковой, но и высокое достоинство личности, быть освящена знаковой для ряда традиционных религий идеей сближения и согласия человека с Богом через праведное, солидарное жизнеустройство человеческого общежития.

## V

В заключение вернемся к непростым, часто нелюбимым вопросам и дилеммам, связанным с историей России, к необходимости углубленного прочтения казавшихся в свое время столь очевидными и азбучными прописей. История России все еще нуждается в декодировании многих сложившихся стереотипов.

Так в советскую эпоху Россия-СССР, наряду с очевидными язвами и пороками системы, включая насильственное переселение этнических групп, прямое и косвенное подавление конфессий, одновременно выступала носительницей собственной версии «идеологии развития» для тех народов и политических групп, которые считали западную версию этой идеологии по тем или иным причинам для себя неприемлемой. Временами, подводя человечество к грани ядерного катаклизма, страна, парадоксальным образом, в то же время подчас удерживала мир от падения в пропасть хаоса и раздора. И даже декларировала вместе с западной цивилизацией миссию утверждения на планете признанных эпохой Модернити ценностей прогресса. Стимулируя, таким образом — наряду с гонкой вооружения — провозглашенными, пусть часто и лицемерно, принципами, интенсивное состязание в «списке благодетель» систем человеческого мироустройства...

Лицемерие, по мысли Ларошфуко, есть дань несовершенного человеческого естества добродетели, иначе говоря, при подобном положении вещей добродетель остается на пьедестале, а порок вынужден скрывать свое истинное обличие. С кризисом же и распадом идеологии развития, причем в глобальном масштабе, возникает пока еще смутный образ новых конструкций мирового сообщества, с иными ценностными и политическими ориентациями, а сжимающаяся Россия-РФ в настоящий момент фактически снимает с себя ответственность за мировой порядок, в частности, за ошибки, творимые новой мировой элитой.

Однако страна в состоянии — более того призвана проявляющимися грозными тенденциями — предоставить действенную защиту населяющим ее пространства людям всех национальностей и религий. И не только им. В тревожном современном, или быть может уже правильнее сказать постсовременном мире, она должна оказывать поддержку всем, кто готов связать с Россией свою судьбу, да и не только им.

Мы также хотели бы надеяться на готовность и способность русского мира, опирающегося на обширное духовное и культурное наследие, на присущий его обитателям инновационный пафос и склонность к социальному творчеству приступить к выстраиванию интеллектуальной и социальной концепции, несущей образ будущего, которая отвечала бы чаяниям народов не только самой России, но и других стран и континентов.

Перефразируя слова знаменитого писателя, мы должны в заключение сказать: *не империя, но прояснение духа в остатке — духа не утраченного, но помраченного в советскую эпоху, — вот истинное призвание России в наступающую эпоху, призвание универсальное.* Все остальное приложится: национальный мир, технологические свершения, надежная внешнеполитическая стратегия и верные союзники в новых деяниях общества.

*Статья написана совместно с А. Неклессой*

*«Агентство политических новостей», 11 сентября 2006 г.*



## РОССИЯ В АМЕРИКАНО-ИРАНСКОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ

В первой части настоящей работы мы оценим нынешний глобальный расклад сил, на который американо-иранская война при разных ее исходах может оказать то или иное воздействие, — а уже затем конкретизируем полученные выводы применительно к геополитике современной Евро-Азии.

### I

Середина XX в. была отмечена великой сменой милитаристских эпох, обусловленной радикально преобразовавшимся соотношением между возможностями мобилизации ресурсов войны крупнейшими державами — и находящимися в распоряжении этих государств средствами уничтожения. Предыдущие 150 лет, начиная с войн Французской революции и Наполеона I по вторую мировую, были эпохами «народных войн», когда растущий размах мобилизаций и вклад экономик в «дело победы» постоянно обгоняли неутомимое совершенствование средств уничтожения; когда культивировался идеал победы как силового слова, «уничтожения» противника, материализуясь в пафосе боя как основной формы применения военной силы и в сценарии капитуляции побежденных. Тогда считалось нормальным, что с объявлением войны политико-дипломатические отношения между борющимися государствами сворачивались до полной победы одной из сторон, — что во время войны «главное — победа, а все остальное к ней приложится».

Появление в арсеналах великих держав середины XX в. ядерного оружия сформировало принципиально новый баланс мобилизации и уничтожения, ставший базисом иного эпохального милитаристского стиля. Первую фазу наступившей эпохи составили десятилетия мировой холодной войны второй половины века. Противоборство сверхдержав с непримиримыми идеологиями и глобальными претензиями частично конвертировалось в гонку вооружений, где превосходство определялось бескровной калькуляцией силовых потенциалов, а частично — в конфликтах низкой интенсивности, разыгрывавшихся все больше при помощи вассалов и подставных фигур. Начинается возвращение к профессиональным армиям, обретают исключительную,

самоудовлеющую ценность маневры — эти игровые имитации войны, а также различные виды опосредованного политического использования вооруженных сил — военного присутствия и т.п. Утверждается эталон победы в борьбе между сильными противниками как сделки, к которой победитель вынуждает или склоняет проигравшего. Война все отчетливее становится тем, чем была в XVIII веке, когда наличная мощь огня превалировала над мобилизационными возможностями абсолютистских режимов, — говоря словами К. Клаузевица, она была «усиленным способом ведения переговоров».

Вместе с тем фаза мировой холодной войны положила конец длившемуся почти 500 лет автономному функционированию европейской (евроатлантической) конфликтной системы. Эта система впервые оформилась к началу XVI в. в виде бинарного противостояния Франции и империи Габсбургов с ее австрийским ядром. Во второй половине XVII в. и в XVIII в. в силовой расклад Европы балансирами входят Англия, новый северогерманский центр — Пруссия и «евразийский» партнер слабеющей Австрии — Россия. В результате этих процессов позже, за XIX — начало XX вв., с закатом и Вены, и Парижа в качестве центров военной мощи, франко-австрийская биполярность трансформировалась в англо-германскую. Причем с первой мировой войны США выступают резервом Англии, а Россия, в том числе и большевистская Россия-СССР, в своей тягбе с Берлином за «австрийское наследство» — за роль восточного центра Европы — оказывается союзницей атлантических держав. Надо отметить, что до XIX в. крупнейшие морские и торговые центры, распространявшие влияние западной цивилизации далеко за пределами ее метрополии (Венеция, Португалия, Нидерланды, даже и Англия), никогда не выдвигались в фокусы европейского расклада сил. Соединив эти очень разные функции, англо-саксонские государства заложили предпосылки перерастания системы Запада в систему мировую.

«Ялтинская эпоха», когда, с гибелью Третьего Рейха и упадком Англии, коренной Запад сплотился под военной эгидой США против СССР, подмявшего под себя ряд пороговых народов Европы, — которые, кроме восточных немцев, не принадлежали к этническому романо-германскому ядру западной цивилизации, — как раз и была переходом европейской системы в систему *the West against the Rest*. СССР выступал первым воплощением «мирового иного», бросающего вызов объединенному Западу, его ценностям, его мировым позициям.

Попытка Горбачева снять с СССР эту роль, обменяв ее на вхождение СССР в единый штаб планетарного порядка, на его соучастие в предполагаемой структуре объединенного Севера сверхдержав, обернулась событиями, которые перевели наставшую в середине века милитаристскую эпоху в следующую ее фазу, а систему *the West against the Rest* в новое состояние. В обстановке «послевоенной» релаксации советского общества массовые выступления городского политического класса против большевистской гегемонии были использованы верхушечной фрондой части наших элит для попытки преобразовать надсловное советское государство в государство сословное. Ценой этого переворота стал раздел СССР — иными словами, сжатие «Великой России», превращение российского государства из уникального «второго мира» в один из нескольких силовых центров, действующих сейчас на планете при несомненном доминировании атлантического Центра, выстроенного вокруг США.

Эта конфигурация, возникшая в 1990-х, с подачи Сэмюэля Хантингтона получила прозвание *uni-multipolar world* или, по-русски, «*полуторполярный мир*». Это мир, где налицо один Большой Центр, способный оказывать влияние на процессы во всех основных ареалах Земли и, вместе с тем, ряд субцентров, ни сообща, ни порознь не уравновешивающих Большой Центр и не представляющих проекта, альтернативного наличному порядку, но, однако же, способных доставить немалые неприятности центру-гегемону, если их интересы придут в непримиримую — «не на жизнь, а на смерть» — конфронтацию с его действиями в конкретных регионах. Теоретически ясно, что полуторполярный мир может эволюционировать в разных направлениях — к монополярности (когда Большой Центр подавляет или берет под жесткий контроль все субцентры); к многополярности (если Большой Центр деградирует до ранга одного из многих полюсов силы, ведущих между собою свободную силовую игру, с перегруппировками конфликтных потенциалов и союзов); к новой биполярности; и, наконец, как впервые показал Найл Фергюсон, к аполярному режиму, если с упадком Большого Центра субцентры погрязают в собственных проблемах, будучи окружены и разлагаемы силами хаоса и факторами энтропии, крайне слабо взаимодействуя друг с другом.

Полуторполярный мир — конструкция очень напряженная. И в первую очередь грозят ее подорвать действия Большого Центра, руководствующегося провозглашенным при Дж. Буше-старшем проектом «нового мирового порядка». Реально этот проект означает смещение

фокусировки полутораполярного расклада в сторону униполярности, когда часть меньших субцентров была бы разрушена, а другие оказались бы у Большого Центра в прямом подчинении.

Однако сейчас не та эпоха, когда империи создавались взаимоистреблением миллионных армий на полях сражений и когда война, будучи развязана политиками, далее развивалась по своим собственным, неполитическим законам. Стремление трансформировать силовое первенство США и их экономическое могущество в международно-политическую униполярность соединяется с теми понятиями о взаимоотношениях политики и силы оружия, с тем эталоном победы, которые были заложены в холодную войну и вынесены из того времени нынешними политиками и военными руководителями. Налицо воздержание от боевых решений, нацеленных на «уничтожение» сильного противника, который был бы в состоянии, сопротивляясь, нанести контингентам Большого Центра «неприемлемый ущерб», причем понятия о таком ущербе весьма широки.

По-прежнему в ходу «война как усиленный способ ведения переговоров» и идея победы как выигрышной сделки, к коей противника подводят, соединяя военное давление с экономическим и, особенно, с информационным. Неизмеримо более широко, чем в войнах XIX – первой половины XX вв., используется политическая конъюнктура, особенно оппозиции, фронда и коррупция в стане противника ради конструирования новых, более податливых и послушных участников тех итоговых победных сделок, по отношению к которым военные успехи выполняют миссию не более, чем подготовительную. Сербия и Ирак – примеры успешного запуска подобных схем (Ирак 1991 и 2003 гг., рассматриваемых как этапы одной войны), во многом выработанных в результате рефлексии над коллапсом СССР, истолковываемым – вторично, задним числом – как «следствие усилий Запада в холодной войне». Сегодня речь должна идти о стратегии и тактике обустройства мирового имперского пространства без большой войны, посредством приемов, охватываемых формулой *stop and go*.

В наши дни лишь чисто умозрительно можно обсуждать версии «мира без США», постулируя во временной дали военный или экономический надлом Штатов, который заставил бы их свернуть свое присутствие в Евро-Азии и ужаться на Океане. Гигантское военное строительство, начатое при Буше-младшем и гарантирующее США кратное превосходство над любым мыслимым составом недругов, несет в себе самом политический проект, который вместе с этим строительством

неизбежно унаследует не только ближайшая администрация–преемница, но и целый ряд последующих американских руководств. Этот потенциал не представить бездействующим. Нелепо думать, что американцы поставят ржаветь и гнить свои авианосцы или станут их продавать другим странам «на металлолом», как поступали русские при Ельцине со своими боевыми кораблями. Маловероятно, чтобы у США оказался свой Горбачев, а если такой и появится в Белом доме, сама материальная составляющая его власти заставит его мыслить и поступать существенно иначе, чем мыслил и поступал советский президент.

Разумеется, в зависимости от того, кто победит на выборах в 2007 г. конкретное воплощение проекта «нового мирового порядка» будет варьироваться в рамках описанного З. Бжезинским выбора между «господством» и «лидерством», между преимущественной ставкой на сценарии типа «иракского» (2003 г.) или типа «сербского» (1999 г.). И, тем не менее, в наиболее существенных чертах курс Большого Центра в обозримое время пребудет таким, как показано выше — установкой на то, чтобы, не рискуя «неприемлемым ущербом», шаг за шагом преобразовывать полутораполярную ойкумену в мир торжествующего униполю.

Одной из самых дурных иллюзий, проступающих в прогнозах на ближние десятилетия, является тезис а ля Жан Парвулеску о том, что «мир вдруг переменится» и «Большая Европа», сложившаяся внутри и с санкции поднимающейся Рах Americana как вид примыкающей к Большому Центру Ганзы, внезапно — то ли как целое, то ли в лице каких-то своих ведущих субъектов — представит глобальный противополлюс с проектом, альтернативным американскому. Размеры вооруженных сил крупнейших стран ЕС, спектр их реакций во время нынешнего ближневосточного похода США и наката на Европу встречной волны исламского террора внушают крайнее недоверие к подобным идеям. Мы не представляем, чем могла бы стать и на что могла бы заявить притязания Большая Европа в случае «облома» США. Пока же мир сохранит зримые параметры, эта Европа-Ганза будет наслаждаться благами союзнической подопечности, экономя на оборонных расходах, тешась своим «социальным государством», используя, когда ей это понадобится, программу «нового порядка» в своих видах — как было в случаях с демонтажом Югославии и растерзанием Сербии, — под крылом американского орла выстраивая и разрабатывая свои «инвестраумы» — но вместе с тем не упуская случая устами видных своих

«говорящих голов» покритиковать передержки и перегибы боссов Большого Центра, хотя и уклоняясь от решений, которые скольконибудь надолго осложнили бы союзничество. Иначе говоря, эта Европа, не беря на себя ответственности ни за что сверх своих геоэкономических — «ганзейских» — запросов, будет себе оформлять реноме более «мягкой» и «справедливой» представительницы того же «нового мирового порядка», понимающей его «истинный дух» лучше устанавливающих этот порядок американцев.

Задумываясь над оптимальным курсом России в таком мире, позволим себе сперва высказать следующие общие положения. Картины страданий человечества при аполярном бытии народов, рисуемые Фергюсоном и его последователями, пока что выглядят скорее пропагандистскими изысками поборников униполярности, предполагая быстрый, одновременный и далеко заходящий упадок всех существующих центров. Сегодня российская политика должна определиться как в принципиальном отношении к проекту, продвигаемому Большим Центром, так и в ясном осознании того, что мог бы нести России миропорядок, шатнувшийся в противоположную сторону — к раскрепощенной силовой многополярности. Что касается идеи «новой биполярности», которую обычно связывают с предполагаемым возвышением Китая в наступившем веке, — то, в конце концов, бинарная система может рассматриваться как самый простой случай системы с несколькими центрами. Надо признать: каждый из этих вариантов представляет для России свою — и немалую — опасность. В одном случае это опасность откровенного вмешательства взявшего верх униполярности под самыми разными стратегическими, экономическими, экологическими, гуманитарными предложениями не только в сферу внешних отношений России, но и в ее внутренние дела. Вплоть до трактовки ее законами объединенного мира на правах «географического понятия». В другом же случае мы рисковали бы столкнуться с революцией притязаний в Евро-Азии, включающей замах тех или иных соседних центров на части России.

Оптимальным для нашей страны пока что является *полуторполярный расклад в его непрочной сбалансированности*, когда глобальный замысел «нового порядка» подмораживал бы революционные поползновения субцентров, а в свою очередь их потенциалы блокировали бы осуществление этого замысла. *Как ни хрупка конструкция нынешнего международного порядка, стремиться надо к тому, чтобы укрепление России — духовное, хозяйственное, военное — существенно опережало*

*его эрозию*. Этот порядок, как ни парадоксально, оберегает Россию. Но он не будет оберегать ее вечно — ни даже слишком долго.

Вот с этой точки зрения хотелось бы взглянуть на геополитические проблемы, связанные с давно уже назревающей войной Большого Центра против Ирана. Как то или иное развитие событий могло бы повлиять на тот мировой строй, который сейчас налицо и который России пока что следует отстаивать ради своего сохранения для будущего?

## II

За 15 лет, истекших со сжатия пространства России, в Евро-Азии проступила новая геополитическая реальность, без учета которой трудно бывает адекватно оценить международные процессы, наблюдаемые на этом крупнейшем материке Земли. Эта реальность с 1990-х получила в литературе название Великого Лимитрофа. Она имеет два главных аспекта — геокультурный и геостратегический, голос же вспомогательный в этом трио принадлежит геоэкономике.

В плане геокультурном Великий Лимитроф Евро-Азии образуют земли, которые по характеру их населения выступают как периферии «ядровых» цивилизационных ареалов материка — романо-германской западнохристианской Европы, арабо-иранского исламского Ближнего и Среднего Востока, Китая, Индии и России. К началу XXI в. основными регионами Великого Лимитрофа являются Восточная Европа с Прибалтикой и Балканами, Кавказ с Закавказьем и «новая» (постсоветская) Центральная Азия. Громадным латентным продолжением того же пояса предстают тюркские и монгольские земли в порубежье Китая и России, в основном подвластные этим державам, за исключением суверенной Монголии. К Лимитрофу примыкают Тибет, через который этот пояс связуется с Индией, и турецкая Анатолия — северная окраина Ближнего Востока. Замыкают его, выходя к океанам, на северо-западе Финляндия, на юго-востоке корейские республики (между ними и Монголией вклинивается Манчжурия, бывшая лимитрофная земля, успешно китаизированная и переработанная в северный плацдарм-лимес Поднебесной).

В аспекте геостратегическом Великий Лимитроф простирается между крупными евроазиатскими центрами силы, расположенными на древних цивилизационных платформах материка. Для «сжавшейся» России политическая обстановка на Великом Лимитрофе имеет ис-

ключительное значение. Большая часть этих пространств в разные времена входила в империю Великой России или прилегал к этой империи, попадая в поле ее интересов. Сегодня они окаймляют Россию на протяжении ее западных и южных границ, стыкуясь в районах Мурманска и Владивостока с другим внешним полукрутом России, — полукругом замерзающих океанских вод, обрамляющих ее с севера и востока.

Уже по ходу холодной войны некоторые западные авторы ставили под большое сомнение старую геополитическую антитезу, противопоставлявшую Россию как «хартленд» (континентальную глубинку) — римленду (океанским побережьям), который американцы якобы должны были защищать от наступления из хартленда. Ведь само по себе понятие «римленда» было выработано американской геополитикой как обозначение для тех евроазиатских побережий, которые могли бы быть задействованы для стратегического окружения и блокады США, если бы оказались под властью их недругов. Однако — указывали критики — с развитием авиации, ядерных ракет и подводного флота часть советского Заполярья, обращенная к Америке, представляла собой, но вполне явной разновидностью римленда. С утверждением же реальности Великого Лимитрофа Россия подводится под общую формулу с иными цивилизациями Старого Света и их силовыми центрами: все они лежат между Лимитрофом и океанами, только цивилизации Европы и Азии тянутся вдоль открытых, незамерзающих океанов, а отделенная от них Лимитрофом Россия прилегает к океанам замерзающим. На взгляд глобальный, как и для смотрящего с любой платформы Евро-Азии, она — прежде всего Земля за Великим Лимитрофом, на взгляд же локально (pagochial) американский, она — за Тихим и Ледовитым океанами.

Итак, можно говорить о двух сквозных пространствах, охватывающих евроазиатские цивилизации с их центрами силы: эти пространства — *Океан* как целое и *Великий Лимитроф*. Отсюда следует, что «новый мировой порядок» (с разрушением части субцентров и постановкой оставшихся под надзор Большого Центра) оптимально может быть достигнут сочетанием господства центра-гегемона на Океане с развертыванием им структур контроля над землями Великого Лимитрофа и над смежными с ним или даже выдвигающимися на него областями соседних великих держав.

В наши дни важнейшей частью мирового баланса сил выступает столкновение влияний и интересов внешних центров на разных участ-



ках Лимитрофа. В Восточной Европе, все больше охватываемой в XXI в. структурами Запада, гегемонии Большого Центра и ЕС сталкиваются с достаточно локальными интересами России. На Кавказе планы Большого Центра и союзной ему лимитрофной державы — Турции конфликтуют с политикой безопасности выходящих на этот сектор Лимитрофа России и Ирана. С «новой» Центральной Азией, куда уже внедрены американские базы, граничат Китай, Иран и Россия, чьи жизненные интересы так или иначе связаны с ее будущим. Старая Центральная Азия — поле Китая и, в меньшей степени, России, не говоря о Тибете, соприкасающемся с окраинами Индии. Впрочем, лидеры лимитрофных сепаратистских меньшинств Китая пытаются искать поддержки США и Японии. Наконец, на Корейском полуострове встречаются влияния Китая и США. Впрочем, Россия, несомненно, могла бы усилить свой авторитет на этом «входе» Лимитрофа, если бы вполне осуществился замысел присоединяющейся к Транссибу Транскорейской магистрали. Таким образом, совокупность этих региональных балансов наглядно обнаруживает особую заинтересованность России, Китая и Ирана в судьбах Лимитрофа как целостной трансрегиональной протяженности: ведь Россия соприкасается со всеми основными его сегментами или частично их в себя включает, Китай имеет дело с тремя из них, Иран — с двумя. Эти три державы в наибольшей степени вовлечены в дела великого сквозного пространства, пронизывающего Евро-Азию в разных его ландшафтных и культургеографических видоизменениях.

Для этих держав не могут быть безразличны попытки геостратегически и геоэкономически замкнуть Лимитроф — прямым и целиком — на атлантический Большой Центр и на прилегающую к нему «союзницу» — Большую Европу.

Свидетельств тому более чем достаточно. Тут и расширение зоны НАТО в Восточной Европе; и прямой путь Грузии Михаила Саакашвили в эту организацию; и американское присутствие в областях, зоной НАТО не охваченных, — от Македонии и Косово до Кыргызстана, включая сорвавшуюся попытку проведения маневров в Крыму в 2006 г.; и объявление еще в 1990-х окрестностей Каспия зоной национальных интересов США, а Закавказья и Центральной Азии в целом — сферой ответственности американских сил НАТО; и прокладка нефте- и газопроводов по Лимитрофу в обход России (Ирана); и то уходящий в тень, то вновь оживающий транспортный проект ТРАСЕКА. Все эти факты следует рассматривать как звенья в процессе раз-

вертывания на Лимитрофе — от Балтики до китайской границы — структур, прямо или опосредованно представляющих Большой Центр. Разгром государства талибов с комбинированным использованием центрально-азиатских американских баз и лимитрофных по этническому составу воинств Северного альянса дал первый пример успешного задействования ресурсов этого пояса для ликвидации цивилизационно маркированного центра силы. Как не вспомнить и вторжение США в Ирак, когда режимы «новой» — т.е. лимитрофной — Европы дружно выступили на стороне Большого Центра против франко-германской фронды.

Бескровные революции 2000-х в Сербии, в Грузии, на Украине, переворот в Кыргызстане, бойня в узбекском Андижане (сюда же относится неудачная инспирация американцами подобной же революции в Азербайджане, не вполне оправдавший себя с точки зрения «нового порядка»), — должны расцениваться в качестве акций по подготовке Лимитрофа к большому геополитическому строительству. Важнейшим компонентом этих революций, отстранявших дискредитированные по тем или иным причинам режимы, было признание революционеров как победителей еще до их победы «мировым цивилизованным сообществом» — иначе говоря, приход к власти сил и групп, безоговорочно обязанных победой Большому Центру и связанным с ним институтам. В геополитическом отношении это и есть основное содержание данных революций. Российской оппозиции — в особенности оппозиции патриотической — неоднократно поднимавшей в последние годы вопрос о возможности применения «оранжевого» сценария против «путинщины» неизбежно приходится задумываться над политическими векторами, которые пришлось бы подписывать, запуская такой сценарий в ход. Пока что «цветные революции» остаются инструментом геополитики на Лимитрофе, и не было ни одного примера успешного их задействования против цивилизационных центров силы.

В таком контексте война США против Ирана получила бы двоякое геополитическое назначение.

Во-первых, она имела бы целью одержать предварительную победу («победу-делку») над мощным и слабо контролируемым субцентром Среднего Востока, — к тому же, готовым заполнить большую ближневосточную «вакансию», возникшую с разрушением Ирака. После этой предварительной победы Большой Центр мог бы сразу же приступить к разрыхлению Ирана политическими методами — перерабатывая центр силы в сугубо географическую величину.

Вот здесь-то и обозначается второй момент, состоящий в том, что географически Иран выступает связующим пространством между приокеанским Левантом и циркумкаспийскими областями Великого Лимитрофа. Стратегически это значит — между американскими базами на Ближнем Востоке и теми, что уже действуют или еще должны быть развернуты западнее и восточнее Каспия. Вопрос в том, пребудет ли Иран — если воспользоваться метафорой из сферы электричества — изолятором, разделяющим и ослабляющим две опорные структуры «нового мирового порядка», или будет преобразован в соединяющий их проводник.

Здесь самое время задуматься над возможной реакцией Китая, для которого вероятность крушения Ирана и резкого усиления позиции Большого Центра на всем Среднем Востоке и в «новой» Центральной Азии могла бы обозначить двойную угрозу — ближнюю и более отдаленную. Ближняя непосредственно создавалась бы фактическим захватом Китая в «клещи» двух структур — американской океанической мощи с востока и американских баз с запада, подступающих к Синьцзяну и Тибету. Угроза более отдаленная возникала бы из экстраполяции в среднесрочное будущее экспансии «нового мирового порядка» на Лимитрофе за последние 15 лет.

Предвидя после поражения Ирана протягивание американских баз к китайской границе несколькими цепями — из Восточной Европы через Закавказье, с Леванта через Иран и Афганистан и снова с Леванта, но уже через Иран и «Новую» Центральную Азию, — руководство Китая должно было задуматься над опасностью, что рано или поздно какая-нибудь вашингтонская администрация попытается увязать решение вопроса Северной Кореи (окончательную ликвидацию «оси зла») и постановку вопроса о Северном и Западном Китае с его тюркскими, монгольскими и тибетскими элементами. Что эта администрация попробует пробудить латентную часть Великого Лимитрофа и навести через нее мост между форпостами «нового порядка» в постсоветской Центральной Азии и на Корейском полуострове. Короче, что американцы всерьез отнесутся к идее использовать Центральную Азию, старую и «новую» в видах поэтапного окружения Китая.

Поэтому перспектива торжества Большого Центра над Ираном — пусть на какое-то время торжества, как и в случаях с Ираком и Сербией, «ограниченного», конвенционального, «нестрашного», — могла бы стать самым законным поводом к тому, чтобы Китай, до того представлявший региональную великую державу (с интересами, хотя и

весьма многовекторными, но замыкающимися в Восточной Евро-Азии) самым ходом дел оказался буквально вытолкнут на поле мировой геостратегии. Он обретает жизненную заинтересованность в делах Ближнего и Ближне-Среднего Востока. В разработке контрпроекта, преследующего естественную и законную цель — не допустить окружения Поднебесной контингентами Большого Центра, — он получает импульс к перерастанию в державу мировую. Вопреки Хантингтону, смычка интересов Китая и политического ислама может возникнуть вовсе не из окказионального резонанса между столкновением китайцев с США в Юго-Восточной Азии и всплеском ненависти «правоверных» к Западу. Гораздо более естественным пунктом такой смычки должна стать стратегическая озабоченность Пекина тем, чтобы «новый мировой порядок» не взял верха над Ираном.

Важно понять, что при таком развитии событий речь пока надо было бы вести не о First Global Civil War внутри «объединенного мира» и уж вовсе не о мировой революции, но о сопротивлении субцентров, отстаивающих статус кво полуторараполярного (то есть наиболее импонирующего России мироустройства) против желания Большого Центра «перетянуть одеяло» в свою пользу. Следует говорить не о стремлении Ирана и Китая подорвать мировое преобладание США и вообще Запада (пока что это задача не решаемая, да едва ли в начале XXI в. кто-нибудь, кроме кучки подпольных людей, готов ее ставить), а лишь о воле этих держав — и тут у них опять-таки полное взаимопонимание с Россией! — быть гарантированными от участи Сербии и Ирака.

Но, прежде всего, практическое реагирование России на подобный кризис должно ясно определиться тем, уже обсуждавшимся, фактом, что она смыкается с Лимитрофом по всей его протяженности. Если бы на Лимитрофе возобладали структуры, выстраиваемые инициаторами «нового порядка», последние обрели бы исключительную возможность воздействовать на политику и экономику России, а опыт 1990-х годов с западными вдохновителями и консультантами наших тогдашних реформ вовсе не убеждает в том, что подобное влияние было бы для страны благотворно.

Кроме этого, надо помнить и о том, что из всей системы Лимитрофа «новая» Центральная Азия имеет для безопасности России едва ли не наибольшую значимость: она непосредственно прилегает к южно-уральскому и западносибирскому коммуникационному средоточию нашей страны, где веер железнодорожник путей с запада стягивается в

линию Транссиба. Уже не раз отмечалось, что именно здесь Россию легче всего было бы разложить, — если бы сила, заинтересованная в этом, располагала в «новой» Центральной Азии, особенно на ее севере, надежным плацдармом. Особую тревогу вызывает недавно попавшая в печать («Труд» от 8.9.2006) история с введенным в 2003 г. в действие Челябинским хранилищем российских ядерных материалов — выстроенным четырьмя боссами Минатома (Михайловым, Адамовым, Румянцевым и Кириенко) на деньги США и оснащенным американскими контейнерами, которые, по исходному соглашению, русским запрещено вскрывать, даже если эти изделия окажутся неисправны или просвечивание обнаружит в них лишние предметы (!). Автор статьи в «Труде» показывает, что хранилище совершенно не отвечает требованиям безопасности и в случае возникновения в нем пожара зоной ядерного поражения окажутся охвачены Средний и Южный Урал с Тюменской областью, центрально-азиатские республики и часть Китая. При этом Россия фактически оказалась бы разорвана надвое. Мы бы к этому добавили: закрепись американцы в «новой» Центральной Азии — и при конфликте между Большим Центром и Россией для продвигателей «нового порядка» ничего не было бы легче, чем оккупировать регион с местонахождением хранилища под предлогом якобы поступивших аварийных сигналов и необходимости обеспечить международную безопасность. Так что Сибирь и Дальний Восток были бы хирургически отсечены от российского запада (Московии) — даже при отсутствии аварии как таковой.

Для всех соприкасающихся с «новой» Центральной Азией держав американское присутствие в этом секторе Лимитрофа несет потенциальные угрозы: и для России, и для Китая, выходящего сюда Синьцзяном и Тибетом, и для Ирана, смыкающегося с этими краями своим, в значительной мере тюркским, севером. Лимитроф в целом, с действующими на нем силами, сегодня предстает образом полутораполярного мирового устройства — и опасностью подсоединения его центрального звена к потенциальному атлантическому униполю закладывается реальная основа если не союза, то далеко простирающейся политической кооперации соседних субцентров.

Важными шагами по пути такой кооперации явились — создание ШОС по инициативе Китая и России в ответ на внедрение американских баз к западу от Каспия под предлогом похода против талибов; последующее включение в нее, сперва на правах наблюдателей, Индии, Пакистана и Ирана; наконец, прием в нее Узбекистана, сильнейшего в

военном отношении государства «новой» Центральной Азии, мудро отказавшегося после андижанских событий от своих прежних претензий на роль главного регионального агента Большого Центра. Сегодня ШОС на пороге международного признания в качестве одной из несущих конструкций полуторополярного мира, которые российские политики и публицисты спесиво величают многополярным, не желая задуматься над тем, с какими серьезнейшими вызовами мы бы столкнулись в условиях реальной многополярности.

Несомненно, растущая мощь Китая, под которой гнется граница предельно уязвимого российского востока, — для России уже сейчас источник тревоги. Китай нам крайне опасен как региональная великая держава по соседству, — но отсюда вовсе не следует, чтобы он был для нас непременно столь же опасен в качестве державы мировой, разыгрывающей на великой шахматной доске эту под названием «не дать Большому Центру окружить Поднебесную».

При этом крайне контрпродуктивной выглядит время от времени высказываемая нашими политиками идея сближения России с США ради сдерживания Китая. Реализация этой идеи — даже если бы американцы в какой-то момент пожелали пойти нам навстречу, особенно в обстановке «наезда» США на Иран — означала бы добровольное российское соучастие в окружении Китая. Идея ШОС была бы похоронена — или реализуема по-новому, без России и, возможно, против нее. Тем самым, мы сами бы себе создали ситуацию, когда региональные экспансионистские виды Китая на российское Приморье и Южную Сибирь, по крайней мере, на одном направлении вписались бы в ту большую оборонительную стратегию, которая возвела бы Китай в ранг мировой державы. Соединиться с США в сдерживании Китая — значило бы для русских рисковать скорейшей потерей Сибири, причем избежать этой катастрофы можно было бы, и то с некоторой вероятностью, лишь безоговорочно став в американский фарватер — по всем позициям и со всеми последствиями этого шага для сворачивания российского государственного суверенитета.

С другой стороны, представим себе в порядке «контрфактического моделирования», что США в ближайшее десятилетие отказались бы от идей «нового мирового порядка» и от распространения своих структур в Евро-Азии. Китай утратил бы всякое беспокойство о делах Ближнего и Ближне-Среднего Востока и определился бы в качестве регионального — восточноазиатского — державного «чемпиона». Прочие субцентры Евро-Азии также обратились бы к геополитической и силовой

игре на свой страх и риск. Кавказ, «новая» Центральная Азия, соседствующая со «старой» Центральной Азией русская Сибирь и Приморье предстали бы игрищами такой развязанной многополярности — и России оказалось бы весьма непросто сохранить нынешнюю целостность даже при существенно лучшем хозяйственном состоянии и военном оснащении, чем сейчас. Гипотетическое отступление США из Евро-Азии вряд ли было бы для России менее опасно, чем возобладание «нового порядка» на этом континенте, но, пожалуй, не более, чем дурное втягивание нашей страны в сдерживание Китая. Как говорил греческий трагик «Что тут не грех? Все — грех». Все это для России очень плохие варианты. Относительно хороший вариант у нее в кратко- и среднесрочной перспективе только один — поддерживая полутораполярный глобальный порядок, рассогласовать геополитические аппетиты Китая, нацеленные на «северные земли», с его формирующимися мировыми интересами — так, чтобы последние перенацелили его экспансию, подчиняя ее задачам ограничения поползновений Большого Центра. Поход последнего против Ирана — повод для этого исключительно благоприятный.

В случае начала этой войны крупнейшие державы — члены ШОС должны были бы конфиденциально договориться о своей крайней незаинтересованности в таком ее исходе, который мог бы быть преподнесен как торжество «нового мирового порядка». Не входя в прямой антагонизм с Большим Центром, следовало бы сформировать под титулом ШОС открытые каналы для широкомасштабной передачи Ирану гуманитарной помощи — и иные, скрытые каналы, по которым могла бы передаваться военная помощь, которую эти державы со всей ответственностью сочли бы необходимой для подвергшейся нападению страны. Неафишированность последнего рода помощи особенно важна для Китая с его экспортной экономикой, нацеленной во многом на американский рынок, тогда как России, чтобы минимизировать действенность американского эмбарго, достаточно было бы перенацелить поставки газа Штокмановского месторождения с США на американскую псевдосоюзницу Европу. Между прочим, вовсе не исключено, что некоторые государства коренной Европы, с подозрением относясь к перспективе американского исключительного возобладания на Ближнем и Среднем Востоке, более или менее завуалированно включатся в содействие Ирану, совместно или параллельно со странами ШОС, тем самым провоцируя внутри самого Большого Центра деморализующую критиканскую истерику идеологов типа Бжезинского, муссирующих

формулу «лидерство, а не господство». При подобном развитии событий неизбежно возникнут вопросы: не опасна ли для России была бы — пусть условная — победа Ирана в такой войне, — или возможные последствия этой победы? Возьмем крайний случай: победивший (в глазах мирового мусульманства) Иран распространяет свой авторитет на значительную часть исламского геокультурного ареала, вплоть до формирования «нового халифата» в виде союза или конфедерации — да к тому же подкрепит это лидерство завоеванным статусом ядерной державы. Надо ли России загодя путаться такой возможностью?

Начнем с перспективы «нового халифата» — как ни курьезно звучит такая формула, когда речь идет о шиитском центре, где никогда не признавалась законность суннитских халифов, в сегодняшнем мире все большие цивилизационные сообщества представлены консолидированными великими державами (Китай, Индия, Россия) или союзом государств с явным преобладанием: одного (США с Большой Европой). Пока исключение — Латинская Америка, но это еще молодая, становящаяся цивилизация, к тому же сосредоточенная на особом материке и имеющая возможность «вариться в собственном соку», насколько это позволяет сегодняшняя геоэкономика. Ислам как геокультурное сообщество характеризуется тем, что, пережив в первой четверти XX в. крах своего универсального государства (Османской империи), он напрямую, без представительства в виде объединяющей великой державы, входит в полуторополярный расклад раздробленной массой территориальных образований и политизированных диаспор, часто вклинивающихся в иные геокультурные миры.

Одна его ветвь, сейчас едва ли не самая заметная, притязает на роль мировой революционной силы, соотнося себя по преимуществу с Большим Центром на правах главного антагониста «нового мирового порядка». В то же время, мятежные исламистские движения на платформах иных цивилизаций, бунтуя против местных субцентров, пытаются расшатать их и подорвать, объективно подыгрывают проекту униполярно глобального устройства.

Крушение османского халифата в начале 1920-х по своему значению для исламской цивилизации сопоставимо с пресловутым падением Рима в истории античного Запада. Вопрос в том, не переживет ли еще ислам и свое Каролингское Возрождение? В нынешнее время усиление Ирана — единственный шанс оформления арабского и иранского Ближнего и Среднего Востока как нормального государственно оформленного субцентра силы среди иных субцентров, полноценно



вписанного в полуторполярный баланс планеты и способного переводить цивилизационные притязания Особого Человечества в логику государственных резонансов. Само собою разумеется, что некоторые и даже многие мусульманские режимы и экстерриториальные группы («амбициозные корпорации», словами А.И. Неклессы) — особенно вакхабитские — отвергли бы статус «нового халифата», — однако при этом их энергия отрицания была бы вынуждена расходоваться внутри самого исламского сообщества.

«Новый халифат» можно помыслить в двух геополитических образах.

Версия первая предполагает, что исламский прилив, сметя Израиль, распространит гегемонию поднимающегося субцентра до Гибралтара — на всю Северную Африку. Этот вариант выглядит для нынешнего мира слишком революционным, и реакция на него была бы вполне предсказуемой: паника в Европе, особенно в Европе южной, средиземноморской, сплочение напуганных европейцев вокруг Большого Центра и НАТО, голоса «левого» и «правого» капитулянтства вперемежку с крепнущим рынком вышедшего из тени фашизма, а вместе с тем, тактически возросшая роль Турции как «стража Запада», спешное включение ее в ЕС и ускоренное демографическое «отуречивание» стран Европы.

Во второй версии, Израиль сохранялся бы на пороге северной, средиземноморской Африки как признанная ядерная сила, отсекающая Магриб — земли арабизированных коптов и берберов от «халифата» и закрепляющая за ними судьбу «инвестраума» Большой Европы, соединяющегося с последней в «Евро-Африку». Значение НАТО и Турции при этом тоже увеличивается, но не настолько, как в первом случае.

Если касаться, наконец, возможности приобретения Ираном ядерного оружия вовсе не как повода к началу американо-иранской войны, а в ее результате, то вовсе непонятно, почему несколько иранских боеголовочек должны пугать Россию, которую не слишком-то тревожат ни «исламская бомба» Пакистана, ни стратегический арсенал Китая. Последний создает нам гораздо больше проблем своим мобилизационным потенциалом, который может вынудить Россию в большом столкновении с Китаем первой применить ядерное оружие, — причем применить массировано, — ни даже, по-настоящему, игры Ким Чен Ира с недавними ракетными стрельбищами «в Божий свет, как в копеечку». В конце концов, тезис, принимаемый множеством политологов и специа-

листов-международников, о консервативной роли ядерного оружия в руках территориальных государств (кроме тех случаев, когда оно попросту оказывается бесполезно, как в отношениях Израиля с соседями-арабами) за 60 лет не был опровергнут ни одним фактом. Иран следовало бы трактовать как чудовищное исключение лишь в двух случаях: либо рассматривая его не как государство среди государств, а на правах проходного двора транс-территориального терроризма — или принимая идею «оси иррационального зла». Но, кажется, Россия под воззрениями такого рода никогда не подписывалась. Сегодня все крупные цивилизационные центры Земли (кроме Японии), а также ряд других государств общепризнанно располагают ядерным оружием, и появление его в руках иранцев мало что изменит в полутораполярной мировой системе.

Итак, успех Ирана в подобной войне — попросту то, что он не позволит с собою разделаться, как с Сербией или Ираком — и ближайшие последствия этого успеха не должны были бы создать России каких-либо сложностей (об отдаленнейших последствиях мы здесь не рассуждаем). Напротив, даже «ограниченная» победа США изменила бы мир в целом и режим Великого Лимитрофа в частности в нежелательную сторону.

Однако, разразится ли эта война в ближайшее время, или какие-то обстоятельства отодвинут либо предотвратят ее развязывание, — основные принципы российской политики в циркумкаспийском ареале остаются прозрачными. Для Москвы должно быть столь же неприемлемо закрепление американцев восточнее Каспия, как и сокрушение Ирана в пользу «нового мирового порядка». В условиях преобладания Большого Центра и ЕС в Восточной Европе, а Китая в «старой» Центральной Азии, американской тени на Ближнем Востоке и части Закавказья достаточны, чтобы склонить Китай, Иран и Россию к сотрудничеству между собою и с государствами «новой» центральной Азии в вопросах, определяющих судьбы этого региона.

Недопустимо даже помышлять о разделе его на какие-либо «сферы влияния». Любой раздел — импульс к переделам, к превращению региона в предмет многополярного раздора. И, что намного хуже, — подобные затеи великих держав породили бы в республиках ключевого лимитрофного края заслуженный гнев по поводу готовности соседних «империй» решать судьбу здешних народов помимо их воли. А такие эмоции, в свою очередь, послужили бы основанием для некоторых центрально-азиатских правительств обратить свои взоры к Большому

Центру и апеллировать к нему за защитой своих прав. Великим державам, выходящим на Лимитроф восточнее Каспия, следует сделать упор на геоэкономические проекты, широко увязывающие их потенциалы с потенциалами и устремлениями Астаны, Ташкента и Ашхабада, Бишкека и Душанбе. Составными частями этой программы должны стать «создание полноценного газового альянса России со странами иредней Азии» на предмет «экспорта среднеазиатского газа в Европу и страны СНГ, реконструкции и строительства транзитных маршрутов, разработки новых прикаспийских месторождений» и «аналогичные интеграционные проекты в ряде других отраслей, где действуют масштабные технологически единые инфраструктуры, доставшиеся в наследство от СССР». Об этом, как и о задаче «обеспечить преимущества интегрированного функционирования подобных систем при сохранении национальной собственности на их сегменты» подробно говорилось в мартовском 2006 г. меморандуме ИНС «Геоэкономические итоги «газовой войны».

Еще одной специфической подпрограммой, связующей Москву, Пекин и Тегеран, но невысказанной без привлечения Казахстана и Туркмении, могла бы явиться доктрина трех великих магистралей со стороны индо- и тихоокеанского ареала в сторону Европы. Это были бы — Транссиб с присоединением Транскорейского пути, Северный Шелковый путь от Шанхая, пересекающий китайско-казахстанскую границу в районе станции Дружба и далее идущий на запад через север Казахстана и русское Приуралье, и, наконец, линия «Юг-Север», которая, беря начало в иранских портах на Индийском океане, северной своей частью пролегла бы к востоку от Каспия, соединив железные дороги Казахстана и Туркмении. Встречаясь в российской южно-уральском и южносибирском коммуникационном средоточии с его веером дорог на запад, эти дороги закладывали бы систему китайско-ирано-русской транспортной олигополии (с казахским и туркменским участием), которая могла бы быть детализирована и закреплена специальными соглашениями.

Для Китая и Ирана «новая» Центральная Азия должна стать как пространством реализации существенных геоэкономических интересов, так и надежным тылом, страхующим эти субцентры в геополитических устремлениях, нацеленных на приморья незамерзающих океанов. Для Китая это — Юго-Восточная Азия, земля экономических чудес, для Ирана — Ближний Восток.

Но помимо собственно стратегического вызова, не менее серьезно при этом обозначился бы перед Китаем вызов геоэкономический: под «присмотр» американцев попали бы не только месторождения, но и маршруты доставки энергоносителей, необходимых индустрии Китая год от года во все больших количествах. Военные и экономисты сойдутся на том, что Ближний и Средний Восток, «новая» Центральная Азия, а также акватории Тихого и Индийского океанов, по которым совершается навигация из Восточной Азии в Западную, не должны оказаться под контролем одной и той же мировой силы, которая была бы в состоянии перекрыть «краны», обеспечивающие жизнь, рост и процветание китайской экономики.

Что касается «острова России», для нас геополитические стратегии на XXI век должны быть подчинены хронополитической сверхзадаче — создать наиболее благоприятные (т.е. по сути — нейтральные) внешние условия для разворачивающегося при нас важнейшего и драматичнейшего фазового перехода в истории российской цивилизации. Чтобы по его результатам обрести Россию, способную уверенно встретить те вызовы, которые непременно обозначатся с окончательным и всеобщим крушением иллюзий насчет завершения истории в «новом мировом порядке». Надо помнить: выработка оптимального курса в полутораполярном мире — для России не последнее историческое испытание.

*«Интеллектуальная Россия», 21 марта 2007 г.*

## ГЕОПОЛИТИКА С ПОЗИЦИИ СЛАБОСТИ

*От редакции сайта «Агентство политических новостей». Александр Дугин имеет за собой одну несомненную заслугу. В либеральные 1990-е годы именно он, его геополитические работы, его обращение к истории консервативной революции Европы и русскому евразийству, создали в молодежной среде моду на патриотизм. Между тем, дугинская версия «патриотизма» имела свои особенности, которые, к сожалению, оказались пропущенными без внимания его тогдашними поклонниками. И главная из этих особенностей — стремление обеспечить антиамериканский союз континентальных держав не столько вместе с Россией, сколько за счет России.*

*Именно этот аспект геополитических взглядов популярного политического писателя, в настоящий момент пытающегося утвердиться в роли едва ли не основного идеолога «официальной народности», был подробно проанализирован в рецензии Вадима Цымбурского на труд Дугина «Основы геополитики. Геополитическое будущее России»<sup>206</sup>, опубликованной в журнале «Pro et Contra» в 1997 году. Мы публикуем эту рецензию с некоторыми существенными авторскими добавлениями.*

*Пользуясь случаем хотим поздравить Вадима Цымбурского с выходом в свет его книги «Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы», в которой вошла другая статья, посвященная Дугину и его единомышленникам, — «Новые правые в России. Национальные предпосылки заимствованной идеологии».*

Консервативному движению в настоящий момент очень важно преодолеть Дугина, преодолеть его как мыслителя, отождествившего национальные интересы России с чаяниями европейских правых радикалов. Всякий следящий за развитием общественной мысли в нашей стране понимает, к чему в конечном счете может привести патриотическую оппозицию данное роковое отождествление.

Александр Дугин — в наши дни самый популярный и раскупаемый автор из русских радикалов. Он сделал себе имя, насаждая воззрения европейских новых правых на почве русского национал-большевизма.

---

<sup>206</sup> М., «Арктогея», 1997, 608 с.

За это Сергей Кургинян некоторое время назад отнес деятельность Дугина к «фашистскому этапу антирусской игры». По-моему, эта оценка продиктована прежде всего духом здоровой конкуренции. Ибо и Кургинян, и Дугин — корифеи публицистического постмодерна России с его парадоксальной игрой сценариями, которая порой напоминает причудливую «автономную реальность» компьютерных игр. В этом смысле десятки провалившихся кургиняновских сценариев не уступают дугинской серии статей начала 1990-х годов *«Великая война континентов»*, где сталинские энкаведешники играли за атлантистов, а Анатолию Лукьянову была отведена роль Великого Магистра Евразийского Ордена.

В продолжение идей Карла Хаусхофера о «континентальном блоке» и Жана Тириара о «евро-советской Империи» Дугин эксплуатирует популярный в нынешней России термин «Евразия». Хитроумно подменяя его специфически русский смысл («Россия-Евразия») общеевропейским, автор стремится побудить ленивых русских поработать на Большую Евразию. Мы узнаём, как Океан-Левиафан извечно борется с Континентом-Бегемотом. Триумфом Левиафана стала победа в «холодной войне» Соединенных Штатов, насаждающих теперь в мире свой Торговый Строй и крушащих при этом традиционные цивилизации и уклады. Чтобы отстоять независимость Большой Евразии, Россия-Евразия должна собрать мировой противочентр — Новую Империю (или Империю Империй) — из любых сил, готовых войти в антиамериканскую игру. Призыв к соединению всех сил, воззрений и вейний, враждебных «открытому обществу» в понимании Карла Поппера, гремит и в одной из последних книг Дугина *«Тамплиеры пролетариата (Национал-большевизм и инициация)»*<sup>207</sup>. Такая «широта взгляда» как раз и делает Дугина вполне неприемлемым даже для тех, кто ненавидит то же, что ненавидит и он, но не готов к постмодерной беспринципной «противостройке» без различения духов.

В дугинском проекте важнейшей частью Новой Империи должна стать Европейская Империя с центром в Германии. При этом Северной, прусской, Германии (которой Россия вернет Кенигсберг) предстоит интегрировать Балтику — от Латвии до Норвегии плюс Нидерланды. Вокруг Южной Германии соберется католический пояс от Польши до Хорватии, включая запад Украины и Белоруссии. Притянув к себе европейский Запад — Францию, Италию, пиренейские на-

---

<sup>207</sup> М., «Арктогея», 1997

роды, эта империя вытеснит США из Средиземноморья и возьмет под контроль арабский Ближний Восток с Северной Африкой. Англия же как агент Левиафана станет «козлом отпущения», брошенным на съедение кельтским национализмом.

Вторым ядром Новой Империи станет Иран. По Дугину, его зона протянется от границ Индии по Армению с прихватом постсоветской Средней Азии; сюда же примкнут «останки Турции или Турция после проиранской революции»<sup>208</sup>. «Иранская геополитическая линия» пройдет через Дагестан, Чечню, Абхазию до Крыма, закрывая туда доступ туркам и саудовским ваххабитам — «проатлантистам». На востоке опасность для России со стороны либерализующегося Китая сможет сдерживать только Тихоокеанская империя Японии — от Австралии по возвращенные Южные Курилы включительно. В зону ее влияния попадут также буддийские земли от Тибета до Маньчжурии, а заодно Монголия, Бурятия, Тува и, может быть, даже Калмыкия — ламаистский анклав в России.

Что обретут русские при таком раскладе? Чтобы притянуть европейцев и азиатов к идее Новой Империи, Россия обязана открыть им невозбранный доступ к своим ресурсам. За это от первых она удостоится допуска к новым технологиям, а через вторых получит выход к южным океанам: границами России, по Дугину, станут границы континента! Внутри Новой Империи с Россией сольются Левобережная Украина и Северный Казахстан. Православный же пояс от Центральной Украины до Сербии получит особый статус: «Географически они принадлежат к южному сектору Средней Европы... в такой ситуации Москва не может... заявить о своем прямом политическом влиянии на эти страны»<sup>209</sup>. Тут, скорее всего, возникнет своего рода европейско-российский лимитроф, тогда как во многих стратегических точках Средней Азии будет развиваться сотрудничество России с фантастически продвинувшимся на север Ираном.

Чтобы Новая Империя уравнивала мощь США, России придется положить на чашу Большой Евразии свое ядерное оружие. Отрекаясь от статуса региональной державы и добывая себе мировую роль, Москва тем самым будет призвана развивать по преимуществу стратегические средства Третьей мировой войны, игнорируя и сворачивая те рода войск и виды вооружений, которые могли бы угрожать ее потен-

---

<sup>208</sup> с.246

<sup>209</sup> с.376

циальным союзникам по континентальному блоку и вызывать у них настороженность. По сути, Дугин обязывает Россию разоружиться перед этими соседями; как он полагает, ее возможные потери окупятся в большом противостоянии Америки и Евразии. Кроме того, чтобы не перенапрячься под грузом разнородных задач, России следует сосредоточиться на строительстве своей неопасной для соседей, но опасной для США армии, а сложные технологические задачи, в том числе разработку новых вооружений, передоверить европейским союзникам, интеллектуально оформляясь из их рук.

Территориально Россия как часть дугинской Новой Империи должна будет получить куда меньше, чем того хотелось бы русским националистам: чего стоят сдача Южных Курил, Кёнигсберга, «особый статус» Крыма с учетом украинских и татарских интересов и т.д.! Но, оказывается, в рамках этой Империи Империй территориальный суверенитет обесценится в принципе. Границы, особенно российские, будут размыты; все этнические, религиозные и иные общины обретут суверенность культурную и смогут жить «в своей реальности», не имеющей выхода на уровень имперского обустройства. Это относится и к русским. Согласно Дугину, для улучшенного их размножения «факт принадлежности к русской нации должен переживаться как избрничество, как невероятная бытийная роскошь» — да только без всяких «претензий на государственность в классическом смысле»<sup>210</sup>. Другие этносы и конфессии России должны чувствовать себя живущими не в «русском националистическом православном государстве», а «рядом с русским православным народом» в континентальной Империи, в которой все общины равны по статусу.

Подведу итог этому проекту. Дугинская Россия — образование без явных сухопутных границ и пределов, не имеющее, в отличие от новых союзников, однозначной сферы влияния (Империи) вне области расселения этнических русских. В технологическом плане Россия попадает в жесткую зависимость от Европы, разоружается перед сильными соседями, но вместе с тем из страха, как бы те не перешли на сторону Левиафана, питает их своими ресурсами и защищает своими ракетами, авианосцами и пушечным мясом. Русские как таковые предстают крупной общиной без государственности в классическом (и, похоже, в любом ином) смысле, но с явным военным уклоном: этакими мамлюками Большой Евразии, которые трудятся на «высшую инстанцию» —

---

<sup>210</sup> сс.256, 258



ее разношерстных боссов, не имеющих между собой ничего общего, кроме антиамериканизма, и взбадривают себя миражами своей «невероятной бытийной роскоши», «высшего антропологического достоинства» и т.п. За эти-то миражи дугинские русские должны платить кровью, богатствами недр и технологической деградацией. Это при том что сам Дугин не исключает после одоления атлантизма большой драчки между «обустройщиками» Новой Империи.

Бедный русский Бегемот! Твой выбор — стать жвачкой для Левиафана или пойти на шашлыки для всей Большой Евразии! Если наша «познанная необходимость» такова, то для чего вообще городить евразийский огород и бунтовать против Торгового Строя? Если все, что нам даст Новая Империя, — это возможность «жить в своей национальной и религиозной реальности», то Торговый Строй вполне позволит русским сподобиться этой же благодати: в США «своей реальностью», не имеющей отношения к государственности, живут сотни сект.

Книга не лишена интересных деталей. К ним я отнес бы в первую очередь возрождение идеи — из поздних работ Хэлфорда Маккиндера — насчет Восточной Сибири с Приморьем (так называемой *Lenaland*) как особого внешнего придела российской платформы, очень слабо с ней связанного. Дугину делают честь его предупреждения по поводу вызовов, с которыми Россия вскоре столкнется в этой «лимесной» тихоокеанской полосе. Но в целом геополитика такого рода сегодня — парадоксальный отзвук 70-х и начала 80-х годов, поры большого советского натиска на евроазиатские платформы незамерзающих морей. Ссылки на сложившуюся в то время «евро-советскую» программу Тирриара да и попытки Дугина связать свои построения с духовным наследием советского военного руководства тех времен не случайны. В этих претензиях есть, вероятно, доля мистификации, но кажется вполне правдоподобным, что в геополитических писаниях нашего автора запоздало и с искажениями выговаривается, как блестяще обозначил ее Дугин, далекая от публичности «криптогеополитика» позднего СССР — геополитика «почтовых ящиков» и кружковых оппозиционных тусовок. Тогда панконтинентализм как перспектива естественно вытекал из ситуации нашей Империи, сегодня же он выглядит альтернативной программой «разделки Бегемота», звучит призывом «сдаться Евразии».

Не случайно, дугинская оценка евразийско-атлантистской контроверзы в сфере военного строительства постсоветской России полно-

стью перевернута по отношению к той форме, в которой эта же контроверза, согласно «*Конспирологии*», представляла для СССР. Тогда атлантисты из КГБ якобы делали ставку на ядерные мускулы ради лучшей сделочной позиции в конвергенции с США, добродетельные же евразийцы из ГРУ стремились развивать обычные вооружения ради покорения континента под советскую лапу. Сейчас же у Дугина все стало наоборот. Атлантисты держатся за обычные вооружения дабы поссорить нас с соседями по континенту, настоящим же евразийцам никакого оружия не надо кроме такого, которое могло бы пугать американцев. Сдаемся Евразии, господа! Что конкретно можно означать — реверанс Кургияну! — капитуляцию перед той частью Запада, которое возьмется объявить себя «лидером Великой Евразии»

И, наконец, замечу, что для Дугина как стилиста губительно полное отсутствие контролирующей самоиронии. Нужно большое дерзновение, чтобы назвать свой опус «Тамплиеры пролетариата» после бессмертных слов Умберто Эко о том, что «бывают сумасшедшие и без тамплиеров, но которые с тамплиерами — те самые коварные». То же касается и «Основ геополитики». Как воспринимать горделивый тезис, будто русские «в первую очередь... являются православными, во вторую — русскими и лишь в третью — людьми»<sup>211</sup>? Так ведь и представляешь себе злоключения супружеской черты, оказавшейся родителями православного русского... зверя.

Повторю здесь ту же оценку дугинских построений, которую уже давал и в устных выступлениях, и в печатных: это несомненно *геополитика с позиции слабости*, но еще большая беда в том, что это — *очень плохая геополитика с позиции слабости*.

*«Агентство политических новостей» , 2007 г.*

---

<sup>211</sup> с.255

## НЕДОВЕРИЕ К МИРОПОРЯДКУ И СКУКА МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Книга Бориса Межуева первоначально звалась просто «Кризис доверия» — и эти слова несли ее смысл стенографически сжато, хотя, пожалуй, и столь же затемненно, как смотрится стенограмма для не посвященных в это письмо. Речь шла, и по-прежнему идет, о доработанном варианте заглавия о ценностном кризисе, врожденно присущем «объединенному миру», где мы живем. На языке структурно-функциональной социологии эту ситуацию можно бы выразить как отсутствие у этого образования действенной подсистемы — за исключением Голливуда, — обеспечивающей ему поддержание паттерна и снятие возникающих и накапливающихся напряжений. Историческая картина, встающая со страниц книги, поражает ухмылкой своей диалектики. Сообщество, уже ряд столетий одержимое процессом Революции — обесценивания и низложения авторитетов и ценностей, — обретает в этом процессе высвобожденную энергию для покорения мира. Но лишь с тем, чтобы заразить этот мир тем же духом революции, теперь уже поднимающимся против самого торжествующего общества и против его достоинства и превосходства.

Однако сходная издевательская диалектика глядит на нас и из частных сюжетов отдельных статей. Лидеры признанных миром революционных противочентров — антагонистов Запада сговариваются в 1970-х с его заправилками о связывании тех антисистемных сил, что способны были бы бросить перчатку «историческому выбору», состоявшему по сторонам фронтов холодной войны. А в 2000-х верхушка «объединенного мира», опираясь на идеи ренегатов из троцкистов, пытается оседлать фантом Всемирной Демократической Революции, развернув его против автократий за пределами Запада — и тем самым толкая местных «автократов» в объятия глобальной антисистемщины, маоистской, исламистской, необольшевистской или какой-нибудь иной, новодельной.

Я хочу здесь поговорить о том, чем мне близка книга автора, с которыми мы сотрудничаем и спорим уже без малого пятнадцать лет. Прежде всего — заключенной в ней памятью. Памятью о многом, го-

товом провалиться в расселины исторического забвения, присущего десяткам наших так называемых политологов.

Speak, memory! Я раскрываю страницы «Кризиса доверия» — и рисуется великое разрядочное размежевание с приемами Р. Никсона, Г. Киссинджера и Дж. Форда в Москве и Владивостоке, с «семейными жалобами» Брежнева В. Жискар д'Эстену на зануду Дж. Картера, который надоел генсеку правоучительными письмами («За кого он меня принимает?») и с такой же «домашней» репликой в ответ: «Не принимайте всерьез. Он всем пишет. Мне он тоже пишет». С возгласом Мао Цзэдуна в адрес Никсона: «Я люблю правых? Я радуюсь, когда к власти приходят люди справа». Межуев мне как-то говорил, что ребенком воспринимал Форда, мелькающего в новостных программах телевизора, как почти что «зарубежного члена советского политбюро».

Листаю дальше, заглядывая в посвященную мне статью, — и мимолетно прочертится недолгий «новый мировой порядок» Буша-старшего с наметившимся обручем Демократического Севера (включая горбачевский новомышленческий СССР), опоясавшим мир, блокируя попытки геополитических революций. Когда «Буря в пустыне» шла на взбунтовавшийся Ирак под благословение Кремля, Эль-Рида и Тель-Авива.

Дальше, дальше. 2001-й. «Грянь и ты, месяц первый, Сентябрь!». В рижском казино перед не выключающимся телевизором делаются ставки — который из Близнецов рухнет раньше. В Москве в ушах моих звенят, выплыв из юности, строки: «Как будто спрятаны у входа, / За черной пастью дул / Ночным дыханием свободы / Уверенно вздохнул». Мой кот Леопольд на два месяца превращается в «Усаму-Полосаму», а сослуживец по одной из моих служб — типичная для столицы гремучая смесь идейного либерала и старого дурака — радостно бубнит, что «теперь уже Буш всех построит».

А вот и 2005-й. Заседание оппозиционного клуба. Голосня, что Путин с его министрами-экономистами падет не раньше, чем через три дня, — уж такой наезд на него в американских газетах, «потому что американцы всех — всех, всех!!! — хотят демократизировать». И «революция у нас будет не оранжевая, а — «березовая» (так и нарываются ребятки на березовую кашу. — В.Ц.), нет, не березовая — «седая» (это в честь пенсионеров, которых в те дни монетизации-социалки прессует «глупая» власть, как-то не смекающая, что сроку ей оставляют три дня).

Память откликается на эту книгу то полупритворной ностальгией («не остановишь — остановите! — не остановишь!»), то открытой издевкой: как напомнить тем ребятишкам об их голосе меньше чем трехлетней давности? Ведь выпучат очи: да ты, собственно, о чем, друже, о какой такой? березовой?

Но значение книги Межуева для меня вовсе не сводится к радости исторических узнаваний. Глядя на эпохальный сюжет, складывающийся из эпизодов статей, я не могу не задаться вопросом, как человек, с 1990-х работающий над поэтикой историко-политических текстов: кто основной персонаж этого сюжета? Чью судьбу обсуждает автор, излагая и анализируя игрища западной — особенно американской — мысли вокруг чертежей «объединенного мира»? Мне дорог ответ Межуева на этот вопрос. Будь этот ответ другим, книга представляла бы для меня гораздо меньший интерес.

В ряде ее мест проглядывает терминология неомарксистов валлерстайновского толка с их контрастами Центра, Периферии и Полупериферии, людей, для которых главный герой новой и новейшей истории — капитализм, объяввший планету своей так называемой мир-системой, а все надстроечные напряжения политики, милитаризма, культуры происходят из перипетий неэквивалентного (эксплуататорского) обмена. Но при сколько-нибудь внимательном чтении становится видно, что акценты у Межуева поставлены иначе и коллективный герой у него не тот.

Сама топика «кризиса доверия» разнокультурных народов к элитам, выстроившим объединенный мир, слишком уж напоминает мне не И. Валлерстайна, а А. Тойнби. Как известно, у последнего роковым фактором в излагаемых им историях цивилизаций неизменно оказывается обнаруживаемая элитами в некий срок неспособность интегрировать общества, подтачиваемые протестом внутреннего многоплеменного пролетариата и напором пролетариата внешнего, материально сцепленных цивилизаций, но не питающих доверия к ее ценностям и не полагающих в ней «своего сокровища и своего сердца». Потому-то тема «Кризиса доверия» у Межуева наталкивает на мысль, что предметом его книги выступает приключение одной из таких цивилизаций — то есть этнокультурного сообщества, которое однажды под знаком определенной религии усвоило представление о себе как об Основном Человечестве на Основной Земле, якобы замкнувшем на своем предназначении судьбы всего человеческого рода.

В одном из выступлений Межуева прозвучала мысль, очень впечатлившая меня — и проливающая свет на многое в его книге, а именно мысль о рождении цивилизаций из решимости народа или народов быть цивилизацией, то есть быть Основным Человечеством. Похоже, всякая из них когда-то конституировалась подобным героическим и предерзким решением. По Тойнби, вызываемые к жизни первичным вызовом цивилизации в последующем надламывались и несли кару из-за неспособности их элит совладать с каким-то вызовом из последующих предложенных сфинксом-историей. Но мне думается, что кто-нибудь из античных историков с их заикливостью на идее божественного наказания героям и народам за сверхчеловеческую дерзость (гибрис), получив истории цивилизаций в свое распоряжение для рассказа, скорее бы выделил в рисуемых коллективных судьбах мотивы возмездия, карающего гибрис-самонадеянность первоначального решения о себе как об Основном Человечестве. Возвышение наивного трайбализма до образа высокой культуры, защищенной броней якобы «богоотмеченных» геополитики и геоэкономики.

Перечитывая блестящие описания разных мир-экономик во «Времени мира» Ф. Броделя, нетрудно ухватить, что практически каждая цивилизация тяготеет к выстраиванию своей мир-экономики, превращению в ее базу доступного круга земель и морей. Но экономический (и шире — социально-экономический) ракурс лишь один из нескольких, в которых биография цивилизации реализуется как целостный героический и гибристический сюжет. Современный неомарксизм должен быть урезан в его претензиях и помещен на подобающее ему — и так вполне респектабельное — место в системе штудий, посвященных истории единственной цивилизации, сумевшей, по Валлерстайну, снять все препятствия перед экспансией своего капитализма и в силу этого вырасти по широте своего влияния и своей ресурсной базы в цивилизацию планетарную, заложить постройку «объединенного мира». Как ни курьезно, сама эта уникальность законно делает Запад своеобразным эталоном в цивилизационных исследованиях, предоставляя ему возможность более развернуто представлять многие латентные в прошлом стадийные тенденции подобных сообществ (вроде эпизода городской революции с утверждаемым главенством города над деревней или воздвижения «Империй Позднего Часа», тяготеющих ко «всемирности» — каждая в своих масштабах).

Неомарксисты валлерстайновского толка склонны рассматривать «цивилизационный» подход к современной международной политике

как превращенную форму политического расизма и/или как отражение неудачи США в качестве мир-системного гегемона. В немалой степени это справедливо, если имеется в виду, например, мистифицированный рассказ С. Хантингтона о нынешнем мире как арене распри множества цивилизационных человечеств, вступающих в битву на разломах между ними. (Однако сам Хантингтон уже к рубежу веков в своей статье «об одинокой сверхдержаве» и «полутораполярном мире», uni-multipolar world, во многом преодолел подобное видение.) Я полагаю, сегодня цивилизационная парадигма должна исходить из феномена напряжения между «уникальностью» и «всемирностью» Запада. В основу этой парадигмы надо положить рассказ о цивилизации, сумевшей охватить мир, материально втянуть в свою сферу множества общностей, привыкших рассматривать себя как Основные Человечества, — и создавшей тем самым внутри «объединенного мира» неизбежные напряжения, порождающей тот самый временами ползучий, временами полыхающий кризис доверия, который лишь до поры до времени скрадывала описанная Валлерстайном демагогическая «геокультура развития для всех». При таком подходе неомарксизм становится отраслью пересмотренной цивилизационной парадигмы.

Я здесь бы должен добавить, что помимо прочего эта школа в своем изложении истории Запада обнаруживает замечательную односторонность, игнорирующую существование динамик, перекрывающихся социально-экономической, но не выводимых из нее. Так, неомарксисты разделяют с множеством либералов трактовку евро-атлантической истории в виде цепи торговых, позднее торгово-промышленных талассократий и финансовых гегемоний, протянувшуюся от Венеции (и Генуи) через Португалию и Нидерланды к «владычице мира» Британии и, наконец, к США как держателю униполярного, планетарного порядка. Неомарксисты и либералы как бы не замечают, что в судьбах Европы XIX века Британия (несмотря на славу Ватерлоо) играла крайне ограниченную роль, оставшись со своей «блестящей изоляцией» в стороне от крупнейших, обвалных изменений в балансе тогдашней метрополии Запада — от заката Австрии и возвышения в Центральной Европе Второго рейха, притянувшего под свою руку Вену и показавшего явное военное превосходство над разгромленной им Францией. Хороша же «владычица мира», опомнившаяся, когда германские военные советники уже сидели в Стамбуле, а железная дорога из Берлина потянулась к Багдаду!

Наоборот, неомарксисты, как и либералы, не видят той второй функциональной генеалогии, внутри которой США (и Британии) в противостоянии Второму и Третьему рейхам, а затем и Советскому Союзу времен Ялтинской системы наследуют вовсе не Венеции, не Генуи, не Португалии и не Нидерландам, а Франции как силовому центру Западной Европы, выходящему на Атлантику и пребывающему в постоянной геостратегической тягбе с другим центром Европы, восточным, зарейнским — сперва со священной Римской империей (Австрией), а потом с объединенной Германией.

Эта идущая из Средневековья геостратегическая биполярность Запада выросла в биполярность мировую вовсе не через колониальное строительство морских и торговых гегемоний, но сперва через втягивание России в европейский баланс на стороне хиреющей Австрии; потом — через распрю русских с немцами за «австрийское наследство», за статус восточного центра в Европе; через размалывание германской мощи между Россией и заступившим место Франции англо-американского блоком; и наконец, через окончательное смещение восточного центра после Ялты и Потсдама за пределы коренной Европы и трансформацией этого центра во внешнего врага западной цивилизации. Именно через эти геостратегические стадии, игнорируемые как либерализмом, так и неомарксизмом, проходил «эмбриогенез» нынешнего квазиуниполярного, «объединенного мира» — с Западом как его средоточием, но и с непременной фигурой некоего периферийного или полупериферийного врага как поводом для консолидирующей мировой тревоги.

Да, англосаксам удалось — или пришлось? — сплавить в XX-XXI веках две генеалогические линии, которые веками тянулись, не сливаясь: преемственность центров, повелевающих морями и орудующих финансами с преемственностью геостратегических «столпов» Запада, примыкающих к Атлантике. Но этот очевидный факт как бы подытоживающий, замыкающий два плана эволюции романо-германского Основного Человечества, не оправдание для тех благоглупостей, которые позволяли себе неомарксисты в 1970-1980-х, предрекая, что в недалеком будущем кубок гегемонии перейдет от перенапрягшихся США к очередному экономическому чемпиону — Японии, подобно тому, как когда-то он переключивался от венецианцев к португальцам и голландцам. Конечно, экономического кризиса 1990-х, потряхнувшего Японию, тридцать лет назад было не представить. Но разве не было уже тогда понятно, что Япония никогда не потянула бы роль силового центра



Запада и не обеспечила бы функционирования «объединенного мира», в том числе и его геоэкономики, в немалой мере живущей за счет планетарного пастырства американцев. В этом смысле совершенно справедливы сочувственно приводимые Межуевым предупреждения Найла Фергюсона на счет часа аполярности, который грозил бы наступить в мире с надломом США, обрушивая, в частности, многие ставшие привычными геоэкономические схемы и практики.

Цивилизационная парадигма — рассмотрение мира, где мы живем, как одного из миров, выстраивавшихся разными Основными Человечествами, — не должна быть отождествляема ни с доктриной «столкновения цивилизаций» а la вульгарный Хантингтон 1990-х, ни с культурологическим стебом о «диалоге цивилизаций» и их «симфонии». Конечно же, эта парадигма должна включать особый род культурологии, связанный прежде всего с анализом множеств псевдоморфозных явлений «объединенного мира», которые внутренне воплощают напряжение между западными формами и инородными смыслами и функциями, соотносимыми с памятью чужих сакральных вертикалей (замечательный пример такого анализа — статья Межуева о судьбах русского рока). Но в то же время она обязана выступать как программа исследований политологических, военных, миро-экономических и т.д., многие из которых так или иначе соприкасаются с проблематикой Революции<sup>212</sup>.

Я слишком во многом солидарен с работой Межуева, чтобы сколько-нибудь болезненно воспринимать наши разногласия, в частности его упреки в адрес моего «шпенглеризма». Конечно же, я восхищаюсь Шпенглером как разработчиком замечательных сюжетных партитур, приложимых к ритмам разных цивилизационных сообществ, — в том числе, оказывается, и к России, что я пытаюсь продемонстрировать последние десять лет, вопреки предрассудкам самого Шпенглера. Не менее велик он в моих глазах и своим открытием того положения дел, что «высокие культуры» способны (какое-то время и в определенных аспектах) реализовать свой индивидуальный ритм, будучи включены внутрь политических, экономических и информационных импе-

---

<sup>212</sup> Например, совершенно не оценено, что «цветные революции» показали свою политтехнологическую результативность в «лимитрофных» странах с размытой промежуточной цивилизационной идентичностью, чьи общества завышенно ценят западное признание, и, напротив, абсолютную свою нереализуемость на платформах Основных Человечеств, для которых евро-атлантические авторитеты достаточно подозрительны (случай, например, Ирана, но также и России).

рий, создаваемых иными «высокими культурами». Этот вывод Шпенглера дает ключ к осмыслению «двоеритмия», характеризующего ряд человечеств, вовлеченных в «объединенный мир». И как не чтить мне человека, завершившего второй том «Заката Европы» предсказанием о том, что эпохальное состязание между деньгами и машиной, завершившись победою денег, освободит место для последней великой войны в истории Евро-Атлантики — «войны между деньгами и кровью»?

Повторяю, я высоко ценю мысль Межуева о возникновении цивилизации из решимости группы людей стать цивилизацией, Основным Человечеством. Но, право же, это отважное «рождение из решимости» не противоречит не только тойнбианскому мифу Первородного Вызова, но и шпенглеровскому постулату завязи «высокой культуры» в переживании «мирового страха». Напомню, что, во всяком случае, «младенческие крики» западной и российской цивилизаций замечательно предшествуют приближению эсхатологических дат — соответственно тысячелетию от Рождества Христова и седьмому тысячелетию (в 1492 г.) от сотворения мира.

Мне думается, существенной подоплекой неприятия Межуевым моего «шпенглеризма» является его склонность (как и другого глубоко уважаемого мною современного мыслителя — А.И. Неклессы) к идее интегральной «христианской цивилизации». На мой же взгляд, история «высоких культур» побуждает говорить о существовании различных христианств, по-разному аранжированных христианских сакральных вертикалей, никогда не преодолевавших, но спиритуализировавших и закреплявших проекциями в высший план разделение и расколы Града Земного. Небольшая статья Межуева о христианстве Дж. Буша-младшего и его «неоконовского» окружения с их походом против исламизма слишком уж наглядно прочерчивает образ этого их христианства — на русский взгляд — как скопища муторных ересей, коим русский православный, ознакомься с ними, не возьмется пожелать победы скорее, чем их мусульманским противникам.

Не менее, чем этот вывод, ценен для меня тезис автора, что последнее и единственно реальное препятствие к слиянию России с универсалистским пространством постхристианской пан-Европы способна явить лишь мотивировка религиозная (или, уточнил бы я, крипторелигиозная) — черпающая земные соки в нынешнем дистанцировании России от контрверзы Центра и будоражимых кризисом доверия периферийных революционных сил. Вопрос стоит, по Межуеву, об осмыслении Российского государства, российской земли как «простран-

ства свободы» в данном антагонизме — и это прописано очень удачно. Помнится, еще в начале 1990-х кто-то из наших политологов говорил, что в проступающем мировом раскладе именно Россия могла бы воплотить новое Движение неприсоединения, — но тогда эти удивительные слова были почти не расслышаны и непонятны. Подобное (крипторелигиозное) осознание времени и места России должно встать заслоном от нечестивых идей типа призывов к ней поучаствовать в «единении белой расы». В русской памяти должен накрепко засесть полуапокрифический рассказ об одном из сильнейших наших боксеров, который перед рингом в Америке на похвалу противника-негра, что, дескать, «против меня ни одному белому не устоять», отвечал: «А я тебе не белый. Я — русский». И победил.

Христианская сюжетика, будучи заложена в русские когнитивные подосновы, предостережет наших детей как против доверия к миражам «объединенного мира», так и против связывания светлых надежд с обетованиями мировой революции (хотя бы в духе проповеди Г. Джемали, уверяющего, что с крахом современных глобальных элит, окормляющих Владыку Мира Сего — Иблисаа или Люцифера — энергией вампирически обираемых этими элитами масс, грянет последний срок несправедливого миродержца и проступит Царство Божие). Мне в последнее время не раз приходилось печатно вспоминать как грозную притчу тот эпизод из «Откровения» Иоанна, где мировая революция («восстания десяти рогов»), сметая с благословения небес нагло властвующий над царями земли и народами универсальный Вавилон, пролагает путь восприемлющему его наследие еще более омерзительному Царству Зверя. Если перейти на язык Джемали, я сказал бы, что Иблис всегда проявлял в истории охоту и умение сдавать на расправу работавшие на него элиты — с тем, чтобы вербовать еще более эффективных кормильцев из рядов революционных фаланг.

Мало кому сегодня не очевидна нелепость мысли Ф. Фукуямы, будто отсутствие у подрывных сил и движений единой антисистемной идеологии означает навечное «устаканивание» истории в пользу господствующего порядка. Бог всех неудовлетворенных вожеланий, зовущий себя Справедливостью (как выражались об одной де Сад и Камю), тысячелично культивирует кризис доверия, гегемоном же революции, в том числе и идеологическим, окажется в конце концов та сила, которая с наибольшей агрессивной эффективностью заявит о себе при переходе кризиса в открытую политическую форму (как российские большевики в 1917-м, до того игравшие минимальную роль на отече-

ственной политической сцене). Пока что и контрэлитарные группы, исполняющие призвание стивен-кинговской Червотчины Мира, не способны помыслить себя иначе, чем внутри порядка, который они изгрызают, что придает антисистемщине характер исключительно застойный. Точно так же часть порядка изображают из себя «полупериферийные» державы и институты, которые при распознавании революционной ситуации способны будут резко «потянуть одеяло на себя» с обвальными последствиями.

В статье обо мне Межуев тонко и неожиданно для меня самого проследил связь между движением моей мысли политолога и работой Вадима Цымбурского как филолога-классика над троянскими сюжетами в конце 1980-х и начале 1990-х. Сегодня я предполагаю, что движение Революции в течение большей части XXI века будет происходить в духе «троянского» пассажа из «Высокой болезни» Б.Пастернака.

*Ахейцы проявляют цепкость.  
Идет осада, идут дни,  
Проходят месяцы и лета.  
В один прекрасный день пикеты.*

*Не чужа ног от беготни,  
Приносят весть: сдается крепость.  
Не верят, верят, жгут огни,  
Взрывают своды, ищут входа,*

*Выходят, входят, — идут дни.  
Проходят месяцы и годы.  
В один прекрасный день они  
Приносят весть: родился эпос.*

*Не верят, верят, жгут огни,  
Нетерпеливо ждут развода,  
Слабеют, слепнут, — идут дни,  
И крепость разрушают годы.*

Все догадываются, что в конце концов осаждаемый миропорядок не устоит. Но никому почему-то не хочется ускорять время. А между тем в России — что для ее цивилизации исключительно важно — склады-

вается новый язык суда над миром, восстанавливающий позицию ее  
Основного Человечества.

*«Русский Журнал», 14 ноября 2007 г.*

## **ШЕЛЬФ ОСТРОВА РОССИЯ .**

### **ГЕОПОЛИТИКА ПРОСТРАНСТВ И ГЕОПОЛИТИКА ГРАНИЦ**

*Выступление на Круглом столе ИИС «Россия после признания: конец эпохи Ельцина-Путина», 18.09.2008 г.*

Я буду выступать сегодня как человек, чья позиция на протяжении многих лет могла бы отождествляться, правильно или нет – другой вопрос, с позицией беловежского национализма. Как человек, который последовательно, на протяжении многих лет выступал против растворения России в системе блоков, евразийских союзов и тому подобного, который на протяжении многих лет отстаивал субъектность России, возникшую в 91 году.

Надо сказать, что я не склонен каяться и придерживаюсь этой позиции и сейчас.

Что мы видели в это время? Мы видели как Россия, выдвинувшись за свои социальные пределы на земли, которые я называю Великим Лимитрофом, породила сильнейший резонанс на громадной территории от Прибалтики до Китая.

Нам нельзя забывать, что отказ Китая поддержать Россию в этот момент определялся, прежде всего, китайским отношением к собственным территориям Великого Лимитрофа: к Тибету, Сянь-Цзяну и Монголии. Реакция Китая определялась осознанием того, что усиление российских позиций на Кавказе обернется пересмотром среднеазиатского «пакета акций» в пользу России.

Мы видим подтверждение той модели Острова России, окруженной гигантским полукольцом Великого Лимитрофа, которую я выдвинул.

Мы увидели, что Россия одинока и неизбежно должна быть одинока со своими уникальными интересами, присущими только ей. Это не отменяет возможности частичного взаимопонимания с теми или иными партнерами и группами партнеров в конкретных вопросах, прежде всего, региональных.

Да, мы с Китаем едины в том, чтобы исключить продвижение господства Запада на Кавказе и продвижение его в Центральную Азию

Мы не едины с Китаем в том, что касается позиций самой России на Великом Лимитрофе. Мы далеко в этом смысле с ним не едины.

На самом деле, сегодняшняя ситуация по-настоящему заставляет актуализировать понятие, возникшее в 1994 году, когда я впервые предложил модель «Острова Россия». Один из моих оппонентов и одновременно сочувствующих, известный политолог Михаил Ильин, трудящийся в МГИМО, написал статью, в которой выдвинул понятие «шельфа Острова Россия». Шельф – это территории, которые связаны с нынешними коренными российскими территориями физической географией, геостратегией, культурными связями.

Несомненно, что Восточная Украина, несомненно, что Крым, несомненно, что определенные территории Кавказа и Центральной Азии принадлежат к российскому шельфу.

Когда президент Медведев сегодня объявил о привилегированных территориях, в судьбе которых заинтересована Россия – фактически, он говорит о российском шельфе.

Я думаю, на самом деле: идя за классической германской геополитикой, нам надо четко различать геополитику пространств и геополитику границ.

Россия не заинтересована сейчас, как я убежден, в радикальном пересмотре контура своих пространств. Скажем, выдвижение к Босфору и Дарданеллам – это идея, на мой взгляд, совершенно абсурдная с точки зрения внутренних задач России.

Я продолжаю исходить из той идеи, которую выдвинул в 90-х годах – нынешние контуры России оптимально отвечают российской геополитике пространств.

Что касается геополитики границ – дело совсем другое. Геополитика границ требует детального, скрупулезного анализа и учета в конкретной ситуации ввиду существования шельфа России и ввиду оценки ситуации на этом шельфе с точки зрения наших интересов и нашего будущего.

Здесь прозвучал вопрос об идеологии, которой должна будет придерживаться Россия в современном мире. Я думаю, наша идеология должна быть двойственной: одной стороной – обращенной к миру, другой – обращенной к себе. Поэтому должен быть взаимодополняющий идеологический комплекс. Что касается идеологии, обращенной к миру, мне кажется, ее замечательно очертил Борис Межуев.

Он выдвинул идею региональных центров, в рамках которых проходила бы интерпретация международного права. На самом деле, такая

концепция уже существует, и она получила в русском языке обозначение «полуторополярный мир». Это мир, где по объективным обстоятельствам существует один мировой лидер, где нет силы, способной выдвинуть и отстоять альтернативный проект мирового устройства, и, в то же время, возможности мирового лидера существенно связаны позициями крупных региональных центров с их собственным пониманием международной справедливости. Это удивительная картина, в которой, по-настоящему, именно лидер выступает фактором революционным, стремясь подорвать региональные центры и утвердить единственно свое понимание справедливости. Противостоящие ему региональные центры, эти половинные элементы полуторополярного мира, выступают как фактор глубоко консервативный, заботящийся о сохранении и упрочении сегодняшнего миропорядка.

Именно поэтому я считаю, что, если нападение Саакашвили на наших миротворцев было инспирировано мировым центром с целью унижить Россию и распространить влияние Запада на Кавказ, – это было революционное деяние, направленное против устоев полуторополярного мира, и, напротив, укрепление позиций России в этом регионе, упрочение ее позиций на Великом Лимитрофе работало на сохранение нынешнего мира, его устоев, то есть, было фактором глубоко консервативным по своей сути.

Вторым аспектом геополитики, дополняющим концепцию полуторополярного мира, должна быть цивилизационная теория для России.

Я могу понять Станислава Белковского, который апеллирует к концепциям, интерпретирующим нынешние обстоятельства России как ее великий закат.

Я же, как неошпенглерянец, разделяющий шпенглеровскую теорию цивилизаций, ставлю в таком случае другой диагноз – ситуация России, это то, что называлось «кризисом раннего лета», кризисом перехода от аграрно-сословной цивилизационной фазы к цивилизационной фазе городской. Время создания городской цивилизации – время, психологически соответствующее европейскому 16-17 веку, время закладки европейского капитализма. В этом смысле мы можем говорить о том, что в мире, переживающем постмодернизацию, мы действительно модернизационная держава. Мы – строители капитализма в одной стране.

В конечном счете, сталинский социализм в одной стране был версией государственного капитализма, и мы продолжаем это строитель-



ство, сейчас, в другом варианте и в другой форме мы строим нашу городскую цивилизацию.

Но этот кризис осложняется другим фактором – он осложняется фактором нашего включения в имперский мир, выстроенный не нами, и в то, что по нам ударяют кризисы этого имперского мира. Это проблема противостояния наших городов, нашей национальной культуры, и наших мегаполисов-космополисов – порталов, включенных в Россию в качестве представителей мировой цивилизации. Это наша фундаментальная сегодня тема, которая должна, на мой взгляд, обыгрываться в нашей печати, в нашей пропаганде – это внутренняя наша идеология.

Я считаю, что эти два взаимодополняющих комплекса: и идеология полуторополярного мира с региональными идеалами справедливости, и идеология неошпенглеровского цикла с вхождением России в «революцию раннего лета» – должны стать фокусом нашей идеологии, нашей сегодняшней доктрины.

*«Агентство Политических Новостей», 2008 г.*

## ИГРЫ СУВЕРЕНИТЕТА

За последние 20 лет в политическом слое российского общества уже второй раз обостряется интерес к идее суверенитета. В первый раз это было в пору так называемого парада суверенитетов с конца 1980-х по середину 1990-х, от которого и остались в памяти афоризмы «Берите власти, сколько сможете проглотить!» и «Главный суверенитет – это человек!». Второй раз это происходит сейчас, во второй половине 2000-х, когда из наших правительственных кругов прозвучала формула «суверенной демократии», взбудоражив политиков, политологов и правоведов.

Выход в свет сборника «Текстов» Владислава Суркова (Первого заместителя Руководителя Администрации президента) с активнейшей пропагандой этой формулы – хороший повод оглянуться на 20-летие наших «игр суверенитета». По трем мотивам. Чтобы, во-первых, убедиться, насколько наглядно в этих играх выразился общий смысл суверенитета как идеи политической. Во-вторых, чтобы восстановить реальную связь первого и второго циклов игр, не дать затопить нас и дезориентировать такому обычному в России политическому беспмятству («От ничтожной причины – к причине, А глядишь – заплутался в пустыне, И своих же следов не найти»). В-третьих, осознать причины для обострения темы суверенитета на той стадии российской истории, когда нам довелось жить.

### НЕМНОГО ТЕОРИИ: СУВЕРЕНИТЕТ ГЛАЗАМИ ЮРИСТОВ И ПОЛИТИКОВ

Оригинально перетолковав под конец XVI века слово *souverainet *, старое средневековое название для власти короля или иного феодального правителя<sup>213</sup>, французский юрист Жан Боден возбудил в столетиях споры, вращающиеся вокруг двух существенно различающихся осмыслений этого понятия. Одно идет от определений Бодена как таковых, другое – от той европейской, цивилизационной и геополитической ситуации, которую он пытался выразить в этих определениях.

---

<sup>213</sup> В старофранцузском *souverain* (вариант *soverain*) в смысле независимого владетеля свидетельствуется с середины XII века, абстрактное понятие *souverainet * – с XIII-го [Le Grand Robert, 2001: 643–644].

Во французской версии своего труда «О государстве» Боден разъяснил *souveraineté* как «власть государства, абсолютную и постоянную», в варианте же латинском объявил о существовании в государстве «высшей и свободной от законов власти над гражданами и подданными» [Bodin, 1962: A 75]. Юридические изыски на тему суверенитета в Европе Нового времени зачастую выглядят интеллектуальным топтанием вокруг тех или иных слов из боденовских дефиниций. «Высшая власть»? А если правят несколько лиц – у кого она конкретно? «Постоянная»? А если диктатор с исключительными полномочиями назначается, как в Древнем Риме, на время, кто суверен – он или поставившие его? Как это – «власть, свободная от закона»? А естественный закон (хотя не очень-то понятно, что это такое)? А Божий закон (который не яснее естественного)? А обязательства по международным договорам? А как быть в государствах с конституцией или ее аналогом вроде английской Великой хартии вольностей?

Такие и подобные им вопросы бродили и бродят в юридических по своему складу умах, пленяющихся идеальным суверенитетом – «состоянием независимости данной государственной власти от всякой другой власти как внутри, так и вне этого государства» [Вышинский, 1949: 406], – а заодно и дедуцируемой из этого идеала совершенно ирреальной картиной мировой политики как взаимодействия чтящих друг друга и равных в своей абсолютности суверенов.

Политики-практики, охотно используя в своих видах те или иные наработки юристов, в понимании суверенитета исходили с того же XVI века из реального зрелища новоевропейской политической карты, которая в ту пору начинает члениться и перекраиваться без оглядки на средневековое воображаемое единство духовной империи христианского мира. Для носителей власти суверенитет имел геополитический смысл – он им виделся «суверенитетом над чем-то и кем-то», политической собственностью на некое пространство и привязанных к нему людей.

В своих дискуссиях юристы открыли диалектику факта власти и ее признания миром, не охваченным этой властью, – диалектику, которая образует фундаментальную смысловую схему (фрейм) суверенитета. Одни из них выступали рыцарями «суверенитета признания», рассматривая суверенитет как функцию от международного права и уверяя своих читателей, будто «государство является и становится международным лицом только и исключительно благодаря признанию» [Оппенгейм, 1948: 135–136]. Им возражали поборники правового «су-

веренитета факта», по учению которых уважать следует суверенитет любого государства, признанного или нет, коль скоро оно эффективно осуществляет власть над своей территорией: «непризнание не может служить основанием для нарушения территориального верховенства государства» [Дмитриев и др., 1996: 56].

Политики прекрасно сознают задействие как «фактического властвования», так и «внешнего признания» в реализации конкретных суверенитетов – но так же определенно они видят различие между толкованиями «признания» в своей и в юридической епархиях. История преподносит их взгляду динамику расширения и сжатия суверенитетов – до случаев прямой ликвидации некоего суверенитета по сговору других суверенов. Причем силы этого сговора для судьбы обречаемого суверенитета не отменяло то обстоятельство, что кому-либо этот акт мог видеться прямым поруганием права. Монархи Пруссии, России и Австрии в XVIII веке, отрывая от Польши кусок за куском, в конце концов договорились об акте, уничтожающем ее как государство и запрещающем упоминать ее название в официальных документах этих стран. Не менее показателен осенний Мюнхен 1938 года, где три великие европейские державы – среди них две крупнейшие демократии – сговаривались об отнятии у четвертого государства суверенитета над львиной долей его территории. Очевидцы «косовского Мюнхена» наших дней – раздела Сербии по решению мирового цивилизованного, – мы должны (помимо нашего морального отношения к подобным случаям) не только осознать возможность откровенно экстраправового значения договоров и сговоров, признаний и непризнания в деле возникновения и аннигиляции суверенитетов – но и увидеть, что «суверенитет» в подобных казусах не должен растолковываться через «полновластие и независимость». Да, у Чехословакии в Мюнхене отняли ее суверенитет над Судетами – но какого же сорта «полновластием и независимостью» должна была она обладать, чтобы те улетучились от вердикта?

С другой стороны, бессмысленно требовать, чтобы уважали суверенитет непризнанного государства, если тем, кому этот императив предъявляют, оно может не представляться государством вообще. С какой стати Россия в 1999–2000 годах стала бы уважать ичкерийский, а сегодняшняя Грузия – абхазский суверенитет? Критерий «контроля над территорией» – плохой критерий для того, чтобы отличить государство-новодел от временно попавшей под власть мятежников части некой государственной территории. Реально действующая власть мо-

жет дорасти до суверенитета, а может с этой задачей и не справиться – и никакие юридические «вменения» здесь не имеют и никогда не будут иметь решающей силы.

Имея дело с идеей, теоретик-правовед вправе бороться за образцовость ее умственной огранки, хотя бы ее практическая приложимость пошла прахом. Он может чистосердечно признаваться в своей неспособности провести в политической данности границу между наличием суверенитета и его потерей – и, однако же, содрогаться, когда с ним заговаривают «о возможности расширения и сужения государственного суверенитета, о полном или неполном его характере... о признании частично суверенных или полусуверенных государств»: он ответит нам, что «такую точку зрения нельзя признать правильной в методологическом отношении». Политику же, для которого методологическая выдержанность не стоит и ломаного гроша, суверенитет не может жизненно представлять иначе, нежели в качестве постоянно переделываемой политической собственности. Само боденовское (или квазибоденовское) определение в его глазах может обретать ценность как инструмент подобного передела – или обороны против него.

Первые европейские провозвестники суверенитета вроде Бодена или Гуго Гроция могли быть пленены «политической теологией» (по выражению Карла Шмитта) возникавших у них на глазах абсолютистских национальных монархий. Но уже распространение после Вестфальского мира понятия суверенов на массу германских владетелей с их «неотъемлемыми правами» разного ранга создавало ситуацию, не слишком-то отличающуюся от средневековой. С одной, уже сделанной выше оговоркой – была устранена идея общеевропейской империи, а политические держания внутри нее, где они устояли, стали собственностью суверенов.

Пятнадцать лет назад, задумавшись над возможностью формализовать чисто политический смысл суверенитета, я предложил следующий фрейм: «X осуществляет власть над А (абсолютно все равно, на чем она основана – на признании подвластных или на чистом принуждении), и Y, осуществляющий власть над В, признает власть над А правом X». Тогда же я показал, что союз «и» в этом фрейме надо расценивать как каузальную стрелку, которая может быть направлена от любой части фрейма к другой его части – все равно, от факта к признанию или наоборот. Таким образом, я различил «суверенитет факта» (когда реальное властвование закладывает основу внешнего признания) от «суверенитета признания» (когда власть создается признанием

со стороны инстанций, на которые не распространяется, – создается как власть формально самостоятельная по отношению к этим инстанциям, имеющая свои «неотъемлемые права»). Соответственно вводятся негативные варианты тех же формул. Это – если невозможность реально осуществлять власть кладет конец внешнему признанию или, наоборот, «отзыв» признания, как в Мюнхене 1938-го, уничтожает, казалось бы, «неотъемлемые» властные права и с ними власть как таковую [Цымбурский, 1992; Цымбурский, 1993].

Кто-нибудь спросит: да чем же этот политический суверенитет – кентавр из «факта» и «признания» – так уж отличается от суверенитета юридического, тем более что и политики, и юристы говорят о праве? А вот чем. Юрист трактует право как подлежащую соблюдению норму. В царстве политики такое право тоже существует – либо как устоявшийся идеал, в конкретных случаях соотносимый с реальностью более или (чаще) менее, либо как соответствующая инерция, способная иногда облегчить, иногда усложнить политику жизнь. Но последний знает и иное право – любые интересы и вождения, заявляемые в качестве справедливых, причем справедливых не обязательно юридически, а также морально, религиозно, с точки зрения «округления границ» или «обретения жизненного пространства» – как угодно в зависимости от веяний времени. Это право проводится в жизнь через мобилизацию и конъюнктуру. Если же мобилизация и конъюнктура не срабатывают, на долю поборников политического права остается ироническая формулировка «что-то, а право вы имеете». В этом плане «право разделенного народа на воссоединение» не слишком отличается от «права» государства захватить кусок чужой территории, чтобы округлить свою собственную.

В играх политического суверенитета – где политическая собственность создается, подвергается переделам, защищается и уничтожается – то или иное право на суверенность берет верх не потому, что «так должно быть», а лишь постольку, поскольку мобилизация и конъюнктура дают результат, подходящий под фрейм суверенитета в том или другом из описанных воплощений: с конвертацией или «факта» в «признание», или «признания» в «факт». На языке политики как таковом, если не подменять его языком юриспруденции, бессмысленно утверждать, что суверенитет должен возникать из реальной власти или из принятия субъекта в круг суверенов – политик знает, что на практике бывало, и бывает, и будет как первое, так и второе, по обстоятельствам места и времени.

Отсюда должен проистекать вывод о возможности разных рангов суверенитета – в зависимости от объема «неотъемлемых прав», осуществляемых сувереном и признаваемых за ним со стороны, что называется, его референтного внешнего сообщества. А уже отталкиваясь от этого положения, я развил в начале 1990-х концепцию «геополитических структур согласия» или «структур признания», в рамках которых определяются специфики и масштабы суверенитетов [Цымбурский, 1992]. Частью этих разработок стало различение среди подобных структур таких, что основываются на суверенитете факта (когда реальный носитель власти рано или поздно оказывается признанным), от тех, в которых доминирует суверенитет признания. В последних власть меньших или новоиспеченных суверенов опирается на соблюдение ими некоторых практик, каковые утверждаются авторитетом суверенов-лидеров данной структуры признания. В качестве примеров структур второго типа мы легко распознаем Европу Священного союза, а для наших дней – тот порядок, который уже семнадцать лет выстраивает мировой Центр, внедряя его в том числе и на лимитрофных посткоммунистических территориях, окаймляющих с запада и юго-запада платформу России.

Надо отметить, что специфика юридической трактовки суверенитета превращала с начала XIX века проблему федераций вроде Швейцарии или США в источник непреходящих интеллектуальных мук: как же можно разделять «верховенство, полномочие и независимость»? Мысль политика гораздо проще воспринимает задачу разграничения разных видов политической собственности на одном и том же пространстве. Если, конечно, ее не вдохновляет задача иного рода – использовать аппарат законничества, чтобы утвердить монополию единственного обладателя «неотъемлемых прав»! Когда Второй рейх объединил германские королевства и княжества, сохранившие своих государей и отчасти местные законы, многие юристы, в их числе знаменитый Георг Еллинек, писали о том, что земли рейха – это, конечно же, государства, но какие-то... несuverенные. Но политик Бисмарк, не смущаясь, рассматривал королей и князей рейха как «суверенов» – и вел корабль новой великой державы с оглядкой на их «неотъемлемые права».

В 1913 году несостоявшийся юрист Владимир Ленин в письме к Степану Шаумяну, осуждая трактовку «права на самоопределение» частей империи как «права на федерацию», написал: «Абсолютно не согласен... Федерация есть союз равных, союз, требующий общего со-

гласия. Как же может быть право одной стороны на согласие с ней другой стороны?? Это абсурд» [Ленин, 1970: 234]. Парадоксально, что эта формула – «право на чужое согласие», казавшаяся Ленину нелепостью, имеет ясный смысл как определение всякого политического суверенитета: ведь он есть не что иное, как осуществление заявляемого субъектом власти права на некое базисное с ним согласие иных подобных же властителей. Я думаю, что вопреки автору «Государства и революции» данная формула относится и к членам федерации постольку, поскольку федерация представляет одну из форм геополитических структур признания, в которых устанавливаются и разграничиваются суверенитеты. Немаловажно, что юридическая мысль иногда очень близко сходилась с предлагаемым политологическим пониманием федерации. Так, советский правовед Иосиф Левин в замечательной книге «Суверенитет» замечал: «Утверждение частей федерации как государств-членов в конституции федерации не означает их конституирования (как, например, конституирования единиц самоуправления или автономных образований), а признание их как государств, а именно как государств-членов» [Левин, 1948: 302–303]. Через проблематику структур признания суверенитеты членов федерации входят в мировой спектр суверенитетов как предметов политологического обсуждения<sup>214</sup>.

### **«ДРЕМЛЮЩИЕ СУВЕРЕНИТЕТЫ» И БОДРСТВУЮЩИЕ ИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ**

Приведенная только что цитата из Левина подтверждает тот тезис, который я не устану повторять: медитативные абстракции, выдаваемые юристами за нормы, часто позволяют политику и политологу ухватить важные опорные моменты коловерты исторического вечного становления. Это относится и к вековым дискуссиям насчет «истинного» носителя суверенитета.

В этом вопросе идеальный отправной пункт представляет, конечно, монархия. И вовсе не та, где император или король мыслится олицетворением суверена-народа (как у Канта или Гегеля). Но та, где он

---

<sup>214</sup> В выражениях вроде «суверенитет ограниченный», «половинчатый», «частичный» проступает компромисс между многообразием и подвижностью реалий, с которыми «суверенитет» соотносится в политическом языке, и той эталонной абстракцией юридического суверенитета, под которую подходит только ограниченная часть этих данностей.

Я должен выразить здесь глубокую благодарность Илье Ерохову (ИФ РАН). Мы с ним долго спорили о «суверенитете» в политике, прежде чем от «полновластия и независимости» перешли к «политической собственности».



держит власть как собственность, безразлично – полученную ли от Бога, или в вечный подарок, раз навсегда, от народа (по Гроцию), или в силу договора людей, уставших от «природного» взаимоистребления и отрекшихся от проявления политической воли в обмен на защиту, простертую над ними сувереном (Томас Гоббс). Как правило, абсолютная монархия представляет единение собственника суверенитета с его же пользователем – и в этом смысле выступает как модус суверенитета, наименее подверженный мистификациям (суверенитет с неизменно чистой совестью).

Как только мыслители отходят от этого модуса – отходят вместе с народами, – начинаются споры, приведшие в XX веке к двум общеизвестным доктринам, политически одинаково абсурдным. Одна из них – в вариантах, носящих имена Ганса Кельзена и Гуго Краббе, – предполагает для новейшего времени растворение боденовского «не связанного законами» суверенитета в верховном законе: предполагается либо то, что верховенство конституции в жизни государства снимает вопрос о суверенитете (Кельзен), либо – что суверена следует видеть в самой конституции (Краббе).

Осмеивая эти решения, язвительный Карл Шмитт доказательно выводил их из условий современного государства, «в котором профессиональное чиновничество отождествляется с государством как самостоятельная властная сила и отношения чиновников представляются как нечто специфически публично-правовое, отличное от обычных служебных отношений» [Шмитт, 2000: 39]. С политической точки зрения доктрина Краббе – Кельзена заслуживает следующего соображения. Суверенитет – геополитичен. В эпоху конституционных режимов любая конституция действует внутри границ, за которыми кончается ее сила и начинается правовое верховенство другой конституции. Но чем определяется это размежевание? Сами по себе конституции между собой никогда не спорили за пространство, не нападали одна на другую, не воевали и не договаривались друг с другом, не признавали одна другую как хозяйек на своих территориях. Политически вопрос стоит так: между кем и кем разделялась земля на пространства, где конкретные конституции могут юридически верховодить?

Отвергнув эту доктрину, Шмитт предложил свою, знаменитую прокативной броскостью: «Суверен тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении» – а именно когда государству грозит опасность, не предусмотренная законами [Шмитт, 2000: 15]. Собратья по юридическому цеху имели все основания упрекать Шмитта в незаконном

смешении «суверенитета» и «компетенции», но этот мыслитель на то и шел, заявляя, что о самом суверенитете спорить бессмысленно, а можно – лишь о том, кому его приписать. Для меня всего важнее то, что в XX веке, с закатом великих европейских монархий, язык политики уверенно отличает носителя суверенитета от того, кто принимает любое, сколь угодно ответственное решение. Немыслимо утверждать, будто в 1938 году между фюрером Адольфом Гитлером и президентом Эдвардом Бенешем шел спор за суверенитет того или другого из них над Судетами. Мы говорим, что Борис Ельцин, расстреливая Верховный Совет России из танков, тягался за свою верховную власть – но не решимся ни сказать, ни написать, что он боролся «за свой суверенитет». Михаил Горбачев и Эдуард Шеварднадзе в конце 1980-х не свой суверенитет над акваториями Берингова моря сдавали американцам. В наше время (за исключением короля Саудовской Аравии и нескольких подобных ему фигур) те, кто принимает решения, не считаются за суверенов. Вопрос о том, «кто в лесу хозяин», может быть практически очень значимым, но в политике он ставится вовсе не так, как это делает Шмитт.

Аберрация Шмитта и его русских поклонников вроде Александра Филиппова, величающих «суверенами» фюреров и президентов XX–XXI веков [Филиппов, 2008], состоит именно в том, что они подверстают эти новые политические роли под абсолютистский стандарт раннего модерна. При этом совершенно не учитывается то, что сделал из «суверенитета» и «суверена» зрелый и поздний модерн, выстроив новые, небывалые ранее площадки для политики.

Ведь подобные явления как маргинальные, временные знала даже и монархическая парадигма (ими занимался еще Гроций) – когда во имя малолетнего монарха решения высшего уровня принимали регенты. Или когда умница Людовик XIII, не чувствуя в себе психических сил для проведения абсолютистского курса, вверил верховную компетенцию железно стоявшему за этот курс Ришелье, а сам страховал этого пользователя своего суверенитета, добровольно усвоив роль если не «спящего», то «дремлющего» суверена. В новейшей истории стало нормой различие между законными пользователями суверенитета – как правило, лицами в обозначенных конституцией должностях – и маячащими за спинами этих деятелей обобщенными изображениями предполагаемых «истинных суверенов».

Все мы знаем, что такими могут быть: Народ в смысле общности граждан (так сказать, «народ-1»), Государство, которое еще иногда на-

зывают Нацией, имея в виду единство населения и территории страны с институтами власти («нация-1», в том числе в названии ООН), наконец, Нация, понимаемая как этнос, помогающий своей государственности или реализующий ее («нация-2»; иногда ее зовут и «народом» – что можно представить как «народ-2»). В каждом таком случае можно говорить об особом модусе суверенитета. Игры суверенитета в рамках одного модуса – вне зависимости от того, затрагивают ли они или нет фундаментальную схему отношения «факта» с «признанием», – делятся на: А) вершащиеся автономно пользователями суверенитета при явно «спящем» суверене – например, дипломатические; Б) законные (инерционные) постановки или имитации «пробуждения» суверена, подтверждающего или перераспределяющего полномочия пользователей; В) его пробуждения (без кавычек или в них) экстраординарные. Последние могут осуществляться как действующими пользователями суверенитета (это разного рода государственные плебисциты и мобилизации – В1), так и активистами, ранее не причисленными к пользователям, но порою «в борьбе обретающими право свое» (таковы народные движения и восстания – В2).

По логике политической борьбы три эталонных «истинных суверена» способны изображать между собой весьма причудливые противоборства. «Народный суверенитет» может требовать смены оскандалившегося правительства, которое, однако же, способно обороняться под лозунгом «охраны государственного суверенитета от посягательств». Этнические группы, ищущие осуществить «национальное самоопределение», вступают в борьбу с властью, отстаивающей суверенитет государства («нации») или «всего народа» над территорией, с которой националисты видят себя эксклюзивно «породненными кровью». Дополнительные казусы создаются омонимией как «нации», так и «народа» в разных смыслах. Трудно тут не вспомнить деятелей, писавших в 1991 году, что о каких-либо «национальных интересах» СССР говорить неоправданно и о его «национальном суверенитете над чем-либо» тоже – так как СССР не нация, а полиэтническая империя, а значит, интересы и суверенитет у него могли быть лишь имперскими. Или тех, кто в 1995 году клеймил первую чеченскую войну, поскольку «демократическая власть не может воевать с народом». «Право наций на самоопределение» применительно к этносу («нации-2») и к государству («нации-1») несет смыслы откровенно антагонистические. В первом случае – право взорвать существующее государство, перекроив его землю в своих видах, опираясь, если понадобится и по-

лучится, на внешнее признание и зарубежную поддержку. А в отношении «нации-2» (государства) «право на самоопределение» – не что иное, как суверенное право бороться за свое выживание и целостность, давая укорот мятежным меньшинствам и не допуская чужого вмешательства в это внутреннее дело [Дмитриев и др., 1996: 82]. Интересно, что в таких контрверзах юристы также разбредаются по разные стороны политического поля: одни призывают возвести суверенитет каждого этноса во всемирно-правовую норму [Суверенная республика... 1998: 7], другие уверяют, будто «право нации на самоопределение» – это юридическое право только для государства уже состоявшегося, когда же речь идет о нации, только ищущей самоопределиваться, это право – вовсе и не право, а сомнительное «морально-политическое пожелание» [Дмитриев и др., 1996: 82]. Омонимия различных «истинных суверенитетов», стравливаемых пользователями, иногда заставляет невольно вспомнить, что старина Боден не зря почитался одним из крупнейших демонологов своего века.

Суверенитет государства («нации-1») обращен против угрозы внешних посягательств и внутренних мятежей, грозящих гоббсовской войной всех против всех. Этот модус суверенитета не делает специального различия между сувереном и пользователями суверенитета – именно поэтому он весьма любим пользователями (правительствами). Напротив, для модуса «народного» суверенитета такое различие принципиально важно, ибо он постоянно имеет в виду две другие опасности – злонамеренность пользователей суверенитета («узурпация», «тирания») или просто их неадекватность обстоятельствам, требующую их смены. Тестирование пользователей на предмет их утверждения и смены – политическая схематика, неотделимая от модуса «народного» суверенитета (чем-то она напоминает древнекитайское представление о «мандате Неба», вручаемом правителям и отнимаемом у них). Монарх не мог свергаться народом, пока был собственником суверенитета, но народ получил политическое право на революцию, когда монарха стали мыслить как пользователя, который может зарваться или проявить бездарность. В XIX веке монархии Бонапартов, признававшие «народный» суверенитет, исходили из предпосылки крушения прежних, дискредитировавших себя пользователей (все равно, монархов или республиканцев) и прихода новых, оптимально отвечающих общенародной воле.

Впрочем, если двести лет назад Наполеон I мог под таким предложением спокойно учреждать наследственную империю, то XX век нарабо-

тал список практик и институтов (парламентская демократия, регулярные выборы, разделение властей, конституция с записанными правами граждан, а за последние 20 лет еще и рыночная экономика), которые ассоциируются с модусами демократического (народного и национального) суверенитета и предъявляются его пользователями как патент на признание в сообществе лидирующих демократий. На планетарной сцене эти пользователи фигурируют как доверенные лица «истинных суверенов», распоряжающиеся их политической собственностью: с суверенитета доверителя на пользователя переходит – суверенность. Однако возобладание в нынешнем мире суверенитета признания над суверенитетом факта, как всем ведомо, приводит к тому, что доверенные суверенов – мировых лидеров имеют возможность решать вопрос не только о собственности меньших суверенов (Косово), но также и о том, являются ли истинными представителями последних туземные политики, размахивающие демократическими патентами. Или следует отобрать эти патенты – как правило, не признав результата национальных выборов, то есть объявив выведенного на них «проснувшегося» суверена муляжом, – и объявить законным распорядителем его собственности какого-нибудь иного притязателя на эту роль.

Как и многие аналитики, не увлекающиеся юридическими миражами «полновластия и независимости для всех суверенов», я не считаю, будто в случаях назначения пользователей по решению мировых авторитетов местному суверенитету сразу приходит конец. Это совсем не очевидно. В конце концов, и в монархическую эпоху бывало, что лидеры Европы приводили к власти в тех или иных странах своих протеже: Людовик XIV насадил в Испании Бурбонов, воля Наполеона положила начало шведским Бернадотам, антинаполеоновское содружество штыками вернуло в 1814 году Людовика XVIII на трон его предков. Во всех этих случаях «облагодетельствованные» страны не утрачивали суверенного существования, если даже на какое-то время (обычно не навсегда) оказывались привязанными к политике своих милостивцев. Сегодня пребывание режима Саакашвили на американских кормах – и податели их, и получатели объясняют эту благостыню как поддержку против коррумпирования грузинской власти из местных источников – не мешает данному режиму провозглашать полные суверенные права Грузии на Абхазию, которым абхазы противопоставляют свои основания суверенитета. В конце концов, для кого кто «вражеская марионет-

ка», а кто «суверенный товарищ по борьбе за правое дело» – проистекает не из самого языка, а из расклада конкретной игровой партии.

Я полагаю, что при анализе реальной политики, когда дело касается суверенитетов, диалектика «факта» и «признания» должна сочетаться с диалектикой задействованных модусов «истинного суверенитета» (а также резервируемым, но востребуемым отнюдь не всегда, а, наоборот, достаточно редко различием между «спящими» суверенами и бодрствующими пользователями их «неотъемлемых прав»). Именно такой аппарат позволяет исследовать те ситуации, когда игры суверенитета утрачивают инерционный (правовой) характер и соединение конъюнктуры с мобилизацией создает эффекты, воспринимаемые в мире одними как пробуждение крепко «задремавших» было суверенов, а другими – как творение новых геополитических гомункулов и големов.

В выражениях вроде «суверенитет ограниченный», «половинчатый», «частичный» проступает компромисс между многообразием и подвижностью реалий, с которыми «суверенитет» соотносится в политическом языке, и той эталонной абстракцией юридического суверенитета, под каковую подходит только ограниченная часть этих данностей. Я должен выразить здесь глубокую благодарность Илье Ерохову (ИФ РАН). Мы с ним долго спорили о «суверенитете» в политике, прежде чем от «полновластия и независимости» перешли к «политической собственности».

### **«СУВЕРЕНИТЕТ» УТВЕРЖДАЕТСЯ В РОССИИ – В ОБЛИКЕ ФЕДЕРАЦИИ**

Правомерность и эффективность предлагаемого аналитического аппарата хорошо видны на российском примере, где все узорочье приключений суверенитета образуется двумя линиями: одна прочерчивается перипетиями претензий, фактов и признания, а другая – отношением между сменяющимся модусом политической собственности и практиками его пользователей (это, так сказать, проблематика совести российского суверенитета, обретшая едва ли не главенствующее значение на нынешней стадии нашей цивилизации).

Наши сегодняшние правоведа-государственники могут сколько угодно возмущаться тем, что их предшественники тридцать лет назад принимали как политическую данность, – официальным образом СССР в виде суверенного государства, состоящего из суверенных же государств-республик. И думается, вопреки некоторым авторам дело было не только в пресловутом «спящем суверенитете» провозглашен-

ного, хотя процедурно и не расписанного права республик выйти из Союза. Ведь, хотя автономные республики без права выхода конституционно не расценивались как суверенные, советские юристы не считали за грех рассматривать в своих комментариях и АССР как «одну из форм национальной государственности, в которой воплощена суверенность нации», отмечая: «в том ее сходство с союзной республикой» [Златопольский, 1970: 162]. На самом деле суверенитет советских республик являл собою переписанное в виде правового положения сугубо политическое понимание суверенитета, которое я раскрыл выше, – как политической собственности, состоящей в «неотъемлемых правах» (между прочим, юриспруденция тоже попыталась отразить эту политическую идею, выдвинув понятие «субсидиарности» прав суверенов, невыводимости прав одного суверена из прав другого).

Учреждение СССР было тем, чем вообще бывает создание любой федерации – сотворением особой (внутрисоюзной) геополитической структуры признания. Правда, надо оговорить – с Центром как важнейшим, лидирующим элементом (но ведь так и бывает в сильных федерациях), что проявлялось даже и в горбачевских схемах реорганизации Союза по формулам типа «9+1». Как и в системах международных, по ходу эволюции внутрисоюзной системы суверенитеты могли возникать и ликвидироваться: вспомним истории ЗСФСР и Карело-Финской ССР. Кто хочет, пускай причитает насчет «правовой мины замедленного действия», дескать, заложенной в это государственное здание реформированной империи. Но очень сомнительно, чтобы на начало 1920-х объединение советизированных пространств было гармоничнее достижимо на иных путях – будь то «мягкая» конфедерация или автономизация по-сталински. Эти пути выглядели куда более провокативными, а мина неопределенно замедленного действия – вон их сколько повыкапывали неразорвавшихся с Отечественной войны! – все же привлекательнее едва удерживаемой в руках бомбы с выдернутой чекой.

В то же время безоглядный пропагандистский культ суверенитета – суверенитета, каковой «служит интересам мира и безопасности всех государств и народов, содействует социальному прогрессу и развитию самых гуманных отношений во всех сферах человеческой деятельности» [Агабеков, 1985: 5], – работал в СССР не только на прославление нашей собственной государственной конструкции. С не меньшей, казалось, силой он служил подрыву позднеколониальных империй и постколониальных сфер влияния западных держав – этих «империали-

стов», зачастую пытавшихся вводить деколонизацию в рамки по-разному обусловливаемого суверенитета признания. На это наша пропаганда не уставала превозносить «самоопределение свободлюбивых народов» по схеме суверенитета факта – даже и в оголтело этнократических версиях. Поражает, что в 1980-х советские юристы могли отрицать законную силу тех колониальных референдумов, на которых жители решали все-таки оставить ту или иную территорию под властью прежней метрополии. Отрицали с тем резонансом, что голосовавшее «местное население в своем значительном большинстве состоит уже не из коренных жителей, а из пришлых элементов» [Агабеков, 1985: 34], неправомочных решать судьбу края. Кто бы предвидел, что через считанные годы ровно такими же соображениями будет обосновываться низведение массы «русскоязычных мигрантов» Прибалтики в «неграждане»!

Вместе с тем как клеветническое измышление напрочь отлетелось вполне реалистический взгляд западных экспертов на систему Варшавского договора и СЭВ, усматривавший в них особую международную систему «ограниченного суверенитета» (я бы сказал – специфическую структуру признания), регулировавшуюся принципом общего интереса социалистических стран в кремлевском истолковании этого интереса. Утверждение в советской геополитической сфере механизмов суверенитета признания при культивировании суверенитета факта во внешней и внутренней пропаганде и превознесении Союза как «суверенитета суверенитетов» – эта риторика неизмеримо больше подействовала концу Империи, чем злополучное право выхода, так бесящее иных законников.

Но это я пока что – о причинах общих, отдаленных, из тех, что чаще даже и остаются в царстве возможного. Ближайшей же причиной надлома «большой России» – СССР, как я показал еще в 1992-м, стало включение в нее под названием «республик Советской Прибалтики» государств, которые принадлежали с внутрисоюзной и с западной точек зрения к различным системам признания – и в результате политики Горбачева превратились в «шлюзы» между двумя системами. К 1988 году достигнутое большое согласие с западными лидерами по вопросам обустройства Демократического Севера побудило Горбачева пойти на сброс дорогостоящей восточноевропейской сферы влияния под лозунгом «невмешательства» во внутренние дела ее стран (перевода последних на суверенитет факта).



Прибалтийским республикам предстояло сомкнуться уже не с внешним бастионом Империи, а с новообразуемой лимитрофной зоной. Еще в преддверии бархатных революций 1989-го – с конца предыдущего года – эти республики, сознавая особенность западного к себе отношения и пользуясь внутрисоюзной «оттепелью», берут курс на повышение уровня суверенитета (с ноября 1988-го по июль 1989-го по всей Прибалтике республиканские законы объявляются выше союзных). Со своей стороны Москва, не желая слышать о независимости прибалтов, практически не препятствует им наращивать «неотъемлемые права» внутри федеративной структуры признания. С осени 1989-го лишь либерализуемая союзная граница отделяет Советскую Прибалтику от лимитрофа, и с этих же месяцев остальные республики, включая Россию, одна за другой устремляются вслед за прибалтами в эскалации суверенитетов (я указывал на такие явления, как таможни на внутренних границах, всеобщее верховенство республиканских законов, двусторонние договоры республик в обход Центра, законы о языках) [Цымбурский, 1992].

Пытаясь создать себе новую клиентелу на уровне автономий и тем самым существенно расстроить парад суверенитетов, союзный Центр неожиданно применяет идеи сахаровской Конституции и объявляет автономные республики в числе субъектов реформируемого Союза (закон от 26 апреля 1990 года «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации»). Ответом демократической России (РСФСР) становятся два прогремевших заявления Бориса Ельцина – в мае того же года на I съезде народных депутатов республики и в сентябре на II сессии ее Верховного Совета. В первом он подхватывает горбачевскую эстафету и объявляет субъектами новой России «не только национально-автономные, но и территориально-экономические образования», то есть края и области. Но в той же речи прозвучал и намек на растворение этих низших суверенитетов в разных – в том числе и сугубо неполитических – видах «неотъемлемой собственности»: «...самый главный первичный суверенитет в России – это человек, его права. Далее – предприятия, колхоз, совхоз, любая другая организация – вот где должен быть первичный и самый сильный суверенитет. И, конечно, суверенитет районного Совета или какого-то другого первичного Совета» («Известия», 25 мая 1990 г.). Однако, осознав, что подобной абсурдизацией суверенитета он устремляется прямо в ловушку, расставляемую Горбачевым, президент России к началу осени меняет риторику и, не отрекаясь от возведения краев и

областей в ранг субъектов Федерации, обещает автономиям новые, договорные отношения, устанавливающие разные уровни суверенитета: «...сколько возьмут республики на себя, сколько смогут они, может быть, это грубовато, властных функций проглотить, сколько всего реализовать, взять на себя, пусть берут» («Известия», 27 сентября 1990 г.). Тогда же, во второй половине 1990-го, Россия увидела феномен Татарстана, самочинно себя возведшего из АССР в ССР и потребовавшего себе места за столом учредителей нового Союза, но быстро натолкнувшегося на жесткий отпор «коренных» союзных суверенов, решительно настроенных против допуска «самозванцев» в свой клуб.

Те, кто был зрителем нашего федерализма первых послесоюзных лет, никогда не забудут того разгула внутренней и трансграничной геополитики. Внутри России проступают, оформляясь съездами и декларациями местных «суверенных» боссов, мощные территориальные блоки – Большой Урал, Большая Волга, Сибирское соглашение, Северный Кавказ с его экономическими региональными совещаниями. Одним казалось – Россия идет в раскрой, другим (немногим) рисовалось новое Царство Царств. И в пору жесточайшего ослабления Москвы, ее фактического перехода в делах с мировым цивилизованным суверенитетом признания («kozyревские годы») этот разыгравшийся федерализм не только не развалил «остров Россию», но премного послужил распространению ее влияния на смежные земли тех новых лимитрофных государств, которые, пытаясь оформить свой новодельный этатизм по национально-унитарной схеме, входили в конфликты со своими меньшинствами и «областниками», имевшими перед глазами российские примеры. По российской кайме – «шлейфу острова» – возникают непризнанные и полупризнанные государства, обычно вписываясь в 1990-х в становящиеся региональные структуры признания, перехлестывавшие российскую границу (такой, например, была в первой половине прошлого десятилетия структура северокавказская, с прихватом Южной Осетии, Абхазии и Крыма).

Те баснословные года, с их мощным вторжением чисто политического отношения к суверенитету в область правотворчества, запечатлелись в государственных реалиях России начала нового века: в немыслимом до 1990-х статусе областей как субъектов Федерации; в ее договорах со «своими» республиками как «суверенными государствами в составе Российской Федерации» и особенно с Татарстаном, который величался в договоре «ассоциированным» с Россией государством (это позволяло татарским политикам даже и в начале 2000-х заявлять

о верховенстве договора как «международного документа» над Конституцией России); наконец, в конституционном утверждении о равноправии всех федеративных субъектов – утверждении, не то пригибающем республики до областей, не то возвышающем области до республик.

Борьба российской верховной власти в последние восемь лет с «хаосом в федеративных отношениях» началась в июне 2000-го «наездом» Конституционного суда России на Республику Горный Алтай и последующим определением в адрес остальных республик, чьи конституции объявляли их «суверенными» – а таких было до 15 [Михайлов, 2004: 406]. Постановление утверждало: «Суверенитет, предполагающий <...> верховенство, независимость и самостоятельность государственной власти, полноту законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его территории и независимость в международном общении, представляет собой необходимый качественный признак Российской Федерации как государства, характеризующий ее конституционно-правовой статус. Конституция Российской Федерации не допускает какого-либо иного носителя и источника власти, помимо многонационального народа России, и, следовательно, не предполагает какого-либо иного государственного суверенитета, помимо суверенитета Российской Федерации. Суверенитет Российской Федерации, в силу Конституции Российской Федерации, исключает существование двух уровней суверенных властей, находящихся в единой системе государственной власти, которые обладали бы верховенством и независимостью, т. е. не допускает суверенитета ни республик, ни иных субъектов Российской Федерации» [Собрание законодательства РФ, 2000: 5165–5166]. Потому постановление с определением требовало исправить все местные конституции, несущие упоминание о суверенитете, а заодно не велели применять и статьи в Федеративном договоре, где бы встречались аналогичные пассажи.

Все это было бы безукоризненно, если бы российская Конституция не содержала в себе еще и раздела 2 «Заключительные и переходные положения», где, в том же пункте 1, которым устанавливается преимущество Конституции перед Федеративным договором, приводилось полное название раздела в последнем, звучавшее как – «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти суверенных республик в составе Российской Федерации».

Получалось, что ради соответствия российской Конституции из местных конституций следовало выкинуть, а в текстах договоров Федерации с республиками игнорировать формулу «суверенные республики», вписанную в сам Основной Закон России! Своей парадоксальностью решения Конституционного суда от июня 2001 года оказывались вровень с древним «парадоксом лжеца» («Все критяне лгут», – сказал один из критян)<sup>215</sup>. Но что до того, если самому Федеративному договору отныне не оставлялось иной судьбы, кроме как стусеваться перед решением судей.

Если Конституционный суд наступал на республики, исходя из понимания суверенитета в смысле «верховенства и независимости власти», то кое-кто из «отцов республик» пробовал защищать их суверенность, рассуждая не о «верховенстве» местного права, а о его неотъемлемости от статуса этих образований. В этом отношении показательны слова, произнесенные в 2000 году главой татарского Госсовета Ф.Х. Мухаметшиным: «Во всех вопросах, которые закреплены за Федерацией, она суверенна, и этот суверенитет распространяется на всю территорию государства. Но субъекты Федерации также суверенны в вопросах, которые закреплены непосредственно за ними» [Мухаметшин, 2000: 10].

Но эти доводы били мимо цели. Ведь теперь речь шла уже не о споре политиков с правоведами. Судьи сами явно работали на новый политический курс, выступая политиками, а когда политик апеллирует к «полновластию, независимости и единству», как правило, это бывает нужно затем, чтобы прижать к ногтю каких-то других политиков. Так было и теперь. Судьи объявили, что российские республики вообще «не вправе наделять себя свойствами суверенного государства – даже при условии, что их суверенитет признавался бы ограниченным», поскольку «Конституция Российской Федерации связывает <...> статус и полномочия республик, находящихся в составе Российской Федерации, не с их волеизъявлением в порядке договора, а с волеизъявлением многонационального российского народа – носителя и единственного источника власти в Российской Федерации, который <...> конституировал возрожденную суверенную государственность России как

---

<sup>215</sup> Решение Конституционного суда России с его ссылками на Конституцию по сути своей – очень яркий пример так называемой двойной ловушки (double bind) – внутренне противоречивого, самого себя опровергающего требования. Деструктивной роли подобных ловушек в политике посвящена недавняя блестящая работа [Поцелуев, 2008].

исторически сложившееся государственное единство в его настоящем федеративном устройстве» [Собрание законодательства РФ, 2000: 5166].

Итак, вопреки славному советскому правоведу Левину, наша Конституция в ее истолковании от 2000 года не признавала субъекты Федерации как таковые, но конституировала эти субъекты, создавала их согласно желанию многонационального народа, а вместе с ними творились и их власти, не имевшие никаких собственных прав, кроме тех, которые им передоверяла власть общероссийская. О чем судьи прямо и заявляли: «Соответствующие полномочия и предметы ведения простираются не из волеизъявления республик, а из Конституции Российской Федерации» [Собрание законодательства РФ, 2000: 5169]. Особенно впечатляет судебный комментарий к включенному было в горно-алтайскую конституцию прямому запрету складировать на земле республики радиоактивные отходы и отравляющие вещества. Этот запрет оказывался антиконституционным, поскольку расщепляющиеся материалы, а также химические яды по российской Конституции (ст. 71, пп. «ж» и «м») попадали в ведение Центра. Горный Алтай выступил узурпатором, «исключая возможность какого бы то ни было федерального регулирования» в отношении использования подобных субстанций на своей земле. Однако же по прямому смыслу этого «антиконституционного» запрета выходило, что республика сопротивлялась лишь такому «федеральному регулированию», которое состояло бы в завозе изотопов и ядов на Алтай. Но ведь несть власти в Федерации, кроме той, что происходит от ее «многонационального народа»! Московские функционеры, если бы приняли решение устроить по уральским образцам радиоактивную свалку на Алтае, могли бы с полным правом сослаться на волю этого «дрыгнувшего» суверена. А алтайцы в своем протесте не могли бы опираться на суверенитет своего собственного «многонационального народа», ибо такого народа, как выяснилось, не существует вовсе, а сама республика оказывалась сотворенной из небытия той же самой волей, которая возжелала бы восшинковать ее недра смертоносными продуктами. Такая вот политическая теология вышла из-под юридических сводов.

На самом деле в 2000-х Центр пытается закрыть вставший в 1990-х принципиальный вопрос: обладают ли нынче субъекты России, признанные тогда за «суверенов» послесоюзными хозяевами Кремля, собственными «неотъемлемыми правами» – или их полномочия производны от прав власти всероссийской, ниспосланы от нее? Проходящая

через «нулевые» годы атака против эпитета «суверенный» в конституциях и договорах ельцинского десятилетия была нацелена на то, чтобы под предлогом защиты юридического («боденовского») суверенитета решить вопрос о политической собственности в России.

Интересно, что в своих актах 2000 года конституционные судьи изображали себя защитниками равноправия всех субъектов Федерации: дескать, какое же может быть равенство субъектов, объявленных «суверенными», с теми, которые этого не удостоились. Однако отмена в 2004 году выборов губернаторов в областях должна рассматриваться как часть того же самого похода против «неотъемлемых прав» местных властей. Вопреки многим критикам этого акта он не имел никакого отношения к большей или меньшей демократичности российской политики (достаточно примеров того, как региональные боссы сводили решения резонно ставят ему в плюсы и возросшую значимость местных законодательных собраний [Чадаев, 2006: 81–83]. Необходима лишь одна к нулю даже видимость политической жизни в своих владениях). Защитники этого оговора – эта значимость оказывается сугубо рекомендательной, так как власть губернатора отныне обретает свои основания не в праве субъекта Федерации, а в президентском назначении<sup>216</sup>.

Подытожим проделанный обзор. На Западе федерация лишь осложнила проблематику суверенитета, эталоном которого виделся унитарный абсолютизм – в масштабе ли великого национального государства или мелкого немецкого княжества. У нас имперский абсолютизм не сблизился с идеей суверенитета: последний по-настоящему к нам вошел даже не с большевистскими внешнеполитическими декларациями, но вместе со сквозной федерализацией России – как одна из важнейших тем новой эпохи. При этом основной смысл суверенитета у нас – не тот, который господствует в юриспруденции, а тот, который издавна обозначился на Западе в его *Realpolitik*. Только у нас этот смысл («неотъемлемые местные права», «политическая собствен-

---

<sup>216</sup> Представляется очень перспективной трактовка прав субъектов Федерации, которая предложена в проекте новой российской Конституции, разработанной в 2005 году группой экспертов Института национальной стратегии. Согласно этому проекту, лидером исполнительной власти в регионе должен был стать глава местного кабинета министров, избираемый большинством законодательного собрания и регистративно утверждаемый федеральным президентом. Таким образом, за Центром оставалось бы только право вето, но не право назначения. Эта схема пока что выглядит оптимальным приближением к желанному балансу между неотъемлемыми правами региона и поощрением местной демократии (хотя бы в версии слабого плюрализма).

ность») обретает настолько высокий статус, какого на Западе он никогда не имел: у нас этот смысл становится такой же приметой нового состояния России, какой для Европы стала 400 лет назад «политическая теология» суверенитета абсолютистского.

Если задумываться над тем, что нового несет понятие суверенитета в сравнении с базисным понятием власти, то можно прийти вот к какому выводу. Реальное смысловое приращение состоит в том, что «суверенитет» представляет власть на фоне мира, ею не охваченного. В этом, «внешнем», аспекте суверенитет – политическая универсалия, хотя и открытая Новым временем, но применяемая к самым разным временам и государствам.

А вот с «внутренним» аспектом суверенитета дело обстоит иначе. Нелегко сказать, чем суверенитет Людовика XIV отличался от власти китайских императоров или турецких султанов, а открытый в результате критики суверенитета монархического народный суверенитет – от полновластия афинского демоса. *Во «внутреннем» аспекте суверенитет – это просто идея власти как чьей-то политической собственности.* Однако идея, исторически отмеченная печатью определенной цивилизационной ситуации Европы – когда «неотъемлемые права» государственной власти приходилось по-новому мотивировать в условиях низложения общеевропейской католической вертикали. Поэтому из внутренней жизни российского общества «суверенитет» может значить нечто большее, чем просто «власть», лишь постольку, поскольку нам приоткрывается некое принципиальное сходство между состоянием России в наши дни – и состоянием раннего модерна Европы.

## **ПОСТТОТАЛИТАРНЫЙ ОБРАЗ СУВЕРЕНИТЕТА**

Но у послесоюзных игр суверенитета имеется и второй аспект – он состоит в пересмотре и реорганизации тоталитарного модуса этой идеи.

Выражение «тоталитарный» ни здесь, ни в каких-либо других моих работах не имеет смысла ругательного. Политический модус, о котором идет речь, я связываю вовсе не с видением груды черепов. Вообще, груды черепов – это, на мой взгляд, примета молодости тоталитарных режимов, еще не осознавших и не кодифицировавших своего суверенного модуса. Тому свидетельство – известное игнорирование функции компартии в сталинской Конституции. Вопреки политологам, полагающим, будто с окончанием больших импровизированных

репрессий и умножением поветрий идеологического и культурно-стилевого попустительства тоталитарный порядок надо спешно переименовывать в авторитарный, я вижу в политической ритмике советского так называемого застоя и в дискурсе Конституции 1977 года истинную респектабельную зрелость политического тоталитаризма, осознавшего себя и снисходительно отмежевавшегося от тиранических эксцессов своей молодости.

Я полагаю, что тоталитарная трактовка суверенитета состоит в оригинальном снятии обычного для Запада дуализма «истинных суверенов» – «народа» и «нации-1» (государства). Достигается это снятие благодаря роли единственной массовой партии, которая выступает сразу в двух ипостасях – в одной представляя как «авангард советского народа», а в другой – как «ядро... политической системы, государственных и общественных организаций». Ссылаясь на проницательное оруэлловское различие «партии внешней» и «партии внутренней», я полагаю оправданным именовать две указанные ипостаси соответственно терминами «партия-народ» и «партия-государство» (последний имеет уже прочную традицию, первый относится к той реальности, которая берет начало в массовых партийных призывах 1920-х годов). Благодаря этому институту народный суверенитет «естественно» трансформируется в государственный, пребывающий в постоянном пользовании слоя высших управленцев [Цымбурский, 1993].

Ликвидация в результате парада суверенитетов компартии как интегративного института кладет конец тоталитарному модусу, а с ним и той регулярной государственности, в которую полития большевизма вызрела ко второй половине 1960-х. Долгое время отечественные и западные эксперты характеризовали порядки, наступившие на после-союзных территориях с 1992 года, достаточно неопределенным понятием транзита. В 2000-х приходит черед более четких типологических дефиниций, пытающихся ухватить особенности ситуации, утвердившейся здесь – в разных ее вариантах – «всерьез и надолго». Известность обретает версия Т. Каразерса, различающего в постсоюзном мире а) режимы собственно авторитарные; б) характеризующиеся «политикой господствующей власти» (где при «большинстве основных институциональных форм демократии» «одна политическая группировка... доминирует в системе таким образом, что имеется очень слабая перспектива смены власти в обозримом будущем», а «основные активы государства... постепенно переводятся в подчинение правящей группы») и в) режимы «слабого плюрализма», где формальная демократия



институтов обслуживает раздрой олигархических группировок [Carothers, 2002: 5–21; Михайлов, 2004: 40–45]. Я полагаю, что первые две формы правления могут быть объединены под названием, которое в середине 90-х предложил российский историк и политолог Андрей Фурсов, а именно «кратократия», «власть имущих власть» – имущих ее просто в силу того, что в некоторый решающий момент около нее оказались.

Хотя источником власти во всех послесоюзных конституциях неизменно объявляется «народ», однако эталонный посттоталитарный «народ» при кратократиях и слабом плюрализме предстает «толпой одиноких», погруженных в борьбу за личное выживание и личное преуспевание, в аполитичную «прайваси». Уже в 1993 году я писал о том, что посттоталитарный образ «народа» есть образ по сути тоталитарный, однако очищенный от идеологием, практик и социальных форм, обеспечивавших при тоталитаризме инсценирование «пробуждения суверена» – экстраординарные государственные мобилизации масс. При этом особое значение в государственном дискурсе обретает тема «человека как высшей ценности». Если в конституциях западных демократий права человека закладывались как ограничители государственного полномочия, то в системах кратократических существование власти как таковой становится предпосылкой функционирования структур повседневности, поддерживающих сколько-нибудь нормальное «приватное» существование людей. Бесценную роль в пропагандистском обеспечении кратократий обретают устрашающие примеры бесчинств, творимых – или творившихся в недавнее время при надломах верховной власти – группировками (бандами, клиентелами, вооруженными движениями и т. д.), самоорганизовавшимися помимо государства среди посттоталитарного человеческого планктона: народам Центральной Азии такой урок преподносит Таджикистан 1990-х, обществам Закавказья – местная смута тех же лет, путинской России – «бесмысленный и беспощадный» русский бизнес ельцинского десятилетия [Пастухов, 2007].

По существу кратократический образ суверенитета – это версия абсолютистского «защищающего» суверенитета по Гоббсу, сулящего подданным некий род относительно спокойной жизни не в порядке осуществления их политической воли, а в обмен на их отказ от нее. При кратократии эксклюзивность существующей власти (часто склонной действовать в режиме «стабильность как оперативное задание») основывается на том положении, что какая-то же власть для общества,

не желающего «всеобщей войны», необходима, – все же намечающиеся альтернативы быстро оказываются либо дискредитированы, либо отсечены. В таких условиях любой активизм, притязающий на смену пользователей суверенитета, легко воспринимается человеком из «толпы одиноких» как «экстремистская» агентура внешних или внутренних сил, грозящих устойчивому бытию («Вы хотите, чтобы кровь была, да?»). В рамках кратократического образа суверенитета объективно возникающая проблема смены верховных пользователей каждый раз решается *ad hoc* (по ситуации) – и, приводя примеры удачных ее решений, невозможно поручиться, что в каждом из таких примеров не имеешь дела со счастливой случайностью.

Фактически круг пользователей суверенитета, более или менее узкий, трансформируется в реального суверена, в подлинный «народ» и «нацию» кратократий. Если тоталитаризм претендовал на реальное снятие зазора между гражданской общностью и государством, то посттоталитарные кратократии представляют собой присвоение собственности идеального суверена пользователем, единоличным или коллективным, в лучшем случае способным тешить себя мыслью о себе самом как о «спасителе государства», «олицетворении лучшего в народе» – то есть как о некоем организовавшемся подобии канувшей партии-авангарда.

Нарисованная картина может представиться карикатурной. Однако ту или иную степень приближения к ней мы видим на пространствах от Ашхабада до Минска, хотя всегда вместе с множеством тех специфических местных моментов, которые обычно и оказываются определяющими для народных и государственных судеб<sup>217</sup>.

---

<sup>217</sup> Следующий за Каразерсом Валентин Михайлов делает интереснейший вывод о возможности распространить эту типологию, предложенную для посткоммунистических государств, на политические режимы в субъектах Российской Федерации: «...хотя ни один из регионов Российской Федерации в течение постсоветского периода никогда не мог рассматриваться в качестве независимого государства, разнообразие политических режимов в регионах России и их характер позволяют их охарактеризовать с помощью тех же синдромов, которые были описаны... для стран мира» [Михайлов, 2004: 46]. Получается, в этом отношении субъекты Федерации выступают аналогами государств, а сама Россия – подобием международной системы.

## **«ОРАНЖЕВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ» И «СУВЕРЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ» – ОТВЕТ, СПОСОБНЫЙ ОКАЗАТЬСЯ НОВЫМ ВЫЗОВОМ**

Не успела Москва разобраться с федеративными «суверенами», как события, всколыхнувшие Западную Евро-Азию и получившие после украинской осени 2004 года общее прозвание «оранжевых революций», обозначили перед Россией контуры нового тура игр суверенитета.

На сегодня российская политология располагает обширным опытом осмысления «оранжевого» феномена. Я отошлю читателя к увесистой монографии группы авторов во главе с Сергеем Кара-Мурзой «Революции на экспорт», где рассмотрены и подытожены более ранние статьи Рифата Шайхутдинова, Михаила Ремизова, Егора Холмогорова, Алексея Чадаева. Сейчас, после благополучно отошедших в прошлое президентских выборов 2008 года, многим хочется позабыть, какие ожидания, чаяния и страхи сотрясали наш политический слой три года назад: на днях шеф крупнейшего оппозиционного центра публично обозвал весь тогдашний мандраж делом неких застращавших общество «кремлевских жуликов» – в убеждении, что никто не напомнит ему о прогнозах, клокотавших под кровом его заведения в зиму 2004–2005-го. Скажу лишь, что у меня в те месяцы сорвался выход сборника геополитических работ – исключительно потому, что издатель-оппозиционер требовал непременно написать предисловие на «оранжевую» тему – полагая, что без этого никакая геополитика никому в кануны великих перемен не будет нужна.

Не буду говорить о мотивах, оттолкнувших меня от тогдашних заветей моих коллег. Выскажусь лишь о том воздействии, которое – по моим сегодняшним оценкам – «оранжевый» вызов способен оказать на политическое будущее нашей цивилизации. Оказать не напрямую, а через обновляющийся язык российской власти.

В чем суть этого вызова? Я солидарен с вышеназванными авторами, трактующими квазиреволюции в Сербии, Грузии и на Украине как геополитическую обкатку нового типа международной легитимности, отвечающего имперской конструкции нынешнего «объединенного мира». Правда, должен оговорить, что считаю технологию этих революций специфическим инструментом геополитики лимитрофной, показавшим свою действенность на тех межцивилизационных площадках, где не только элиты, но и немалая часть населения подвержены исторической тяге к «усыновлению» в Большой Европе. Непохоже, чтобы

подобная технология могла достичь успеха на цивилизационных платформах у тех обществ, где авторитет евроатлантических инстанций проблематичен и неустойчив (Иран, Китай, даже Россия). В порядке возражения указывают на «кедровую революцию» в Ливане. Но выступление ливанцев против сирийской оккупации, поддержанное прямой угрозой распространения иракской войны США на Сирию, происходило по существенно иной схеме и в иных условиях, чем «оранжевые революции», и, по-видимому, было сугубо пропагандистски притянуто Вашингтоном к их шествию. Более того, 2005 год вроде бы указал эмпирическую границу результативности «оранжевой» технологии на великом лимитрофном поясе, тянущемся от Балтики до западной границы Китая: эта граница пока проходит по водоразделу между Черноморским и Каспийским бассейнами. К востоку от этого рубежа «революционеры» не преуспели – и не только в Азербайджане и Узбекистане, но на самом деле даже и в Киргизии, где узаконенный мировым цивилизованным результатом «революции тюльпанов» потонул во внутренних разборках.

Практически все эксперты, пишущие об этих квазиреволюциях, выделяют в их сценариях наряду с чертами привходящими – вроде призывания части силовиков к «протестующему народу» – две основные. Это, прежде всего, само оформление мобилизованной толпы в виде «народа», желающего ненасильственно сменить власть в порядке реализации своего суверенитета. Статус этого «народа» с точки зрения заявляемого модуса его суверенности аналитики оценивают по-разному. Для Ремизова это – симулякр гражданской общности, классического «народа-суверена» европейских революций, которым восставшая толпа становилась в борьбе «за право свое» [Ремизов, 2004]. Кара-Мурза предпочитает говорить о сотворении «этноса» – о «политизированной этничности», каковая «может быть создана буквально “на голом месте” и в кратчайшие сроки, причем одновременно с образом врага, которому разбуженный этнос обязан отомстить или от которого должен освободиться» [Кара-Мурза, 2006: 73, 75]. Подобный подход Кара-Мурзы определенно смыкается с его известной трактовкой «новых русских» как образования не сословного и не классового, а этнического – «особого малого народа», «квазиэтноса».

Чертой второй, едва ли не главной в «оранжевых» сценариях, политики называют то обстоятельство, что победа «нового народа» определяется не его борьбой, а авторитетом мировых инстанций, возводящих «революционеров» в ранг «проснувшегося суверена», а их лиде-

ров – в признанные пользователи национальной политической собственности. Если говорить в предложенных выше категориях, суверенитет изображаемого «народа» реализуется как суверенитет признания, а режимы, непосредственно выходящие из котлов подобных квазиреволюций, могут быть определены как своего рода «кратократии признания». Другое дело – что некоторые из «кратократов признания» могут и потом пытаться имитировать роль народных вождей и тем самым в случае успеха частично реорганизуют имидж своей суверенности.

Эти результаты, к которым аналитики приходят через фактологию, можно подкрепить контекстами из двух датированных 2004 годом книг Джорджа Сороса – деятеля, чья роль в «квазиреволюциях» никем не подвергалась сомнению. В книге «О глобализации» Сорос (вообще замечательный мифотворец!) предлагает читателю миф о возникновении национального суверенитета из-за того, что французский народ, встав в конце XVIII века на борьбу за общечеловеческие идеалы свободы, равенства и братства, к сожалению, счел нужным провозгласить свою суверенную власть и создать для себя современное национальное государство. «С тех самых пор продолжается противостояние национального государства и универсальных принципов свободы, равенства и братства» [Сорос, 2004: 204].

В книге «Мыльный пузырь американского превосходства» великий филантроп повествует о тех же примордиальных событиях иначе: «Во время Французской революции король был свергнут, а суверенитет перешел к народу. С тех пор ему бы и принадлежать народу, но на практике он попал к государству в лице правительства». А потому требуется, «установив, что суверенитет принадлежит народу... проникнуть в национальное государство и защитить права людей» [Сорос, 2004(а): 104, 103]. Правда, Сорос признает: «Нельзя сказать, что с концепцией суверенитета народа все легко и просто. Как, например, решить, кто именно достоин права на самоопределение в обществе, где имеются этнические меньшинства или группы, объединенные разными идеями?». И все-таки, если правительство сопротивляется вмешательству в дела государства, производимому хотя извне, но во имя блага здешнего народа, эти «возражения со стороны правительства прямо указывают на то, что оно нарушает суверенитет народа, а следовательно, и подходить к нему нужно как к нарушителю» [Сорос, 2004а: 104, 136].

Итак, идеолог и спонсор квазиреволюций прямо выступает за такой суверенитет народа, который мог бы взять верх над суверенитетом го-

сударства при поддержке мировых арбитров, решающих в сложных случаях – кто именно достоин в конкретных ситуациях называться «народом», обретая «неотъемлемые права» самоопределения.

Видение надвигающегося «бархатного» низложения Путина с его правительством и переработки России в страну, управляемую «оранжевыми» назначенцами, расслоило в 2005–2006 годах оппозицию – одних пленяя новыми горизонтами, других настраивая на иное отношение к действующей власти. Так, Кара-Мурза развил доктрину выдвижения в случае «оранжевой» угрозы и в противовес ей другого, инициативно «контрреволюционного» «нового народа». Такого народа, который поддержал бы власть в сопротивлении революционерам даже против ее желания – даже при готовности ее к самосдаче по примеру развращенных суверенитетом признания режимов Шеварднадзе и Кучмы. Поддержал как – по мнению этого народа – не вполне адекватную и «больную», во многом уже перенастроившуюся на «признание», но все-таки еще остаточно русскую власть. В условиях, моделируемых Кара-Мурзой и его соавторами, власть оказывалась бы перед двумя взаимоувязанными выборами – между двумя версиями российского суверенитета и между двумя «новыми народами», один из которых она должна была бы квалифицировать как «истинный», а другой – как «не-истинный», «мнимый».

Среди подобных событий и веяний середины десятилетия формула «суверенной демократии», многими сейчас увязываемая с именем Владислава Суркова, прозвучала заявлением о готовности власти при всей ее международной благонамеренности («мы себя считаем частью Европы», «держаться Запада – существенный элемент конструирования России») поставить на «факт» против слишком уж откровенных попыток замкнуть ее – верховную российскую власть – на «признание». Можно долго цитировать прямые заявления Суркова на этот счет, вроде того, что «демократия – это все-таки власть народа, а власть народа, как известно, суверенна. И это власть нашего народа в нашей стране, а не власть другого народа в нашей стране» [Сурков, 2008: 31]. И, по контрасту, – о том, что «политическое творчество далеко не всех наций увенчивается обретением реального суверенитета. Многие страны и не ставят перед собой такую задачу, традиционно существуя под покровительством иных народов и периодически меняя покровителей. Размножение развлекательных революций и управляемых (извне) демократий, кажущееся искусственным, на самом деле

вполне естественно среди таких стран. Что касается России, прочное иновластие здесь немислимо» [Сурков, 2008: 49].

Но намного интереснее случаи, когда спор о суверенитете проступает из текста, казалось бы, говорящего вовсе о другом, – выстраивается как потаенный рисунок-пазл. Таков ответ Суркова на слова Дика Чейни о том, как «Россия присоединится ко всем нам на пути к процветанию и величию. Это будет сообщество суверенных демократий, которые преодолели прошлые конфликты, которые чтят многочисленные культурные и исторические связи между нами...» и т. д. Присмотримся – все высказывание Чейни строится в будущем времени: Россия когда-нибудь присоединится к «суверенным демократиям», если будет достойна считаться одной из них, а решение на этот счет, конечно же, должны будут принять эталонные лидеры сообщества подобных демократий. Когда же Сурков говорит на это: «Я целиком согласен с тем, что понимает под суверенной демократией господин Чейни. Мы понимаем то же самое» [Сурков, 2008: 110], сие значит: «Мы уже силой факта являем суверенную демократию, и наши притязания считаются за таковую основаны на факте, а не на более-менее субъективной оценке со стороны тех или иных инстанций». Здесь можно усмотреть «протест против монополии на демократический дискурс» – но этот протест реализуется через скрытый спор не о демократии, а о схеме политического суверенитета.

Такого же рода пазл проступает и в том месте, где японский корреспондент спрашивает Суркова, «что такое суверенная демократия и чем она отличается от управляемой демократии» [Сурков, 2008: 110]. В обычном словоупотреблении «управляемая демократия» (конечно же, вовсе не антоним к какой-то «неуправляемой») – это одно из прозваний для демократии имитационной, когда общество не контролирует властной верхушки, поскольку волеизъявления общества («пробуждения суверена») в основном разыгрываются правителями себе в поддержку. Вопрос об управляемой (японец забавно проговаривается – «употребляемой») демократии – на самом деле это вопрос о «народном суверенитете», о возможности для провозглашенного суверена выбирать и сменять доверенных пользователей своей собственности. Ответ Суркова («На мой взгляд, управляемая демократия – это навязываемая некоторыми центрами глобального влияния, навязываемая всем народам без разбора, навязываемая силой и лукавством шаблонная модель неэффективных, а следовательно, управляемых извне политических и экономических режимов... Мы так понимаем управляе-

мую демократию») означает вот что: «Вы осуждаете нашу власть, как управляемую демократию, пренебрегающую народным суверенитетом. На самом деле в качестве антитезы вы нам предлагаете под видом народного суверенитета демократию поистине управляемую – всецело опирающуюся на суверенитет внешнего признания».

Формулу суверенной демократии вопреки некоторым комментаторам надо соотносить не с западной реакцией на «дело ЮКОСа» и не с чем-либо еще, а только с «оранжевым» вызовом в адрес Москвы, уязвляющим народный суверенитет и суверенитет признания. В устах наших политиков и воспринявших ее юристов (Валерий Зорькин) она была бы безоговорочно сильным ответом на этот вызов, если бы не один настораживающий аспект. В России 1990-х «демократия – власть демократов» была обесмыслена и сведена чуть ли не к «речекряковой», автоматически вылетавшей из политических ртов звуковой цепочке. Нетривиальное сочетание этого слова с эпитетом «суверенный» подновляет его смысл (как говорят лингвисты, «внутреннюю форму»), для чего ведь старается и Сурков, предлагая переводы этой формулы «на старомодный («самодержавие народа») и современный («правление свободных людей») русский» [Сурков, 2008: 44]. Но не обернется ли в таких прочтениях «суверенная демократия», поверх ответа «вражьим голосам», также и новым вызовом перед политической Россией – и теперь уже вызовом, не извне пришедшим, а внутренним, эндогенным? Как известно, любые толки о правах человека упираются в проблему – кого считать за человека. Не пробуждают ли слова о «самодержавии народа» и «правлении свободных людей» кое у кого желание спросить: «А кто здесь – народ? Кто – те свободные люди, которым будет принадлежать правление?». Такие вопросы – из тех, что способны породить очень гулкий резонанс.

## **СУВЕРЕНИТЕТ В СУДЬБЕ ДВУХ ВЫСОКИХ КУЛЬТУР**

Книга «Революции на экспорт» Кара-Мурзы и его коллег в моих глазах – свидетельство поистине о новом возрасте России, при том что сам этот автор всегда был склонен преподносить нашу цивилизацию как от века данный, любезный его душе традиционный уклад. Кара-Мурза умилительно воссоздает русское понятие народа, которое «вытекало из священных понятий Родина-мать и Отечество». «Народ – надличностная и “вечная” общность всех тех, кто считал себя детьми Родины-матери и Отца-государства (власть персонифицировалась в



лице “царя-батюшки” или другого “отца народов”, в том числе коллективного “царя” – Советов)... все водимые духом Отечества суть его дети и наследники». Этому русскому образу «народа» он патетически противопоставляет нехорошее западное (модерное) видение «демоса – гражданского общества», которым в революционном самоутверждении становились те, кто «совершили революцию, обезглавив монарха. Именно этот новый народ и получает власть, а также становится наследником собственности» [Кара-Мурза, 2006: 344–345].

Но как бы ни был антипатичен мыслителю этот западный облик «народа-суверена», Кара-Мурза сознает, что в обстановке весьма вероятной измены штабов, как государственных, так и официально-партийных, готовых согнуться под суверенитет признания, контрреволюционный новый народ, восстающий против «оранжевой» беды, «водимый духом Отечества», был бы не вправе исповедовать былую идентичность «сынов» существующей русской власти. Фактически этот народ в размышлениях Кара-Мурзы обретает сходство именно с западным обществом граждан, в борьбе обретающих право свое [Кара-Мурза, 2006: 494].

Примечательно, что, говоря о «новом народе», этот идеолог сочувственно – без всяких оговорок – цитирует Чадаева, который, работая с очень близкой схемой, однако же, предпочитает говорить не о сотворении «политического народа», а о «мобилизации сословия, могущего в критический момент выступить на авансцену как самостоятельная сила, имеющая свои отношения и с властью, и с революцией» [Чадаев, 2005: 59; Кара-Мурза, 2006: 502–503]. Так что же это все-таки за силы, противоборство коих рисуется воображению наших авторов? Народы? Сословия?

Сурков в одном из своих текстов, ссылаясь, как подобает, на выступления Владимира Путина, говорит про Россию: «...какой бы особенной мы ее с вами ни считали и какой бы странной ее ни считали те, кто смотрит на нее со стороны... мы в целом проходим тот же путь, что и другие европейские страны» [Сурков, 2008: 127]. При этом он еще указывает на российский абсолютизм, состоявшийся в XVIII веке, примерно в то же время, что и в Европе. Это тот случай, когда я должен выразить и частичное согласие, и решительное разногласие с мыслью помощника президента. Социально-исторический, цивилизационный смысл того политического порядка, который называют нашим абсолютизмом, совершенно иной, чем у абсолютизма Европы. Там абсолютизм предстает первой формой надсословного государства, вос-

торжествовавшего над феодализмом – владычеством земельной аристократии – и задавшего политические рамки, внутри которых ко второй половине XVIII века утверждается культурная гегемония «третьего сословия», то есть городского политического класса, в своем восхождении отождествившего себя с «народом», а в монархе склонного видеть самое большое – орган народного, то есть своего (третьесословного) суверенитета. Напротив того, у нас абсолютизм XVIII века был оформлением процесса, аналогичного не концу, а началу и пику европейского феодализма, – преобразив служилых «государевых людей» в землевладельческое «благородное сословие». Если говорить о движении цивилизации, то наш XVIII век предстанет соответствием не европейскому XVIII веку, а Высокому Средневековью Европы XII–XIII веков, когда бывшая прослойка герцогских, графских и королевских вооруженных слуг вырастает в господствующее сословие феодалов и рыцарей [Цымбурский, 2007]. Да, мы и правда прошли в XVIII веке ту же историческую стадию, которую некогда пережила Европа. Но разрыв в 400–500 лет – это уже не отставание, это другое цивилизационное качество.

Я хочу напомнить, что в Германии в первой трети XX века жил такой человек – Освальд Шпенглер, о котором у нас принято вспоминать разные забавные околичности – вроде того, как он различал «цивилизацию» и «культуру» или чудаковато писал о «фаустовской душе» европейцев. Этот человек вывел хорошо работающую схему большого социального цикла, который в разные времена и на разной технологической основе проходили так называемые высокие культуры – то, что сейчас, после исследований Арнольда Тойнби, принято называть цивилизациями.

По Шпенглеру, высокая культура всегда начинается с аграрно-сословной фазы: в этой фазе она склонна видеть себя в качестве духовной империи, «мирового царства» – а из этого переживания возникает сакральная вертикаль, религия или идеология, которая возводит людей этой высокой культуры в ранг Основного Человечества Основной Земли. Потом центры жизни данного сообщества из владений земельной аристократии переходят в города, наиболее продвинутые обитатели которых (городской демос) подвергают сомнению религиозные и культурные формы предыдущей фазы, поддерживают ревизию и обновление сакральной вертикали так, чтобы она отвечала их, горожан, мироощущению и содействовала их гегемонии. Эта, по Шпенглеру, эпоха реформации бывает отмечена крушением традиционных форм

власти, разгулом тираний, из которого восстают, опираясь на городскую политический класс, структуры регулярного надсословного государства. Я считаю нужным дополнить схему Шпенглера еще одной универсалией – контрреформационной волной, поднимающейся в ответ на реформацию как попытка согласовать великие ценности аграрно-сословной эпохи с бытием реформационного горожанина: последующая участь цивилизации во многом определяется конкретным результатом столкновения этих волн. Во многом, но не во всем. И сейчас, обсуждая среднесрочные перспективы России, я намерен сделать упор на другие моменты.

Вопреки Шпенглеру, не считавшему, что к России открытый им цикл имеет какое-то отношение, я расцениваю ее как высокую культуру, которая «стартовала» в XV–XVI веках становлением Московского царства с его религиозными и художественными формами, в XVIII веке достигла стадии, соответствующей европейскому Высокому Средневековью, а со второй половины XIX века по наши дни переживает пору городской революции с временем тираний и с великой большевистской реформацией, собравшей разрушившуюся Белую империю под новую сакральную вертикаль (чего европейским протестантам XVI–XVII веков так и не удалось добиться при всех замыслах их лидеров реорганизовать Священную Римскую империю). А к концу XX века видим надлом большевистской государственности – и взбухание контрреволюционной волны («второе крещение Руси»).

При всей наглядности черт шпенглеровского цикла в истории России надо иметь в виду, что мы проходим этот цикл, будучи материально и духовно втянутыми в региональный, а затем и планетарный порядок, выстроенный высокой культурой Запада, и что мы все время реагируем на вызовы этого порядка – как Петр I в условиях еще только «феодализирующейся» России создавал промышленность, технологически отвечавшую уровню раннебуржуазной Европы, а продуктивностью отчасти даже превосходившую этот уровень. Такого же свойства проблему создают сейчас России ее мегаполисы (прежде всего Москва), города-порталы неоимперского «объединенного мира», по многим показателям соответствующие не российской стадии в шпенглеровском цикле, а нынешней стадии Запада (времени космополитических столиц и работающих на них империй).

Возвращаясь к сопоставлению цивилизационных ритмов Евро-Атлантики и ее российского сообщества-спутника, мы обнаруживаем, что состоявшемуся в XV–XVI веках распадению «духовной империи»

Запада на суверенные государства – политическую собственность королей, князей и олигархий, – связанные поверх религиозных и идеологических расколов геополитикой и геокulturой, стадияльно соответствует крутая федерализация России в XX–XXI веках в две волны – с падением сперва православной империи, а затем большевистской идеократической сверхдержавы. И точно так же выкованное европейскими законниками и политиками XVI–XVIII веков в осмысление постимперской (раннего модерна) ситуации понятие суверенитета ни для кого не представляло большого интереса в России тех времен. Но оно обрело здесь исключительную жизненность именно в конце XX и XXI веке в применении к новому политическому «театру», где идея «верховной власти» схлестнулась с идеей «неотъемлемой политической собственности», укорененной в особенностях и традициях территорий, выделившихся в субъекты Федерации. Еще раз повторю – наш путь и впрямь сопоставим с путем Запада (и не только его – о других высоких культурах здесь нет места говорить), но насколько же по своему выстраивается этот наш цикл: федерация обретает у нас значение, аналогичное тому, какое абсолютизм и national state имели в истории евроатлантической государственности и политики.

Далее, по логике шпенглеровского цикла эпоха городских революций и восхождения надсословного государства обычно бывает отмечена напряжением между двумя силами: политическим классом городов, видящим в себе «народ» и симпатизирующим новой государственности, хотя иногда и выступающим против ее первичных «тиранических» версий, – и так называемой фрондой (по Шпенглеру), элитными группами, пытающимися перехватить становящееся «общенациональное» государство, переработать его в инструмент узкосословного властвования. Но в Европе, как и в истории многих цивилизаций, фронду, как правило, составляла старая знать – верхушка строя, размываемого и подрываемого городской революцией. У нас же старые сословия были напрочь сметены большевизмом, и фронда (так называемая олигархия с ее правовым, информационным, силовым и иным обеспечением) пережила свой «эмбриогенез» непосредственно внутри позднесоветского общества – как бы некоторые из этих людей ни замахивались восстанавливать преемственность прямым с Россией добольшевистской.

В «Текстах» Суркова вкраплены важные свидетельства о характере отношений власти и фронды при Путине. Откровенно высказываясь насчет «самозванства офшорной аристократии с ее пораженческой психологией» и взглядом на Россию как «зону свободной охоты»,

Сурков тем не менее убежден: «...даже называя этих людей офшорной аристократией, отнюдь не нужно считать их врагами. Все эти графы Бермудские и князья с острова Мэн – наши граждане, у которых есть много причин так себя вести» – пока, мол, они не уверятся, что положению их и их детей в России ничто и никогда не представит угрозы [Сурков, 2008: 52, 143]. На деле режим Путина, хотя и «укоротил» нескольких политически заигравшихся фрондеров, сделал очень много для того, чтобы этот слой обрел уверенность в своем будущем и отрешился от постоянно всплывавшего в ельцинские годы мотива – «билета на последний самолет». На самом деле истинные политические проблемы фронда будет у нас создавать в новом веке вовсе не своей «офшорностью», не вписанностью в транснациональный круг «людей давосской культуры», а той политической ролью, которую она способна потребовать для себя в стране, всерьез восприняв свою неуступчивость. Меня изумило прозвучавшее из уст Суркова сожаление об «отсутствии эффективного самоуправления в самых верхах нашего общества», о том, что, «как только властную вертикаль выдергивают из общества, высший класс, такой прекрасный и самодовольный, рассыпается в одну секунду» [Сурков, 2008: 34]. Неужели наша верховная власть предпочла бы иметь дело с «самоуправляющимся» коллективным Ходорковским из 2–3 процентов населения, способным, организовавшись, перехватить суверенитет в обществе «с выдернутой властной вертикалью»?

Наш городской политический класс, чье становление началось при большевизме, существует в странном статусе потенциального класса, растворенного в посттоталитарной «толпе одиноких», однако несколько раз впечатляюще проступавшего из нее за последние 20 лет. В начале 90-х, «раскачанный» фрондой, он поднялся против большевистского правления. Я уже в 1991-м был в числе немногих политологов, которые видели конец большевистской эпохи не в разгроме ГКЧП, а в образовании этого комитета – первого с 1917 года правительства, никак не связанного с коммунистическим ЦК, в те дни оказавшимся совершенно на отшибе от реальной политики. Я думаю и сейчас, что программа гэкачепистов по основным пунктам отвечала интересам городского политического класса, хотя значительная его часть приняла этих людей за «реставраторов коммунизма» и выступила против них, «своих не познаша». В октябре 1993 года этот класс выдвинул многих защитников парламента. Последний (по времени) раз он напомнил о себе в 2003-м плакатами, взывавшими: «За “Родину”, за Глазьева!», в

те месяцы, когда наша фронда впервые вступила на сцену публичной политики в лице своего «золотого мальчика» Михаила Ходорковского. Я не буду здесь подробно говорить о внутренней динамике этого класса, о его распадении в 90-х на просвещенных «новых бедных» и тех, кого писатель Юрий Поляков окрестил «гаврошами российского капитализма», о предпосылках нового взаимопонимания в 2000-х между частью последнего контингента и «новыми бедными» (особенно «технарями») на основе создаваемой ограниченности социальных перспектив у тех и других в сегодняшней России, претензий к власти («кратократии») и взгляда на фронду как «социальный затор».

Это именно слой, а не партия – слой очень неоднородный, и политическое его будущее в России вовсе не предрешиено. Вполне вероятны попытки отдельных честолюбивых и энергичных фрондеров поставить протестные энергии этого слоя на службу своему кругу: в этом плане примечательна прочерченная Ходорковским нашумевшая программа «левого поворота». Как бы то ни было, нужно осознать, что при очевидном политическом бессилии деревни и цеховой раздробленности рабочих вопрос о «самодержавии народа» и «правлении свободных людей» может быть решен лишь в пользу одной из двух социальных групп: либо фронды, либо городского политического класса. Последний по логике цивилизационного цикла выдвигается на роль, сходную с той, которая на Западе раннего и зрелого модерна выпала третьему сословию – средней и мелкой буржуазии с ее интеллигенцией. Это при том несомненном обстоятельстве, что социальная и психологическая характеристики этого нашего потенциального политического класса далеко не совпадают с характеристиками европейских буржуа.

Надо решительно отказаться от модных попыток вменить этому слою функцию западного среднего класса времен холодной войны – сословия-умиротворителя, сословия – общественной прокладки. Люди иногда восстают просто оттого, что им нечего терять. Но революции они совершают потому, что видят в революции реальный шанс политического возвышения, обретения права своего. Либо слой – наследник советского протобюргерства политически пребудет ничем, и пути нашей цивилизации определятся компромиссом между кратократией и одворянившейся фрондой (с местными уклонениями в олигархический «слабый плюрализм»), либо, подобно западному третьему сословию и античному городскому демосу, этот слой сподобится самосознания и силы «народа-суверена».

Мимоходом отмечу, что попытки Кара-Мурзы и некоторых других авторов обсуждать расколы нынешней России в категориях рождения «политических этносов» – вспомним еще ослабившийся роман Дмитрия Быкова «ЖД» с воюющими на его страницах за российское будущее «варягами» и «хазарами» – укладываются в тот же большой сюжет. Европа абсолютистских суверенитетов дала наглядные примеры квазиэтнического представления политических споров – будь то Англия середины XVII века, где в Великую революцию «потомки саксов» крушили «потомков норманнов», или Франция Людовиков, где за дворянством и третьим сословием маячили призраки – франков по одну сторону, галло-римлян – по другую.

«Суверенная демократия» – эта отповедь рядящемуся в «народный суверенитет» суверенитету признания – не только выразила прагматическое положение нашей верховной власти на грани между российским обществом и элитой «объединенного мира». Эта формула прихватывает еще и такие смыслы, о которых могли и не думать разработчики и пропагандисты. Так как на ней сомкнулись две главные внутренние проблемы нашего нового цивилизационного возраста: проблема определения «самодержавного народа» городской России – и проблема сочетания ее геополитической и геокультурной целостности с неотъемлемыми правами тех десятков «Россий», что проступили сейчас из нашей империи. Мы входим в эпоху, которую Шпенглер называл «летом высокой культуры». Вопреки Геннадию Зюганову, революция, дрящущая у нас уже второй век – городская революция, – еще не выработала своего лимита.

## ЛИТЕРАТУРА

Bodin J. 1962. *Six Books of the Commonwealth*. Cambridge.

Carothers Th. 2002. *The End of the Transition Paradigm* // «Journal of Democracy». № 13, 1.

Kelsen H. 1920. *Das Problem der Souverenitaet und die Theorie des Voelkerrechts*. Tuebingen.

Krabbe H. 1906. *Die Lehre von der Rechtssouverenitaet*. Groeningen.

Krabbe H. 1919. *Die moderne Staatsidee*. Groeningen.

*Le Grand Robert de la langue fransaise*. 2001. Т. 6.

Агабеков Г.Б. 1985. *Суверенитет в современной буржуазной политико-правовой литературе*.

Вышинский А.Я. 1949. *Вопросы теории государства и права*. Москва.

Дмитриев Ю.А., Магомедов Ш.Б., Пономарев А.Г. 1996. *Суверенитет в науке конституционного права*. Москва.

Златопольский Д.Л. 1970. *Автономная республика* // БСЭ. Т. 1. Москва.

Кара-Мурза С.Г. 2006. *Революции на экспорт*. Москва.

Левин И.Д. 1948. *Суверенитет*. Москва.

Ленин В.И. 1970. *Письмо С. Шаумяну, 13 декабря 1913 г.* // Полн. собр. соч. Т. 48. Москва.

Михайлов В.В. 2004. *Республика Татарстан: демократия или суверенитет?* Москва.

Мухаметшин Ф.Х. 2000. *Суверенный статус республики Татарстан открыл новую страницу в ее истории* // Суверенитет Татарстана. I. Казань.

Оппенгейм Л. 1948. *Международное право*. Т. 1. Москва.

Пастухов В.Б. 2007. *Темный век (Посткоммунизм как «черная дыра» русской истории)* // «Полис». № 3.

Поцелуев С.П. 2008. *Double binds, или Двойные ловушки политической коммуникации* // «Полис». № 1.

Ремизов М.В. 2004. *Неоколониальная революция: осмысление вызова* // Сайт «Агентства политических новостей»

*Собрание законодательства РФ*. 2000. № 25–29. Москва.

Сорос Дж. 2004. *О глобализации*. Москва.

Сорос Дж. 2004(а). *Мыльный пузырь американского превосходства*. Москва.

*Суверенная республика как правовое государство*. 1998. Уфа.

Сурков В.Ю. 2008. *Тексты 1997–2007*. Москва.

Филиппов А.Ф. 2008. *Ожиревший Левиафан. Читают ли в Кремле Карла Шмитта?* // «Русский журнал». № 1.

Цымбурский В.Л. 1992. *Понятие суверенитета и распад Советского Союза* // «Страна и мир». № 1.

Цымбурский В.Л. 1993. *Идея суверенитета в посттоталитарном контексте* // «Полис», № 1.



Цымбурский В.Л. 2007. *Городская революция и будущее идеологий в России* // Цымбурский В.Л. *Остров Россия: геополитические и хронополитические работы 1993–2006 годов*. Москва

Чадаев А.В. 2005. *Революция и контрреволюция* // «Со-Общение». № 1.

Чадаев А.В. 2006. *Путин. Его идеология*. Москва.

«Русский журнал», 2009 г.



## **Приложения**



## **МИХАИЛ РЕМИЗОВ**

### **СПОР О СУВЕРЕНИТЕТЕ**

#### **ПРЕДИСЛОВИЕ**

Что толку спорить о суверенитете? Ведь это повестка второго срока Путина, а сейчас время грезить об инновациях и правовой культуре. Таково убеждение текущего момента.

Что на него ответить? Что «философы» склонны заниматься «несвоевременным»? Но боюсь, это не выражает сути дела в моем случае. Если я упорствую в том, чтобы обсуждать вопрос о суверенитете, то лишь потому, что склонен понимать его совершенно иначе, чем та общность, для которой, в общем и целом, этот вопрос сводился к вариациям на тему «восстановления международного статуса» страны и «укрепления вертикали власти» и которая не видит сегодня во всем этом ничего, кроме изношенных аксессуаров сурковского дискурса.

Пару раз я уже пытался сместить акценты, выдвигая на первый план «неочевидные» стороны суверенитета как формообразующей категории политического мышления.

В статье «О суверенности» речь шла о том, чтобы показать связь суверенитета с современным типом развития общества или, если угодно, с правильно понятой модернизацией.

Статья «О суверенности — 2» была призвана напомнить о суверенитете как первооснове публичной этики. Как о категории, которая позволяет отделять публичное достояние (будь то «федеральное собственности» или «общественное благо») от частного и, как следствие, — называть государственную коррупцию кражей, а не извлечением административной ренты.

Кстати, понимание этого простого обстоятельства — что публичное достояние священно и неприкосновенно лишь в том случае, если есть суверен, с которым оно соотносено, если бытие этого суверена должным образом тематизировано и прочувствовано обществом, — должно предостеречь нас от попыток «лечить» этическую эрозию государства

пилюлями частной морали. То есть, если вспомнить о наших «политических кантианцах», – от соблазна «*универсализировать*» частную мораль до состояния публичной.

Этот соблазн по-своему понятен. Ведь есть ощущение, что частная мораль – ресурс в России все еще не столь дефицитный, как публичная. Но универсализация – от частного к публичному – невозможна. Вопреки стереотипу, публичная этика по самой своей сути вообще *не является универсалистской*: она апеллирует к бытию конкретного лица – суверена (государя или народа или, лучше сказать, народа-государя), а не к гомологии всех «разумных существ». И для ее приведения к жизни, для ее активации, прежде всего, в сознании государственных людей требуется не *голос совести*, а *рычание Левиафана*.

Да, рычание. Но не подумайте, что речь идет о простом *принуждении* к исполнению долга перед сувереном. Нет. Речь идет о принудительном утверждении бытия суверена, которым собственно и *создает*ся этот долг.

Если суверен существует – значит, существуют связывающие нас с ним узы (причем не только *обязанности*, но и политические *права*, поскольку мы являемся его частью). Если суверена нет... Значит, все позволено. По крайней мере, на той территории, которая некогда была территорией публичной власти.

Вне идеи суверенитета государство является безраздельной добычей государственных аппаратов. Поэтому сегодня, как и прежде, вопрос о суверенитете – это лишь во вторую очередь вопрос о том, чтобы «никому не позволить вмешиваться в наши внутренние дела»; это лишь в третью очередь вопрос о вертикали решения. В первую очередь, это вопрос о вступлении во владение государством того, кому оно по праву принадлежит.

И разумеется, со своей стороны, я имею в виду отнюдь не «многонациональный народ РФ». Его провозглашение «единственным источником власти» слишком напоминает привычку «эффективных менеджеров» оформлять собственность на подставные лица или структуры, существующие лишь на бумаге.

Народ-суверен, чтобы быть, должен обладать исторической и политической действительностью, и это значит, прежде всего, – национальной идентичностью, «проецирующей» его бытие в историческом времени, и механизмами представительства, оформляющими его присутствие в общественном пространстве. Поэтому вопрос о суверенитете служит лишь иным способом поставить другой вопрос, настоятель-

но требующий своего решения: вопрос о формировании политической нации как способе приведения суверена к присутствию.

Несмотря на то, что это отождествление («суверенного» с «национальным») банально для современной эпохи<sup>218</sup>, многое ему сопротивляется. Причем не только в обыденном восприятии «суверенистских» лозунгов, ассоциируемых сейчас скорее с могуществом государства, чем с полновластием нации, но и в научном дискурсе о суверенитете. Должен признать, в предыдущих публикациях я недооценил этот факт, и впоследствии встретил наиболее серьезного оппонента там, где не ожидал его найти. Я имею в виду прошлогоднюю статью Вадима Цымбурского «Игры суверенитета: новый возраст России» (Русский журнал. Рабочие тетради. 2008. №2), в которой предпринимается масштабная попытка очистить идею суверенитета от любой идеалистической и нормативистской нагрузки, что означает, прежде всего: отделить вопрос о суверенитете от вопроса о внутренней структуре и качестве легитимности власти, осуществляющей суверенитет.

Эту «реалистическую» тенденцию идеи суверенитета нельзя не иметь в виду. Ее рассмотрению и посвящена нижеследующая статья, основные аргументы которой я имел случай обсудить с Цымбурским за несколько месяцев до его ухода из жизни. Думаю, ранг этого мыслителя позволяет мне обнародовать полемику с ним без скидок на изменившиеся обстоятельства.

### **«ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»**

Статья «Игры суверенитета» относится к одному из самых интересных жанров философского текста – жанру «окончательного решения», суть которого выразил Витгенштейн в предисловии к «Логико-философскому трактату»: «Поставленные проблемы в своих существенных чертах решены окончательно».

Аналогия с Витгенштейном здесь не случайна. Ведь у Цымбурского тоже речь идет о снятии метафизических наслоений, мешающих ясному взгляду на суть вопроса.

Конкретнее – об отделении позитивного и практически ориентированного понятия суверенитета от его метафизического понятия, генерирующего псевдопроблемы.

---

<sup>218</sup> См. статью 3 «Декларации прав человека и гражданина»: «*Источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации.*».

В этой двусмысленной роли выступает исходное боденовское определение суверенитета как «власти государства, абсолютной и постоянной», а также как «власти над гражданами и подданными», «высшей и свободной от законов».

Автор признает непреложное значение боденовского открытия (Боден действительно «открыл» суверенитет как тему политической теории) в осмыслении международно-политических реалий новоевропейской истории, но утверждает, что заданный им стандарт «идеального суверенитета» волей-неволей пускает мысль по ложному следу.

*«Юридические изыски на тему суверенитета в Европе Нового времени зачастую выглядят интеллектуальным топтанием вокруг тех или иных слов из боденовских дефиниций. «Высшая власть»? А если правят несколько лиц – у кого она конкретно? «Постоянная»? А если диктатор с исключительными полномочиями назначается, как в Древнем Риме, на время, кто суверен – он или поставившие его? Как это – «власть, свободная от закона»? А естественный закон (хотя не очень-то понятно, что это такое)? А Божий закон (который не яснее естественного)? А обязательства по международным договорам? А как быть в государствах с конституцией или ее аналогом вроде английской Великой хартии вольностей?».*

Надо сказать, что на эти и им подобные вопросы, в рамках боденовского стандарта суверенитета, ответы вполне возможны. И на многие из них сам Боден отвечал (например, утверждая, что римский диктатор или британский конституционный монарх *не являются* суверенами своих государств), хотя и не всегда однозначно. Иными словами, речь совсем не идет об апориях или пустых дилеммах, заводящих теорию суверенитета в тупик.

Но в подтексте Вадим Леонидович, пожалуй, прав. Суверенитет, в его теоретико-правовом звучании, действительно не является инструментальным понятием, созданным для анализа политического процесса и решения возникающих в ходе этого анализа проблем. Он сам является философской проблемой. Если угодно, – в том дурном смысле, который придавали этому выражению неопозитивисты. Т.е. проблемой, которая сконструирована и навязана миру – философским мышлением<sup>219</sup>.

---

<sup>219</sup> Простоватое выражение этой позиции дал Дж. Мур: «Я не думаю, что окружающий мир или наука когда-либо ставили передо мной философские проблемы. Такими проблемами были вещи, которые говорили о мире или естествознании другие философы».



Если автор действительно имел в виду нечто подобное (а впрочем, даже если и не имел), то вопрос для меня состоит не в том, согласиться с этой констатацией или нет, а в том, какие выводы из нее следует сделать.

Надлежит ли изводить следы метафизики, как тараканов, посредством соблюдения лингвистической гигиены, как предлагали неопозитивисты?

Или, другой вариант, – попробовать развести «теорию» и «практику», с тем, чтобы всю казуистику абсолютного суверенитета оставить попечению «теоретика-правоведа», «политику же, для которого методологическая выдержанность не стоит ломаного гроша» – предложить иной, практически применимый инструмент под тем же названием.

Именно по этому пути движется автор «Игр суверенитета», и путь этот связан примерно с теми же издержками, что и позитивистская программа «очищения языка».

Первый, наиболее очевидный сбой программы состоит в том, что «иногда они возвращаются». Прежние философские «тараканы» возникают вновь при более подробном анализе / самоанализе «очищенного языка».

Как именно дилеммы теоретико-правового, «боденовского (или квазибоденовского)» понятия суверенитета вкрадываются в реально-политическую аналитику суверенитета, предпринимаемую Вадимом Цымбурским, мы попробуем проследить ниже.

Второй, совсем не очевидный, но, пожалуй, самый важный изъян позитивистской «реформы» философского языка (в данном конкретном случае и не только), состоит в том, что она игнорирует его уникальную и амбициозную прагматику.

Когда философское мышление онтологизирует лингвистические проблемы (справедливость этого упрека вполне можно признать), то при этом они не просто онтологизируются – они *становятся* онтологическими, кристаллизуя вокруг себя целые пласты человеческой, социальной реальности. В философии вообще речь не идет об адекватном или неадекватном познании заранее данной реальности, речь об определенной стратегии ее «изобретения». Понятия, ставшие идеями (т.е. вошедшие в саму действительность), начинают жить своей жизнью – и не только «в умах»: они обретают социальную структурность.

Этот факт вполне очевиден из западной истории, если прочесть ее как историю мира – в существенной своей части, созданного философией.

Одна из версий такого прочтения принадлежит Хайдеггеру, который раскрывает взаимосвязь социальной онтологии модерна с западной метафизикой через *идею субъекта*. Примечательно, что его исходный посыл в критике западной метафизики также является «лингвистическим»<sup>220</sup>. Но даже если, по его мнению, «зачинатели» Нового времени, истолковывая человека как «subiectum», где-то не так прочитали «греков», то сам Хайдеггер исходит из того, что это не ошибка, а своего рода исторический выбор, поскольку напластованием на «трудностях перевода» – является собственно вся история современности. И что, соответственно, то, с чем он имеет дело, – включая и идею субъекта, и собственную критику этой идеи – является непосредственно формой движения этой истории.

Для нас это вдвойне важно потому, что идея субъекта является, скажем так, «родовой» для идеи суверенитета и, соответственно, позволяет лучше понять методологический статус последней.

Ни идея субъекта, ни идея суверенитета не являются, по своей сути, некими концепциями, *описывающими* человеческую или общественно-политическую реальность. Они являются тем, что методолог науки и политический философ Курт Хюбнер предлагал называть «необходимым практическим постулатом». Необходимым – в рамках

---

<sup>220</sup> Существенным для Нового времени, – говорит Хайдеггер в статье «Время картины мира» – является *«не то, что человек освобождает себя... от прежней связанности, а то, что меняется вообще существо человека и человек становится субъектом. Это слово subiectum надо понимать, конечно, как перевод греческого υποκειμενον. Так называется под-лежащее, то, что как основание собирает все на себе. В этом метафизическом значении понятия субъекта нет вначале подчеркнутого отношения к человеку и тем более к Я. Если теперь человек становится первым и подлинным субъектом, то это значит: он становится тем сущим, на которое в роде своего бытия и виде своей истины опирается все сущее. Человек становится точкой отсчета для сущего как такового. Такое возможно лишь с изменением восприятия сущего в целом»*.

Примерно понятно, как из этого выводится специфика модерна:

*«Лишь поскольку — и насколько — человек вообще и сущностно стал субъектом, перед ним как следствие неизбежно встает настоящий вопрос, хочет ли и должен ли человек быть субъектом, — каковым в качестве новоевропейского существа он уже является, — как ограниченное своей прихотью и отпущенное на собственный произвол Я или как общественное Мы, как индивид или как общность, как лицо в обществе или как рядовой член в организации, как государство и нация и как народ или как общечеловеческий тип новоевропейского человека. Только когда человек уже есть по своей сущности субъект, возникает возможность скатиться к уродству субъективизма в смысле индивидуализма. Но и опять же только там, где человек остается субъектом, имеет смысл жестокая борьба против индивидуализма и за общество как желанный предел всех усилий и всяческой полезности»*.

определенного, специфически современного способа «*быть человеком*» или «*быть государством*».

Соответственно, и критика этих идей не может вестись исходя из степени их эмпирической адекватности (чему-то «внешнему», независимо от них данному)<sup>221</sup>.

Поэтому, когда Вадим Леонидович пишет в самом начале своей статьи о боденовской идее суверенитета как о попытке «выразить» некую «европейскую цивилизационную и геополитическую ситуацию», то он, разумеется, имеет к тому все основания. Но лишь при условии, что он в полной мере учитывает тот факт, что сама «европейская ситуация» в ее развитии сформирована и продолжает формироваться именно этой – не вполне адекватной, как выясняется из дальнейшего изложения, – идеей суверенитета, с ее эмпирически невменяемыми постулатами «абсолютности», «неделимости», «постоянства».

Учитывает ли исследователь этот факт? В лучшем случае, отчасти – когда говорит о несомненном практическом значении теоретико-правовой идеи суверенитета. Но это значение понимается как сугубо инструментальное: *«Политику... суверенитет не может жизненно представлять иначе, нежели в качестве постоянно передуляемой политической собственности. Само боденовское (или квазибоденовское) определение в его глазах может обрещать ценность как инструмент подобного передела – или обороны против него».*

Утверждение о том, что «суверенитет... не может представлять иначе...», является здесь, определенно, слишком сильным. По-моему, очень даже может. Ведь политика как такового интересует не только борьба за (политическую) собственность (под которой в данном контексте подразумевались куски территории, оспариваемые различными государствами), но и борьба за власть и, шире, проблема производства и воспроизводства власти в социуме. Идея суверенитета имеет к этой проблеме самое прямое отношение – к чему мы вернемся чуть позже.

---

<sup>221</sup> «Апелляция к суверенитету означает не описание того, что есть, но некий необходимый модус совершения действий в определенных областях политики», – фиксирует Александр Филиппов в статье, посвященной понятию суверенитета. См.: Филиппов А.Ф. *Суверенитет* // Апология. 2005. №3. И это представляется довольно точным, с той оговоркой, что речь все же идет не только о модусе действия в политическом пространстве, а о модусе существования самого политического пространства, способе его воспроизводства. Да, об одном из возможных способов. Но политика, по своей сути, – это не просто «борьба на поле», это борьба за возможность дать полю свою разметку.

Здесь же зафиксируем то, что касается практического значения теоретического понятия суверенитета.

Это значение видится Вадиму Леонидовичу сугубо инструментальным, тогда как, на наш взгляд, оно является прежде всего конститутивным (для системы общественных отношений).

Пожалуй, узкоинструментальное, точнее, «игровое» значение (коль скоро речь идет о конвенциональных правилах игры, которые каждый хочет истолковать в собственных интересах) следует приписать не идее суверенитета как таковой, а проекциям этой идеи в международном праве. Таким, как принцип суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела или неприкосновенности территории.

Иными словами, не стоит отождествлять принцип государственного суверенитета (исключительности и верховенства государственной власти) с принципом «уважения» государственного суверенитета, как он фигурирует в международном праве. Этот регламент уважения (к иным суверенам) является наиболее желательным и благонравным способом проявления суверенности государств вовне, но отнюдь не ее логическим условием.

Больше того, редукция (некритическая или сознательная) идеи суверенитета к ее международно-правовому оформлению не просто выхолащивает, но полностью перечеркивает исходный (если угодно, тот самый, «боденовский») смысл этой идеи. Она создает иллюзию того, что суверенные права государств гарантированы международным правом. Тогда как, в логике идеи суверенитета, все наоборот: международное право является функцией государственного суверенитета и не имеет иных источников легитимности. Суверенитет как исключительная прерогатива создавать право сам не может быть гарантирован никаким правом. В этом смысле, с точки зрения сохранения и воспроизводства суверенитета, к его международно-правовым проекциям не только допустимо, но и необходимо относиться инструментально.

Если мы хотим удерживать суверенитет хотя бы в понятии (а без этого мы не удержим его и в реальности), следует затвердить: существуют суверенные права, но «права на суверенитет» не существует. Это логическая бессмыслица, которую, увы, – здесь я вполне соглашусь с автором – тиражируют многие добросовестные и недобросовестные идеалисты.

## ГЕОПОЛИТИКА ПРОТИВ ПОЛИТИКИ

Но как же решают проблему суверенитета «политические реалисты»? Политический реализм – как своего рода «кратоцентризм», выражающий общие основы международной и внутренней политики в терминах борьбы за власть – мировоззрение достойное и действенное во многих отношениях, но не в том, что касается истолкования природы, характера, качества самой власти<sup>222</sup>.

Авторское определение суверенитета, выстраиваясь в логике «реал-политической» традиции, бережно воспроизводит именно этот ее изъян.

*«Пятнадцать лет назад, – пишет Вадим Леонидович. – Задумавшись над возможностью формализовать чисто политический смысл суверенитета, я предложил следующий фрейм:*

*«X осуществляет власть над А (абсолютно все равно, на чем она основана – на признании подвластных или на чистом принуждении), и Y, осуществляющий власть над В, признает власть над А правом X».*

*Также я показал, что союз «и» в этом фрейме надо расценивать как каузальную стрелку, которая может быть направлена от любой части фрейма к другой его части – все равно, от факта к признанию или наоборот. Таким образом, я различил «суверенитет факта» (когда реальное властвование закладывает основу внешнего признания) от «суверенитета признания» (когда власть создается признанием инстанций, на которые не распространяется...)».*

*«Отсюда должен проистекать вывод о возможности разных рангов суверенитета – в зависимости от объема «неотъемлемых прав», осуществляемых сувереном и признаваемых за ним со стороны... его референтного внешнего сообщества. А уже отталкиваясь от этого положения я развил в начале 1990-х концепцию «геополитических структур согласия» или «структур признания», в рамках которых определяются специфики и масштабы суверенитетов».*

Предложенная формализация представляет несомненную научную ценность, особенно в плане международно-политического анализа<sup>223</sup>.

<sup>222</sup> Здесь оно остается бессильным, например, потому, что выносит за скобки проблематику *легитимности*, без которой не только решить, но даже поставить этот вопрос нельзя. В анализе международной политики эта абстракция может быть вполне оправдана, но и только.

<sup>223</sup> И автор демонстрирует ее эвристический потенциал, упоминая о концепции «геополитических структур согласия» как теоретической основе для анализа «того порядка, который уже семнадцать лет выстраивает мировой Центр».

Но с одной большой оговоркой: она *не содержит* решения «проблемы суверенитета» (даже в ее «чисто политическом» аспекте).

Дело в том, что эта проблема в ее существенной части состоит в том, чем отличается (и как отличает себя) суверенная власть от власти несuverенной. Это различие, в логике автора, оказывается невозможным и неактуальным. Так, в предложенной «формуле суверенитета» на место X может быть поставлен и директор предприятия, и командир взвода, и какой угодно еще носитель совершенно и заведомо несuverенной власти.

Наверное, в нужном месте мы должны вместе с автором, по умолчанию, подразумевать *государственную* власть. Но идея государственной власти в ее качественном отличии от негосударственных форм власти уже содержит в себе идею суверенитета. Поэтому, если ввести в «формулу» оговорку о государственном качестве власти X над A (и U над B), то мы получим тавтологию вместо определения<sup>224</sup>. Если же такой оговорки не вводить и опереться на заведомую многозначность и многозначительность слова «власть» (подразумеваемая, например, в духе де Местра, что всякая настоящая власть «необходимым образом абсолютна» и, в этом смысле, не нуждается в прилагательных), то мы тем самым всего лишь помножим одну неопределенность на другую.

Не получается ли в самом деле так, что автор, стремясь избежать гипостазирования суверенитета, вынужденно прибегает – к реификации власти? Власть в его тезисах о суверенитете не проблематизируется и оказывается чем-то застывшим, квазиестественным, овеществленным. До такой степени, что она вдруг переоформляется – в «собственность». Именно такова основная метафора суверенной власти, фигурирующая в статье.

И с этим связан определенный парадокс. Автор называет «суверенную собственность» политической и последовательно подает свое понимание суверенитета как политическое по преимуществу (в противовес или в дополнение к юридическому пониманию). Но политическое мышление как таковое как раз несовместимо с «натурализацией» и «овеществлением» власти. Оно не может абстрагироваться от непредрешенности процесса ее воспроизводства, градации ее качеств, наконец, от ее легитимности. Т.е., собственно, от того, *«на чем она основана*

---

<sup>224</sup> Точнее, мы сведем содержание «формулы» к утверждению того, что момент внешнего признания является конститутивным для идеи суверенитета. Эта мысль может быть верной, но не может служить выражением смысла интересующей нас идеи.

– на признании подвластных или на чистом принуждении». Автор же предлагает абстрагироваться именно от этого – от качества власти и ее внутренней диалектики, с тем, чтобы сделать более наглядной внешне-неполитическую диалектику факта и признания.

По сути, речь идет о принесении *политики* в жертву *геополитике* – или даже политической географии. Субстанцией суверенитета оказывается пространство, а не общество.

Разумеется, это не ошибка автора, это его фокус внимания.

Мы уже говорили о том, что основной вопрос теории суверенитета – вопрос об отграничении суверенной власти от «просто власти» – в повестке данной статьи фактически не стоит. И, как ни странно, это особенно отчетливо проявляется в тот момент, когда он, вроде бы, напрямую затрагивается:

*«Если задумываться над тем, что нового несет понятие суверенитета в сравнении с базисным понятием власти, то можно прийти вот к какому выводу. Реальное смысловое приращение состоит в том, что «суверенитет» представляет власть на фоне мира, ею не охваченного».*

Итак, специфика суверенной власти усматривается, опять же, в ее геополитической «размерности». Здесь и в иных приведенных фрагментах статьи имеется в виду лишь внешний суверенитет, суверенитет государства по отношению к себе подобным. Как если бы внутреннего суверенитета – суверенитета государства по отношению к «негосударствам», неполитическим формам сообществ и ассоциаций, не существовало вовсе.

Между тем, он существует, и именно о нем ведет речь Боден. Квинтэссенцией этой внутренней суверенности государства он считает способность создавать право. «Собственно говоря, – утверждает он о законодательной функции власти, – можно сказать, что только это и есть единственный признак суверенитета». В том смысле, вероятно, что из него выводимы все остальные признаки. И это действительно так.

В частности, мы наблюдаем трансформацию все того же, боденовского понятия суверенитета у Шмитта, когда он показывает читателю, что способность создавать закон имеет своей оборотной стороной способность приостанавливать его действие. Невозможно обеспечивать функцию производства права, не находясь одновременно по ту и по эту сторону правовой реальности. В этом смысле, противопоставление суверенитета политического и юридического бессмысленно, поскольку суверенитет может быть юридически полноценным только в том слу-

чае, если является реально-политическим в своей основе – т.е. способным учредить и/или гарантировать тот порядок внутри которого только и возможен «правопорядок».

Мы видим, что аутентичное понятие суверенитета интересно именно тем, что оно преодолевает дилеммы «идеализма» и «реализма», оказываясь по ту сторону того и другого. Не случайно сам Шмитт настаивает на юридическом, а не только политико-социологическом значении своей концепции суверенитета.

Суверенитет есть способность власти производить право, предполагающая возможность ее действия по ту сторону права. И то, и другое может быть *одновременно* воплощено только в государстве.

Разумеется, таково лишь одно из возможных прочтений верховенства государственной власти по отношению к иным формам власти. Но без тематизации этого верховенства полноценное рассмотрение проблемы суверенитета невозможно.

В принципе, такое рассмотрение должно учитывать сразу три разных ракурса:

– В чем состоит суверенитет государства по отношению к негосударственным формам общественной жизни?

– Как организован суверенитет государства по отношению к другим государствам?

– Как и кем именно осуществляется суверенитет в конструкции государства?

Эти три вопроса отсылают нас к трем ипостасям суверенитета. Это, во-первых, *«суверенитет-верховенство»* (государства по отношению к «не-государствам»). Во-вторых – *«суверенитет-самостоятельность»* (государства по отношению к другим государствам). И в третьих, это суверенитет... как *«суверенность»* (распорядительных инстанций внутри государства).

Последнее различие выглядит непривычно, но оно не лишено смысла. Прочитывать «суверенность» как определенную спецификацию «суверенитета» предлагает Вадим Цымбурский в рассматриваемой статье. На мой взгляд, он дает весьма элегантное терминологическое решение будоражащей умы проблемы: «кто суверенен – властитель или народ, именем которого он властвует?». «С суверенитета доверителя, – пишет он, – (т.е. «народа» – как бы тот ни понимался. – *М.Р.*) на пользователя (т.е. собственно правителя. – *М.Р.*) переходит – суверенность». Действительно, удобно считать, что суверенитетом обладает лишь народ, но распорядителю его всевластия присущ атрибут



суверенности. Впрочем, решает ли это дилемму по существу, не берусь здесь судить.

Вообще, ответить на все три вопроса о суверенитете одновременно, причем таким образом, чтобы во всех трех ракурсах удерживался один и тот же предмет, чрезвычайно сложно.

Лично мне кажется, что базовым, принципиальным из этих трех вопросов является первый, а два другие могут быть решены как производные или даже «технические». Но вполне возможно, что это дело вкуса и вносить субординацию в названные «ипостаси» суверенитета вообще излишне. В любом случае, каждый исследователь волен говорить о том, что именно ему кажется критически важным в данный момент времени.

Например, Карл Шмитт в «Понятии политического» говорит о суверенитете преимущественно и даже исключительно в контексте первого вопроса (в чем верховенство государственно-политического разделения по отношению к «иным формам ассоциаций и диссоциаций?»), в «Политической теологии» – в рамках третьего (кто суверенен внутри государственной системы? – «тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении»), а в «Номосе земли» его интересует второй вопрос (вопрос об основаниях международного права, который, кстати, он решает совсем не в духе концепции «абсолютного суверенитета»). Подчас даже возникает ощущение, что в лице Шмитта мы наблюдаем трех разных теоретиков суверенитета, взгляды которых, наверное, внутренне гармонизированы, но не сведены к общему знаменателю явным образом.

### **«ВЕРХОВЕНСТВО» ИЛИ «СОБСТВЕННОСТЬ»?**

Здесь, на столь обычном в сложных случаях признании «многообразия аспектов» можно было бы и закончить. Но это явно не соответствовало бы духу обсуждаемой статьи, которая – мы уже говорили об этом – предпринимает коренное решение рассматриваемой проблемы. Или лучше сказать – преодоление проблемы в ее прежнем виде.

Эта ревизия не может не затрагивать и внутреннее измерение суверенитета:

*«Во «внутреннем» аспекте, суверенитет – это просто идея власти как чьей-то политической собственности», – гласит один из ключевых тезисов статьи. «Суверенитет как собственность» здесь вводится уже не в качестве методологической абстракции, удобной для анализа ме-*

ждународной жизни, а в качестве концептуальной альтернативы *«суверенитету как верховенству»*.

Базовая модель суверенитета получает при этом нарочито феодальный характер. Из приведенных слов не до конца понятно – что является предметом власти-как-собственности – земля или люди? Вероятно, и то, и другое. В другом месте автор говорит о суверенитете как «политической собственности на некое пространство и привязанных к нему людей». Идеальным сувереном в этой модели оказывается, таким образом, *вотчинник*, для которого власть над людьми является формой осуществления патримониальной собственности на землю. Но вотчинник, при том, что он, несомненно, обладает властью как собственностью, не обладает верховенством – он может быть вассалом. Является ли это препятствием его «суверенности», опять же, не вполне ясно.

Чтобы не застревать в подобных вопросах, удобнее избрать в качестве канона консолидированную феодальную власть абсолютной монархии, что и делает автор.

В вопросе о носителе суверенитета, – пишет он, – *«идеальный отправной пункт представляет, конечно, монархия. И вовсе не та, где император или король мыслится олицетворением суверена-народа (как у Канта и Гегеля). Но та, где он держит власть как собственность, безразлично, полученную ли от Бога, или в вечный подарок, раз навсегда, от народа (по Гроцию), или в силу договора людей, уставших от «природного» взаимоистребления и отрекшихся от проявления политической воли в обмен на защиту, простертую над ними сувереном (Томас Гоббс)»*.

Наиболее существенным моментом здесь является утверждение того, что идея суверенитета сама по себе чужда идее представительства.

Зыбкость этого утверждения чувствуется уже на уровне теоретических референций. У Гоббса монарх, конечно, не является олицетворением «суверена-народа». Сувереном является он сам. Но исключительно постольку, поскольку он служит олицетворением общественно-целого. В отдельных случаях, Гоббс прямо говорит о представительном характере «моделируемой» им власти. Но главное, он видит в ней форму организации общества, а не форму владения (землей или людьми). Поэтому его суверен – не феодал, а представительное лицо.

Он не «суверен-собственник», а канонический носитель «боденовского» суверенитета-верховенства<sup>225</sup>.

Здесь можно усомниться, а так ли важны эти различия – между «суверенитетом-собственностью» и «суверенитетом-верховенством» – если они могут описывать одну и ту же (в данном примере, абсолютистскую) модель власти? Да, могут, но с принципиально разными предпосылками и последствиями.

Истолкование (в том числе, самоистолкование) власти в категориях верховенства содержит в себе одну важную логико-метафизическую процедуру. Процедуру *отнесения к целостности*. Только в контексте некоторой презюмируемой, гипотетической социальной целостности мы можем говорить о власти высшей, логически неподотчетной внешним инстанциям. Только под залог способности воплощать в себе эту целостность («*Это больше чем согласие или единодушие. Это реальное единство, воплощенное в одном лице*», – говорит о суверенной власти Гоббс) власть может утверждать свое верховенство.

Как именно власть олицетворяет «реальное единство» – посредством представительных процедур или символической репрезентации (ведь «представительствовать» может и наследственный монарх, держащий, по призыву Бодена, свой скипетр «только от Бога») – важный, но уже второй вопрос. На базовом же уровне мы можем зафиксировать, что верховенство предполагает публичное представительство, предполагает существование общества как персонифицированной, благодаря суверенитету, реальности. Т.е. идея суверенитета в данном прочтении предполагает идею субъектности общества.

Здесь мы снова обращаемся к тому, о чем уже говорили в начале. Восприятие общества как субъекта – т.е. в аспекте его способности к «самоучреждению» и «самозаконотворчеству», которая в концентрированном виде выражена именно в функции суверенитета – это не исти-

---

<sup>225</sup> Гоббс говорит о двух типах государств – «государствах основанных на установлении» и государствах, «основанных на приобретении». Казалось бы, в последнем случае, т.е. в случае раннефеодальных монархий, открыто ссылающихся на «право завоевания», об идее власти как представительства не может быть и речи. Однако в действительности иным здесь является лишь предмет представительства. Завоевания осуществляют не короли, а организованные сообщества воинов. И чем меньше времени прошло с момента завоевания, тем лучше это известно, и завоевателям, и завоеванным. Соответственно, подлинным хозяином «государств, основанных на приобретении», выступает некая более или менее широкая группа победителей, новая знать. Она и является тем «политическим телом», которое олицетворяет монарх в «государствах, основанных на приобретении».

на и не ложь, а «необходимый практический постулат». Это определенная «встроенная» в реальность политическая оптика, благодаря которой суверенная власть видится не как инстанция господства над обществом, а как инстанция, в лице которой общество само господствует над собою.

Такое общество, по своему понятию, является нацией. Особенно если учесть, что то социальное целое, которое явно или неявно подразумевается идеей верховной власти, не есть механическая совокупность всех живущих на планете человеческих существ, но некое качественное единство. Это единство на заре европейской истории воспринимается в категориях христианского универсализма, а затем, по мере того, как короли «похищают» верховенство у императоров и пап, – в категориях «методологического национализма» (т.е. априорного членения человечества на автономно самоопределяющиеся «общества»)

Таким образом, в идее верховной власти, даже если изначально она провозглашается от имени монарха (и особенно, если она провозглашается вопреки верховенству папы или императора), уже заложена идея суверенитета нации. Таков логический предел боденовской идеи суверенитета, к которому она не может не эволюционировать – теоретически и исторически.

Теперь проследим, каковы импликации альтернативной идеи – идеи суверенитета как собственности.

Прежде всего, собственник отнесен к своему владению как субъект к предметному миру. Грань между ними непреодолима, они принадлежат различным «рангам бытия». Соответственно, тематизация суверенитета как собственности предполагает такую политическую оптику, в которой «подвластное» общество не «субъективируется», а, напротив, «объективируется», превращается в «вещь». Этот слой метафоры лежит на поверхности.

При ближайшем рассмотрении, можно отметить, что «собственническая» власть не только гетерономна (по отношению к обществу), но и априори зависима (от внешних инстанций признания).

В понятии собственности заключено, что право, которым она обеспечена, носит внешний по отношению к ней характер. Это очевидным образом противоречит самоучредительной претензии классической идеи суверенитета (право, удостоверяющее всякий акт суверенитета, коренится в нем самом).

Разумеется, подобное противоречие не является аргументом против позиции автора, поскольку классическая идея суверенитета с ее мета-

физикой «самоучреждения» – это как раз то, что им отвергается. Но оно весьма важно в плане своих практических следствий.

Важнейшее правовое различие, которое делает возможным классическая идея суверенитета, есть различие между собственностью и юрисдикцией. Между непосредственным владением и тем (суверенным) пространством, внутри которого оно признано и конституировано как право. Если же сам суверенитет вдруг оказывается низведен на уровень особого рода собственности, то его прежнее место, место суверенитета-юрисдикции, занимают – некие инстанции международного порядка.

Разумеется, внешнее признание важно для государства, вне зависимости от того, как мы истолкуем его суверенитет. Но в рамках данного толкования международные структуры становятся инстанцией высшей юрисдикции, и их признание приобретает, для суверенитета государств, правообразующую силу<sup>226</sup>.

Автор много говорит о диалектике факта и признания, подчеркивая, что реальный суверенитет может создаваться и посредством конвертации «факта» в «признание», и «признания» – в «факт». Между тем, власти, основанной только на «факте», вообще не существует. На

---

<sup>226</sup> Именно с этим связано то принципиальное значение, которое придается в статье – концепции «геополитических структур признания», которую, в представленном виде, можно было бы назвать также концепцией *распределенного суверенитета*. В том смысле, что иной формы существования суверенитета, кроме распределенной, она не предполагает. Если в классической модели суверенитета функция конечной инстанции права (в широком, не только формальном смысле) и функция непосредственного контроля над пространством были необходимым образом сведены воедино: <http://www.apn.ru/publications/article20177.htm>, то здесь они заведомо разнесены по разным этажам. Носителем полноты суверенитета в прежнем смысле слова оказывается лишь международная система в целом, отдельные же государства характеризуются лишь разной мерой зависимости.

Автор вполне откровенно демонстрирует следствия своей модели, когда говорит о марионеточных режимах («...я не считаю, будто в случае назначения пользователей по решению мировых авторитетов местному суверенитету сразу приходит конец. Это совсем неочевидно») или когда рассматривает в качестве разновидности «геополитической структуры признания» – федерацию («через проблематику структур признания суверенитеты членов федерации входят в мировой спектр суверенитетов как предметов политологического обсуждения»).

Таким образом, качественное различие между национальным государством и вассальным княжеством или между федерацией и ее членами – упраздняется. Остаются лишь разные градации в рамках международных систем взаимозависимости. Пожалуй, это еще одно свидетельство того, что автор решает проблему суверенитета по образцу Ганса Кельзена – через ее упразднение.

«факте» основывается только силовое преобладание (и как таковое оно всегда ситуативно). Власть же есть признанное полномочие (основанное на силовом потенциале, но не сводимое к нему). Тем более – государственная власть. Поэтому разграничение здесь уместнее проводить не между «фактом» и «признанием», а между внутренним признанием – и внешним. Правообразующее значение для отношений власти может быть приписано либо первому, либо второму.

Причем не в зависимости от «обстоятельств», а в зависимости от того, как участники и наблюдатели этих «обстоятельств» будут мыслить природу властных отношений.

Если государственная власть есть форма верховенства, то ее суверенитет «всего лишь» *признается* внешним миром (как «имманентно присутствующий» данному сообществу), если же она определена как некий род собственности, то ее суверенитет *учреждается* признанием (и в каждый момент остается – нисходящим извне).

Мне могут возразить, что разница между этими случаями не так уж велика. Что, больше того, само классическое понятие суверенитета (как верховенства) несвободно от определяющей роли внешнего признания.

В самом деле, если власть истолкована как верховенство, то ее претензия представлять общество как целое опирается в то, признано ли само это общество – легитимным пространством представительства, привилегированным носителем «общей воли». Т.е. признано ли оно *нацией, народом*. И разрешение этого вопроса вновь «размывает» суверенитет, делает его заложником определяющего суждения «внешних сил»<sup>227</sup>.

На это я могу ответить, пожалуй, лишь одно: право *быть народом* и считаться таковым – завоевывается. В основном, с помощью войн и революций, непосредственно манифестирующих пространство общей воли, а также с помощью специальных дискурсов, которые воссоздают пространство общей воли опосредованно, но суггестивно, в том числе, на материале войн и революций прошлого.

Несомненно, признание со стороны *другого* служит мерой успеха подобных практик, но в случае, если успех действительно достигнут, «учредительным актом» суверенитета служит не внешнее признание как таковое, а само *завоевание*, посредством которого оно добыто и обеспечено. В этом заключен парадокс: нация не может не вести борь-

---

<sup>227</sup> За указание на этот весомый аргумент я признателен Борису Межуеву.

бу за признание и, вместе с тем, не может мыслить себя иначе, чем самоучрежденной. В пределе, нация добивается внешнего признания лишь затем, чтобы объявить его несущественным.

Если это кажется вам неправдоподобным, сошлюсь на слова Наполеона, произнесенные перед заключением Кампоформийского мира: *«Французская Республика так же не нуждается в признании, как не нуждается в нем солнце»*. В этих словах – по мнению Гегеля, который приводит их в «Философии права» – *«заключается не что иное, как именно сила существования, в которой уже заключено признание без того, чтобы оно было высказано»*.

Но разве тем самым в круг проблем суверенитета не возвращается диалектика факта и признания, которую несколькими абзацами выше я пытался оспорить? Соглашусь, возвращается. Но в несколько ином обличье. Та неустранимая зависимость от *«внешнего»*, которая *«спрятана»* в идее суверенитета, предстает здесь не как зависимость от *«других»*, а как зависимость от самой действительности, как историчность. *Народ* в своем притязании быть таковым подлежит не суду международных арбитров, каковы бы они ни были, а *«суду истории»*<sup>228</sup>.

Важно учитывать, что право *«быть народом»* отстаивается и оспаривается на этом суде не только для каждого народа в отдельности, но и в общем виде, как идеологический принцип (что, несомненно, делает национальные суверенитеты взаимно сопряженными).

Казалось бы, исход этого суда на заре современности уже был решен. Тогда не только в революционных, но и в монархических системах национальная, публично-представительная модель власти взяла верх над вотчинной. Само понятие суверенитета стало в этой борьбе орудием демонтажа феодальной философии власти. Но сегодня, судя по всему, прежний спор снова оказывается открытым. И вводя в оборот криптофеодальную идею суверенитета как собственности, Вадим Леонидович волей-неволей делает определенный ход в одной из тех игр суверенитета, о которых он ведет речь<sup>229</sup>.

---

<sup>228</sup> Остается лишь пожелать нам не увидеть те времена, когда одно будет неотличимо от другого.

<sup>229</sup> Другое возражение, которое стоит рассмотреть здесь же, состоит в том, что в своих рассуждениях о логике суверенитета как собственности я несколько искажил позицию автора, который говорит не просто о «собственности», а о «политической собственности». Однако специфически *политическое* качество властной «собственности» в статье никак не тематизировано. И я рискну утверждать, что в данном контексте оно вряд ли могло быть тематизировано.

Если мы снова возьмем за отправную точку емкую формулировку о природе внут-

## АНАЦИОНАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ

Здесь, наконец, мы подошли к тому, что кажется действительно важным. До сих пор речь шла в основном о теории суверенитета и методологических проблемах ее критики. Конечно, «методологическую выдержанность» я ценю не так низко, как уже упомянутый персонаж статьи («политик», не ставящий ее в «ломаный грош»), но все же и не настолько высоко, чтобы методологические разногласия могли побудить меня к полемике с классиком русской общественной мысли.

Мой настоящий мотив в этой дискуссии является политическим, и, после произведенных «теоретизаций», я могу его обозначить.

Концепция суверенитета, развиваемая Вадимом Цымбурским, является на редкость внятной и удобной для нужд государственной жизни (а также для нужд описания оной). Проблема в том, что она является – анациональной.

Причем сразу в двух смыслах. Во-первых, в смысле утраты определяющей взаимосвязи власти и народа во «внутренней» конструкции суверенитета. Во-вторых, в смысле утраты определяющего различия между зависимостью и независимостью государственной власти в его «внешней» конструкции.

Обе эти «утраты», насколько я могу судить, в том числе из выводов самой статьи, являются не проекцией политических предпочтений автора, как это обычно бывает в подобных вопросах, а его вполне наме-

---

ренного суверенитета: *«суверенитет – это просто идея власти как чьей-то политической собственности»*, – то в этой формулировке дополнение «политическая» либо ничего не прибавляет к определению «собственность», либо полностью его нейтрализует. Ничего не прибавляет – в том случае, если под политическим мы будем понимать просто нечто относимое к государству и властным отношениям в нем. Полностью нейтрализует – в том случае, если под политикой мы будем понимать тот специфически современный способ воспроизводства власти, который связан с публичной репрезентацией и публичным размежеванием.

В этом узком значении политика, по удачному выражению Ю.М.Солозובה, представляет собой *форму отношений людей по поводу общественного целого* (именно явная или скрытая референция к целому придает общественным коммуникациям и институтам *публичный* характер). Собственность, думаю, мы без натяжки можем охарактеризовать как *форму отношений между людьми по поводу вещей*.

Что есть, в таком случае, *политическая собственность*? Утверждение того, что «общественное целое» есть «вещь»? Или просто указание на некую вещь, которая принадлежит общественному целому? В последнем случае, удобнее сказать «публичная собственность». Это словосочетание вполне понятно, но суверенитет не может быть определен как публичная собственность, поскольку, скорее, публичная собственность есть собственность суверена.



ренной жертвой «геополитическому реализму». Следствием того стремления переформировать «нормативное» понятие суверенитета в «позитивное», о котором мы говорили в начале.

Больше того, это стремление приводит автора к определенному внутреннему противоречию. То, что утверждается им теоретически («суверенитет есть не что иное, как политическая собственность») прямо противоположно тому, что утверждается им политически, в завершающей части статьи, где он говорит о столкновении между «*политическим классом городов... и так называемой фрондой (по Шпенглеру), элитными группами, пытающимися перехватить становящееся «общенациональное» государство, переработать его в инструмент узкословного властвования.*

Ситуация, к которой отсылает нас автор, понятна и узнаваема. Понятен и его выбор в этом конфликте: обуздание «фронды», «оформление городского политического класса» (как правообладателя государства), «превращение его — говоря языком марксистов — из «класса в себе» в «класс для себя» («Городская революция и будущее идеологий в России»). Непонятно лишь то, как сочетается этот выбор с концепцией суверенитета как политической собственности.

Ведь все дело именно в том, что если суверенитет есть «собственность», то государство может принадлежать только неофеодальной олигархии — на условиях ее признания и легитимации «международным сообществом».

Национальному большинству оно может принадлежать только в том случае, если суверенитет понят и осуществлен в качестве верховной, публичной, представительствующей власти.

Таким образом, риску спросить, не попадает ли автор в ту ловушку противоречия между «теорией» и «практикой», которую сам же создал, начав делить философию суверенитета надвое (на безжизненно-теоретическую и позитивно-практическую часть)?

Аналогичным образом дело обстоит с другой актуальной коллизией. Коллизией узурпации суверенитета его фактическими пользователями, которая описывается в статье с помощью известного термина Андрея Фурсова — «кратократия»: «*власть имущих власть*»... «*просто в силу того, что в некоторый решающий момент около нее оказались*». Характеристика вполне исчерпывающая применительно к постсоветским режимам, которые, по определению автора, «*представляют собой присвоение собственности идеального суверена пользователем*».

Способность диагностировать присвоение государства правящей группой, на мой взгляд, критически важна для политической теории сегодняшнего дня. Но здесь, увы, этот политический диагноз ставится не благодаря, а вопреки теоретическому аппарату.

Проследим еще раз сделанные ходы. Автор определяет суверенитет как политическую собственность. Берет за отправную точку феодальную монархию, где личная собственность монарха на землю и прикрепленных к ней людей носит незамутненный характер. Затем – прослеживает переход этой собственности из рук монарха в руки народа и – уже в рамках модели народного суверенитета – проводит различие между «собственником» суверенитета и его «пользователями».

Таким образом, народ, в его отношении к государству, мыслится по аналогии с феодальным монархом – как новый собственник, пришедший на смену старому. Но эта аналогия оказывается уязвима в самом главном: «народу» в ней как раз и не оказывается места. Политическая категория «народ» оформляется в полемике с феодальным принципом власти – посредством истолкования власти как представительства. В политической идее народа – как самоучреждающегося, самозаконотворительствующего, властвующего над собой общества – содержится радикальное отрицание идеи гетерономного господства, идеи власти как собственности.

Соответственно, если уж мы говорим о моменте перехода суверенитета (от феодального монарха к народу), то мы должны признать, что само его качество при этом радикально меняется. Возникает не просто новый суверен. Возникает новый суверенитет.

Возвращаясь к уже сделанному различению, этот суверенитет можно назвать «внутренним». В отличие от внешнего суверенитета, который, по замечанию Цымбурского, есть *«политическая универсалия, хотя и открытая Новым временем, но применимая к самым разным временам и государствам»*, внутренний суверенитет специфически современен.

«В прежней *феодальной монархии* государство было суверенно во вне, но внутри не только монарх, но и государство не было суверенно», поскольку «...особенные функции и власти государства... были частной собственностью отдельных индивидов», – говорит Гегель (С. 317). Примечательно, кстати, что, вопреки традиционалистским критикам модерна, именно современному, а не традиционному государству он приписывает свойство *органичности*, благодаря которому власть отдельных лиц или институтов выступает не как «нечто независимое,

самостоятельное в своих целях и способах действия», а как функция общественного целого.

Искатели «позитивного знания» не замедлят уличить эту позицию в идеализме. Что ж, пусть будет так. И кстати, сам Гегель с неожиданной прямоотой признается в этом, говоря о некоем жизненно необходимом «*идеализме, составляющем суверенитет*» (С. 318). Но бывают моменты, — прибавляет он, — когда «идеализм суверенитета достигает присущей ему действительности» (Там же). Это моменты мобилизации для ответа на внутренние или внешние вызовы. Моменты *диктатуры целостности*. И здесь сложно не заметить паса другому немцу, который спустя сто лет напишет о «решающей роли критического случая».

Кроме того, «идеализм» суверенитета, о котором говорит Гегель, обретает непосредственную действительность не только в моменты войн или революций, не только на пиках истории, но и на ее больших отрезках. В начале статьи мы уже говорили об этом: идея суверенитета обретает плоть в структурах современного общества, в институтах национального государства. Да, оно строилось «железом и кровью». Но весь бисмарковский реализм политики не стоил бы ничего без гегелевского идеализма суверенитета.

«Русский журнал», 2012 г.

**АНДРЕЙ ОКАРА**

**«ОСТРОВ РОССИЯ»: ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ СКАЗАНИЕ О ГРАДЕ  
КИТЕЖЕ**

На днях случилось совсем печальное: скончался Вадим Цымбурский.

Все эти годы хотелось верить в чудо и надеяться на Провидение.

Масштаб потери пока ясен только для тех, кто лично знал Цымбурского или был начитан в его текстах.

Вероятно, через некоторое время фигура Цымбурского будет осмыслена не только в российском, но и в мировом контексте — его назовут одним из ведущих мировых интеллектуалов начала XXI века.

Мне лично довелось знать Вадима Леонидовича с 1999 года и прежде всего как геополитического и геоэкономического мыслителя — нас познакомил известный географ Дмитрий Замятин. Это был интересный период — на издохе ельцинизма, в предощущении чего-то неведомого, и интереснейший круг людей, обретавшихся в окрестностях журнала «Полис», — Ильин, Неклесса, Кочетов, Сергеев, Межуев и далее по списку.

В то время я еще делил интеллектуальное пространство на «своих», «чужих» и «травоядных интеллектуалов». Цымбурский заставил усомниться в адекватности такого деления — хотя бы потому, что ни к одной из этих групп причислить я его не смог. Цымбурский иронизировал над популярным в те годы и интересным мне представлением о Катехоне и говорил, что в раннем христианстве ничего подобного не было, что идея об отдалении Конца и Страшного Суда возникла позже — у Тертуллиана. И вообще его понимание географического — геополитики, геоэкономики и геокультуры — заставляло многих отойти от, казалось бы, железобетонных догм конца 1990-х — от того самого дуализма Моря и Суши. Вместе с тем, упоминания в его присутствии о либералах, шире — о современных политиках как таковых вызывали у него сначала иронию, позже — сарказм и желание жестоко поквитаться. До сих пор помню его реакцию на мою неловкую попытку сравнить Путина с Павлом I...

Мне тогда казалось (и кажется до сих пор), что *Цымбурский по мировоззрению и особенно по мироощущению был гностиком*. Именно потому он откровенно тяготился материальным измерением жизни — у него, кажется, не было даже компьютера, зато была ставшая теперь почти легендарной целая стая котов и кошек. Именно потому о своей болезни и о том, что он нее нельзя излечиться — можно лишь немного задержаться среди живущих, говорил иронично — без трагизма, страха и паники. Возможно, его самая известная концепция России-как-Острова — это именно мироощущение гностика, тяготящегося обилием, размерами и постоянным расползанием тварного мира и жаждущего скорее обрести своей небольшой участок Земли Обетованной и никого чужого туда не впускать.

Мне Вадим Цымбурский казался чуть ли не современным протопопом Аввакумом: интеллектуальным пророком автаркии России, которая в условиях глобального вызова и острого дефицита ресурсов из России-империи, России-континента должна сжаться до размеров России-острова, до Великороссии-как-таковой. Когда Цымбурский говорил публично, в какой-то момент его пафос и интонации становились настолько бескомпромиссными и нетолерантными, что я вспоминал именно о самых радикальных старообрядцах. Помню, кто-то либерально-благодушный году так в 2000-м в его присутствии сравнивал современный мир с Ноевым Ковчегом — мол, нам нечего делить, мы все — и Россия, и Запад, и Китай, и арабы — должны помочь друг другу спастись в этой лодке! На что Цымбурский злобно съязвил — мол, лодка слишком мала, места предусмотрены только для избранных. Поэтому народы и страны не то чтобы друг друга из лодки выталкивают, но еще и норовят веслом по голове приложить.

Мне как человеку с имперскими симпатиями, ощущающему связь с теоретиками империи еще из XVII–XVIII веков, было интересно говорить и думать об имперской миссии государства, о «всемирной отзывчивости», об универсалиях имперской идеологии. Цымбурский всегда обламывал мой восторженный пафос: не до имперского жиру — быть бы живу в национальном государстве в ситуации ограниченных возможностей и наличия мощной властной корпорации, активно пожирающей ресурсы.

В последнее время стало общим местом — мол, Цымбурский мог бы стать главным идеологом путинской России — концептуализатором изоляционизма и автаркии, но со Старой площади его вовремя разню-

хали и никуда не подпускали, не желая иметь неудобного и суперпродвинутого конкурента.

Да ничего подобного!

Кажется, именно он первым завел разговор о современной путинской России как о «государстве-корпорации» — он назвал ее «The Great Russia Utilizations Inc». *Цымбурский органически не мог стать духовным поводырем тех, кого он сам называл «корпорацией утилизаторов».*

Геополитические логики Цымбурского и идеологов путинского режима схожи лишь на первый взгляд — *принципиальным отказом от имперской универсальности*. Уже на второй между ними — бездна. Цымбурский — идеолог национального государства-автаркии — обломка империи. Власти России говорили о принципиально ином — об «энергетической сверхдержаве», о либеральной империи, о «суверенной демократии».

Цымбурскому нужна была Россия-как-Остров, пусть даже похожая на старообрядческую «гарь», «коллективному Путину» — была нужна Россия-как-корпорация, в котором власть и народ, несмотря на все заверения в обратном, — это жесточайшие антагонисты, между которыми ведется борьба — и даже не на жизнь.

По большому счету, ни при Ельцине, ни при Путине, ни при Медведеве имперские идеи в России востребованы не были: тот квазиимперский идеологический постмодернистский «суверенно-демократический» микс о «вставании с колен» последних лет основан на извращенном понимании величия государства. Имперскость — это прежде всего собственная ответственность перед Вечностью, а не желание «наказать» или «поставить на место» своих ближайших и дальних соседей. *Империя — это ощущение миссии, а не безнаказанности*. По крайней мере, именно так полагали еще киево-печерские авторы известного «Синописа» (1674), заразившие имперскостью своих северных соседей. Но в нынешней России грань между имперским универсализмом и шизо-шовинизмом или нефтегазовым этнонационализмом нередко стирается — и это, возможно, самое плохое, что есть в нынешней России.

С Цымбурским мы злобно стебались над подобными «имперцами» — его идеальный Остров, как у Маленького Принца, имел вполне четко очерченные границы — ни о каком расширении он даже и не мечтал — боялся потерять имеющееся. В общем-то, *его Остров-Россия был политологическим Сказанием о граде Китеже*.

Моя идеальная «империя» была идеократичной и основывалась на мощных эсхатологических ориентирах и технологиях «мягкой власти», но не на брутальности, поэтому ей было сложно найти путь к душам российского политсообщества и выжить в циничном мире государств-корпораций.

То, что после 1991 года Россия отказалась от имперской миссии, фактически отбросило ее в 1653 год — во времена до военного союза с Украиной и освоения Сибири. Мои с Цымбурским диалоги на эту тему (к прискорбию, спорадические и обрывчатые) — пожалуй, попадали в колею главного российского историсофского спора: между линией киево-печерского «Синописа», Никона и Алексея Михайловича, и, с другой стороны, линией Стоглавого собора, старообрядчества, возможно, Ивана Грозного. Линией яркой, эмоциональной, с заостренным ощущением связи между прошлым и будущим, но с провалом в настоящем.

Цымбурский родился во Львове, но своей родиной считал белорусский Могилев. Возможно, именно отсюда у него такое заостренное ощущение Балто-Черноморской темы, которая всегда была связана с Великим княжеством Литовским — прямым предшественником Беларуси. Сколько-то школьных лет прожил в Алчевске Луганской области — на одном из местных мезазаводов работала его мама. В Украине тех лет множество мировой литературной классики издавалось в хороших, иногда замечательных украинских переводах. Мировую классику (Гете, Данта, Гессе и других) Цымбурский мог огромными кусками цитировать по памяти по-украински — лично я таких людей не встречал даже среди украинских филологов.

Конечно, мне было крайне лестно узнать от Цымбурского, что он следит за моими писаниями. Для меня, как и для некоторых моих коллег, это была, возможно, самая высокая оценка.

В связи с завершением земной биографии Вадима Цымбурского необходимо добрым словом вспомнить трех человек.

Во-первых, Бориса Межуева, который стал идеологом издания и научным редактором единственной большой книги Цымбурского «Остров Россия»<sup>230</sup>.

Во-вторых, Станислава Белковского, который организационно осуществил этот книгоиздательский проект.

---

<sup>230</sup> Цымбурский В.Л. «Остров Россия». *Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006*. М., 2007.

В-третьих, Глеба Павловского, который финансово обеспечил дорогостоящее лечение, что, по словам самого Цымбурского, продлило его дни.

Вадим Цымбурский не был сторонником учения об апокатастасисе и не верил, что Господь в конце концов таки спасет всех без исключения грешников. А об Аде и Рае у него были весьма жесткие и радикальные представления. Когда-то он даже заметил, что Освенцим и ГУЛАГ в сравнении с Адом — это просто санатории.

Теперь он имеет высшее для ученого-гуманитария счастье — оценить истинную достоверность своих теорий, идеи и догадок...

*«Русский журнал», 14.04.2009*



## БОРИС МЕЖУЕВ ЦЫМБУРСКИЙ И ШПЕНГЛЕР

Я благодарен Андрею Окаре за то, что в отклике на смерть Вадима Леонидовича он вновь поставил вопрос о политических убеждениях покойного мыслителя. Вопрос этот мне отнюдь не кажется проходным или случайным. Более того. Вполне можно допустить, что в скором времени вокруг наследия недавно ушедшего от нас ученого разгорятся идейные бои. Цымбурский в нефилологических кругах приобрел известность в первую очередь как геополитик, как создатель оригинальной и явно нетипичной при всеобщей увлеченности евразийством в 1990-е годы концепции «Острова Россия».

*Сам выбор геополитики как сферы деятельности в ельцинские годы носил оттенок оппозиционности.* Прежде всего, это указывало на нереалистичность и определенную бесперспективность самой задачи, с какой, собственно, и начинался ельцинский режим, государственность радикально реформируемой России — обеспечить за счет сброса территорий окончательное «вхождение страны в Европу». Геополитика — не только евразийская, но и «островная» — как бы привязывала российскую власть и российскую элиту к конкретным географическим границам нашей страны, обращала внимание элит и властей на то очевидное обстоятельство, что *с распадом СССР Россия не приблизилась к Европе, но отдалилась от нее.*

«Остров Россия», одновременно с признанием этой новой России, являлся вызовом ее элите, не умевшей и не желавшей мыслить геополитически, но сверявшей собственные планы и проекты не столько с реалиями страны, которой эти элиты и были обязаны своей элитарностью, сколько с сиюминутными интересами. В ряде примыкающих к «Острову России» статей Цымбурский уже вполне четко ставит вопрос о «новой элите» страны, которая вполне спокойно могла бы принять, скажем, проект переноса столицы в Новосибирск — подальше от европейских рубежей, поближе к реальному географическому центру государства.

Цымбурскому отвечали, что в настоящее время цивилизационная идентичность не задается географией. Он парировал этот аргумент, объявляя тех, кто по роду деятельности и интересов выламывается из «географической идентичности», «выбросом России», «*антинациональным гражданским обществом*». Ему давали понять, что современная элита не ходит по «земле», но парит по «воздуху», что на смену геополитике приходит геэкономика, а она якобы транснациональна. В ответ он указывал на геополитические основания подлинной «экономики», и национально-цивилизационные основания подлинной «геополитики». В конечном итоге, геополитическая критика «новой элиты» приобретала, со стороны Цымбурского, все более заметную социальную направленность. Он брал под защиту человека глубинки, жителя маленького города, которого психологически, экономически да почти что и физически уничтожает открывшийся для глобальной информационной деревни и закрывшийся для своей собственной страны мегаполис.

Цымбурский стремился к тому, чтобы поддержать то самое движение, которое бы поставило во главу угла интересы глубинной городской России. Не России регионов, каждый из которых пытается самостоятельно, в отрыве от всей страны интегрироваться в глобальный мир, не России-Евразии, копящей силы перед новым имперским рывком на Запад, но России-острова, сознающей, с одной стороны, свою цивилизационную уникальность, и хранящей внутреннюю сплоченность, с другой.

## **ПРОБЛЕМА ПУТИНА**

Проблема состоит в том, что в путинские годы в системе «власть» и «оппозиция» несколько поменялись акценты.

С одной стороны, полноценной смены элит в стране не произошло. В Кремле находился преемник Бориса Ельцина (что для Цымбурского всегда было очень значимым моментом в его отношении конкретно к фигуре Путина<sup>231</sup>), управление внутренней политикой осуществляли люди, которые спасли бывшего президента от импичмента и вероятно суда. Более того, как в определенной мере справедливо подчеркива-

---

<sup>231</sup> «Уважение к иерархии! Да как бы ни симпатизировать В.В. Путину, можно ли забыть, что по происхождению своей власти он — назначенный преемник узурпатора, разгромившего существовавшее государство» [Цымбурский В.Л. *Геополитические и хронополитические работы. 1993-2006*. М., РОССПЭН, 2007, с. 173].

ет Окара, не слишком сильно изменилась и психология правящей элиты, особенно той ее части, что контролировала экспорт сырья в Европу.

Между тем, многое все-таки поменялось. *Поменялась прежде всего идеология режима.* Теперь как раз при власти находились люди, которые говорили о геополитическом и социальном единстве России, о ее уникальности и независимости, о необходимости противодействовать как вызовам извне, так и аппетитам «оффшорной аристократии». Внешняя политика Россия, хотя и не без проблем, но, в конце концов, сдвинулась в том направлении, которое настойчиво рекомендовал Цымбурский в статье «Геополитика для евразийской Атлантиды». Она вполне зримо эволюционировала в сторону холодного оборонительного союза России с другими континентальными центрами Евразии с целью общего контроля над лимитрофными территориями и противодействия закреплению на этих пространствах США и их союзников.

У геополитики Цымбурского и в путинские годы еще годы еще оставался «оппозиционный» потенциал, но, следует сказать со всей определенностью, он заметно слабел. В первую очередь по причине того, что теперь именно в оппозиционных гостиных толпились те интеллектуалы, которые не уставали твердить о том, что Россия как целостная индустриальная держава не имеет перспектив, что российский Остров оторвался от магистрального пути мировой цивилизации, и выход из тупика — исключительно на пути «возвращения в Европу», пускай даже ценой «сброса» новых территорий и опустошения глубинки. Было очевидно, что таких людей в оппозиции если не большинство, то именно они задают в ней тон, именно они произносят те слова, которые не решаются сказать их более осторожные соратники.

Я думаю, страшная болезнь и связанные с ней обстоятельства во многом избавили Вадима Леонидовича от мучительного выбора в пользу или против власти. Он позволил себе в самом конце жизни этот выбор просто не делать. Последнее, что я слышал из его уст о «путинщине» было следующее: *этот режим плох, все имеющиеся ему альтернативы в настоящее время еще хуже.* Я был вполне готов согласиться с этим выводом.

Однако этой констатацией нельзя ограничиться. Не видя конкретно политической альтернативы существующему положению вещей в России, Цымбурский безусловно задумывался об альтернативе исторической. Протестный потенциал не ушел из его теоретических размышлений. Не став оппозиционером, он, безусловно, не превратился и в

конформиста. Другое дело, что свои претензии к положению вещей в собственной стране он уже затруднялся высказывать на языке геополитики. Не случайно он все больше отдалялся от геополитической тематики (и даже так и не смог представить к защите докторской монографию «*Морфология российской геополитики*») и все больше сосредотачивался на размышлении о своем времени. На том, что он сам называл «*хронополитикой российской цивилизации*». Только в этой сфере он уже не претендовал на сугубую оригинальность, видя себя и свои труды скромным продолжением идей автора «Заката Европы», «великого Освальда», по определению самого Вадима Леонидовича.

Поэтому для того, чтобы четко представить себе политическое мировоззрение Цымбурского во всей его полноте, невозможно обойти стороной и увлечение автора «Острова России» творчеством немецкого философа.

### **ЗАГАДКА ВТОРОГО ТОМА**

Освальд Шпенглер – философ, в принципе не чуждый русской мысли. Последний сборник русской идеалистической философии в советские годы был посвящен именно историософии «Заката Европы». Принято считать, что знаменитый «философский пароход» 1922 года был во многом спровоцирован жесткой реакцией большевистских вождей на маленькую книгу «Освальд Шпенглер и закат Европы» с участием Степуна, Бердяева и Франка. В 1960-е московская интеллигенция зачитывалась статьей Сергея Аверинцева о Шпенглере в журнале «Вопросы литературы»<sup>232</sup> и его же язвительными комментариями к ДСП-шному переводу фрагментов второго тома шпенглеровского бестселлера, в которых почтенный византолог остроумно громил взгляды автора «Заката Европы» на христианство. Наконец, важным интеллектуальным событием конца перестройки стал выход первого тома «Заката Европы» в переводе Карена Свасьяна с его же фундаментальным предисловием к этой книге<sup>233</sup>.

Следует сказать, что *Цымбурскому было крайне антипатично то отношение к Шпенглеру, которое сложилось в кругах русской (да и не только русской) интеллигенции, от Бердяева до Свасьяна включитель-*

---

<sup>232</sup> Аверинцев С. «Морфология культуры» О. Шпенглера // «Вопросы литературы», 1968, №1.

<sup>233</sup> Свасьян К.А. *Освальд Шпенглер и его реквием по Западу* // Шпенглер О. *Закат Европы. Т. 1: Гештальт и действительность*. М.: Мысль, 1993.

но. Цымбурский был совершенно равнодушен к Шпенглеру — интеллектуальному художнику, мыслителю, оказавшемуся способным проникнуть в «душу» античной культуры и блестяще описать «судьбу» своей собственной западной, или как он говорил, фаустовской культуры. Его также не особенно волновал Шпенглер как политик, консервативный революционер, апологет «пруссачества» и «социализма», империалист и противник «желтой расы».

Следуя за Шпенглером в его выделении России как отдельной цивилизации, вырастающей в тени Запада, однако, развивающейся согласно своим внутренним ритмам, Цымбурский, тем не менее, постоянно спорил со своим любимым мыслителем по поводу характеристики этой цивилизации. Автор «Острова Россия» отказывался считать основным «гешталтом», образом или «прасимволом», России ненависть к «городу» и «городской культуре».

По Шпенглеру, русские — как якобы жители одной большой «сибирской равнины», увлеченные равнинным, лесостепным, размахом испытывают чувство глубокого отвращения к городу, занесенному в их равнины петровским вестернизационным проектом. Большевизм, согласно «Закату Европы», это и есть вырвавшаяся наружу ненависть равнинного человека к городу. А поскольку в городе, как подчеркивал Шпенглер, фактически и протекает мировая история, то русский большевизм, в его представлении, и Россия в целом представляли силами, враждебными истории и цивилизации как таковой. Весь этот комплекс воззрений немецкого философа на Россию был Цымбурскому глубоко чужд, и опровержению этих взглядов он посвятил немало места в своей книге 2007 года «Остров Россия»<sup>234</sup>. Согласно Цымбурскому, большевизм — это революция «городского человека» против отжившего аграрно-сословного уклада, и эта революция описывается ученым в шпенглеровских терминах (о чем позже).

Итак, ни одна из знакомых отечественному читателю ипостасей Шпенглера Цымбурскому не была особенно близка. Шпенглер привлекал его в первую очередь как автор оригинальной социологической концепции, как создатель теории развития обществ, альтернативной

---

<sup>234</sup> «<...> прасимволом оказывается не просто «бескрайняя равнина», а выделенный на ней, отмеченный локус, не отрицающей Великой Горизонтали и даже подчеркивающей ее, то тяготея расточиться в ее протяженности, то выпирая из нее, «торча над нею» и как бы с ней споря, то соединяясь с нею в систему и обретая в этой системе права господствующего средоточия» (Цымбурский В.Л. *Геополитические и хронополитические работы. 1993-2006*. М., РОССПЭН, 2007, с. 353].

как марксизму, так и либеральному эволюционизму. Проще говоря, его привлекал Шпенглер не первого, а второго тома своего исторического бестселлера. Цымбурский неоднократно говорил о том, что предпочитает второй том «Заката» первому, что в несколько запутанных (и, сразу признаемся, едва ли научных при самом широком понимании слова «наука») рассуждениях о «городе», «существовании и бодрствовании», «духе и деньгах» он видит основание полноценной теории социальной динамики. Именно этот несколько эзотерический и вообще мало кому интересный *Шпенглер второго тома* периодически возникал на страницах поздних статей Цымбурского. Именно на этого почти забытого Шпенглера философ постоянно ссылался в своих устных выступлениях, что, кстати, неизменно вызывало затруднения в их восприятии аудиторией, как правило, не осведомленной о содержании второго тома знаменитой работы.

Второй том Шпенглера, нелюбимый пасынок заслуженной славы первого тома, представляет собой во многом тот мир, в котором мыслил себя Вадим Цымбурский. На соответствие с предложенной Шпенглером схемой он пробовал различные эпизоды как древней, так и самой новейшей истории. И чтобы досконально разобраться во взгляде Цымбурского на политические события современности, невозможно избежать краткого анализа указанных Шпенглером *«всемирно-исторических перспектив»*. Напомню, именно так в переводе на русский звучит название второго тома «Заката Европы».

### **«ПАРТИЯ ЖИЗНИ» И «ПАРТИЯ ЦЕННОСТЕЙ»**

Два тома «Заката Европы» представляют собой два разных интеллектуальных романа, со своим особым прологом, со своими действующими лицами, своим сюжетом, но с одним конечным выводом.

Сюжет первого тома известен всем знатокам мировой философии: это роман о Западе, о «высокой культуре», не осознававшей до последнего момента своей истории собственного предназначения. Эта культура грезилась и продолжает грезить о том, что ее высшая цель – охватить с помощью науки и художественного творчества мир прошлого, воскресить античность, найти для своего вечно стремящегося куда-то вдаль духа отдохновение в гармоничном общественном устройстве. И только мысль последних великих представителей этой культуры открывает страшную истину – что гармония в жизни недостижима, что античность всегда была и будет чужда фаустовскому (чи-

тай германскому) уму Запада, что звездный час великой науки и великого искусства остался в прошлом и вернуть его невозможно. И тогда, отчасти при помощи самого Шпенглера, усталый духовно, но еще полный какой-то неизрасходованной энергетикой Запад вдруг осознает, в чем состояло его подлинное предназначение — в самоосуществлении «*воли к власти*», иными словами — в подавлении природы с помощью техники и мировом господстве.

Запад ошибался, видя бесконечно удаляющуюся цель своих фаустовских поисков в прошлом или в будущем, эта цель — в настоящем, в присущей Западу и уникальной по отношению ко всем иным «высоким культурам» способности (и желанию) удержать мировую власть. Поэтому Шпенглер после выхода первого тома в 1918 года вполне справедливо отбивался от обвинений в «пессимизме», какой же я пессимист — отвечал он, просто я считаю, что Западу уже не стоит ждать нового Гете, ему стоит готовиться к приходу нового Цезаря.

Новый Цезарь появляется и в финале второго тома «*Заката Европы*», однако его приход венчает рассказ о несколько других событиях. Прежде чем излагать последовательно эти события, нужно отметить некоторое противоречие в выводах каждого из двух томов. Всем известно, что в первом томе Шпенглер назвал античную культуру «*аполлонической*»: внутренним образом этой культуры, по мнению немецкого ученого, является восприятие в качестве эталона реальности очерченного конкретными параметрами геометрического тела. Отсюда — геометрия Эвклида, идеи-числа Пифагора-Платона, маленькие, отделенные от остальной страны города-государства по берегам Средиземноморья, любовь к скульптуре и т.д. Во втором томе душа античности как бы раздваивается: наряду с «аполлонической», гомеровской, культурой обнаруживается и другая, явно ей враждебная, «*орфическая*». Прекрасное тело вступает в противоборство с бессмертной душой, мысль о существовании которой в античности как то не очень предполагались концепцией первого тома.

Интеллектуальный роман второго тома начинается с постулирования внутри истории человеческого рода (а то и ранее этой истории), равно как в истории каждой из «высоких культур», двух душ, двух потенциально враждебных друг другу начал. Шпенглер дает им множество характеристик, которые иногда скорее уводят от понимания того, что он хочет сказать на самом деле. Он называет одну душу *растительной*, а другую — *животной*. Потом обнаруживается, что расти-

тельную душу отличает начало *существования*, тогда как животную – начало *бодрствования*. Одну выделяет тотем, другую – табу.

Вся эта схема становится понятной только, когда Шпенглер приступает к разговору о возникновении аграрных обществ. Тогда выясняется, что речь идет о некоем роде «пра-сословиях», сословии рыцарском и сословии духовном.

Рыцарское сословие есть сословие по своему истоку, как это не прозвучит странно, растительное. С растительным началом его связывает привязанность к земле, к месту своего происхождения, к тотему и роду. Задача этого сословия – голое *существование*, продолжение себя в потомстве, но, конечно, и «воля к власти». В своей последней статье о сборнике «Вехи» Цымбурский, примеряя схему Шпенглера на исторический путь России, очень точно, и прямо в духе столь любимого Шпенглером Ницше<sup>235</sup>, называет эту силу, это пра-сословие, «*партией жизни*». У этой рыцарской «партии» нет в мире никаких иных целей и задач, кроме укрепления своей власти и продолжения рода, продолжения жизни ради жизни. И именно этому, принципиально внеценностному началу суждено господствовать над остальным человечеством в течение всей долгой аграрной эпохи, вплоть до подъема городов и того момента, который Цымбурский загадочно обозначил понятием «городской революции».

Между тем, у «партии жизни» с самого начала человеческой истории обнаруживается загадочный конкурент – это сила сознания, *бодрствования*, не власти над жизнью, но отчуждения от нее, ее критики с точки зрения каких-то вне жизненных, отвлеченных от плоти и крови «ценностей». Цымбурский так и отчеканил в последней статье – «*партия ценностей*». Для Ницше вся эта ненавидимая им «партия ценностей» – исключительно продукт «революции рабов», тех, кто по вполне естественным причинам имел основание быть недовольным властью властвующих – то есть безраздельным господством «партии жизни». Говоря на языке почему-то столь популярной сегодня в политологических дискуссиях зоологии, по Ницше, *весь ценностный мир – исключительно продукт восстания бета-самцов против альфа-самцов*. Вос-

---

<sup>235</sup> «Та новая партия жизни, которая возьмёт в свои руки величайшую из всех задач – более высокое воспитание человечества и в том числе беспощадное уничтожение всего вырождающегося, и паразитического, сделает возможным на земле переизбыток жизни, из которого должно снова вырасти дионисическое состояние». Это цитата из Ницше, у Шпенглера, заметим, «дионисическое состояние» имеет отношение не столько к «партии жизни», сколько к противостоящей ей партии.



стания по несколько загадочным (и у Ницше так до конца и не проясненным) обстоятельствам увенчавшегося победой.

По Шпенглеру — все обстоит несколько сложнее. «Партия ценностей» — это не партия рабов, рабы, равно как и выпавшие из истории крестьяне в игре вообще не участвуют,<sup>236</sup> *«партия ценностей» — это скорее монашество и духовенство.* На средневековом Западе члены «партии ценностей» уходили в монашеские ордена, в древней Греции они выступали в «орфические», а затем «пифагорейские» братства. А в мире ислама именно представители этого пра-сословия в конечном итоге и породили из своей среды пророка Мухаммеда.

В отличие от тех идей, которые развивали на Западе последователи Юлиуса Эвола, а у нас, пожалуй, Гейдар Джемаль, Шпенглер отнюдь не считал «партию жизни» исключительно воинами, а «партию ценностей» — жрецами-созерцателями, уклоняющимися от деятельной жизни и воинской повинности. Смысл — не в этом. Представителями этой второй партии являются, по Шпенглеру, Мухаммед и Кромвель — уж воины из воинов. «Партия ценностей» отказывается не от войны, но от признания «жизни как жизни», вне обязательной сцепки с цементирующими реальность, но и ограничивающими, табуирующими ее моральными и религиозными ценностями. «Партия ценностей» — отнюдь не бета-самцы, но враждебная «жизни просто как жизни» контрэлита — контрэлита, до поры до времени уединенная в монастырях и соборах и напряженно ждущая своего часа X.

## ГОСУДАРСТВО ПОСЛЕ ГОРОДСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Этот час X и есть *«городская революция»*. В этот момент происходит нечто такое, что выводит «партию ценностей» из уединения, ее представители порывают со своим «сословным» заточением, затем в течение очень короткого времени они вырывают лидерство у уже выродившейся к этому времени «партии жизни» и перестраивают все общество под себя.

---

<sup>236</sup> «Великой заслугой Ницше, — пишет Шпенглер, — навсегда останется то, что он первым признал двойственной сущность всякой морали. Своими понятиями «мораль господ» и «мораль рабов» он неверно обозначил факты и слишком однозначно отнес к последней «христианство как таковое», но что явственно и заостренно лежит в основе всех его усмотрений, так это: хороший и плохой — аристократические различия, благой и злой — священнические» (Шпенглер О. *Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Том второй.* Перевод И.И. Маханькова. М., 2004).

Во втором томе «Заката Европы» эта знаменательная минута истории цивилизаций обозначена как *эпоха Пифагора, Мухаммеда, Кромвеля* (Цымбурский считал необходимым прибавить — и *Ленина*). Это эпоха, когда дух, точнее люди, выступающие от имени идей и ценностей, отказываются от пассивного неучастия в жизни и силой вырывают власть у тех, кто полагает господство своей наследственной привилегией. Пифагорейцы уничтожают «утопающий в роскоши» Сибарис, ведомые Мухаммедом арабы побеждают курейшитскую знать Мекки, пуритане Кромвеля после победы над кавалерами устанавливают на «гуманном Альбионе» «республику святых».

Цымбурский доказывал вопреки Шпенглеру, что большевизм представляет собой аналогичное явление — религиозный переворот «партии ценностей» против вырождающейся аристократической «партии жизни». Любопытно, что уже в неоднократно цитируемой мной последней статье покойного философа о «Вехах» осторожно подчеркивается происхождение нигилистов из провинциального духовенства. В беседе, на основе которой была создана эта статья, одобренная автором, Цымбурский более настойчиво отмечал приоритетную роль выходцев из духовного сословия при формировании русской «партии ценностей». Низы и даже верхи дворянства были захвачены протестной энергией, которой были преисполнены увлекшиеся политической борьбой выпускники церковно-приходских школ. Духовное происхождение Чернышевского, Добролюбова, Благосветлова, через поколение, и Владимира Соловьева подтверждало шпенглеровскую идею о том, что изначально вызов привилегированному рыцарскому сословию бросают выходцы из сословия духовного: бывший монах Лютер, попович Чернышевский и т.д.

Очень важно зафиксировать этот момент «городской революции» именно в понимании Шпенглера — революция горожан, *Реформация в расширительной терминологии русского мыслителя*, — это вообще *первый и последний момент в истории «высокой культуры», когда «партия ценностей» действует на сцене истории открыто и самостоятельно*. С подъемом городов это положение заканчивается — оба сословия оттесняются от политической жизни национальным государством, в котором начинают доминировать две буржуазные партии — партия денег и партия духа. Обе партии во многом отщепляются от двух конкурирующих сословий: *деньги* — новый, городской, символ той же самой «воли к власти», *дух*, в смысле «городская интеллигенция», представляет собой обмирщенное, секуляризированное духовенство. Сословия

сопротивляются — и это сопротивление закреплено в историософии второго тома термином «*фронда*» (его довольно часто использовал Цымбурский при характеристике либеральной оппозиции путинскому режиму<sup>237</sup>). Между тем, социальная мясорубка города берет свое — и в конце концов, в ходе той или иной комбинации, сословия отступают на задний план. Иногда им удается одержать временную победу (и такой победой Шпенглер считает английскую буржуазную революцию XVII века) — в этом случае они позволяют обществу удерживать форму, которая безнадежно рушится в ситуации бескомпромиссного торжества третьего сословия — оппозиционного любой политической форме как таковой.

И все же, по Шпенглеру, все пути буржуазного (в широком смысле — вслед за выдающимся немецким антиковедом Эдуардом Мейером Шпенглер, вопреки Веберу и Марксу, усматривал признаки капитализма в хозяйственной жизни Римской республики рубежа тысячелетий) общества приводят к одному исходу — *тотальной власти денег*. Деньги порабощают государство, безнадежно коррумпируют парламентаризм, свободную прессу, они ставят себе на службу интеллигенцию. И либерализм, и враждебный ему социализм начинают просто работать на биржу, банки и их интересы. «С помощью денег демократия, — пишет Шпенглер, — уничтожает саму себя — после того, как деньги уничтожили дух».

Немецкий философ отнюдь не преисполнен, кстати, какого-то обличительного пафоса в отношении «власти денег», если кто и вызывает у него сочувствие, так это русские, якобы страстно ненавидящие «Мамону» и потому фатально не приспособленные к капиталистической цивилизации. Всякие социалистические попытки ограничить власть капитала выглядят для Шпенглера практически столь же несостоятельными, как и моралистические инвективы стоицизма в адрес развращенного римского общества. И вот тут Шпенглер делает свой финальный ход: «именно *вследствие* того, что рассеялись все грезы

---

<sup>237</sup> «Здесь возникает закономерный вопрос: почему либералы так ненавидят Путина? Отвечаю: *по той же причине, по которой феодальная фронда фрондировала против королевской власти*. Как писал в свое время Энгельс, королевская власть защищала феодалов от крестьян и друг от друга, чтобы они друг друга не перерезали, и феодалам это крайне не нравилось. Они бунтовали. Но власть довела дело до конца: кому-то отсекала голову, кого-то посадила и обеспечила контроль феодальной верхушки над жизнью европейских абсолютистских государств на протяжении двух столетий. Путин делает то же самое для квазифеодальной верхушки, рожденной в хаосе 90-х.» (выделение мое — Б.М.).

насчет какой бы то ни было возможности улучшения действительности с помощью идей какого-нибудь Зенона или Маркса и люди учились-таки тому, что в сфере действительности одна воля к власти может быть ниспровергнута *лишь другой такой же* <...> в конце концов пробуждается глубокая страсть ко всему, то еще живет старинной, благородной традицией. *Капиталистическая экономика опротивела всем до отвращения*. Возникает надежда на спасение, которое придет *откуда-то со стороны*, упование, связываемое с тоном чести и рыцарственности, внутреннего аристократизма, самоотверженности и долга» (выделение мое — Б.М.).

Судьба «высокой культуры» достигает своего решающего часа. *Тотальная дискредитация элиты денег открывает путь последнему властелину культуры*, а случае приоткрывшейся к захвату всего мира фаустовской цивилизации — властелину всего человечества, который, попирая дух, закон и справедливость, утвердит одну последнюю и верховную истину, которая уготована природой человечеству — *безграничную «волю к власти»*. «Партия жизни» вновь поднимается на подмостки истории и завершает своим неожиданным появлением затянувшийся спектакль.

## **ИСТОРИЯ СБРАСЫВАЕТ МАСКИ**

Не правда ли, финальные пассажи «Заката Европы», написанные в преддверии кризиса капитализма начала 1930-х, звучат еще более актуально сегодня. Когда, с одной стороны, всем и в самом деле «опротивела капиталистическая экономика», а с другой — действительно «рассеялись грезы о возможности улучшить действительность» с помощью Маркса. И, судя по всему, выход из тупика будет обнаружен именно в том направлении, в каком указывал Шпенглер — в утверждении или, скажем осторожнее, попытке утверждения в ситуации экономического хаоса некой новой глобальной власти, власти тех сил, которые волю к власти сохранили. Таковых сил в настоящее время немного, но было бы ошибкой признать, что их нет совсем — и нельзя исключать, что эти силы представляют собой в том числе и разнообразные осколки аристократических домов Европы, которые еще вполне могут возвести на «трон» какого-нибудь «глобального императора». Впрочем, мы здесь вступаем в область своего рода «эсхатологической конспирологии», не чуждой самому Цымбурскому, но на данном этапе

изложения уводящей нас в сторону. Останемся пока в сфере философии истории.

И вот теперь нам нужно оговорить одно очень важное обстоятельство, касающееся конкретно Шпенглера. Автор «Заката Европы», как и почитаемый им Ницше, был *«философом жизни»*. Сейчас нет смысла прилагать академическую справку о том, чем была эта философия, тем более эта справка не очень-то много нам и даст для осознания чудовищности того вывода, к которому приходит автор «Заката Европы». Дело в том, что эта самая «философия жизни» — во многом представляла собой бунт разума, совести, интеллекта против самих себя. Германские «философы жизни» провозгласили, что истина, справедливость, благо: все это в лучшем случае побочные последствия витальных выплесков. А в худшем — вообще помехи для ее нормального цветения жизни. Понятие «жизнь» не надо понимать слишком романтически, жизнь в понимании «философов жизни» — это когда сильное животное поедает слабое, и этому естественному процессу в человеческом обществе препятствуют неизвестно откуда взявшиеся мораль и справедливость. Вывод «философии жизни» в ее наиболее радикальной, ницшеанской, версии известен — пусть идут к черту истина и добро, и пусть сильный насладится поеданием слабого. Да не истощится на Земле великая «воля к власти»!

Осторожный Шпенглер на самом деле хочет ровно того же самого — окончательного торжества в истории «партии жизни» без всяких поползновений более низких по отношению к голому *существованию* начал — то есть истины, морали и справедливости — оспорить его доминирование. «Всемирная история — это всемирный суд: — читаем мы в финале второго тома «Заката Европы» — *она всегда принимала сторону более сильной, более полной, более уверенной в себе жизни; «принимала сторону»* в том смысле, что давала ей право на существование вне зависимости от того, была ли та права с точки зрения бодрствования, и *она всегда приносила истину и справедливость в жертву силе и расе*, приговаривала к смерти тех людей и те народы, которым истина была важнее деяний, а справедливость важнее власти. <...> *Яркое, богатое образами бодрствование снова уходит вглубь, становясь на безмолвную службу существованию»*. Оторванная от народной почвы космополитическая интеллигенция, эти выродившиеся в веках наследники Пифагора и Кромвеля, Мухаммеда и, вероятно, Ленина в уже предрешенном финале истории безмолвно сгибают свою выю перед новым

Цезарем, легко принимающим безграничную власть над миром просто потому, что он желает властвовать.

Шпенглеру, как мы говорили, хватает такта в отличие от Ницше не унижать поверженный дух, не подвергать его публичному осмеянию — но такт немецкого историка не должен вводит читателя в заблуждение. Именно «городская революция», восстание ценностей против жизни, согласно схеме второго тома, представляет собой историческое грехопадение. И, вероятно, искупление этого грехопадения будет составлять смысл бесконечно долгого периода постистории, который наступит после того, как новый цезаризм сломает хребет коррумпированной деньгами республике. «Бодрствование» будет поставлено на службу «существованию», «ценности» посрамлены перед новым и окончательным торжеством «жизни» и власти.

Допустим, что Шпенглеру удалось выявить и описать подлинные «всемирно-исторические перспективы» — сегодняшний коллапс мировой экономики и, как следствие, мировой политики, позволяет согласиться с тем, что человечество рано или поздно свернет к чему-то подобному. И все же, наверное, не будет большой натяжкой считать, что в мире существует немало людей, по самым разнообразным причинам относящих себя скорее к «партии ценностей», чем к «партии жизни». *Людей, не готовых «склонить выю» перед силой просто за то, что она сила.* И эта неготовность обусловлена самыми различными моральными, психологическими, наконец, религиозными мотивами. Существует ли для этих людей в исторической схеме Шпенглера хоть какая-то мельчайшая, слабая надежда если не на победу, то на сохранение чувства собственного достоинства?

Да, и эта надежда может быть связана только с Россией...

## **ВЛАСТЬ, ОСВОБОДИВШАЯСЯ ОТ СОВЕСТИ**

Прежде чем продвигаться в нашем интеллектуальном расследовании дальше, нужно сделать ряд оговорок. Последние строки предшествующей части могли создать несколько ложное ощущение, что Цымбурский мыслил триумф «партии жизни» исключительно как некое внешнее обстоятельство, к России непосредственным образом не относящееся. На самом деле, конечно, прийти к мысли о существовании обеих «партий» философу помогли исключительно российские реалии, а именно — положение интеллектуала в обществе в постсоветское время. Проблема заключалась даже не в падении статуса академического

работника в экономическом, так сказать, аспекте его существования, хотя лично для Цымбурского данное падение имело весьма ощутимые последствия. Жесткость всей ситуации определялась полным нежеланием ельцинской власти и окормляемой ею элиты хоть как-то ценностно самоопределяться по отношению к не попавшему в элиту населению.

Либеральная элита говорила следующее — победивший, урвавший кусок пирога прав лишь потому, что он более силен, более жизнеспособен, более приспособлен к ситуации реального мира (под «реальным миром» понимался, естественно, «дикий рынок»). Если интеллигент начинал выдвигать к элите какие-то ценностные претензии, то он автоматически зачислялся в разряд лузеров, неудачников, тех, кто по самым различным качествам не вышел в победители. В общем, эта идеология бодро шествовала по России всю ельцинскую, а затем всю раннепутинскую эпоху, пока она не нарвалась на стихийный бунт «неудачников», пенсионеров, недовольных монетизацией их льгот. Сразу после этого победители стали несколько стесняться своих побед.

Цымбурский с помощью Шпенглера сумел увидеть в нашей доморощенной философии «жизни» нечто большее, чем заурядную спесь «ловцов удачи» на поле рыночного беспредела — а именно некую *внятно сформулированную претензию «власти» и «господства» сбросить себя обручи сковывающих их ценностей* — причем ценностей самых разных: либеральных, социалистических, наконец, национальных. Не случайно, в то самое время, когда богатство и власть уверенно заявляли о своих правах, интеллектуалы стали рассуждать о конце Нового времени, о совершившемся в мире переходе к постмодерну, короче, о том, что «новой жизни» давно пора забыть о «старых ценностях», а поскольку ценностей «новых», постмодернистских еще не придумано, то следует позабыть и об идеальном мире как таковом. И, по видимому, вспомнить о завете Телемской обители: *«все позволено»*.

Второе уточнение. Может создаться ошибочное впечатление, что партия «ценностей» — это некий крипто-либерализм, тогда как партия «жизни», как раз напротив, нечто авторитарное или даже тоталитарное. А может сложиться и обратное мнение. Но на самом деле, речь идет о гораздо более глубокой для цивилизационной эволюции развилке, чем вопрос о либерализме и его конкурентах. Ни Кромвель, ни Мухаммед, ни тем более Ленин не устанавливали демократии, Цымбурский и сам был менее всего озабочен либерализацией России. С его точки зрения, либерализм, равно как и консерватизм, — своего рода

верхушечные идеологии, и то положительное, и то отрицательное, что они могут с собой принести, обусловлены цивилизационной ситуацией, в какой они появляются. Если либерализм торжествует вслед за «городской революцией», он подчеркивает право каждого человека, каждого гражданина судить власть, проверять ее на совместимость с теми ценностями, которые данное сообщество считает приоритетными. Если либерализм венчает собой провал «городской революции», а это как раз и произошло, согласно Цымбурскому, в начале 1990-х в нашем Отечестве, тогда свобода неизбежно сведется к праву власти властвовать, праву правящего сословия не нести никакой ответственности перед большей частью населения своей собственной страны.

Цымбурский очень ясно сознавал духовные приоритеты своего собственного интеллектуального сословия. Это сословие, конечно, не симпатизировало коммунизму и в целом крайне отрицательно относилось к тому режиму, который существовал в России до 1987 года. И тем не менее наиболее умные представители этого сословия понимали, что с гибелью коммунизма они очень многое потеряли – причем, не только в деньгах и в общественном статусе. Власть до 1991 года была какой угодно, она была тиранической, тоталитарной, замшелой – но она не была «бессовестной». Власть не считала, что имеет право на власть только потому, что она – власть, потому что ее представляют наиболее сильные или приспособленные к господству человеческие особи обоих полов. Брежнев был каким угодно правителем: глупым, смешным, авторитарным, но он, разумеется, не считал себя вправе властвовать только потому, что ниспроверг всех своих соперников и оказался самым сильным среди них. И именно поэтому его режим, равно как и режим других коммунистических руководителей, был крайне чуток к любой интеллектуальной критике – власть могла уничтожить интеллектуала, но она не воспринимала его как малозначительную, презренную в сущности фигуру.

Но постсоветская власть мыслила себя совсем иначе, на ранних этапах она вообще не задумывалась о том, почему власть принадлежит ей, а не кому-либо еще. И не случайно сразу как только она начала об этом задумываться – эта власть немедленно начала тяготеть к какой-то крипто-сословности. Помнится, недавнему участнику избирательной гонки в городе Сочи уже было поручено придать официальный статус семье Романовых, казалось еще немного в конце 1990-х, и все руководители газовых и нефтяных концернов потянутся к дворянским титулам. Господство партии «жизни» на глазах обретало отчетливые поли-



тические формы, пускай в ее рядах было не так много подлинных наследников земельной аристократии.

Именно в этот момент Цымбурский и обращается к Шпенглеру, с тем, чтобы, переосмыслив его идею «городской революции», обнаружить выход для себя, своего сословия, для России в целом, да, пожалуй, и для всего человечества. Прочтение и переосмысление Шпенглера явилось для автора «Острова России» своего рода «азартной игрой с дьяволом» с целью доказать, что *России – несмотря на все слишком очевидные реалии посткоммунизма, – а вместе с ней и всей истории человечества, уготована иная судьба*, что дух, совершив обманчивый маневр, все-таки восторжествует над голой силой и властью, освободившейся от совести.

### **КАК ДВАЖДЫ ВОЙТИ В ОДНУ РЕКУ**

Чтобы оценить эту рискованную интеллектуальную игру Цымбурского со Шпенглером и со своим временем, нужно принять во внимание два момента. Во-первых, Цымбурский очень серьезно относился к хронологическим таблицам, приведенным в конце первого тома «Заката Европы». Вслед за немецким историософом он считал, что из всех существующих на сегодняшний день цивилизаций лишь Запад еще только клонится к своему закату, другие цивилизации свой закат уже пережили – поэтому ничего творческого – в социальном отношении – они родить уже не способны. Существует лишь одна цивилизация (Цымбурский делал определенные оговорки по этому поводу относительно Латинской Америки), которая несколько запоздала к приближающемуся финалу истории. Это – Россия.

Возникновение российской цивилизации Цымбурский относил к XV веку, ко времени укрепления Московского государства и возникновения ее особой «сакральной вертикали» – идеи Руси как «Третьего Рима». «Сакральная вертикаль» – это сознание властью, окаймляющей собой определенную землю, своей особой избранности. В России это сознание рождается с монаха Филофея, который увидел Русь последним островком подлинного христианства, окруженным океаном неверия. Запад как отдельная «высокая культура», по Шпенглеру, возник примерно в 1000-1100 году. Поэтому, согласно шпенглеровской хронологии, российская история отстоит от западной примерно на четыре столетия. Выходит, сейчас мы переживаем свой XVII век – отсюда все усилия наших властей укрепить национальное государство в

противостоянии антигосударственной и антимодернистской (но при этом считающей себя «постмодернистской») «либеральной фронде».

Интересно, однако, не это несколько механическое сопоставление XXI века с XVII, а то, что *в отличие от Запада, по мнению Цымбурского, мы живем в ситуации не победившей, а фрустрированной Реформации*. Что это значит реально? Реально это значит, что тот набор обязательств, которыми победившая в 1917 году «партия ценностей» обложила власть, провалился. Если Брежнев с Хрущевым обосновывали свою власть, условно говоря, «служением коммунизму», то Ельцин уже фактически ничем ее не обосновывал, воспринимая себя на заключительном этапе своего правления просто как царя, «царя Бориса». И челядь всячески ему в этом подыгрывала. Да, лично для Ельцина «шапка Мономаха оказалась тяжелой», но ведь сама по себе игра в царя первого демократически избранного была далеко не случайной — она соответствовала каким-то установкам народного сознания, да, вероятно, и не только народного. Помню, какое впечатление на нас с Цымбурским произвел цикл работ двух известных политологов, которые на полном серьезе доказывали насущную потребность либеральной России... в институте боярства. Под «боярами», впрочем, понимались руководители разного рода институтов и центров, питающихся за счет западных грантов.

Люди ельцинской России не ощущали, что являются своего рода винтиками в руках могущественной судьбы, которая их руками, но вопреки их намерениям ведет человечество к той самой точке Омега мировой истории — *жертвоприношению «духа» на алтаре «воли к власти»*.

Второй момент, который следует отметить в философских размышлениях Цымбурского, состоит в том, что он был убежден (и по-моему вполне справедливо), что *наша большевистская Реформация закончилась провалом, и возвращения к ней ждать не следует*. Русская Реформация выдохлась<sup>238</sup>, ее «сакральная вертикаль» уже никогда не возвысится над Россией — и вину за это во многом следует возложить — вслед за «веховцами» — на русскую интеллигенцию, которая провела

---

<sup>238</sup> «Большевистское правительство могло произносить нынешнему миру сколько угодно условных «да», веря в жернова времени; но произнеся этому миру безусловное «да», отказавшись от веры в его конечность и бессмертие России по ту сторону «века сего», — большевизм был обречен, обесценив и уронив свою сакральную вертикаль» (Цымбурский В.Л. *Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993-2006*. М., РОССПЭН, 2007, с. 173 – 174).

«городскую революцию», вооружившись крайне ущербной, духовно крайне ограниченной идеологией. Это все равно, говорил Цымбурский, как если бы в Германии XVI века победил не Лютер, а лейденские братья<sup>239</sup>. Едва ли цивилизация, основанная на идеалах лейденских братьев, оказалась бы жизнеспособной и долговечной.

Означает ли *неудача русской Реформации*, что отныне «дух» должен быть приведен к повиновению «жизни» еще до окончательного разрешения судеб Запада и вместе с ним – всего остального, уже давно пережившего свой срок человечества? Не совсем – и вот здесь Цымбурский обращает внимание на ту эпоху духовной истории Европы, о которой Шпенглер во втором томе «Заката Европы» практически ничего не говорит. Термин «магическая Контрреформация» встречается в книге немецкого историсофа один раз и относится исключительно к событиям, происходившим внутри византийской Церкви, которая, по Шпенглеру, являлась всецело произведением магической культуры. Цымбурский обратил внимание, что те события, которые, согласно схеме «Заката Европы», объединяются под общей чертой: «Пифагор, Мухаммед, Кромвель», и которые сам автор «Острова России» свел воедино под общим термином – «городская революция», могут протекать не только в виде радикального удара по прежнему миру со стороны приверженцев «новых ценностей». Они могут происходить также иначе: новая эпоха может прийти в старых одеждах, маскируясь под возвращением к неким забытым идеалам аграрно-сословного времени. Обращаясь не к новой, Реформационной, а к старой «сакральной вертикали». В этом случае мы имеем дело с тем феноменом, который в западной историографии именуется *Контрреформацией*.

Итак, Реформация оказывается не единственным вариантом религиозной трансформации традиционного общества в условиях «городской революции». Другой выход предлагает Контрреформация – приспособление институтов старого аграрно-сословного общества к новой ситуации, рожденной распадом старых социальных связей. *Контрреформация – это эпоха, когда общество судорожно пытается создать*

---

<sup>239</sup> «Вехи» зафиксировали недоделанность, ущемленность и урезанность нашего реформационного сознания. Представьте себе, что реформационная Европа XVI–XVII веков стала бы строиться на идеях «мюнстерской коммуны», лейденских братьев. Можете себя представить, что получилось бы? Чем бы тогда была Европа и была бы она вообще? Веховцы с ужасом констатировали, что наша поднимающаяся Реформация оказалась привязана к, возможно, наименее продуктивной части старой России.»

*«нового человека» с помощью возвращения к старым идеалам.* Таковой Контрреформацией было торжество конфуцианства в Китае или же период возникновения религии Бхагавад-гиты в Индии. Согласно Цымбурскому, *после краха большевистской «городской революции» Россия обречена на ту или иную версию Контрреформации.* Весь вопрос в том, какой она может быть.

В отличие от демократической Реформации, Контрреформация предлагает человеку новой «городской» эпохи частичную реабилитацию авторитета и иерархии. Наиболее неприятным вариантом нашего цивилизационного развития была бы та ситуация, когда верхушка общества отъединялась бы от населения какими-то символическими культурными барьерами — условно говоря, когда правящее сословие выделяло себя за счет приобщенности к ценностям глобального общезнания. Наилучшим же вариантом Контрреформации стало бы движение городского класса в союзе с национально-ориентированным предпринимательством, которое могло бы перенастроить *«режим на домашние цивилизационные задачи, понимаемые в манере «либерального славянофильства»*«. Цымбурский в цитируемой статье о «городской революции», а потом еще в целом ряде текстов подробно разбирает возможную программу «русской Контрреформации». Но, главное, может быть, остается недосказанным: именно то, что Контрреформация позволяет *вновь связать «партию жизни» некоей ценностной программой, только отсылающей уже не к постимперскому будущему, но к доимперскому прошлому России.* Иными словами, к эпохе XVI-XVII веков, еще пронизанной грезами об уединенном от истории Третьем Риме или же об ушедшем под воду граде Китеже.

Мы видим, как органично геополитика сливается у Цымбурского с хронополитикой и вместе с ней с тем, что он вслед за Г.Б. Кремневым называл *«гео-апокалиптикой»*. Идея «острова России» представляла в его изложении не только как геополитическая концепция, но прежде всего как возможный лозунг российского контрреформационного движения, способного бросить вызов укравшей у него победу в борьбе с большевистской Реформацией «партии жизни». «Дух» должен вновь заявить о своих правах, низвергнув ту силу, которая вышла на сцену российской истории, не дожидаясь законного часа своего появления. Но которая, тем не менее, должна — уже вполне своевременно — восторжествовать в глобальном масштабе. Подтвердив тем самым обоснованность пророчеств монаха Елеазарова монастыря: *«Видиши ли, избранныице Божий, яко вся христианская царства потопишася от невер-*

*ных, токмо единого государя нашего царство единою благодатию Христовою стоит».*

## **НАСТУПИТ ЛИ НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ?**

Цымбурский усматривал какие-то зародыши чаемого им контрреформационного движения в Сергее Глазьеве и его единомышленниках. Лично он с Глазьевым никогда не был знаком (и меня, кстати, всегда поражало, как мог лично Сергей Юрьевич не заметить, не обратить внимания на такого потенциального союзника), но еще со времен первой статьи об «Острове России» Цымбурский неизменно выражал сочувствие его политической линии – консервативной и модернизационной одновременно. В одной из статей Цымбурский дал выразительную формулу этой, по его мнению, подлинно «контрреформационной», линии, отсылающей к «сакральной вертикали» Московского царства: *«технологическое обновление в ореоле обновления духовного – развитие внутреннего рынка (сочетанием кейнсианских и меркантилистских тактик) – ценностная консолидация власти и граждан при моральном контроле народа над элитами».*

Между тем, под Контрреформацию – только альтернативного, имперско-петербургского толка – может мимикрировать и «партия жизни», обретшая себя в современном российском контексте прежде всего в сырьевой олигархии. Эта псевдо-контрреформация тоже может апеллировать к ценностям петербургской эпохи для того, чтобы закрепить свое собственное элитное господство и не позволить «городскому классу» добиться ни «технологического обновления», ни «обновления духовного». Решающее столкновение этих двух сил – условного «Глазьева» с условным «Ходорковским» – Цымбурский относил к 2008, к моменту падения мировых цен на энергоносители.

Падение произошло в том же самом году, только не до, а после президентских выборов, и на эти выборы никакого влияние цены на нефть не оказали. Реальность оказалась несколько прозаичнее – с политической сцены были удалены не только Ходорковский, но и Глазьев. Столкновение двух версий Контрреформации оказалось отложено в неопределенное будущее. Что касается сиюминутной политической конъюнктуры, то она Вадима Леонидовича явно не занимала.

Однако уже наша задача состоит в том, чтобы уметь видеть в самых, казалось бы, проходных политических контроверзах фактически ту же кардинальную метафизическую развилку, которую автор «Ост-

рова Россия» считал центральным эпизодом эволюции каждой цивилизации. В каждом режиме, за исключением, возможно, только последнего из всех земных режимов, того самого, который окончательно принесет, по убеждению Шпенглера, царство Духа в жертву царству Кесаря, существует та и другая сторона. *Неприглядное и бессовестное господство властвующих и пользующихся властью элит — и идеология, делающая режим властвующих легитимным, приемлемым для подданных.* Идеологии, разумеется, бывают разные, с неодинаковой способностью убеждать и переубеждать. И, между тем, мы видим, что все чаще людям предлагается выбор не между разными идеологиями, а между «идеологией» и «жизнью» как она есть, между «совестью» власти и радостным освобождением от нее. В 1991 примерно под таким соусом обрушили идеологию коммунистическую, в 1993 — национал-демократическую. Либерализм стал кодовым словом элит, тяготящихся фактически любой идеологией. Но и либерализм сегодня может быть принесен в жертву аппетитам элит, алкающих теперь отнюдь не свободы, но государственной поддержки. И потому сегодня, когда удары «либеральной фронды» оказываются направлены не столько против хищных аппетитов правящего класса, сколько против идеологии, худо бедно связывающей эти аппетиты ссылками на интересы страны и народа, у всякого читателя Шпенглера и Цымбурского должно возникнуть то же самое подозрение: а не совершается ли и сегодня, прямо на наших глазах очередная провокация «партии жизни» в ее стремлении в очередной раз опозорить бунтующий дух. Для того, чтобы, по прямому призыву автора «Заката Европы», обречь на окончательную смерть один из тех «народов, которому истина была важнее деяний, а справедливость важнее власти»<sup>240</sup>.

*Текст первоначально был опубликован на сайте  
«Русского обозревателя», «Русский журнал», 29.04.2009*

---

<sup>240</sup> Шпенглер О. *Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Том второй. Всемирно-исторические перспективы.* М., 2004, с. 543.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Сверхдлинные военные циклы Нового и Новейшего времени	5
Уничтожение и мобилизация: перетягивание каната	5
Три военных цикла новых времен	8
А что было раньше?	14
Как обновлялась Европа: XIV-XX вв.	17
Хозяйство и война: вековые ритмы	19
Немного о будущем	21
Литература	23
Рецензия на книгу Андрея Зорина «Кормя двуглавого орла»	25
I	26
II	28
III	31
IV	34
Апокалипсис на сегодня	43
О Царстве Зверя и старом добром универсальном Вавилоне	43
Армагеддон. Горы Македонские	55
«Городская революция» и будущее идеологий в России	71
I	71
II	75
III	79
IV	83
V	86
VI	90
VII	94
VIII	97
Литература	102
Дождались? Первая монография по истории российской геополитики	104
I	104
II	110
III	114
IV	118
Европа между «Евразией» и «Евроафрикой». Новая имперская геополитика	123
Нефть и геотеррор	127
	447

Библиография	142
Откуда подует ветер?	144
Хэлфорд Макиндер: трилогия хартленда и призвание геополитика	150
I	150
II	152
III	158
IV	164
V	174
VI	180
VII	184
Литература	188
Русские и геоэкономика	191
Рождение геоэкономики	193
Геоэкономика приходит в Россию	196
Геоэкономика как геополитика с позиций слабости	204
В царстве Нового Севера: экзотерика «текста Неклессы»	207
Пир Дней Творения: эзотерика «текста Неклессы». Возможности критики этого текста и его апология	212
О достоинстве и главенстве геополитики	223
Расколота Россия, или «Питерский» проект	236
О русском викторианстве	241
Цивилизация и ее геополитика — сквозь «Письмо вождям Советского Союза»	256
Декабристский прецедент	256
Северо-Восток — против Европы, Средиземного моря и идеологии?	260
Солженицын и русская контрреформация	267
Казахстан в новой мировой сборке	271
Человек политический между <i>ratio</i> и ответами на стимулы	276
Макс Вебер — и несть ему конца	276
Когнитивная модель целерациональности	280
Исчисление иррациональных стратегий	288
Сомнения, ответы, перспективы	298
Культура жизни	305
I	305
II	306
III	308
IV	309
V	311
Россия в американо-иранском противостоянии	313



I	313
II	319
Геополитика с позиции слабости	333
Недоверие к миропорядку и скука мировой революции	339
Шельф Острова Россия . Геополитика пространств и геополитика границ	350
Игры суверенитета	354
Немного теории: суверенитет глазами юристов и политиков	354
«Дремлющие суверенитеты» и бодрствующие их пользователи	360
«Суверенитет» утверждается в России – в облике федерации	366
Постготалитарный образ суверенитета	375
«Оранжевые революции» и «суверенная демократия» – ответ, способный оказаться новым вызовом	379
Суверенитет в судьбе двух высоких культур	384
Литература	391
Приложения	395
Михаил Ремизов Спор о суверинитете	397
Предисловие	397
«Окончательное решение»	399
Геополитика против политики	405
«Верховенство» или «собственность»?	409
Анациональный суверенитет	416
Андрей Окара «Остров Россия»: геополитическое сказание о граде Китеже	420
Борис Межуев Цымбурский и Шпенглер	425
Проблема Путина	426
Загадка второго тома	428
«Партия жизни» и «партия ценностей»	430
Государство после городской революции	433
История сбрасывает маски	436
Власть, освободившаяся от совести	438
Как дважды войти в одну реку	441
Наступит ли настоящий день?	445
Оглавление	447